

ПЕРЕЦ  
МАРКИШ

# ПЕРЕЦ МАРКИШ

БИБЛИОТЕКА  
ПОЭТА

Советский  
писатель

G

# БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

## ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

*Редакционная коллегия*

*В. Н. Орлов (главный редактор),  
И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, В. Г. Базанов,  
Б. И. Бурсов, Б. Ф. Егоров, В. М. Жирмунский,  
К. Ш. Кулиев, Э. Б. Межелайтис, В. О. Перцов,  
А. А. Прокофьев, А. А. Сурков, А. Т. Твардовский,  
Н. С. Тихонов, М. Т. Турсун-Заде,  
И. Г. Ямпольский (зам. главного редактора)*



*Большая серия  
Второе издание*



---

С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ь

# ПЕРЕЦ МАРКИШ

## СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

*Вступительная статья*  
*С. С. Наровчатова*

*Составление и примечания*  
*Э. Е. Лазебниковой-Маркиш*

*Редакция стихотворных переводов*  
*В. В. Левика*

Перец Маркиш (1895—1952) — известный еврейский писатель, внесший значительный вклад в развитие многонациональной советской литературы.

Настоящее издание является наиболее полным собранием его стихотворений и поэм в переводах на русский язык. Наряду с публиковавшимися ранее стихами в сборник включены произведения, неизвестные русскому читателю. Среди них лирико-философская поэма «Сорокалетний», ранние стихи, относящиеся к так называемому «бунтарскому периоду» творчества поэта. Целиком воспроизводится исторический роман в стихах «Братья». В книгу включены стихотворения, созданные Маркишем во время его странствий по странам Европы, Азии и Африки, широко известные произведения «Чатырдаг», «Танцовщица из гетто».





## ПЕРЕЦ МАРКИШ

(1895—1952)

Выдающийся еврейский советский поэт Перец Маркиш открыл новую страницу в литературе своего народа, внес значительный вклад в развитие многонациональной советской поэзии. Творчество Маркиша развивалось под влиянием идей Великой Октябрьской революции, насыщалось ее животворными соками. Поэзия его объективно отразила путь трудящихся еврейских масс, жестоко угнетавшихся при царизме и освобожденных Октябрем от социального и национального гнета. Все этапы этого пути последовательно и полно обрисованы Маркишем в его произведениях: местечковый быт, рабочее движение, революционизация еврейского пролетариата — до Октября; освобождение от векового гнета, ломка бытовых и религиозных канонов, вступление в семью равноправных народов — с Октябрем; тревожные испытания гражданской войны, приобщение к мирному созидательному труду в городе и на селе, окончательный распад местечкового уклада — в первые годы советской власти; социалистическое переустройство жизни, вдохновенная работа на заводах и в колхозах, защита Родины, подвергшейся фашистскому нападению, победа над врагом — в последующие годы советской истории.

Маркиш был прекрасным лириком, но, оставаясь только им, он не смог бы описать и части этих событий. К счастью для своего народа, для всех нас, советских читателей, он обладал еще и большим эпическим талантом, был романистом и драматургом. Именно эпический дар помог ему создать широкие поэтические полотна, запечатлевшие движение истории. Деятельность его в прозе и драматургии заслуживает пристального внимания, но она не входит



в предмет нашего очерка. Отметим одно: во всех областях литературы он был прежде всего поэтом, с характерным для поэтов образным мышлением и восприятием мира.

Будучи поэтом-новатором, Маркиш внес в еврейскую поэзию динамику новых ритмов, разговорную речь революционной уличной, свежие до дерзости образы. Ни до него, ни после не создавались на еврейском языке такие эпические полотна. Он равно владел классическими и новыми формами стиха. Кажется, нет в поэзии области, где бы он не оставил след, — баллады, оды, стансы, элегии, сонеты и рядом с ними — свободный стих, фольклорный напев, ораторская речь, политическая инвектива. Талант поистине полифонический, многосторонний, неповторимый.

Значение Маркиша как писателя выходит за пределы собственно еврейской литературы. Оставаясь глубоко национальным поэтом, отлично знавшим психологию, характер, язык своего народа, Перец Маркиш стал поэтом общесоветским, близким многим миллионам наших читателей. Творчество его интернационалистично, идея ленинского братства народов определила его содержание и направленность.

Очерк, предлагаемый вниманию читателя, ознакомит его с основными вехами жизненного и творческого пути Перца Маркиша.

\* \* \*

Полонное — местечко на Вольны. Не город и не село, а именно «местечко», которых были сотни за «чертой оседлости» в старой России. Вне этой черты евреям, по царским законам, проживать было запрещено, а внутри ее нельзя было жить в сельской местности и во многих крупных городах. Исключение делалось для купцов первой гильдии и лиц с высшим образованием. Но миллионеров было мало, а в гимназиях и университетах действовала процентная норма. По этой норме в Москве, например, число евреев, принятых в учебное заведение, не должно было превышать трех на сотню. И основная масса еврейского населения — не миллионеры и не универсанты, — загнанная ограничительными циркулярами в несколько западных губерний империи Российской, скупивалась в местечках, подобных Полонному.

К концу прошлого века здесь насчитывалось около десяти тысяч жителей — русские, украинцы, поляки, евреи. Церковь, костел, синагога разграничивали их по вероисповеданиям. Перемешивали и соединяли их, не разбирая вер и наций, фарфоровый завод и бумажная фабрика, мельницы и каменоломни, базар и ярмарка. В местечке были

десятки, если не сотни мастерских, лавок и лавчонок, где предложение всегда обгоняло спрос. Портные, сапожники, часовщики, бондари перебивали заказчиков друг у друга и перебивались с хлеба на квас. Мелкие торговцы днем хватали за полы редких покупателей, а вечером, обходясь без счетов, подводили итог грошовой выручке. Этот быт хорошо знаком нам по рассказам Шолом-Алейхема.

У Полонного было свое прошлое, о котором напоминали развалины древней крепости на реке Хоморе, следы стен и башен, воздвигнутых в незапамятные времена. Но славу Полонному принесло не прошлое, а будущее: 25 ноября 1895 года в доме старого портного Шимшон-Бера появился на свет внук, ставший впоследствии известным поэтом.

Дед был узко практичен и широко мечтателен. Противоположные эти качества легко уживались в нем. Он гордился семейными преданиями, выводившими предков из далекой Испании. Прадеды покинули ее в давние времена под угрозой костров инквизиции. Внуку дано было имя Перец, непривычное в Полонном и обычное в Испании.

Мальчик рос веселым, бойким и смышленным. Не дожидаясь, пока он сам сможет дойти до дома старого ребе, его отнесли туда на руках, укутав в теплое одеяло,— зима 1898 года выдалась холодная, а малышу, начинавшему учиться, лишь недавно исполнилось три года. Рано, даже слишком рано началось учение, и можно было ожидать, что ребенок вырастет книжником, знатоком Торы и Талмуда. Но непоседливое детство меньше всего думало о предуготованной карьере. Через три-четыре года тесные стены хедера уже не могли удержать мальчика, и, сверкая пятками, он уносился по узким улицам к запретным, но желанным забавам:

С мальчишками я лошадей поил,  
Мутила реку рать полунагая;  
Я с девушками песню заводил,  
Зарю встречал, смеясь и распевая.

И там же вечерами, вволю набегавшись днем, мальчик впервые, доверчиво и пытливо, вбирал в себя красоту сущего мира:

Река в огне, и в золоте камыш.  
Камыш всё тише шепчет, глуше. . .  
И ветрен вечер, и тягуча тишь,  
И падают с деревьев груши.

Мальчишеские игры увлекали его к крепостным развалинам, и древние камни тоже заставляли работать воображение:

У местечка у любого  
Встретишь древнюю ограду  
С валом, с вышками для стражи,  
С пустырями в их кольце.  
И придут на память снова  
Битвы, что столетья сряду  
Здесь кипели: приступ вражий,  
Дым и пламя в крепостце.

(«Волынь»)

Воображаемое сменялось реальным, и часто это реальное выступало в жестокой наготе и суровости:

На двух концах степного городка  
Торчали в небе каменные трубы;  
Они на мир глядели свысока  
И нехотя цедили дым сквозь зубы.  
Зачахли рядом — роща и лесок,  
Лужок зачах — от копоти и пыли,  
Они дрова, и воздух, и песок  
Между собою поровну делили.  
Семь верст их разделяли по прямой,  
И вывеска на каждой заявляла:  
«Берем в заплатках, и берем с сумой,  
Берем артельно, и берем навалом. . .»  
Стелились тракты, и валил народ,  
И слава гордых труб была в зените:  
«Спешите на фаянсовый завод!  
На фабрику бумажную спешите!»

(«Наследие»)

От реки, от крепостцы, от каменных труб — снова к «домику с крылечком», где в низенькой горнице, взгромоздившись на дощатый стол, сидит, по-турецки скрестив ноги, старый закройщик.

Копейка деду доставалась потом,  
Сквалыжничал он, каждый грош берег.  
И до утра кроил. Спал только час. . .

(«Мой дед»)

А поутру снова хедер, указка старого ребе, пожелтевшие страницы Пятикнижия. Все это быстро надоело, и в своевольной голове десятилетнего Переца складывается первое самостоятельное и дерзкое решение: он решает бежать из дому. Куда? За синие холмы, за синие реки, за синий горизонт. И ведут туда мальчика дороги, которые его совсем не пугают. Мягко и вольно ложатся они ему под ноги и сами несут навстречу далекому и незнакомому.

И поют, поют дороги,  
Братски льнущие друг к дружке  
И оплетшие поселки,  
Как веревочная сеть.

(«Волынь»)

Поющие эти дороги приводят маленького беглеца в Чуднов-Волынский — местечко, лежащее на полпути из Полонного в Житомир. Чуть побольше того, которое он покинул, местечко это на первый взгляд обладало почти теми же чертами:

Подъезжая под местечки,  
Видишь кладбище с оградой,  
Двор корчемный чуть подале  
И аптеку заодно.  
Через рвы лежат дощечки,  
Коз найдете, если надо,  
Молотилку пожелали —  
Поезжайте на гумно.

С каждою корчмою здешней  
Дружит вывеска из жести,  
Зелень крыши, и собаки  
Словно львы, и двор, и сад.  
Зреют раньше в нем черешни,  
Чем в других садах предместий,  
На заборах (помни всякий!)  
Гвозди понабиты в ряд.

(«Волынь»)

Все же Чуднов был пошумнее и пооживленнее Полонного. В нем размещался один из крупнейших на Волыни рынков, где торговали скотом, хлебом и лесом. Скалистые берега Тетерева — реки пошире родной Хоморы — соединял железнодорожный мост, по которому то

и дело грохотали составы. Возле моста высился памятник Александру III, чугунный император смотрел строгим взглядом на шумевшее внизу местечко. Половину его жителей составляли евреи, которые как раз именно Александру III были обязаны особенно злыми антисемитскими циркулярами, и памятник, надо полагать, был воздвигнут не по их просьбе.

Десятилетний Перец сразу завоевал симпатии чудновцев. Его приветили и приютили вчера еще незнакомые люди. Но самостоятельность так самостоятельность, и мальчик хочет сам зарабатывать себе на пропитание. Чистый звонкий дискант и отличный музыкальный слух помогают ему устроиться в синагогальный хор. Там ждет его первый успех, а вслед за ним первая слава. Вот уж миропольская и траяновская синагоги оспаривают у чудновской юного певца, а там его приглашает на гастроли Бердичев — город, как известно, расположенный в другой губернии. «Его хотят даже продемонстрировать заезжему тенору и вручают деньги на покупку парадной рубахи, приличествующей столь торжественному случаю. Кто знает, может быть, в этот вечер решится его дальнейшая судьба. Но будущий Карузо рубахи не покупает, а впервые за много месяцев наедается до отвала и по своему вкусу. Искусство не терпит профанации: жаркое с чесноком оказывает свое пагубное действие, и голос «садится» на целый вечер. Приезжая знаменитость уезжает, а юному певцу остается довольствоваться местной славой», — пишет в своих неопубликованных воспоминаниях вдова поэта Э. Е. Лазебникова.

Наконец он снова в родном доме, в Полонном. Он вырос, голос по-юношески ломается, петь в хоре уже нельзя. Свою семью, возвратившись, он находит в тяжелом положении: много детей и мало денег, долги мяснику, молочнику, зеленщику. «Надо помогать родным, и юноша пытается найти «солидную» работу, чтобы вносить свой вклад в семейный бюджет. Его принимают конторщиком в ссудо-сберегательное товарищество, только что созданное в Полонном» (там же).

Идут последние предвоенные годы. Перцу Маркишу уже семнадцать лет, и он пишет стихи. Черновиками для них служат корешки банковских счетов. Использование казенной бумаги и казенного времени не по назначению не нравится начальству, но молодой человек пропускает мимо ушей ворчливые замечания. Строки черников он потом переписывает набело в толстую тетрадь. Эта тетрадь дошла до нас, и мы можем узнать из нее о первых опытах поэта. Видимо, не о самых первых, — они уже изобличают знакомство с поэзией, определенную культуру стиха, и, наконец, эти стихи сочинены по-русски.

Что представляют собой стихи из первой тетради? Отвлеченные размышления, пересказы библейских преданий, сетования на печальную судьбу. Редко-редко послышится в строках отзвук действительных событий, бурливших вокруг Полонного. Вот стихотворение «Братская могила», посвященное борцам за «святую свободу». Юный автор, разумеется, на их стороне, но выражает он свои чувства еще робко и приглушенно. Для нас эти стихи дороги как первое свидетельство юношеских симпатий Маркиша к «смерть воспринявшим на поле борьбы», как первое пробуждение верного общественного инстинкта.

Спокойный вам сон, мои сильные братья,  
Вам больше не знать ни вражды, ни проклятья, —

воскликает он, завершая стихотворение. Единственное в этих несамостоятельных строках самостоятельное слово — «сильные». В нем и восхищение, и преклонение, и зависть. Так восхищается, так завидует неоперившийся соколенок могучим птицам.

Встречаются в этой тетрадке стихи с биографическим подтекстом:

Я рос в разрушенных стенах обветшалой обители бога,  
Тяжела и отраднa была моей жизни печальной дорога...

Я сир, одинок был, пуглив, как осенняя пташка,  
На теле моем красовалась и тлела чужая рубашка.

Лицо исхудало, задорно, болезненно-бледно.  
Товарищи чужды мне были, — я был между ними последний.

Тепло в обителище бога мне, пасынку юному, было,  
Но радости сердце не знало, душа моя плакала, ныла...

Мне в сумерки часто рассказывал ребе чудесные сказки,  
То были минуты забвенья, сиротские нежные ласки.

В этих и подобных им строках заметно влияние образов классической еврейской поэзии. Сам автор был мало похож на сирого и одинокого «пасынка бога». Но внешний антураж его детства схож с описанным старыми поэтами, и он невольно переносил на себя черты их героев. В тетрадке немало стихов о природе, но это еще очень общие «Весна», «Зима», «Осень», без выявления в них черт самостоятельности и своеобразия. Намечаются лишь попытки эмоционального приближения к реальной действительности:

Последние падают с неба снежинки —  
Холодные, мрачно-немые слезинки —  
На черную грудь молчаливой земли  
И тают с истомой в прощальном «прости».

Такова первая проба пера юного Маркиша. Значение ранних опытов обычно недооценивается. И впрямь, они мало что говорят читателю. Но как бы робки и неумелы ни были эти опыты, в биографии поэта они занимают прочное место. Здесь он впервые ощущает сопротивление слова, усваивает азы рифмы, размера, композиции, — зафиксированные на бумаге, эти компоненты стиха требуют от него пристального внимания к ремеслу стихосложения. Наконец, он впервые знакомится с муками творчества, которые равно терзают и начинающих поэтов, и признанных мастеров.

Исписанная с первой до последней страницы тетрадка останется единственно ценной памятью о службе в ссудо-сберегательном товариществе, откуда незадачливого конторщика вскоре изгоняют. «В Полонное как-то приехала труппа бродячих еврейских артистов, — рассказывает в цитированных выше воспоминаниях Э. Е. Лазебниковой. — Маркиш провел с ними весь день, а вечером повел их ночевать в кассу общества. Спать сразу не легли, затеяли чаепитие с декламацией чужих и собственных стихов. В разгар вечера, а вернее ночи, когда Маркиш дочитывал свое стихотворение, в комнату ворвались члены товарищества во главе с председателем. Их подняли с постелей прохожие, увидавшие свет в окнах кассы: „Бандиты!“...» Как тут было удержаться на месте конторщика? Маркиш снова покидает Полонное. Он едет на юг. Кишинев, Балта, Одесса... Работает кем и где придется — поденщиком, репетитором, сборщиком винограда.

Скитаниям, метаниям, поискам профессии скоро приходит конец. Начинается первая мировая война. Царизму нужны солдаты. Ограничительные циркуляры, препятствовавшие множеству людей жить вне запретной черты, отнюдь не запрещают брать евреев в армию.

Нет парней по селам, — словно вихрь умчал их, —  
И призвать приказано стариков и малых.

Почему б не взять Менахема, портного?  
Наскоро мешок он сшил себе — готово!

Хватит всем окопов! Почему под знамя  
Не призвать портного заодно с сынами?

(«Братья»)

И вместе с тысячами таких Менахемов и их сыновей молодой Маркиш получает повестку о призыве на военную службу. Она находит его в Одессе, и прямо из приволья портового города он попадает в казенную муштру запасного пехотного полка.

Никогда еще Маркишу не приходилось так тяжело. Случалось переносить и голод, и холод, и работу до седьмого пота, но все это не шло ни в какое сравнение с обстановкой царской казармы. Раньше он был сам себе хозяин, теперь же начальство не давало ступить ни шагу без окрика. Даже стены родного дома были тесны поэту, какими же показались ему стены казармы? А он был поэтом до мозга костей, он им не сделался, но родился. Стоять с полной выкладкой на часах под палящим солнцем, ползать по-пластунски по вязкой грязи, без конца колоть соломенные чучела, часами шагать по полковому плацу, тянуться перед унтерами: «Так точно!», «Никак нет», «Не могу знать», — и так день за днем, неделя за неделей. Как облегчение был воспринят им приказ об отправке рядового Маркиша на фронт в составе маршевой роты.

Еще в казарме Маркиш увидел, ощутил, испытал на деле равенство бесправия. Кулак унтера был равно занесен над солдатами — русским, татаринном, евреем. На фронте национальные различия стирались окончательно. Прижавшись друг к другу, мерзли в сыром окопе саратовский мужик и бердичевский портной. Вместе шли на пули, вместе хлебали щи из одного котла, вместе ругали продажных генералов и «Сашку с Гришкой» в далеком Петрограде. За плечами у обоих была беспросветная нужда, голодные рты детишек, страх перед урядником и приставом, впереди — немецкие пули и осколки, лазаретная койка и братская могила. Соединяющего было куда больше, чем разъединяющего, и армия в эти предреволюционные годы неизбежно и неотвратимо становилась для миллионов солдат школой классовой солидарности и интернационализма.

Рядовой царской армии Маркиш вместе со своими однополчанами и однокашниками прошел эту необычную и суровую школу. Интернационализм, пронизывающий все его творчество, он выстрадал на кровавых галицийских полях, в залитых осенними дождями окопах, в пропахших карболкой палатах солдатских лазаретов. На госпитальную койку отправила его прямо с поля боя немецкая пуля. В больничной палате, от перевязки до перевязки, можно многое обдумать, оглянуться на прошлое и заглянуть в будущее. Маркиш долго и напряженно размышляет о виденном и пережитом, и эти размышления отзовутся потом в его стихах и поэмах. Он ненавидит прошлое с его косностью, нищетой, бесправием. Он ждет небывалого, зная, что дальше так продолжаться не может. Внутренне он уже



подготовлен к тому перевороту, который не оставит камня на камне от прежнего общественного строя.

Февральская революция застаёт его в госпитале, и она же вызывает его с недолеченной раной на весенние, заполненные толпами народа улицы. Он сразу окунается в гущу событий и в кипящем их водовороте почти интуитивно нащупывает твердый берег, на который он после встанет, чтобы не сходить с него до конца жизни. Глубоко символично и показательно, что первые свои стихи, написанные на еврейском языке, — «Бойцы» — Маркиш публикует в екатеринославской большевистской газете. Там же он печатает несколько рассказов, но не это главный его путь, и он надолго отказывается от прозы, посвятив себя главному своему призванию — поэзии.

Молодость Маркиша совпала с молодостью революции. Он воспринимает ее как всеобщее душевное и даже, можно сказать, физическое обновление. Его стихи переполнены языческой радостью бунтующего духа. Бытовая, повседневная, прозаическая сторона жизни будто и не существовала для него, и календарную историю тех месяцев невозможно проследить по его стихам. Но они передают жизненное ощущение, пульсацию, сердцебиение тех дней. Вот как своеобразно и неожиданно сказалось это в юношеских стихах Маркиша:

Я сам — земля!  
И пашня — сам!  
И сам — налившийся на пашне колос. . .  
Нет, то не высь грозою раскололась,  
То сам я тучею прошел по небесам  
И на себя низвергся ливнем сам!

Я с корнем вырвал всё, что сгнило на корню,  
И всё, что вырвал, сам похороню.

Поднявшийся из тьмы заклятых мраком лет,  
Я сам их окропил  
Благим предвестьем дня,  
И вот уже светает вокруг меня,  
И в ночь затерян след. . .

Я пашня. Я земля. Я колос наливной. . .  
И скорби не дозветь вовеки надо мной.

В строках его встает «мир живой», где «гроза и ветер пляшут на плечах огромных скал», где «сияют судьбы, чувства, лица», где все

дрожит от гула и гуда, как в первый день творенья. Себя в этом мире поэт ощущает неотъемлемой его частью. Он нашел себя в нем, а мир нашел его самого. Мотив «найденности» настойчиво звучит в ту пору в стихах Маркиша: «Ночь меня здесь потеряла, и нашла меня заря», «Пришел я с новым днем!», «Мне крохотной твоей довольно быть частицей», «Я сам — во времени, и время — это я».

Маркиш в эти дни осознает, что поэтическая его судьба навсегда будет связана с судьбами утверждавшейся новизны: «Под новым плугом мне взойти дано!» Строка окажется вещей: творчеству его дано взойти и заколоситься в революционные годы. И скоро, очень скоро, через несколько месяцев, для Маркиша начинается пора больших свершений.

В Киеве в то время собралась группа талантливых еврейских поэтов. Это была революционно настроенная молодежь, в среде которой Маркиш сразу нашел единомышленников. Вместе с Давидом Гофштейном, Львом Квитко и Ошером Шварцманом он стал искать новые пути для еврейской поэзии. Ближайшие по времени, но не по духу мотивы декаданса и упадочничества были решительно отвергнуты молодыми поэтами. Они приняли наследие демократической поэзии И. Переца и Х. Бялика, но со значительными поправками и дополнениями. Речь шла не просто о продолжении традиции, а о революционизации ее. Мотивы страдальчества, терпения, ухода от борьбы, звучавшие порой в поэзии еврейских классиков, не вмещались в грозную музыку революции. Для этой музыки нужно было писать новые ноты.

Маркиш и его друзья чутко прислушивались к звучанию русской поэзии. Здесь они шли вслед за своими предшественниками. Еврейская литература начиная с середины XIX века обостренно воспринимала воздействие русской литературы. Это воздействие благотворно сказывалось на произведениях еврейских классиков Менделе Мойхер-Сфорима и Шолом-Алейхема. Внимание к интересам общества, глубокой человечностью, совершенством формы они во многом были обязаны классической русской литературе, опыт которой ими был широко использован. Но русская словесность, и прежде всего русская поэзия, в те дни, когда молодые киевляне выходили на литературную дорогу, жила и дышала революцией. В ней, как и во всей стране, которой она принадлежала, наступила пора великого переворота. В стихи Блока решительно вошла петроградская улица с просторечьем революционного народа, грозным гудом восставших рабочих, чеканным шагом красногвардейских патрулей. Молодой Маяковский ставил исполненную вселенского размаха «Мистерию-буфф»

и читал матросам дерзновенный «Левый марш» — сама революция громыхала его басом. Демьян Бедный говорил с народом всепонятным языком песни, лозунга и плаката. Юный Есенин выплескивал на страницы яркую, сочную, смятенную речь взбунтовавшейся деревни.

И молодые еврейские поэты пристально всматривались в новые явления русской, теперь уже советской поэзии, искали и находили в ней родственные мотивы, заражались ее революционным духом. Путь, который они только начинали, был нетерен и труден. Постигая новое, нужно было прежде всего оттолкнуться от старого и отжившего. Местечковое прошлое с его косным бытом, придавленностью человеческой личности, физической и духовной нищетой стало для Маркиша и его друзей своеобразной антитезой к тезе обретенной свободы. Немалую роль играли при этом личные мотивы. Молодые поэты, каждый сам по себе, были яркими индивидуальностями. На примере детства Маркиша мы увидели, как тесно и душно было одаренным людям в местечках типа Полонного. Они рвались оттуда, уходили куда глаза глядят, протестовали всем своим существом против привычного жизненного уклада. Религиозное образование не могло смирить таких подростков, как Маркиш. Как русская бурса наряду с тысячами законопослушных иереев выдвинула из своих стен десятки законоломных ниспровергателей, так еврейский хедер наряду с тысячами смиренных заурядностей породил десятки яростных бунтовщиков. Причины были одни и те же: мертвые догмы и слепая муштра сгибают и ломают посредственность, образуют ее по своему подобию. Яркая же индивидуальность схожа с пружиной: чем сильнее ее сжимают, тем в конечном счете решительнее она распрямляется. Ненависть ко вчерашним догмам была тем ожесточеннее, чем насильственнее они вколачивались когда-то в головы будущих крамольников. Разумеется, такой психологический максимализм с его полным отказом от прошлого ради будущего, с его стремлением дойти до самого конца по открывшемуся пути принимал разные формы и выражался по-разному в поступках и действиях разнонаправленных характеров. Комиссар Иосиф Коган, воспетый Багрицким, становился воплощением революционного действия, и четкая прямизна его образа была адекватна прямизне идеи, владевшей им. Но люди революционного слова в литературе далеко не сразу и далеко не всегда обретали такую строгую очерченность поступков, которая была свойственна людям революционного действия. Специфика художественного мышления такова, что человек должен сам осознать себя творцом мира, казалось бы уже созданного до него. Он своими путями должен дойти до истины, и тогда, может быть,

он увидит ее в таком повороте и в таком освещении, в которых она не виделась еще никому.

Перец Маркиш расстался с прошлым, с Полонным, с тысячами Полонных в поэме «Волынь». Она была написана и напечатана в 1918 году. Без преувеличения можно сказать, что это уже совершенное произведение. Можно только удивляться, как быстро была набрана высота полета, — ведь недавно еще поэт лишь начинал учиться летать. Маркиш здесь смеется и плачет, издевается и грустит... В поэме нет гневных нот, громких звуков и возгласов — они неуместны у постели безнадежно больного. Прощаясь с обреченным и отошедшим, Маркиш становится глубоко лиричным, но в этой лиричности нет даже тени сожаления о приговоренном укладе. Талантливым пером живописует Маркиш местечковый быт:

День горит от зноя злого.  
Небеса, как губки, сухи.  
Щекоча их, в мутной сини  
Тучка вялая ползет.  
«Боже, как кусают мухи,  
Сладу с ними никакого!  
Сколько развелось их ныне!» —  
Слышны стоны, что ни год.

Отобедав, нужно малость  
Подремать — ведь нет спасенья  
От свирепых мух, от жара, —  
О, как в полдень он тяжел!  
Трупом площадь распласталась,  
Рты раскрыты, храп, сопенье...  
И — на страже у товара —  
Дружно вьется пара пчел.

Городишко впал в истому.  
Пусты лавки — нет почина...  
Мимо них снуют часами  
Вихри пыльные одни.  
Крамарь поболтать к другому  
Ходит; на ступеньки чинно  
Сядут — и клюют носами  
В жидкой и сухой тени.

Так и идет эта бессмысленная и бессодержательная жизнь, где «дни за днями, словно миги, пролетают бесполезно». Маркиш подроб-

но и безжалостно описывает соучастников местечкового прозябания: маклеров «с тростью на отлете, в лапсердаке неизменном», старух, торгующих жалким товаром, тряпичников, роющихся в отбросах, корчмарей, собачников — весь этот людской рой, жужжащий и снующий по улицам поселка. Прочь из этого быта, не о чем жалеть и нечего сохранять в нем! — вычитывает внимательный читатель непреложный вывод поэмы и повторяет вместе с молодым поэтом ее заключительные строки:

И, во все концы открыты,  
Ежятся во мгле проселки,  
Лежа с тропами в обнимку  
Под сырым ее холстом. . .  
И стучат, стучат копыта,  
И леса склоняют челки,  
Глядя, как бежит сквозь дымку  
В мир бескрайний путь с путем.

Поэма «Волынь» и сборник первых стихов «Пороги» выдвинули Переца Маркиша в первый ряд еврейских писателей, связавших свои судьбы с советской властью. Голосом Маркиша заговорил в эти годы его древний народ, обретший с Великой Октябрьской революцией свою новую молодость. Романтический и жизнеутверждающий пафос пронизывает его стихи — это пафос приобщения множества еврейских тружеников к активной, целеустремленной жизни. Поэзия Маркиша приобретает черты уверенной силы и смелости — это сила и смелость, возвращенные революцией угнетенному и обездоленному народу. Весьма характерно для его творчества тех лет стихотворение «Вставай, заря!», написанное в 1919 году:

На низком встал пороге я  
И вкинул парус свой. . .  
Прощайте, дни убогие,  
И — здравствуй, мир живой!

Нас всюду встретят гавани,  
Есть всюду глубь и высь. . .  
Лети ж, кораблик, в плаванье,  
С причала оторвись!

Ты, домик-сиротиночка,  
Затекший плачем весь,  
Я был тобой лишь вымечтан,  
Я вовсе не жил здесь!

Вставай, заря, меня вести,  
Всех жаждущих пой!  
Нас ждут в высокой зависти  
Ровесники мои. . .

На низком встал пороге я  
И вскинул парус свой. . .  
Прощайте, дни убогие,  
И — здравствуй, мир живой!

Содержание этого стихотворения вмещает в себя все, что было сказано выше сухой прозой: прощанье с «днями убогими» местечкового прошлого и вступление в «живой мир» революции; решительное отталкивание от самых, казалось бы, неизбежных воспоминаний: «Я вовсе не жил здесь!» — и ощущение открывающихся просторов, ставших не только желанными, но и доступными: «Нас всюду встретят гавани»; снова радостное чувство «найденности», не покидающее поэта с первых дней революции, чувство обретенного места в движущемся потоке истории: «Вставай, заря, меня вести, всех жаждущих пой!» Поэт ни слова не говорит о своей молодости, но все стихотворение дышит ею. Какой жаждой дел и свершений, какой вдохновенной дерзостью наполнены истинно молодые строки: «Нас ждут в высокой зависти ровесники мои. . .» Таков, как эти стихи, был тогда сам Маркиш — молодой, дерзкий, неуемный. Идет пора юношеского цветения таланта поэта. Почти подряд выходят сборники стихов: «Пороги» («Швелн», Киев, 1919), «Неприкаянный» («Пуст ун пас», Екатеринослав, 1919), «Шалость» («Штифериш», Екатеринослав, 1919). Это удивительно яркие стихи, и через годы мы, читая эти строки, проникаемся праздничным жизнеощущением молодого Маркиша. В них действительно есть что-то языческое, и, читая «Чатырдаг» или «Шалость», все время видишь картины какой-то еще догомеровской Греции. И сам Маркиш, который, судя по портретам и воспоминаниям, был похож тогда на молодого полубога, прекрасно вписывался в этот пейзаж:

С Ай-Петри я принес кувшин подземной влаги,  
Душистых, терпких трав нарвал на Чатырдаге,  
Полуночным костром мой пламенеет рот;

Открыта дверь моя, зайди в мой дом, прохожий,  
Я для тебя покрыл овчиной ложе,  
Порог мой ждет тебя, случайный пешеход! . .

(«Чатырдаг»)

Однако тогдашняя действительность мало располагала к идиллиям и пасторалям. И, опомнившись от первых восторженных порывов, когда поэту казалось, что не только все люди, но сама природа — земля и небо! — празднуют вместе с ним рождение нового мира, Маркиш увидел муки и страдания, в которых рождался этот мир. Украина горела в огне гражданской войны. Немцы, Скоропадский, Деникин, Петлюра, Махно, бесчисленные банды сменяли друг друга на ее многострадальной земле, сжигая ее пожарами, заливая кровью. Маркиш не остается пассивным наблюдателем событий. Так, в Екатеринославе он с будущими известными поэтами Михаилом Светловым и Михаилом Голодным несет службу в отряде рабочей обороны города. Картины петлюровских и деникинских зверств, еврейские погромы, чинимые белогвардейцами на Украине, отпечатываются в памяти, надрывая душу, доводя до отчаяния сердце. Мотивы скорби и печали проникают в его новые сборники стихов «Просто так» («Стам», Екатеринослав, 1921) и «Ночной грабеж» («Нахт-ройб», М., 1922). С особой силой трагедийные ноты прозвучали в поэме «Куча» («Ди Купе», Екатеринослав, 1920), созданной им под впечатлением прокатившейся по всей правобережной Украине в 1919—1920 годах страшной волны еврейских погромов, чинимых петлюровцами, деникинцами и разного рода бандами. Поэма имела огромный резонанс — она явилась подлинно новаторским явлением в еврейской поэзии. Маркиш в ней решительно отошел от канонов мариологического возвеличения жертв, их пассивное мученичество возбуждает в нем гнев и сарказм, он протестует каждой строкой против безвольной обреченности и покорности судьбе. Краски поэмы мрачны, образы гротескны и порой натуралистичны, отдельные эпизоды напоминают офорты Гойи, — все в ней направлено к одной цели: возбудить гнев против убийц и воскресить волю к сопротивлению и борьбе. Поэма была сразу же переиздана в Варшаве и выдержала озлобленный натиск националистической еврейской прессы, разглядевшей в ней «потрясение основ» религиозного мирозерцания, дерзкий разрыв с установившейся традицией. Одновременно с этим поэма завоевала Маркишу горячие симпатии радикально настроенных читателей, демократической еврейской общественности. Имя Маркиша перешагивает рубеж: поэма приносит ему мировую известность.

В конце 1921 года Маркиш едет в Варшаву. За рубежом он находится почти 5 лет, попеременно живя в Варшаве, Берлине, Париже, Лондоне, Риме. В своих стихах того времени Маркиш выступает резким обличителем капиталистической цивилизации Запада. Строки его звучат как гневные инвективы по адресу эксплуататорских

классов, и вместе с тем они полны сочувствия к угнетенным и обездоленным. По-прежнему слова надежд и чаяний обращает он к Москве как к воплощению революции, символу интернационального братства трудящихся. В 1922 году публикует в Варшаве цикл стихов «Радио», в которых явственно слышна переключка с Маяковским:

Алая телеграмма, своды рушь!  
Лети, радиорык!  
Сверкайте, десять заповедей душ!

«На небо — алого шелка заплаты,  
И провода — рвать,  
И залепить бумагой циферблаты!»

От моря к морю,  
От порога к порогу, из веси в весь, —  
Московской царь-пушки радиорев:  
Радио — в мир, радиовесь.

В это время пишутся стихи мятежного звучания, такие, как «Голодный поход» и «Могила неизвестного солдата». Строки в них бурлят и клокочут, гиперболы громоздятся на гиперболы, страстные призывы срываются с них, как булыжники с мостовых накаленного ненавистью города.

Из улицы в улицу! Грозная лава  
Клокочет. Никто не прячет лица.  
Врываются в оружейные лавки:  
«Клянись! Клянись идти до конца!»

*(«Голодный поход»)*

Пусть башни выбегут с пожарами во ртах,  
С гербами городов на рухнувших оплечьях.  
Гни их, огонь, качай, — и, пепел обрыдав,  
Взвиваясь лентами, развалины калечь их!

*(«Могила неизвестного солдата»)*

Но не одни эти яростно-пафосные стихи определяют лицо поэзии Маркиша тех лет. Он пишет лирические стихи, создает философские миниатюры, рисует урбанистические пейзажи европейских столиц. Наконец, он приступает к созданию большого полотна со сложным и глубоким замыслом. Это поэма «Сорокалетний», которую он пишет потом долгие годы, то оставляя, то вновь возвращаясь к ней. Окончит он ее в 30-х годах, когда и сам, по совпадению, достигнет сорока-



летнего рубежа. Поэма полна раздумий об исторических судьбах еврейского народа, о его трудном пути к счастью. Библейская символика закономерно ложится в ткань произведения: речь идет не о годах, а о тысячелетиях. Кажущийся загадочным образ «Сорокалетнего» проясняется, когда мы вспомним запечатленное в Библии предание о сорокалетнем блуждании евреев в «великой и страшной» пустыне. В этом образе воплощена идея достижения «земли обетованной», достижения счастья для всего еврейского народа. Настойчиво звучащий рефрен точно акцентирует значение этой общей идеи для отдельной личности:

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

Поиски «земли обетованной» — народного счастья — не происходят на легких и торных путях. В поэзии возникает множество фантомов, принимаемых людьми за желанную землю. Но поэт не примет в этих лжеземлях жести за золото, он прозревает иное и прекрасное в достижимых даялах.

Вершину закрыла дремучая тень,  
В долину спустился сверкающий день.

Путь к молоту солнца — вот путь из путей.  
Лишь там я пригублю из чаши твоей.

Достигли предела — и снова вперед,  
Останется, выживет тот, кто пройдет.

Поэма создавалась долгие годы. Отзвуки «Исхода» и «Второзакония» смешивались с эхом современных событий. Философские размышления перемежались международной хроникой. В Германии пришел к власти фашизм. Конец поэмы выступал во всей своей исторической непреложности: Советский Союз — единственно надежный оплот против фашизма, несущего гибель народу Маркиша. И поэма заканчивается апофеозом социалистического отечества.

В 1926 году Перец Маркиш возвращается на родину. Пятилетнее пребывание за рубежом не отдалило сердце поэта от родной земли, но заставило еще больше полюбить ее, глубоко почувствовать кровную связь с ней. Кроме того, у Маркиша появилась возможность сравнения, и это сравнение оказалось разительным. С такой же силой, с какой он отталкивался прежде от рутинного быта местечкового мещанства, поэт отталкивается от духовной косности буржуазного Запада. Приходит пора идейной зрелости большого худож-

ника: революционное жизнеощущение претворяется в его сознании в революционное миросозерцание.

Это время полного расцвета таланта Маркиша. Творчество его приобретает полифоническое звучание. В ближайшее пятнадцатилетие он создает множество лирических стихотворений, поэмы «Харьков» и «Мудрость моей страны», большие поэтические полотна «Братья», «Не унывать», «Смерть кулака», «Заря над Днепром», начинает поэму «Наследие». Не одна поэзия занимает его: он выпускает в свет историко-бытовые романы «Из века в век» («Дор ойс, дор айн», т. 1, Киев, 1929; т. 2, Москва, 1941), «Один на один» («Эйнс аф эйнс», Москва, 1933). Пишет пьесы «Земля» (1930), «Семья Овадис» (1937), знаменующие становление социально-героической драмы в советской еврейской литературе. Он выступает как публицист, как критик, как литературовед. Его перу принадлежит большое число статей на литературные и политические темы, монография о великом еврейском артисте Михоэлсе.

Маркиш находится все это время в самой гуще общественной жизни страны. Кипучий темперамент, жадный интерес к происходящим вокруг великим переменам заставляют его становиться не просто свидетелем, но и активным участником событий. В стране совершаются два величайших исторических переворота — коллективизация и индустриализация. Маркиш ездит по колхозам, посещает заводы, направляется на стройки и откликается на виденное и пережитое стихами, поэмами, эпическими полотнами. Вполне закономерным явилось вступление его в ряды Коммунистической партии.

Лирика Маркиша в эти годы приобретает черты классической ясности и цельности. Но внутренняя гармоничность сочетается в его стихе с романтической приподнятостью и взволнованностью — эмоциональный и образный рисунок стихотворения подчас весьма сложен и прихотлив. В этом кажущемся противоречии и состоит, однако, своеобычное очарование поэтического почерка Маркиша. Течение его стиха можно сравнить с течением полноводной реки. Верхние ее слои беспокойны и переменчивы. Они то бурлят и пенятся на ветру, то лениво и безмятежно переливаются на солнце. Основная же масса воды, скрытая глубоко под ними, спокойно и неуклонно движется к морю. Особенно показательны в этом отношении, например, «Спелые ночи», включающие в свою ткань те особенности поэтической манеры художника, на которые мы обратили внимание.

Маркиш чрезвычайно разнообразен в выборе лирических жанров. Вы встретите у него и жаркое любовное послание, и тонко нарисованный пейзаж, и стремительную балладу, и громкую оду, и политические стихи. При таком обилии числителей нелегко найти общий

творческий знаменатель, позволяющий свести вместе разнозначные величины. Подобным знаменателем может стать общая художественная задача, поставленная перед собой самим художником. У Переца Маркиша есть стихотворение «Воплощение», написанное в 1930 году, раскрывающее эту задачу во всей ее философской глубине:

Быть может, плачет глина в тишине,  
Пока ваятель бьется над замесом  
И плоть аморфную то сплющивает прессом,  
То вновь калит на медленном огне...

Но только нам, единственным из всех,  
Питомцам бурь и песнопевцам штормов,  
Дано осмыслить боль и сдвиги ветхих веков,  
И выплеск вещества сквозь косный панцирь формы.

. . . . .

Уж даль распахнута. И, ею окрылясь,  
Нам стелют вихри путь по судьбам, по годинам...  
Мы смотрим в прошлое лишь в помысле едином:  
Не для того, чтоб с ним свою упрочить связь,  
А чтоб в грядущее стремительней войти нам.

Поэт волею судеб родился на стыке двух эпох в жизни своего народа, страны, человечества. Из века в век исторический процесс вбирал людские массы в свое течение. Истории «резец жестокий» не обращал внимания на стоны живого камня, вековой ваятель мял и калил мыслящую глину, не вникая в ее муку. Так было, но стало не так. Впервые на глазах поэта люди стали сами хозяевами своей истории. Великая Октябрьская революция обозначила торжество разумного начала в формировании будущего человечества. Поэту — «питомцу бурь и песнопевцу штормов» — суждена миссия осмыслить катаклитические сдвиги истории, разъять внутренним взглядом прошлое до самых его глубин «не для того, чтоб с ним свою упрочить связь», но ради того, чтобы лучше и смелее строить будущее. Негативная и позитивная задачи объединяются в одно диалектическое целое, и, следя за творчеством Маркиша — в лирике, эпосе, прозе, драматургии, — мы видим, как все время сосуществуют, борются между собой, переходят одна в другую эти две линии его художественного мышления.

Маркиш как творческая личность представляет собой очень сложное явление. Одним ключом все его психологические замки не

отомкнешь. Писарев, со своим позитивным мышлением демократа-шестидесятника, удивлялся Генриху Гейне, соединявшему, по определению критика, в своей поэзии «благоговенье и игранье». <sup>1</sup> У Маркиша противоположные настроения сменяют одно другое не реже, чем у Гейне. Вот он решает едва ли не мировые вопросы, а вот, через мгновение, следит за игрой солнца среди листвы и полетом бабочки над пестрым лугом. «Он наслаждался легкими, глазами, ушами: он ловил своими пятью чувствами все, что в окружающей природе нежит, ласкает, греет и освежает человека» <sup>2</sup>, — характеризовал русский критик Генриха Гейне, и эти слова целиком можно переадресовать Маркишу. Видимо, это вообще свойство богато одаренной лирической натуры, и им во всей полноте обладал наш современник.

Но как ни ярка, впечатляюща, многоцветна лирика Маркиша, с еще большей силой проявляется его талант в эпической поэзии. Здесь ему нет равных среди еврейских поэтов, а во всей многонациональной советской поэзии он занимает место в первом ряду мастеров эпической формы. Первые его опыты в этом жанре были уже серьезными художественными удачами. Но, как «Волынь» и «Сорокалетний», о которых мы уже говорили, так и последующие поэмы «Харьков» и «Мудрость моей страны» явились как бы переходными ступенями от лирики к эпосу. В них нет сквозного сюжета, отсутствуют герои, в основе их лежат душевные переживания, размышления и впечатления самого поэта. Их можно отнести к произведениям лиро-эпической поэзии, а не к эпосу в классическом понимании этого слова. Лирическое начало в этих поэмах порой преобладает над эпическим. Характерно, что многие произведения Маркиша одними исследователями определяются как поэмы, а другими — как циклы стихов. Таково, например, «Радио», отрывок из которого здесь приводился. Так же фрагментарна поэма «Харьков», созданная Маркишем в 1927 году вскоре после возвращения из-за рубежа, — это картины жизни большого советского города, где новое побеждает старое, где национальная рознь уступила место национальному братству.

Первым подлинно эпическим произведением огромного размаха и силы, которое вышло из-под пера Переца Маркиша, стала поэма «Братья» («Бридер», Киев, 1929). По выходе в свет она была воспринята не только как крупнейшее явление еврейской поэзии, но и как значительное событие для всей советской литературы. Основное

---

<sup>1</sup> Д. И. Писарев, Сочинения, т. 2, СПб., 1904, с. 265.

<sup>2</sup> Там же, т. 1, СПб., 1909, с. 550.

действие поэмы разворачивается на полях гражданской войны, два брата — еврейские рабочие Азрил и Шлойме-Бер — плечом к плечу с другими своими братьями — русскими, украинцами, людьми других наций — борются за общее ленинское дело. Оба брата погибают, один под Варшавой, другой под Перекопом, но самой смертью своей они утверждают торжество революции.

Полотно это огромно по охваченному времени и пространству. Широкая экспозиция рисует жизнь довоенного местечка, где в семье еврейского кустика растут будущие герои гражданской войны. Мастерски написаны картины мещанского и деревенского быта, и мастерски осуществляется переход от спокойного повествования к пламенной порывистой речи, когда эти картины сменяются стремительными кадрами схваток, стычек, боев. Глубокая интернациональная идея, яркий революционный пафос, подлинный историзм в соединении с виртуозным стихом выдвигают эту поэму в ряд выдающихся произведений советской поэзии.

Спустя два года после выхода в свет «Братьев» Маркиш публикует поэму «Не унывать» («Нит гедайгет», Харьков — Киев, 1931), в которой рисуется распад местечковых отношений, приобщение евреев к земледельческому труду в новой коллективизирующейся деревне. На основе сюжета поэмы он пишет пьесу с одноименным названием.

Новая поэма Маркиша «Чертополох» (в первом еврейском издании называвшаяся «Смерть кулака» — «Дем балагуфс тойт», М., 1935) выделяется среди других его поэм неожиданной и новаторской композицией. Стержнем ее является образ отрицательного героя, к нему стягиваются все нити действия, внимание поэта полностью сосредоточивается на нем. Многоплановость и многоликость прежних произведений Маркиша сменяется тщательной разработкой характера и портрета главного действующего лица. Реб Аншель выступает перед читателем как обобщенный социальный тип — он «последний из могикан» разгромленного класса, последний местечковый Гобсек, которому не находится места в новой жизни. Лишившись своей лавки и нажитого всякими неправдами богатства, он покидает родные места и поселяется вдалеке от них, там, где его не знают. Кажется, все можно начать сызнова. Реб Аншель еще не старик и что-то, а хозяйство он поднимать умеет. Но только свое хозяйство, а не общественное, не коллективное! По горло увяз он в прошлом, его мучают воспоминания о былом своем могуществе. С ненавистью и презрением смотрит он на чужую и непонятную ему действительность. Со своей психологией стяжателя и собственника он обречен на одиночество среди здоровых и счастливых людей, жующих сообща

свое счастье. Страшен и безобразен его конец: по-прежнему обуянный страстью к наживе, он пытается содрать шкуру с павшей от сапа лошади, заражается и погибает, кляня и понося светлый мир, в который он вклинился уродливой тенью.

Образ реб Аншеля написан с убедительной и впечатляющей силой. Он смешон и отвратителен в своей жадности, в хищном и мелком стяжательстве. Вот каким выступает он под пером Маркиша в дни своей мирской славы:

И за стаканом содовой воды  
Приказчика шлет Аншель поминутно  
И тянет с жадностью напиток мутный,  
И капли, скатываясь с бороды,  
С тяжелым стуком падают на брюхо,  
И всякий раз стирает он следы  
И дохлую выплевывает муху.  
И, отдуваясь, вновь  
Бубнит, от зноя пьян:  
«Глотаю, кажется,  
Восьмой стакан,  
А не рыгнул еще  
Как следует ни разу!»  
Но покупателей в крамнице до отказа,  
Приезжий без конца валит народ.  
Водоворот косынок и бород,  
Снуют десятки рук  
По стали и по жести,  
Ощупывают, пробуют на звук.

Рекою к Аншелю течет нажива с поля.  
И поле, и господь  
Его подвластны воле!

«Мы смотрим в прошлое... не для того, чтоб с ним свою упрочить связь, а чтоб в грядущее стремительней войти нам», — говорил Маркиш незадолго перед созданием «Чертополоха». Образ реб Аншеля принадлежит прошлому, которое почти чудом задержалось в настоящем. Как высохший репей, стряхнут его с одежды новые люди.

Почти сразу вслед за «Чертополохом» Маркиш создает поэму «Заря над Днепром» («Уфганг афн Днепр», М., 1937). Ею заканчивается серия крупных произведений Маркиша, посвященных теме социалистического переустройства города и села в годы недолгой мирной передышки. Ибо война опять на пороге: фашизм пришел к

власти в Германии, мир напоминает пороховой погреб, готовый взорваться от первой искры. А гитлеровцы уже размахивают огненными факелами. Грозные события властно требуют вмешательства поэта, и он не остается глух к их призывам.

Но прежде чем перейти к новому периоду творчества Маркиша, необходимо сказать хотя бы вкратце о поэме «Наследие», начатой поэтом еще в 1928 году и оставшейся неоконченной как раз из-за этих нахлынувших событий. В ней Маркиш выступает как поэт-историк, глубоко анализирующий события революционного прошлого. В центре повествования — молодой рабочий Эзра, образ которого явился большой удачей автора. Он рисует своего героя в окружении товарищей по заводу — русских пролетариев. Маркиш точно следует исторической правде — еврейское рабочее движение в до-революционной России развивалось неотрывно от русского, еврейские пролетарии рука об руку со своими русскими братьями боролись против капитализма и самодержавия. Эзра, в изображении Маркиша, умен, дерзок и обаятелен. Исторические события, знакомые нам по учебникам, как бы заново оживают, когда мы видим их отражение в поступках героя поэмы:

И грянул пятый год,  
Заговорил, встревоженный и грозный;  
Рождались в муках дни, и ощутил народ  
В сердцах огонь и отблеск звездный.  
Местечко превратилось в пароход —  
Его качало и швыряло, —  
Хлебнет воды и под воду уйдет,  
И вновь взлетает вверх на гребень вала.  
Жизнь отдана цветенью и огню,  
И праздничному радостному звону. . .  
А Эзра рисовал свинью  
И нарядил ее в корону.  
И, словно измываясь и дразня,  
Переливались краски акварели,  
И дерзкие слова на ней горели:  
«Всея России государь — свинья!»  
Свой мастерски исполненный картон  
Отнес веселый Эзра в синагогу  
И с гордостью поставил на амвон. . .  
И в синагоге подняли тревогу:  
«Кошунство!», «Поношенье!», «Вызов богу!»,  
«Рехнулся он!», «Вероотступник он!»

Поэма обрывается на полуслове — молодой бунтовщик после поражения первой русской революции арестован и сосылается в Сибирь. Но неоконченное произведение полно такой веры в конечную победу рабочего дела, что читатель мысленно прослеживает дальнейший путь молодого Эзры и видит его в рядах торжествующего народа, навсегда сбросившего иго своих господ.

Новый период творчества Переца Маркиша справедливо было бы начинать со стихов об Испании. Первое вооруженное столкновение с фашизмом произошло на испанской земле. Гитлер и Муссолини бросили свои войска в поддержку франкистских мятежников, решив потопить в крови народную революцию. Республиканская Испания привлекала симпатии всех прогрессивных людей мира. Одни спешили к ней на помощь с оружием в руках, чтобы в составе интернациональных бригад отстаивать ее свободу и независимость, другие, не имея этой возможности, выражали свою солидарность с героическим народом всеми имевшимися в их распоряжении средствами. Советские рабочие, например, отработывали сверхурочные часы в пользу испанских трудящихся, посылали им боеприпасы, медикаменты, продовольствие. Оружие, хлеб насущный, целебные средства воплощаются для поэта в слове. И Маркиш отдает свое пламенное, насыщенное, живительное слово республиканской Испании.

Я вновь свою судьбу теперь связал с тобой,  
Когда ты стонешь, кровью истекая.  
Несу тебе любовь и опыт боевой  
Из вольного, прославленного края, —

обращался поэт к испанской земле в 1936 году, когда только что прогремели первые залпы грозных событий.

Одно за другим появляются в печати стихотворения Переца Маркиша, посвященные борьбе испанского народа: «Тореадор», «Командир Диестро», «Валенсия — твоя сестра, Мадрид. . .», «Агитпроп Панчо Видио» и многие другие. Но испанская революция гибнет в крови, и новые, еще горшие испытания ожидают народы Европы, весь мир.

В этой обстановке предгрозя создаются замечательные стансы Маркиша «Танцовщица из гетто». Стансы — одна из самых строгих форм стиха, этой формой пользовались наши классики для выражения своих сокровенных и выношенных дум. И вот поэт с истрадавшимся сердцем, поэт, обостренно переживавший зловещие события на Западе, прибегает именно к этой форме, чтобы донести до читателя не расплескав всю свою муку, скорбь, ненависть. Трагедия



народов Европы, с ужасом и отчаянием смотревших на надвигающуюся тень свастики, трагедия людей, уже подпавших под эту мрачную тень, была с впечатляющей силой прочувствована, осмыслена и обобщена в стансах Маркиша. Но уже с первых строк, усиливаясь и нарастая к концу, звучит в стансах мотив возмездия и расплаты. Он отодвигает от пострадавших людей ужас и отчаяние, дарит им надежду и избавление от мук:

Меч занесен — враги стоят окрест.  
Меч занесен — но скоро будет сломан!

Фашизм, занесший этот меч, обречен несмотря на свое временное торжество. Он способен лишь разрушать, а не создавать: «он никогда не сеял и не жал, он только брал чужое без возврата». В нем воплощены самые низкие, звериные качества, ставящие его вне человеческих категорий:

Идет, идет с секирой истукан,  
Он свастику и ночь несет народам.  
Он тащит мертвеца. Он смел и пьян.  
Он штурмовик. Он из-за Рейна родом.

Он миллионам, множа плач и стон,  
На спинах выжег желтые заплаты.  
Он растоптал и право, и закон,  
Он сеет смерть бесплатно и за плату.

Трагедия еврейского народа неотделима в сознании поэта от трагедии всех народов, страдающих под фашистским игом.

В стансах Маркиша мы видим нечто подобное существовавшему в античной трагедии понятию катарсиса: нравственное «очищение», производимое трагедией посредством эффектов ужаса и сострадания. В финале вступает в силу закон высшей справедливости, открывается путь надежды — автор верит, что о его Родину разобьются мутные волны фашизма, он знает, что Советский Союз спасет мир от гитлеризма. И он не только сам верит в это, но вселяет свою веру и в сердца людей:

Ступни босые резал Иордан,  
На Рейне измывались над тобою,  
И все-таки светили сквозь туман  
Рубины звезд над русскою рекою.

Пусть дом мой будет для тебя гнездом  
На дереве зеленом, — это древо  
Еще не подрубили топором. . .  
Пляши, моя любовь и королева!

Он провидит день, когда «врагов накроют пеплом небеса», он провидит избавление народов от фашизма. Это избавление даст человечеству страна, о которой в заключение поэт с любовью говорит:

Здесь человеку предана земля,  
Здесь всех целит голубизна сквозная,  
Здесь дружбу предлагают тополя,  
Здесь каждая песчинка — мать родная.

Но избавление еще не близко. Через год эта прекрасная страна, которую воспевал Маркиш, сама подвергнется разбойничьему нападению гитлеровских орд. Начинается битва не на жизнь, а на смерть с вооруженным до зубов фашизмом. И Маркиш вместе со всем советским народом вступает в эту битву. Мы видели, как остро реагировал он на приход фашизма к власти в Германии, на первые схватки с ним на испанской земле, на порабощение нацистами народов Европы. И в первые же дни гитлеровского нашествия на нашу страну он поднимает свой гневный голос на борьбу с захватчиками. Много пламенных стихов посвящает он Москве, отражающей в осенние месяцы 1941 года ожесточенный натиск врага. Это не стихи-однодневки, они составили потом яркий цикл «Осень 1941». Волнующе звучит заключение цикла, где автор вводит в строй сражающихся москвичей самое поэзию:

С кремлевской башни звон пробьет сигнал,  
Знаменами заплещут зори.  
Все по местам! — И первым Пушкин стал  
На стихшей площади в дозоре.

Мы отдадим сердца за тот грядущий мир,  
Где светел каждый дом и каждый день московский.  
А если упадет в бою наш командир,  
Команду громовым стихом подхватит Маяковский.

Маркиш создает в эти годы десятки стихотворений, заставляющих сильнее биться сердца защитников Родины, наполняя их ненавистью к врагу, укрепляя в них волю к победе. Им написаны в то время прекрасные баллады, прославляющие подвиги советских людей. Среди них надо в первую очередь назвать «Балладу о воин-

стве Доватора», «Балладу о пленных матросах», «Балладу о парикмахере». Создаются стихи-призывы, стихи-выстрелы и одновременно с ними — мягкие лирические стихи, обращенные к родному дому, к матери, к любимой — к тому, что вышел защищать советский человек.

Перо Маркиша активно и неустанно служит делу победы над врагом. Наиболее полное воплощение и осмысление получила у Маркиша патриотическая тема защиты Родины в романе «Поступь поколений» и в поэме «Война», которую вернее было бы назвать эпопеей. В ней освещается весь ход войны от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года. Действие разворачивается на полях сражений под Москвой и Сталинградом, на Диспуре и на Висле, на родной земле и в логове фашистского зверя. Герой эпопеи — весь сражающийся народ, в поэме действуют люди многих национальностей, разных поколений и профессий. Охват событий необычайно велик — действие переносится из глубокого тыла на передовую линию фронта, с московских улиц в варшавское гетто, из штаба советского военачальника в гитлеровский концлагерь, из госпиталя в окоп. Поэт задался целью создать всеобъемлющую картину войны, нащупать основные нити главных ее событий. Полифонический талант Маркиша способствовал тому, что обилие разнозвучающих мотивов не привело к их хаотическому смешению. Музыкальные темы развиваются естественно и образуют гармоническое единство, не затемняя одна другую. Романтический пафос сменяется лирической интонацией, революционный марш — народной песней, патетическая речь — разговорным языком, — всё это в тесной зависимости от развития действия, в прочной связи с характеристикой героев поэмы. Эпопея наполнена красками и звуками тех огненных лет. Она представляет широкое поле для размышлений и умозаключений. В ней можно найти и глубокую философскую мысль, и политический анализ, и гневную инвективу, и строки интимной лирики.

Но даже такому крупному мастеру, как Маркиш, было бы затруднительно связать воедино эти многочисленные мотивы, переполняющие поэму, если бы им не владела великая и воодушевляющая идея. Она и явилась тем необходимым контрапунктом, который соединил в одно гармоничное целое мотивы поэмы и придал им сложно-единое звучание. Это идея торжества коммунистического мировоззрения над силами реакции и регресса, воплощенными в фашизме. Только коммунизм, окончательно ликвидирующий угнетение и насилие, навсегда прекращающий войны, дает человечеству гарантию от новой катастрофы. Эпопея заканчивается словами мира и надежды:

Надежду трудно словом передать.  
Но разве разум рассечен границей? . .  
Земле такого больше не видать,  
Векам такое больше не приснится.

Размеренно звучат шаги солдат,  
Звучат, как гимн большой и мудрой силы.  
Пусть дети всей земли спокойно спят,  
Пусть будут сны их розовы и сини.

Пусть мир идет навстречу торжеству,  
Пусть по весне землей владеет зелень,  
Пусть человек увидит наяву  
Всё то, о чем он лишь мечтал доселе.

Не ратный труд необходим рукам —  
Но труд во имя мира и покоя. . .  
Да не приснится жуть войны векам,  
Да не вспомнит шар земной такое! . .

Великая Отечественная война заканчивается победой советского народа, и Маркиш из прокуренных комнат военных редакций, с тревожных фронтовых раздорожий возвращается к своему письменному столу. Идут последние годы творческой деятельности поэта. Может быть, именно в это время создаются им наиболее совершенные образцы лирики. «Достоинство пчелы не жало и не яд», — мудро и спокойно начинает Маркиш одно из своих лучших стихотворений того времени — «Выбор». Глубокой человечностью проникнуты его строки. Вера в людей, любовь к существу миру как бы кристаллизуется в них:

Мы, горечи хлебнув, поверим в жизнь опять  
И выберем рассвет, встающий над вершиной.

В последних своих стихах поэт особенно добр, жизнелюбив, человечен. Он любит солнечным лучом, прынувшим, «как дротик золотой», восхищается красотой женщины, чьи волосы блестят, «как пенный вал», вслушивается в звонкое соло ночного сверчка — все близко и дорого ему. Он действительно способен, как пушкинский пророк, уследить «и горний ангелов полет, и дольней лозы прозябанье». До предела обострен его взгляд. У него глаз ювелира и астронома. Он может и разглядеть маленькую щербинку на булавочной головке, и разыскать никем еще не замеченную звезду на ночном небе. Он

наделен способностью очеловечивать все вокруг себя — природу, стихи, вещи. Даже старая рейсовая машина оживает в его одноименных стихах, приобретая вдруг людские эмоции и намерения. Маркиш щедро награждает мир дарами своего воображения, а тот, в ответ, раскрывается перед ним во всей своей первозданной красоте.

Непреходящие человеческие ценности обладают в эти годы для Маркиша особой притягательной силой. Добрый взгляд матери и утренняя улыбка ребенка полны для него глубокого значения. Мне выпало счастье перевести одно стихотворение Маркиша, в котором, на мой взгляд, он достигает истинных высот духа. Я приведу его здесь полностью:

#### ГОРНАЯ МАДОННА

Женщина утром с ребенком в горах, —  
Несет на руках его, словно Мадонна,  
И горный рассвет, зажигаясь впотьмах,  
Их путь осветил вдоль кремнистого склона.

Женщина утром с ребенком в горах, —  
Мерцает над ними рассвет, зеленея,  
А верба их путь осеняет в веках. . .  
И вспомнилась мне в этот миг Галилея.

Женщина утром с ребенком в горах, —  
Вокруг нее ткань голубая струится,  
Трепещет косынка на узких плечах. . .  
Мне вспомнились ясли, и хлев, и ослица.

Женщина утром с ребенком в горах, —  
Над ними сияющих радуг свечение.  
Как хорошо, что в безгрешных глазах  
Не светится будущих мук отраженье!

Певучей походкой идет на восход,  
Легкая, нежная, в воздухе тая. . .  
Нет, не Мадонна ребенка несет —  
Казачка идет по тропе молодая.

Казак ее муж? А быть может, еврей?  
Крестьянин? Не плотник ли старый скорее? }  
Я счастлив, колени склонив перед ней,  
Что миру не ведать второй Галилеи!

Эти стихи поражают и пленяют. Увидеть в образе простой казачки образ Мадонны, почувствовать и передать извечную боль матери о ребенке, который, став взрослым, должен пойти на суровое и тягчайшее испытание, мог только огромный поэт. Эти прекрасные стихи звучат сейчас особенно сильно в связи с борьбой народов против новой войны, ибо мысль о предотвращении жестоких испытаний — «миру не ведать второй Галилеи» — облекается в живую плоть всенародного движения в защиту мира на просторах нашей планеты. Библейские образы не притупляют острую современность стихотворения, они являются лишь средством для выражения глубокой и мудрой идеи.

Животворный, позитивный, воинствующий гуманизм стал главной основой творчества поэта в последние годы. В 1952 году Маркиш трагически погиб. Тьма, которой он так страстно противостоял, сомкнулась вокруг него. Но всепобеждающий свет ленинской правды, соединившись с ярким светочем творчества замечательного поэта, разорвал эту тьму и горит сейчас над нами неугасимым пламенем. И не только мы, но и наши потомки будут видеть его, ибо это сама жизнь, сама поэзия, вечная, мудрая, торжествующая.

*Сергей Наровчатов*



# **СТИХОТВОРЕНИЯ**





1

По телу голому земли  
Иду, босой. Светло и сыро.  
— Эй! —  
Эхо прыгает вдали,  
Обратно брошенное миром.

Разбей свой быт, разрушь свой дом,  
Порог истертый развали,  
И, не спросясь куда, пойдём  
По телу голому земли!

По шерсти трав, примяв поля,  
Простор исхлопотав, как милость...  
Я у тебя один, земля,  
А мир — отец мой и кормилец.

В тебя зерном я упаду,  
Травинкой снова прорасту...  
Эй, люди, слышите?  
За мной —  
По влажной наготе земной!

1917

2

Я сам — земля!  
И пашня — сам!  
И сам — налившийся на пашне колос...  
Нет, то не высь грозою раскололась,

То сам я тучею прошел по небесам  
И на себя низвергся ливнем сам!

Я с корнем вырвал всё, что сгнило на корню,  
И всё, что вырвал, сам похороню.

Поднявшийся из тьмы заклятых мраком лет,  
Я сам их окропил  
Благим предвестьем дня,  
И вот уже светает вокруг меня,  
И в ночь затерян след. . .

Я пашня. Я земля. Я колос наливной. . .  
И скорби не дозвель вовеки надо мной.

1917

3

*Давиду Бергельсону*

Приходит час ночной ко мне,  
Всех тише и грустней,  
Побыть со мной наедине. . .

Вот окна всё синей, синей,  
Уходят стены. Вкруг меня  
Один простор ночной.  
И обувь сбрасываю я,  
Чтоб шаг не слышать свой.  
Я на глаза свои кладу  
Вечерний синий свет  
И всё шепчу в ночном чаду:  
— Тоска, меня здесь нет! . .

И в угол прячусь я пустой,  
И руки прячу я,  
От скуки медленно за мной  
Ползет тоска моя.  
И пальцами она слегка  
Моих коснулась скул,  
И вот уж призрак твой, тоска,  
К моей груди прильнул.

Чтобы мою отведать кровь,  
Она колдует вновь и вновь.  
Но прижимаю к косяку  
Незримый силуэт  
И всё шепчу, кляня тоску:  
— Тоска, меня здесь нет!

1917

4

Ай да кони, что за кони!  
Прямо с места рвутся в путь.  
Оседлаешь их, погонишь,  
Не забудешь подхлестнуть!

За звездою в небе чистом,  
К тучам, к высям, на простор  
С гиком, шумом, гудом, свистом  
Поскачи во весь опор!

В поле! В лес! Дерзай, отвага! —  
Крикну, прыгнув на коня. —  
Нравлюсь я тебе, коняга?  
Погляди-ка на меня!

Ты азов понять не можешь,  
Эх, тупица из тупиц!  
Рассказать ли сказку? .. Что же,  
Только ты не оступись.

Жил-был человек на свете,  
И на свете жил-был конь. . .  
Ты беги, лошадка-ветер!  
Саблю я держу. . . В огонь! . .

Раз, два, три. . . Лети удало!  
Торопись, срываясь вдаль.  
Бабка щепки собирала. . .  
Собрала ль? Не собрала ль? . .

Мир дрожит от гула, гуда,  
Мир во льду лежит, в огне.  
Но не бойся, конь, покуда  
На твоей сижу спине!

1917

5

Я только стебелек, затерянный в полях,  
Побег, что утренним дыханием колеблем. . .  
Земля! Мне на тебе довольно быть и стеблем,  
Колеблемым под сенью голубой,  
Чтоб мог величем я померяться с тобой!

Я только ветерок, мгновенный, быстротечный,  
Повеявший на травы с высоты. . .  
Но быть и ветерком довольно мне, о вечность,  
Чтоб бесконечным быть, как бесконечна ты!

Пока сама земля с теплом не разлучится  
И солнце от нее не отвратит свой лик,  
Мне крохотной твоей довольно быть частицей,  
И я уже, как ты, вселенная, велик!

1917

6

Ты влюблен в меня, ветер дорог,  
Ты за мной простираешься следом,  
Ты целуешь следы моих ног —  
И усталости груз мне неведом.

Ты влюблен в меня, ветер полей,  
Ты мои оплетаешь колени,  
На скрещенье далеких путей  
Ты меня поджидаешь в томленьи.

И куда б ни простерлась рука,  
И куда б я ни шел на рассвете,  
Ты приносишься издалека,  
Ты навстречу кидаешься, ветер!

1917

Ты никогда еще так не была свежа,  
 Как ранней осенью, почти совсем зеленой.  
 Вот ветер за тобой погнался, весь дрожа,  
 И поцелуй сорвал, роняя листья клена.

Ты пахнешь камышом, продрогшим на ветру,  
 И спелым яблоком — осенней негой сада!  
 Я сбитый ветром лист взволнованно беру  
 И целовать тебя хочу, моя услада.

Брожу растерянно и что-то бормочу.  
 Какая в этих днях неслыханная сила!  
 Мне ветер сердце дал и взял мое. Хочу,  
 Чтоб ты мне сердце подарила.

1917

На песчаных белых высях  
 Для тебя письмо я высек.

Разгадать посланье то  
 Не сумеет здесь никто.

Вникнуть в смысл того письма  
 Можешь только ты сама.

Так не медли же, иди,  
 Могут смыть его дожди. . .

Если мінут встречи сроки,  
 Ветер выветрит те строки.

Встречи ждать со мной должна ты,  
 Ждать должна ты в час заката,

От зари до темноты. . .  
 Я не знаю сам — кто ты. . .

И таишься где, родная,  
Милая, — того не знаю. . .

Кем ни быть тебе и где бы  
Ни была, — с земли и с неба,

Из любой в подлунном мире  
Выси, дали, глуби, шири —

Приходи и молви слово. . .  
Для тебя письмо готово,

Что на горных белых высях  
Для неведомой я высек.

1917

### 9. ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ

Девушки смеются в переулках ближних,  
Нынче я с улыбкой девичьей в ладу;  
Как под каблуками зазвенел булыжник,  
Я умылся снегом и легко иду!

Улица подобна девушке отважной;  
Я с камнями улиц коротко знаком;  
Улицам нет счету — я в гостях у каждой,  
Городом заверчен, я верчусь волчком.

Девушки, ведь вы мне улыбнулись сами,  
Опьянились тихим и прозрачным днем;  
Хорошо мне снегом умываться с вами  
Здесь, в благословенном городе моем!

1917

### 10

Вышел я нынче в зарю и в росу.  
Встречный, тебе свое сердце несущий!

Ветви ломаются, шепчет трава.  
Эх, озорная моя голова!

Улица, домик и низкий плетень —  
Вышел сегодня я в солнечный день.

Гулко колеса стучат по камням,  
Цокот копыт обгоняет меня.

Искры взлетают, дрожит синева.  
Эх, озорная моя голова!

Птицы вокруг хлопотливо снуют,  
Вьют торопливо очаг и уют.

Звонко щебечут о том и о сем.  
— С ласковым утром! С ликующим днем!

Гнездышки ваши скрывает листва. . .  
Эх, озорная моя голова!

Тихо стою на поляне пустой  
И обрастаю шумящей листвой.

Птицы мелькают, звеня и кружась,  
Каждый их щебет — привет и рассказ.

Полно, умолкните, птиц голоса!  
Всё уже знаю и понял я сам.

Вышел я нынче в зарю и в росу.  
Встречный, тебе свое сердце несу!

1917

## 11

На заре я был разбужен  
Звонкой песней петушиной,  
Росной россыпью жемчужин,  
Свежестью рассветных глаз.

Словно каплю дождевую,  
Ночь меня здесь обронила,



Окунулся в темноту я —  
И заря меня нашла.

В ликованьи побежали  
Мне навстречу все дороги,  
Понеслись безбрежных далей  
Солнечные янтари.

И упал я, утомленный,  
Словно капля дождевая,  
И проспал, прильнув влюбленно  
К сердцу алому зари.

И склоняюсь я, счастливый,  
К солнцу, травам и дорогам,  
Глаз один закрыт лениво,  
Широко открыт другой.

Распростерся я дремотно  
На горячем солнцепеке,  
И гляжу я беззаботно  
Вдаль и ввысь перед собой.

И вселенная, быть может,  
Позаботится о юном,  
Что лежит на жестком ложе,  
С вольным ветром говоря.

В добрый час, предвестник алый  
Благодатного рассвета!  
Ночь меня здесь потеряла,  
И нашла меня заря.

1917

12

Выйди утром в поле, брат мой,  
Будто на крыльцо.  
Обувь скинь  
И мни ногами

Землю  
И дождю отдай лицо.

Дождем напейся вдосталь — и потом  
На землю упади сырым листом.

Распахни свою рубаху  
И прильни к земле душистой —  
Тело к телу.  
Так останься...

Выйди в город, брат мой,  
И в ночи  
Светом захлебнись  
И новой волей.  
Посреди вселенной  
Прокричи:  
— В поле золотом, в широком поле!..

1917

### 13

И молод день, и прям,  
И высь бурлит, блестя,  
И ветерок упрям,  
И я еще дитя!

И радость — в зовах дня,  
И легок шаг и путь.  
— Эй, ветер! Ты меня  
Умчи куда-нибудь!..

Пестра, как праздник, даль.  
Так что же из того,  
Что жжет меня печаль  
Порога моего?

И радость в зовах дня  
Меня толкает в путь...  
Кто б ни был ты — меня  
Умчи куда-нибудь!

И молод день, и прям,  
И высь слепит, блестя,  
И ветерок упрямя,  
И я еще дитя.

1917

14

Утром пробуждаются сонные поля...  
Плечи расправляя,  
От хлеба золотая,  
Тихо раскрывается тучная земля.

Смотрит, шурясь зорко... Где-то вдалеке  
Скирд ряды кривые, и сколько их — не счесть,  
Словно убежавшие, от кого — невесть.

Вздыхает теплая земля,  
И ветерок сонлив и тих.  
Заря спустилась на поля  
И снова усыпила их.

Но ветерок издалека  
Откуда-то приходит,  
С обрубком крика петуха,  
С глухим обрывком рева  
Медлительной коровы —  
И шепчет колоскам,  
В зарю одетым,  
Что травы меж собой шушукуются где-то...

1917

15

Благословил деревья синий вечер  
И — отошел.  
Прошелестев, скользнула тьма на землю —  
Как черный шелк.

Идет  
Со всех окраин ночь навстречу —

Издалека, с небес, из-под земли,  
И на груди безмолвно прячет вечер.  
И исчезает с ним вдали.

И ночи всё вокруг внимает —  
И человек, и лошадь, и трава. . .  
Но шепчет ветерок едва-едва,  
И машет небу мельница немая.

1917

16

Я не знаю, где я —  
Дома ли,  
Или, может, на чужбине. . .  
Я бегу!  
И распахнута рубаха.  
Необузданный, ничей,  
Свет смешал я с тьмой ночей.  
Мчу сквозь судьбы и сердца —  
Без начала, без конца. . .

Мое пенистое тело  
Пахнет ветром, ветром дня.  
«Миг» зовут меня. . .  
Разбросав привольно руки,  
Мир я обнимаю жадно,  
И гляжу в немом восторге  
Вдаль и ввысь перед собой!

Так, в распахнутой рубахе,  
Разбросав привольно руки, —  
Я не знаю, я не знаю,  
Где мой дом, а где чужбина,  
Я начало иль конец. . .

1917

Как только я встаю —  
 Я день бужу.  
 Я в мир необозримый выхожу,  
 Мчусь по полям,  
 По коридорам улиц!  
 Слух веселит мне красный трубный вой,  
 И гребень петуха — он мой,  
 И в бодром мире  
 Все уже проснулись.

Восьь — голуба, а дали желтоваты.  
 И свежесть, в сердце хлынув, гонит лень,  
 Пьянит меня, несет меня куда-то...  
 Я слышу, как, встречая новый день,  
 Собаки лают и мычат телята.  
 И я причастным к утру быть хочу:  
 Беззвучно лаю и мычу...

И вот иду в рассвет,  
 Равнина неоглядна.  
 И землю я обнюхиваю жадно,  
 А мир следит за мной,  
 А мир идет за мной —  
 С улыбкой солнечною,  
 С песней озорной.

1917(?)

О, кто вам рты залил клокочущою лавой,  
 Утесы древние, гранитная семья?  
 Кто вас передо мной расставил величаво?  
 Вы знаете ль меня, — вас вопрошаю я!

Кто вас вынашивал в мучениях, громады  
 Многоголовые, чьи в облаках венцы?  
 О, кто вам грудь давал? О, кто, скажите, в яды,  
 В безвыходность для вас обмакивал сосцы?

О, чье вы полчище? Что дремлете покорно?  
Кто путь вам преградил? Эй, север, юг, восток  
И запад, — слышите, кто вас, будя упорно,  
Не может пробудить, хотя б на краткий срок?

Вы, копий острия уставившие в тучи,  
Кто стан ваш, рыцари, усердно вылеплял?  
Кто ваши звенья в цепь скрепил рукой могучей  
И после вас обрек на гибельный обвал?

1917(?)

### 19. ОКУНЬ СЧАСТЬЯ ЗОЛОТОЙ

Лунной грустью,  
Лунной дремой,  
Тишину ведя с собой,  
К моему подкрался дому  
Росный вечер голубой.

Он возник в оконной раме,  
Дымно-синими цветами  
Затянул мое окно.

Как же свет оно пропустит?  
Кем, бредущим в тихой грусти,  
Будет найдено оно?

Кто же, кто за ним ютится,  
Тонкорукый, луннолицый,  
Околдован синью той? . .

Скорбь живет под этим кровом,  
За столом сидит сосновым,  
На полу сидит в углу,  
В голубую смотрит мглу.  
С тихим схожа рыболовом,  
Странной тешима мечтой,  
Скорбь, закинув руки в дали,

Как две удочки рыбацьи,  
Стережет — не приплывет ли  
Из бездонных вод печали  
Окунь счастья золотой. . .

1918

20

Ладоней мисочки уже полны до края  
Водой Днепра, и как чиста она!  
Лицо я лунной пеной омываю,  
И тканью светлую лежит на мне луна.

А тело свежести полно. И я немею.  
Мои желания как бы туман в пути.  
Пусть синь всего Днепра впитать я не сумею —  
Луну в душе хочу до дому донести.

А паруса вдали белы и словно в сети  
Хотят словить меня, но светел мрак ночной,  
И разорву я сети в лунном свете, —  
О, дайте руки мне скорей омыть луной!

1918

21

Приткнулась к берегу понурая хатенка.  
Задумчивый телок прибрел к воде — и вот  
Лоснится от воды, блестит губа теленка —  
Морщин на лбу Днепра никак он не сочтет.

И, опрокинувшись, спят мирно за селеньем  
Пустые лодочки — ртом в землю, вверх спиной.  
И листья к берегу пришли на омовенье,  
И спит скелет коня, заласканный волной. . .

Вот вспыхнула вода — рассвет зажегся летний,  
И остров вдалеке, как серый пузырек. . .  
Уходят лодочки. . . И на корме последней  
Садится у руля поющий ветерок.

1918

Как вырубленный лес, застыл пустой базар.  
 Стоят прилавки в ряд, безмолвию внимая.  
 Обьедки собраны — базара вечный дар, —  
 И с ветром под венец уходит тишь немая.

Вокруг лоснящихся приземистых колод,  
 Обшитых требухой, костями и мозгами,  
 Зевают длинно псы во весь свой синий рот  
 И сонно ловят мух, нацелившись глазами.

И сумасшедший прочь, босой, бредет от псов,  
 И головою в такт своим шагам качает.  
 Хватает камень вдруг и, лень переборов,  
 Печальных гонит коз из-под пустых топчанов,

И овощи забытые берет,  
 И молча набивает ими рот.

Подставив солнцу грудь, плетется меж колод.  
 Безумные глаза — прозрачно-голубые.  
 И вишни он сосет багровые, гнилые,  
 И косточками сам в лицо себе плюет.

1918

Буря мне внушала тайно: «В высях ждет тебя твой дом».  
 Семисвечники деревьев, серебрясь, клялись мне в том.  
 Звездною росой хранимый, под зеленым покрывалом,  
 Ждет меня в лесу очаг мой, — буря мне внушала.

Внял я буре и деревьям, всей душой поверив им.  
 Путь мой короток, но труден, — беспокойством я гоним.  
 Что в покое? Мне бы к небу, в синеву, с зарею алой!  
 Жди, очаг! Приду, приду я! — буря мне внушала...

Высь молчанием пугает, высь пугает немотой.  
 В утро бурное меня ты встретишь, дом мой голубой.



В вихре света заверчусь я, в урагане небывалом,  
С утренней росой сольюсь я, — буря мне внушала.

Буря мне внушала тайно: «В высях ждет тебя твой дом».  
Семисвечники деревьев, серебрясь, клялись мне в том.

1918

## 24. ПРЕДВЕЧЕРЬЕ

Простерты ветви, словно руки, к тучам,  
Они зеленым пламенем горят.  
Стоят дубы в молчании певучем,  
Благословляя золотой закат.

Лениво по дворам мычат коровы,  
Ворота сонно щурятся впотьмах,  
Лесные дали сумрачно-лиловы,  
И умер ветерок с листком в губах. . .

1918

## 25. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

(Фрагменты)

По неведомым просторам  
И дорогам, по которым  
Стонет ветер, мы вдвоем  
В ночь безлунную бредем.  
О верблюдов печальный мой,  
Тосковать я буду скоро:  
Ты один пойдешь домой  
И не будешь мне слугой! . .

Не видна во мгле тропа,  
И, едва вздымая ноги,  
Ты ступаешь невпопад  
По неведомой дороге.  
Ни воды, ни хлеба тут.  
Верный, славный мой верблюд,  
Долго ль мне еще идти?  
Завораживает нас  
Песнь твоих копыт в пути.

Нас чарует каждый шаг —  
Этих горных кряжей зной  
И заснеженный овраг,  
Что открылся предо мной. . .  
Схороню я горе там,  
С ним навек останусь сам. . .  
Мой верблюд, еще немного  
Будем вместе мы в дороге,  
Рядом я пойду с тобой,  
Не тревожа твой покой,  
А назад уйдешь один —  
Я тебе не господин.

---

Полюблю я ветер смелый,  
Обручусь я с вьюгой белой.  
Жгут ее уста, горя. . .  
Кружится снежинок стая,  
С ней и я кружусь, летая,  
Как листок календаря,  
Уношусь в седую вечность.  
И зову: — Ко мне навстречу! —  
И слились мы,  
И расстались. . .

. . . . .

От пьянящих жарких губ  
Я лечу снежинкой талой  
С тихой песней к тростнику,  
Задремавшему в снегу.  
Сколько нам пути осталось?  
Полюблю я ветер смелый,  
Обручусь я с вьюгой белой.  
Жгут ее уста, горя. . .

---

Всё, что видишь, сын песков,  
Я отдать тебе готов, —  
Я отдам тебе любое,  
Принимай, мой друг, верблюд!  
Скоро мы простимся тут  
И расстанемся с тобою. . .

О мой преданный верблюд,  
Пусть благословляют нас  
Эти дали и дороги!  
Гаснет день, еще немного —  
И пробьет последний час...

Видишь — лес, и, словно нити,  
Родники сверкают в нем? ..  
— Вы, свидетели былого,  
Дали белые, скажите:  
Кто здесь спит? Кто погребен?

. . . . .

Здесь, в заснеженной пустыне,  
Мертвый лес недвижно стынет  
И стоят, как изваянья,  
Горы в белом одеянье...

О мой друг, верблюд печальный,  
Нам дано в дороге дальней  
Лишь взглянуть  
На этот снег,  
Посмотреть на эти дали —  
Мы еще их не видали —  
И расстаться здесь навек.



О верблюд мой, с горных круч  
Здесь сползает, пенясь, ключ,  
И серебряные струи  
Песней ласковой чаруют,  
Как отшельника в пустыне.  
Ты привык к пескам и зною.  
Хочешь влаги —  
Вот росую  
Освежись,  
Хочешь солнца — только взглядом  
Высоту окинь — не падай!  
Скоро в путь пойдешь один...  
Всё печальней, всё напевней  
Здесь родник

Одно и то же  
Говорит уже столетья. . .  
Ты о чем, источник древний,  
Говоришь, чего желаешь?  
«Одного хочу, прохожий, —  
Течь всегда, не замерзая. . .»

---

О верблюд, твое молчанье  
Мне мучительно и страшно. . .  
На тебя смотрю, рыдая  
Пред разлукой. Ты свободен,  
Так в неведомые страны  
Уходи теперь. Да будет  
У тебя одно желанье —  
Вечно плыть, не уставая.  
Здесь в высотах, на просторе,  
Схороню я скорбь и горе,  
Сам останусь здесь навек. . .  
Полюблю я ветер смелый,  
Обручусь я с выюгой белой.  
Жгут ее уста, горя. . .

Мой верблюд, увы, как страшно  
Перед тяжкою утратой  
Мне с тобой вести беседы! . .  
Но за ночь скитаний наших  
Что мне дать тебе в награду?

О верблюд мой, в час разлуки  
Жадно тянутся к пустыне  
Окровавленные руки.  
Скорбно я спущусь в долины,  
Ты, уже свободный ныне,  
Поднимайся на вершины. . .

По просторам — вширь и вдаль, —  
Мой верблюд, ступай один —  
Больше ты мне не слуга,  
Я тебе не господин!

1918

Я раздаю себя, ликуя,  
 Часам заката, ночи, дня,  
 И, сам питаюсь им, хочу я,  
 Чтоб мир щедрей встречал меня.

Мой день огромный не скупится,  
 Всю землю одарить я рад,  
 Сияют судьбы, чувства, лица,  
 И сам я счастлив и богат.

Ко мне, ко мне! Я в тьме и свете,  
 Передо мною ширь дорог.  
 Тут солнце светит всей планете,  
 Тут весь мой мир, и черт, и бог.

В мое сегодня озорное  
 Я вас зову, меж вас делю  
 Всё бытие мое земное,  
 Я проклял вас, я вас люблю.

(1919)

Я — человек!  
 Я — смысл миров,  
 Я — сущность вечности самой.  
 Из камня, из земли,  
 Из дней и из ночей я сотворен.  
 Лицо я обращаю к небесам:  
 Весь мир — я сам! ..

Из далей голубых я сотворен,  
 Из ткани бытия,  
 Из всех времен.  
 Я сам — во времени,  
 И время — это я! ..

(1919)

Расту я в поле.  
 Развалив стерню,  
 Туманный день пугаю и гоню,  
 Как пугало пугает,  
 Гонит птицу.

Пчела, звеня,  
 Вокруг меня кружится, —  
 В доспехах медных,  
 С высохшим брюшком,  
 Затянутым узорным пояском.  
 Она над головой моей дрожит,  
 Жужжит, жужжит. . .

Несмелый ломкий луч —  
 Дар серенького дня —  
 Увяз в трясине туч  
 И не достиг меня.

(1919)

## 29. ВИНОГРАД

Тянет плечи виноград,  
 Он вплетен в извивы кос,  
 Виснут гроздьи из корзин,  
 Словно плети кос густых.  
 Дикой песни сходен лад  
 С шумом листьев, с треском лоз,  
 Очутился я один  
 Среди девушек босых.

Хватит сыпать через край,  
 Сок багровый наземь лить. . .  
 Ну-ка, мне в лицо швырни  
 Виноград босой ногой!  
 Выше платье поднимай —  
 Легче ягоды давить. . .

Ай да девушка! Взгляни:  
Пьяный сок течет рекой.

Парень, зноем истомлен,  
Лег, из тени не встает,  
Мир хмельной над ним кружит,  
Мысли вольные кружат.  
Вслед лукаво взглянет он,  
Если девушка пройдет...  
И по-девичьи пищит  
В чанах спелый виноград.

Бочки налиты вином,  
А корзины всё несут,  
К черным-исчерна кудрям  
Черный никнет виноград.  
Рвется ветер напролом,  
Завивает юбки в жгут,  
И девчонки вслед парням,  
Ошалелые, глядят.

Сок выходит из чанов,  
Хлещет буйная река...  
Крикнет девушка: «Горим!» —  
Все, смеясь, несутся к ней.  
Все сбегаются на зов —  
Изблизки, издалека,  
Кружит хмелем огненным  
Тех, кто тянет из горстей.

Соком вымазаны все,  
И румянец так расцвел!  
Гомон, смех... А сок течет  
По рукам и по ногам.  
И к раскрашенной красе  
Парни липнут роем пчел,  
Вмиг ко рту прилипнет рот,  
Руки тянутся к рукам.

Ветвь от тяжести трещит.  
Все орут, поют, кричат.

Парень с плеч корзину снял  
У подносицы своей.  
Та от радости пищит,  
Как под жомом виноград.  
Парень девку крепко сжал,  
И бока он щиплет ей.

Рвется девушка из рук,  
Может, помощь ей нужна?  
И подруги мчатся к ней,  
Только парня след простыл.  
И любая из подруг  
Вся дрожит, возбуждена  
Жадным бешенством парней,  
От избытка жарких сил.

Никнет сумрак голубой  
К влажной зелени кустов,  
И во тьме девичий рой  
Весь как спелый виноград.  
Обдает их ночь росой,  
Валит с ног любовный зов,  
Бродит в жилах сок густой,  
Бродит кровь, и бродит взгляд.

Всюду спелый виноград,  
Гроздья мнутся среди кос,  
Из больших корзин ползут, —  
Всё полно и всё пьяно.  
Дикой песни сходен лад  
С песней листьев, с треском лоз.  
Девушек, как лозы, гнут,  
Жмут всю ночь из них вино!

(1919)

Лес мне другом хорошим стал, —  
Тысячеголовый, стройный, живой.  
К нему иду я, он очень стар,  
Я глажу черные кудри его.



У друга река полна серебра,  
И волны, как листья, шумят вдалеке,  
И ночью, как только утихнут ветра,  
Он дочь отпускает купаться в реке.

Она не вернется — не страшно ему.  
Она убегает к реке, во тьму,  
На простор, что открыт с четырех сторон.

И не знает он, что я прячусь за тьмой.  
И верит он, что я — немой.  
Я — ветер, я — молод, — не знает он.

(1919)

### 81

Гроза и ветер пляшут на плечах  
Огромных скал. Над безднами во мраке,  
Как дикие лохматые собаки,  
Они несутся, воют и рычат.

Пронзает высоту их дикий вой,  
Дыхание их разгоняет тучи,  
От ритмов танца оседают кручи  
И время убегает с быстротой.

Трещат под ними горные хребты,  
Грохочут скалы, сталкиваясь лбами,  
И эхо отвечает голосами,  
Идущими из вечной темноты.

Спустившись в пропасть, где на дне уют,  
Они покой оттуда изгоняют,  
Горе горбатой голову срывают  
И мокрым снегом на нее плюют.

(1919)

Стою, молчу. . .  
 И палкой по́ ночи стучу,  
 И жду чего-то и хочу. . .  
 Дождь по крыше хлещет. . . Пусть!  
 Я стою себе, смеюсь. . .

Палкой бью слепой покой.  
 Вслушиваюсь чутко:  
 — Тише!  
 Туча там ползет по крыше. . .  
 Лезет в окна.  
 — Ну и пусть!  
 Я стою себе, смеюсь. . .

Бьет меня слепой покой.  
 Палкой бьет  
 И бьет рукой.  
 Смотрим мы в глаза друг другу,  
 Молча топчемся по кругу. . .  
 — Тише! . .  
 Ходит дождь по ржавой крыше!  
 Ходит, топчет. . .  
 — Ну и пусть!  
 Я стою себе, смеюсь. . .

(1919)

Чу. . . поют! Всё ближе, ближе. . .  
 Бубенцы звенят, рыдая. . .  
 Перепляс подков булыжный. . .  
 Версты. . . Полночь молодая.

Я со всеми — пляшут люди,  
 Пляшут ветры, ветлы, клены!  
 Я со всеми в этом гуде —  
 Оглушенный, ослепленный! . .

(1919)

### 34. ВСТАВАЙ, ЗАРЯ!

На низком встал пороге я  
И вскинул парус свой. . .  
Прощайте, дни убогие,  
И — здравствуй, мир живой!

Нас всюду встретят гавани,  
Есть всюду глубь и высь. . .  
Лети ж, кораблик, в плаванье,  
С причала оторвись!

Ты, домик-сиротиночка,  
Затекший плачем весь,  
Я был тобой лишь вымечтан,  
Я вовсе не жил здесь!

Вставай, заря, меня вести,  
Всех жаждущих пои!  
Нас ждут в высокой зависти  
Ровесники мои. . .

На низком встал пороге я  
И вскинул парус свой. . .  
Прощайте, дни убогие,  
И — здравствуй, мир живой!

1919

### 35. СИРЕНЬ

— Продай мне, девушка, сирень упругую! . .  
День занимается в венке из трав.  
Навстречу ветру я, на пристань струганую,  
По трапу зыбкому сбежал стремглав.

Земля росистая, селенье сонное. . .  
Найдется ль веточка и для меня?  
О берег плещется вода зеленая,  
Вода зеленая в свеченье дня.

— Ты голуба, сирень, и нежно-палева.  
Вот ветерок тебя к земле пригнул,  
И приласкал тебя, и тонким пальчиком  
Пахучий ворот твой он расстегнул.

— Продай мне, милая, продай мне, девушка!  
Вон пароход, гляди, дымит трубой.  
Ну, хочешь влезу я за ней на дерево?  
Я помогу тебе. . . Сирень. . . С тобой. . .

Сорви ту веточку, лукаво-нежную,  
Что на меня глядит, стройна, пряма. . .  
Так утро пахнет ли, сирень ли свежая,  
Иль небо чистое, иль. . . ты сама?

Нет, не туда глядишь! Я вижу синие,  
Искристо-синие твои глаза.  
Я испугал тебя? Тогда прости меня!  
Пойми: мне дальше так идти нельзя.

Здесь воздух утренний — бальзам сиреневый.  
Вон в челноке плывет по речке день. . .  
На серебро цветы скорей обменивай,  
Давай мне, девушка, твою сирень.

Вот в третий раз свистит труба высокая,  
Рождая гам кругом и суету. . .  
Бегу по берегу через осоку я,  
Сирени веточку держу во рту.

1919

### 36

Я не петляю, не кружу.  
Я в мир прямым путем вхожу.  
К далеким, легким берегам  
Заказан путь моим ногам.

Вот гребни гор. Об их бока  
Облокотились облака. . .  
Я гору взял, как скалолаз!  
Но далее не объемлет глаз.

Согнулся день, упал на грудь.  
Но бездорожье тянет в путь:  
Скала — для головы моей,  
Для ног — сухой ковыль степей.

Иду. Лечу. Помилуй бог!  
Откуда взялся здесь порог?  
Как нож в пирог, я в мир вхожу.  
Я не петляю, не кружу!

Мой день пришел, мой день уйдет.  
Но знаю я наверняка:  
Мой путь к вершинам гор ведет —  
И не нужны мне берега!

1919

37

К колючим головам остриженных полей  
Припали головы стреноженных коней.  
И пастухи кричат печально и протяжно  
Через леса и ширь лугов зелено-влажных.  
Речушку ветерок линует день и ночь:  
Вот стер, вот начертил, опять метнулся прочь,  
На камень бросился, сидящий словно жаба, —  
На нем вчера белье с утра стирала баба.  
Тот камень белый весь, с намыленной спиной.  
А вдалеке весло всё борется с волной. . .

1919

38

Хлыст солнца полоснул меня —  
И волдыри избороздили тело.  
Багровая колючая стерня. . .  
Никчемный сор семян зеленоватых. . .  
Коричневатых веток нагота. . .

Сойди с креста,  
Невызревшая песня,  
Клубком свернувшаяся в сердце!

Ступай по телу дня.  
По язвам дня  
Шагай напропалую —  
И свежей ветвью стань,  
Несущей весть живую. . .

1919

### 39. ГОСТЬ

Просит ветер меня: «Дай мне на ночь приют!» —  
И трепещущий лист предлагает в награду.  
Где мой дом? где тепло в мое сердце прольют,  
О мой гость, мне ночную принесший прохладу?

Ляг в ладони мои — чем постель не мягка? —  
И скажи, не видал ли ты, ветер бездомный,  
Улетевшего с легким листком голубка,  
С тем, что мне адресован вселенной огромной?

Ветер! Рощу с тобой мы в мечтах создадим —  
Будут там зеленеть молодые побеги!  
Голубок мой не стал ли тобою самим,  
Чтоб, листа не доставив, просить о ночлеге?

1919

### 40. ПРЕЛЮДИЯ

Набат с моей высокой гулкой башни —  
К тебе, скиталец златоглавый, солнце!  
Ты слышишь: разрезвонился на бурю  
Седой звонарь, неугомонный ветер.

Ко мне, ко мне, скитальцы сфер небесных,  
Все странники просторов запредельных,  
Пока ворот своих не запахнул закат!  
В пучины красные, в пожары солнц рассветных,  
Как утлую ладью, свое бросаю сердце.  
О страж ревнивый прадедовских склепов!  
Я не вернусь к полночным черным пляскам,  
К немym раденьям у могильных плит.

Заласканный неистойой весною,  
Швыряю голову ей под ноги я слепо,  
Ей отдаюсь я навсегда и весь.

Твой молот, солнце, —  
Громовой удар —  
Принять готова грудь, как наковальня,  
Жар накаленных топоров твоих  
Скорей обрушь  
На первобытный лес моей души.  
Круши!  
На правой стороне дороги — черный,  
На паука похожий, катафалк  
Докряхтывает свой унылый путь.  
Вой, вой над трупом ковыляющим,  
Печальный  
Звон погребальный!  
Сегодня радости моей ты не ограбишь,  
Тут, слева — солнце!

Не карауль меня сегодня, город!  
Не ставь рогаток мне на перекрестках,  
Капканы переулков убери!  
Я никуда и сам  
Не убегу с твоих асфальтов звонких.  
Твой шум, твой гул, твой каменный прибой  
Я всасываю жадно каждой порой —  
И эту радость никуда теперь  
Не унесу, не расплещу ни капли...  
Сюда, прохожие!  
Сегодня с вами  
Я в радости весенней захлебнусь!  
Набат с моей высокой гулкой башни  
К тебе, скиталец златоглавый, солнце!  
Ты слышишь: растрезвонился на бурю  
Седой звонарь, неугомонный ветер.

1919

#### 41. БЕЛЫЕ КОЗЫ

«Я только до ворот...  
Я только до двери...  
Я и ключа в двери не буду трогать!..»

В слепую ткань, под розовый мой ноготь,  
В бездонный мой зрачок с его кромешной тьмой,  
В сетчатку глаза, налитую полднем,  
И в сердце мне внедрясь и переполнив  
Незримым ядом каждый атом мой,  
Тончайший волосок и крапинку под кожей,  
Ты, цепью ласк своих заполоня,  
Как исступленная любовница, меня  
Заманиваешь, смерть, к себе на ложе...

О, пощади меня, смерть, до поры...  
Страшной над сердцем не висни угрозой!  
Ждут меня, кличут со склона горы  
Белые, белые козы...

Юноше ль в круг твой замкнуться велишь,  
Мальчика ль цепью удушишь зловещей?  
В срок свой и сам возвращусь к тебе, лишь  
Черным крылом своим, смерть, протрепещешь...

Рвусь я, и мчусь, и лечу от нее,  
Дальше и дальше... и через ворота...  
Слева — ветра,  
А направо — пустоты...  
Прямо, лишь прямо — спасенье мое.

Смерть, не гонись за мной, смерть, по пятам!  
Взмах лишь крыла — и вернусь к тебе сам...  
Смерть! Не гаси быстролетного дня.  
Смертной над сердцем не висни угрозой...  
Белые козы кличут меня,  
Белые козы...

1919



Какой сегодня день! Какой огромный! ..  
 И брызжет песня из клубка тугого,  
 И звонок день, и даль ясна,  
 Коснулась губ моих весна.

Я только-только вышел из ковчега!  
 Мне снится мир —  
 Дитя,  
 С большущими печальными глазами,  
 С коленями открытыми. . .

Во мне поет заря большого утра.

1919

Радио — в мир, радиовесть!  
 Московской царь-пушки радиорёв! ..  
 От порога к порогу, из веси в весь,  
 От моря к морю.

Над морем крови, без звона бронзы, —  
 Камнем из кратера — громом грозным, —

Алая телеграмма, своды рушь!  
 Лети, радиорык!  
 Сверкайте, десять заповедей душ!

«На небо — алого шелка заплаты,  
 И провода — рвать,  
 И залепить бумагой циферблаты!»

От моря к морю,  
 От порога к порогу, из веси в весь, —  
 Московской царь-пушки радиорёв:  
 Радио — в мир, радиовесть.

1920

*Варшава*

#### 44. ПУТНИКИ

Проносится краса лесов и сёл прибрежных.  
Чьих поножовщин звон ты слышал издали?  
Прошло ли? Кончилось ли в даях безмятежных?  
Чьи в поле черепа преданьем заросли?

Всё заросло давно не кошенной, вихрастой,  
Высокой зеленью, кладбищенской травой.  
...Житомир, Киевщина, Знаменка и Фастов,  
Прощай! И только свист ответит верстовой.

И поезда кричат в скудеющую осень,  
И старики в глазах, заплаканных навек,  
Лицо пылающей Украины уносят  
На север, к берегам больших сибирских рек.

Ветрами всех широт обуглены их лица,  
Им сотни тысяч верст знакомы позади.  
Всмотрись же в путников, червонная столица,  
Дай, Киев, руку им и песней проводи!

1920

#### 45. БЕРЛИН

Как мерзлый картофель, торчит сквозь истлевшие тряпки  
Исчахшая грудь с голубыми кореньями жил.  
«Что? Что здесь меняют?.. А детской рубашки и шапки  
Не надо ли?.. Нет?.. Белокурый... Вчера еще жил...»

Чесоточный пес, как на патуку, падок на падаль,  
И треснувший череп седыми червями пророс...  
«Что? Что здесь меняют? Хлеб? Сахар?.. А шапки  
не надо ль?..»  
Пять псинных оскалов вонзились в заржавленный мозг...

Меняют. Торгуют. Выносят из дома охапки...  
Хохочут! Рыдают! Безумье и смех — пополам!..  
И кружатся птицы, как черные детские шапки,  
И льнут они к ветру, к его золотым волосам...

1920  
Берлин

Бог дал тебе детей и руки золотые.  
 Вот лупу черную подносишь ты к глазам  
 И, на жену взглянув, как на часы стенные,  
 Заводишь снова счет секундам и годам.

О старый часовщик! Заплата на заплате!  
 Как стрелки ржавые, усы твои торчат  
 На выцветшем лице, на сером циферблате...  
 Но освещает всё живой, искристый взгляд.

И квохчет ласково твоя «она» среди хлама,  
 И тихо, не спеша освобождает грудь:  
 Ребенок на полу зовет протяжно: «Мама!»

Он девять месяцев прокладывал дорогу  
 В горячем животе... Ни вскрикнуть,  
 ни вздохнуть!  
 А нынче, «как часы, он ходит», слава богу...

1920

Солдат, как жито, как колосья, косят,  
 Их много, как бурьяна на задворках.  
 Сюда, солдатки! Кто-нибудь да бросит  
 На пропитанье вам сухую корку.

Витрина жиром заплывла, намокла.  
 Худые дети рядом на панели.  
 Зубами пуль дробите эти стекла,  
 Сердца, ликуйте гимнами шрапнели.

Святые в тюрьмах, голь в ночлежках темных,  
 Стегайте жен несчастных и бездомных,  
 Пускай свои шарманки крутят бойко.

Куда загонит ночевать вас голод?  
 Днем нищенство, а ночью мрак да холод.  
 Днем — родина, а по ночам — помойка.

1920

## 48. ЛУЖАЙКА

В глубины осени глядит рогатый скот,  
Сухие стебли трав перетирая вяло.  
Он влажность выдыхов лужайке отдает,  
Где звонкая коса недавно погуляла.

Ленивый ветерок лужайку посетит,  
Отыщет жухлый лист и вежливо подкиннет,  
Круженьем над землей соломинку почтит  
И дальше двинет. . .

Цепочкой лужицы округлые легли,  
Как серебро монет, соединенных нитью.  
Над ними в сумерках курлычут журавли —  
Ватага странников, готовая к отбытью.

Напутствует детей перед дорогой мать,  
Тропами даль исчерчена глухая.  
Переползает воз груженный через гать,  
А встречный порожнем несется, громохвая.

Я листья желтые опять начну считать,  
Домой шагая. . .

1920

## 49

От моря Черного до Вислы, по равнинам,  
Прочерченная мной, чернеет борозда.  
Вам нужен паспорт мой, — вот он — в груди  
рубином  
Горящая звезда!

Вы, в гипс одетые охранники! Мятежный,  
Шагаю мимо вас я с гордой головой.  
Нет, сердцу моему не нужен галстук нежный,  
На нем победно бант багреет огневой!

Во всех краях мой лик блуждает, полыхая,  
И вызов головы, и сердца гневный зов.

Ну, обыщи меня, плешивых стражей стая, —  
Мрак Вавилонии на дне моих зрачков!

Россия! На горе зеленой свет нетленный!  
Готова жребий ты, назначенный судьбой,  
В свой судный день принять во имя всей  
вселенной, —  
Поэт-скиталец, я неразлучим с тобой!

1920

50

Строем призрачным деревья высятся по берегам.  
Словно тихая молитва, льнет земля к моим ногам.  
Моего благословенья просят близи, жаждут дали.  
Ветерок прохладу сеет, а пожнет ее — едва ли.  
Выси пенятся, как поле, урожай бураны жнут...  
И во всех краях под солнцем мою песню люди ждут.

(1921)

51

Бросайте меня от сиянья к сиянью!  
Вот вспенилось небо пшеницею дня...  
К рождению от радостной тайны слиянья  
И выше, о бури, несите меня!

Разлито мое босоногое солнце —  
Багровый язык в голубом бубенце...  
Какой своевольной сегодня проснется  
Заря в синестенном отцовском дворце!

Зовет меня солнце. Так сердце — губам  
Зари своевольной, а губы отдам  
Сердцам опаляющих звезд и планетам.

Лечу я вослед за слепительным светом...  
Не хмурься, отец! Отпусти меня, мать!  
Я к солнцу лечу. Не хочу опоздать!

1921

## 52. НА ЗАКАТЕ

Как паруса, истаяли желанья,  
И к ветлам на ночлег стучится ветерок.  
Подняв серебряного месяца рожок,  
Колдуют сумерки молчаньем.

Вот он, причал. Уткнусь, подобно углу челну,  
Сложу, как весла, легких рук тростинки  
И золотым пескам шепну:  
«Подвиньтесь для еще одной песчинки! . . .»

1921

## 53

Дайте мне напиться, камни древней славы!  
Вот моя рука вам, гибкая, как плеть.  
Я не потревожу вас, камни. Сквозь века вам  
Песни бессловесные телом буду петь.

Принимай, безмолвье, молодого гостя!  
За порогом времени мир притих во мгле. . .  
Я найду Адамовы обветренные кости,  
Я их разбросаю по живой земле.

Пересохло горло, в глазах туман кровавый,  
Жарко бредят губы ледяной водой. . .  
Дайте мне напиться, камни древней славы!  
Я вернусь к вам, камни, с песней молодой.

(1922)

## 54

Мне кажется, что я в пылающем лесу.  
Летят деревья в едкой дымной горечи. . .

Горе мне!

Простая колыбель моя —  
Язык в багровом зеве выси знойной.  
Летят деревья — дерево-огни. . .

Мама!

Свое лицо ко мне ты наклони.

О, мама!

Сделай так, чтоб не было мне больно! ..

За мной крадутся все деревья следом.

Летят их листья — рой гудящих ос.

А лес — горит! Покой ему неведом.

Один, один иду я, наг и бос. . .

Взбесившийся огонь не трогает меня.

Трещат, пузырятся лишь ноги от огня.

О, мама!

Сделай так, чтоб не было мне больно! ..

Я на руках твоих. Так пусть клубится чад!

Ты колыбель моя, нас нет родней на свете. . .

Но лопаются пальцы и трещат,

И тащит, тащит за волосы ветер.

(1922)

55

*Л. Резнику*

.. И ночью ветреной,  
Себе совсем чужой,  
Я встану на горбатой мостовой —  
Бездомный гость,  
Обломок бурелома —  
И заблудившемуся  
Ветвью укажу  
Дорогу к дому. . .

(1922)

56

Что делать сердцу в изъязвленном доме,  
Где тишь да гладь, где дымный каганец  
Коптит в углу да мышь скребется, — кроме  
Как мерить скуку из конца в конец?

Гей, деды крепкие! Всем вашим поколеньем  
Вставайте из могил! Не испросив судьбы,  
Мы по векам сбежим, как по ступеням,  
В далекий мир отваги и борьбы.

Что делать сердцу в глиняном квадрате,  
Как не таскать тоску от шкафа до кровати,  
Ложиться спать, за стол садиться с ней,

Нести ее за пазухой до гроба? ..  
Один мой глаз как камень мертв, а оба —  
Рек Вавилонских горше и страшней.

(1922)

57

Жалок трон попугая, обтянутый в бархат линиялый,  
На плече у шарманщика... В горле не песня, а ком...  
Выключь, выключь конвертик, зеленый, сиреневый, алый,  
С мандрагоровым корнем или с жестяным  
перстеньком! ..

Что ты вытянешь мне? Путешествие? Каторгу? Счастье?  
Я пленен и заранее предугадать не могу...  
Деревянный корабль снаряжается в плаванье, снасти  
Убираются, сердце безумствует на берегу...

Ночь меня обнимает, и вещая птица пророчит...  
Ночь меня обнимает... Но что же, но что ж из того,  
Что объятиям женским подобны объятия ночи,  
Что по-женски бескрайно и жадно ее торжество!

С головы и до пят охлестнув меня пламенем летним,  
Ты оставишь меня в ту минуту, когда я горю...  
Но поверь! — я, как прежде, проснусь  
восемнадцатилетним!  
Восемнадцатилетним, как прежде, я встречу зарю! ..



Жалок трон попугая, обтянутый в бархат линиялый,  
На плече у шарманщика... В горле не песня, а ком...  
Выключь, выключь конвертик, зеленый, сиреневый, алый,  
С мандрагоровым корнем или с жестяным  
перстеньком!..

1922

58

Да, есть еще страна бурливого покоя.  
Там ждут меня в горах поющие суда.  
Решительно войду я в судно головное  
И прикажу: «В поход! На рифы! Все сюда!»

Дней — как речных мостов. Я сыт по горло днями.  
А ночи? Сколько их еще осталось мне?  
Я их перешагну и, разветвись корнями,  
Исчезну, растворюсь в бездонной глубине.

Каюта — сердце. Ключ я пропил, не жалея.  
Чтоб ночь моя прошла, я пел в чужих сердцах.  
Избит, истерзан я. Смотрите же скорее —  
Всё тело в ссадинах, подтеках и рубцах.

1922

59

Как вдовьи выплаканые глаза,  
Краснеющие окна поездов.  
В них — тень моей печальной головы...  
А на слепом белке заснеженного поля —  
Нерезкий отблеск поезда ночного,  
Промчавшегося...

Гудок случайный, словно долг бесспорный,  
Я взыскиваю властно с тишины.  
Жду свечек хуторов... В глухих пещерах сердца  
Подтаивает грусти сладкий снег.

Вон там — столбов кресты, а вот село,  
И снова белизна без четких меток —  
Белым-бело.  
И всякий раз по-новому светло.

Спасибо, день, спасибо, ночь,  
За угол в поезде, за место на скамье,  
За всё, что взыскиваю с тишины!

Как вдовьи выплаканные глаза,  
Краснеющие окна поездов.

1922  
*Варшава*

60

Как по команде, в ряд построены вагоны  
В немецких кителях. Закрыты глухо окна.  
Мигают фонари в печальной мгле перрона.  
Я вышибить хочу блистающие стекла!

Полпятого. Озноб. И ужас безобразный...  
И паровик жует немой простор в затишье.  
Вагоны сытые, раскройтесь — вот приказ мой!  
А вы, людишки, — вон, на крашенные крыши!

Пойду к тебе пешком, о русская граница!  
Вот стая голубей летит ко мне с Востока.  
Вернитесь, голуби, — на крышах пламя злится,  
Я вышиб головой блистающие стекла...

1922  
*Варшава*

61

Горб на твоей душе, горб на спине, —  
О часовщик, да ты четырехплечий!  
Ты пылью времени изъеден, искалечен,  
Замшелым камнем кажешься ты мне.

Далек от торжища и суеты,  
Сквозь трещины винтов и шестеренок  
Секунды и века вдыхаешь ты!

Вникая в тайны чисел и времен,  
Над черной лупою, остер и тонок,  
Твой глаз судьбой людей заморожен...

Мои часы — о как точны они...  
О, словно зубы, дни мои крошатся!  
Часы идут. Горбун, их не чини!

1922  
Варшава

## 62—66. НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

### 1

В светильниках дрожит огонь. Венки и блеск регалий...  
И судьбы. Лотереи войн их вывели в тираж.  
Оставь могилы темный склеп! Ты слышишь — прозвучали  
Призывы труб — и конь твой ждет, когда ты шпоры  
дашь.

С мундира пыль скорей стряхни, надвинь на лоб  
фуражку.  
Винтовку в руки — и скачи, гость на чужом пиру!  
Нет ног? — Какой пустяк! Нет рук? — Пожму  
и деревяшку.  
Всё в этом ярком мире — прах. Играй свою игру!

Судьба людская, ты — зеро иль проигрыш в рулетку.  
В припадках бьются города, и жадность их трясет.  
И реют люстры над толпой, себе немилый...

Победа! — «Марсельезы» гром, взлетают вверх каскетки.  
Победа! — Ленты и венки. Вокруг шумит народ.  
Победа! — Что же ты, солдат, рыдаешь из могилы?

Знамена, рейте. Вот она, расплата, —  
 Шальные ветры катят наугад  
 Фуражку неизвестного солдата,  
 И швы земли гноятся и зудят.

Отечество тебе последней ложью  
 И надруганьем отдает салют.  
 Гремит «ура!». Легли цветы к подножью...  
 И монументы пышные встают.

Но площадей шершавые ладони  
 Целует сапогами новый взвод,  
 Танцюя, топчут бронзовые кони

Детей и взбунтовавшийся народ.  
 И смерть — суббота палачей на троне —  
 По площади Согласия течет...

Встал над могилой брата дуб огромный,  
 В дупле гнездится древняя сова,  
 Она не хочет старости бездомной,  
 Ей нужен мир. Она еще жива.

Тяжелая, как дьякон на амвоне,  
 Она тоскует ночи напролет.  
 Рыдай, сова. Ты слышишь? Ветер стонет.  
 И скука, словно шерсть овцы, растет.

О руки, что убийство освятило,  
 Воздеть вас к небу не хватает силы.  
 Как мне послать вас за покоем в сад?

Ночами вас зовут к ответу тени,  
 То голос крови, голос поколений:  
 «О Каин, Каин, где твой старший брат?..»

О руки, терпеливейшие руки,  
Протянутые через даль времен,  
Как сломанные ветви. Вам за муки  
Дарят шелка изодранных знамен.

Забудем же военные науки,  
Пускай гниет величие корон  
И жир господ, тучнееющих от скуки.  
О, жажда пашен, будней мирный сон...

Как серафимов лысины, над нами  
Соборы в небо светят куполами,  
И за кресты цепляет синева.

Вон бурлаки, в отрепьях и заплатках,  
С натугой тащат тяжесть барж брюхатых,  
Едва плетутся, — в чем душа жива...

Кварталы проститутками набиты.  
Больных и нищих — что в подполье крыс.  
И бродит ненависть, как вековой напиток,  
И кулаки, как вопли, рвутся ввысь.

О вы, кто в рабстве с самой колыбели,  
О вы, кого сжигали на кострах, —  
Звоните в колокол, дни мщенья приспели.  
Громите всё, громите в пыль и прах.

Кто усмирит безумье урагана?  
Кто успокоит ярость океана?  
Кто смерть пригонит на последний суд?..

И поколения пьют, как водку, пламя,  
А на закуску пушки с крейсерами,  
От жадности захлебываясь, жрут.

1922  
Париж

## 67. МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Ты крепко спишь, солдат. И ромб огней танцует.  
Проигран в грохоте военных лотерей,  
Ты спишь на площади. И кажется, к лицу ей  
Венки, и черный креп, и свечи матерей.

Ты крепко спишь, никто, обрубок бранной славы,  
Спишь, безымянный труп с полей Шарлеруа,  
И снится площадям: безрукий и безглавый,  
Ты вылезешь на свет, чтобы сказать: «Пора!»

Судьба запряжена в неведомые бури,  
Несутся города за нею в дождь и мрак,  
Исполосованы ее бичом, в сумбуре  
Соборов и витрин, асфальтов и клоак.

Встань, безымянный! В путь! Мильоны безработных  
Колоннами прошли и сдвоили ряды.  
Команда — по гробам! В карьер! И вскачь!

И вот в них

Труба врезается, как дикий вой нужды.

Пусть башни выбегут с пожарами во ртах,  
С гербами городов на рухнувших оплечьях.  
Гни их, огонь, качай, — и, пепел обрыдав,  
Взвиваясь лентами, развалины калечь их!

То «Марсельеза»! Встань! В пустоты костных впадин,  
В истлевшие глаза, чтобы не мог ты спать,  
Весь разноцветный мир, тревожен и наряжен,  
Заплещется опять, заплещется опять.

Ты крепко спишь, солдат, обрубок бранной славы,  
Спишь, безымянный труп с полей Шарлеруа,  
И снится площадям: безрукий и безглавый,  
Ты вылезешь на свет, чтобы сказать: «Пора!»

1922  
Париж

Радость птицы — свобода, радость крыльев — полет,  
Кто ответит, зачем и куда он зовет? ..

С криком боли и гнева, с криком близкой беды  
Чайка села на камень у бурливой воды.

А над морем — восхода разноцветный наряд,  
Чайки, словно крылатые рыбы, парят.

Море пеной покрыто; миг рожденья велик;  
Радость утра, как знамя, красит солнечный лик.

А верблюды идут. Берег шерстью пропах,  
Дни хлеб-солью лежат на мохнатых горбах.

Чайка камушки греет, чайка хочет птенца,  
Заклинает и плачет она без конца!

Поднимайтесь же, камни. Улетим навсегда!  
Кто мне скажет, зачем? Кто ответит, куда? ..

1922

## 69. КАНТАРА

Поколений ушедших труха в сизой плесени спит,  
Словно время в глухих письменах, непрочтенных доныне.  
Сфинкс — незрячий гигант — на коленях, в бесплодной  
пустыне  
Охраняет, как страж, золотые горбы пирамид.

Древний медленный Нил в полусон, в полубред погружен.  
Лязг мечей ему чудится, хрипло о крови кричащих,  
И шаги запоздалые в шепчущих пальмовых чашах...  
Кто же, кто же, о Нил, разгадает твой призрачный сон?

Корабли у причалов качает прилив,  
В криках труб корабельных — сверкающий красный  
призыв,  
И свобода сквозь плиты травой молодой прорастает.

Сняты рыжие горы мне, петли кремнистых дорог,  
Обдувающий сильных верблюдов сухой ветерок. . .  
Кто же, кто же мне сон мой, о мир молодой, разгадает?

1922  
Каир

70

Слезливый зябкий дождь на катафалк косится,  
А катафалк пустой печальной мглой одет.  
Мертвы гробовщиков бесчувственные лица,  
Глаза глядят в листы зачитанных газет.

Свисают корни ног, как в черный зев могилы.  
Могильщики молчат, понуры, как всегда,  
Незваны в этот мир, непрошены сюда.  
И лошади бредут, понуры и унылы.

Навстречу — юноши. У них, как быть должно,  
На утренних устах — улыбка молодая.  
Кому куда идти — не всё ли им равно?

Крадется катафалк, в тени свой стыд скрывая.  
Цилиндры черные как черные клыки. . .  
В газеты сумерек глядят гробовщики.

1922

### 71—72. ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

1

А ты? Ничья? Ни с теми? Ни с другими?  
Кто сможет выстонать такую одинокость?  
И катятся псалмы, куплетики и гимны  
К тебе, в заоблачье взметающийся остов! . .

Посланцы гроз тебя не покорили,  
Покой облек в сырой туманный мох;  
Повиснуть на тебе хочу, как мельничные крылья,  
О башня Эйфеля, оговоренный бог!



Кто, тучи разметав, тропу к тебе проложит?  
Огрызком солнечным заря, качаясь, стынет...  
Где голова твоя, печальный великан?

Мильон шагов спешит с дорог и бездорожий —  
Но нету им путей к заоблачным пустыням...  
Так утешай себя, вонзаясь в ураган!..

2

Я в голове твоей застрял угрюмой мыслью,  
Четвероплеч, как ты, горбатая неясить;  
Плечистый мир внизу! И кто, скажи, осмыслит  
Случайность всех начал и всех концов неясность?

Вот так, закутавшись в туманные перкали,  
В овечьей шерсти туч торча над морем кровель,  
Ты дни свои влачишь в унынье и в печали,  
Заблудший, сумрачный, плененный Мефистофель!

Вот город — ткач-паук, а вот — скопленья мух,  
Вот мухи мрут, жужжа, в мушиной катастрофе;  
Кто пойман? Кто ловец? И кем улов исчислен?..

О вознесенный одинокий дух,  
О сумрачный заблудший Мефистофель,  
Лишь я в мозгу твоём застрял угрюмой мыслью!..

1922

**73—74. К ПРОСТЫМ ГРУЗЧИКАМ**

1

Прекрасны грузчики с затылками из меди,  
С мускулатурою из бронзы голубой, —  
Они сжигают рты огнем пахучей снеди  
И вместе с лошадьми бредут на водопой.

О вас, изъеденных могучей солью моря  
И стянутых кольцом канатов и пружин,

Изнемогающих под тяжким грузом горя,  
Распятых на крестах взбесившихся машин,

О вас — моя мечта! Над городом больные  
Клубятся сумерки, качаясь и дрожа, —  
И вот туда, в моря, в просторы голубые  
Летит моя мечта с шестого этажа.

О, вьющаяся медь кудрей и бород пылких,  
О, мамонтовых спин невиданный размах!  
Вы солнце нянчите на каменных затылках,  
Вы землю держите на бронзовых плечах.

2

Последний скрип телег, последний вздох коней,  
И — до зари базар охвачен тишиною;  
Пустая темнота, как судно без огней,  
Вплывает в улицы, уставшие от зноя.

Шагает грузчик там — веревки за спиной...  
На лбу горячий пот прохлады осушила,  
Он мышцы щупает, он дышит каждой жилой:  
«Хороший был денек!..» Ложится мрак ночной,

И никнет тишина... Приятно на прохладе.  
Под рваным картузом — всклокоченные пряди,  
Как черная печать, картуз на голове;

Он щиплет теплые куски ржаного хлеба,  
Жует и пристально глядит в ночное небо,  
Где пыль субботних звезд в глубокой синеве.

1922—1923  
Варшава

75

Благослови меня на бездорожья,  
На солнечное бытие и на страданья,  
Неясен полдень мой, и всё же  
Как четок мир и как светлы желанья!

Запели волны, штормом налетели,  
Эх, стать бы мне таким, как песня, —  
Моим желаньям тесно в теле,  
Как в побережьях океану тесно.

А волны всё проходят мимо,  
Секунды вслед летят неумолимо,  
И ничего еще не сделал я.

Огромнен мир. На новые рожденья,  
На бездорожья и на восхожденья  
Благослови, о полдень бытия.

1923

76

Кого, тоскуя, крылья мельниц ждут?  
К кому простерты житные ладони?  
Скучают руки, пестуя нужду.  
Как радость молотить тому, кто обездолен?

Кто гонит нищих звезды собирать,  
Упавшие, как спелые колосья?  
Идет под красным небом молодая рать  
С ее напором, жадностью и злостью...

Бунтующая глина!.. Дремлет даль дорог.  
Протягиваются ладони в нетерпенье.  
Спешат — один, другой, — путь каждого суров...

О, радости снопы! Цветущие мгновенья!  
Ждут зерен жернова... И, строя в Завтра мост,  
Хлеб ныне будем молотить из звезд!

Пусть путь не прост!  
Из тела рвутся мышцы, кости —  
Неудержим желаний рост.

1923

Передайте ваш день облакам, как привет с кораблей  
 потонувших.  
 Догорает закат. В золотую линейку бегут провода.  
 Голова — словно глобус, с морями, с рельефами суши,  
 Только сердце — как гавань, в которую не заплывают  
 суда.

С воплем ужаса мчатся столицы, к своей устремясь  
 катастрофе,  
 И скользят по начищенным кровью и золотом в лоск  
 плоскостям.  
 Вы — гроба, начиненные тленом семидесяти философий,  
 Вы — скелеты во фраках, но плотью уже не облечься  
 костям.

Озираясь, бежит человек, и во взгляде безумие блещет, —  
 Так собака с куском требухи от мясных убегает ларей.  
 Где же ты, попугай, экзотический, косноязыкий, но вещный?  
 По конвертику счастья загробного всем им раздай  
 поскорей!

Передайте ваш день облакам, как привет с кораблей  
 потонувших.  
 Догорает закат. В золотую линейку бегут провода.  
 Голова — словно глобус, с морями, с рельефами суши,  
 Только сердце — как гавань, в которую не заплывают  
 суда.

1923

Дороги на́ ноги надеты, словно лыжи,  
 По взгорьям и лугам они легко скользят,  
 А над землю — звезд янтарный виноград,  
 К расширенным зрачкам он ближе, ближе, ближе!

Кто снимет с ног моих дорог созревших тяжесть,  
 Когда, закончив путь, я отдохнуть отважусь?  
 Немало верст прошел я от начала дней,  
 Но нет конца пути, и дали всё длинней!

Вот мой родимый дом, годов голодных повесть,  
Вот улица моя, как с рельс сошедший поезд,  
Халупы жалкие, осевшие плетни!

Задумчивая мгла, шум тополей тоскливых.  
Но тает ночь души, живу в иных призывах,  
Пусть плачут обо мне утраченные дни!

1923

Польша

## 79. ГОЛОДНЫЙ ПОХОД

### 1

Как шапки, на улицы крыши надеты.  
«Хлеба, хлеба!» — знамена кричат.  
Горящие буквы срывая, ветры  
Швыряют их, городу ими грозят.

Шагов не сдержат. . . Лошади встречные  
Встают на дыбы. . . Путь на углах  
Ломается, новой тревогой отмечен.  
И грозны шаги! Как приказ, каждый шаг.

Им лавки внимают, дрожа. Тревога  
Одни закрыла уже на засов,  
Другие прикрылись именем бога —  
В шагах им слышится скрежет зубов. . .

Из улицы в улицу! Грозная лава  
Клокочет. Никто не прячет лица.  
Врываются в оружейные лавки:  
«Клянитесь! Клянитесь идти до конца!»

### 2

Ломаются, стонут стекла. . . Нужен  
Хлеб! . . И уж кто-то сраженный лежит. . .  
И каждый кулак окован оружием,  
И всадник сраженного сторожит.

Улица кашляет пулями, оловом,  
И припадают люди к земле.  
Бегут от погони. Прячут головы.  
А сабли, сверкая, свищут всё злей.

Красное с черным, черное с красным:  
Знамя упало,  
Знамя в грязи!  
Кто-то зовет, презирая опасность,  
Кто-то хрипит,  
Кто-то грозит.

Смерть изо ртов!  
Со лбов кровь!  
А над мятежом бесстрастное небо.  
И в каждом взгляде тревожная дробь:  
«Мы хлеба хотим! Мы хотим хлеба!»

1923  
Варшава

80

Сегодня ночью,  
Сегодня ночью  
За радостной песней  
Вдаль, в никуда  
Ушли поезда,  
Ушли поезда. . .

В кровавое поле  
Уводит шлях.  
Косят, молотят  
Хлеб на полях.  
Чистят скребницей  
Мир молодой.  
Радость рождается  
Скирда за скирдой.  
Радость растет —  
За скирдою скирда. . .

За радостной песней  
Ушли поезда —  
Вдаль, в никуда,  
Не оставив следа.

Ушел последний,  
Рева и воя,  
А первый вернулся  
С песнями боя —  
Сегодня ночью,  
Сегодня ночью! . .

Возьми мое сердце, ветер!  
В ночи  
Последним поездом  
Вдаль умчи!  
Взбегай на крыши,  
Взлетай с площадей,  
Взметайся выше,  
Глашатай людей. . .  
Ни ливня лавина,  
Ни дробный град  
Землю к расстрелу  
Не приговорят.  
И люди останутся зреть,  
И зверье. . .  
На шею, ветер,  
Сердце мое  
Повесь, точно колокол.  
В час ночной  
Прыгай по крышам,  
Звони и пой!  
Последний поезд  
Рискни догнать. . .  
К серебряным рельсам  
Пришла моя мать, —  
Но где-то вдали,  
Пары распустив,  
Смеется сверкающий  
Локомотив

Сегодня ночью,  
Сегодня ночью! . .

Эй вы, города!  
Всё вам — чем богат:  
И душу, и бога,  
И сердца набат.  
Бросайтесь, берите!  
При свете дня  
На белом снегу  
Освежьте меня  
И мною насытитесь. . .  
Пустой состав  
Притащил паровоз, —  
Охрип, устал,  
Ничего не привез  
Сегодня ночью,  
Сегодня ночью! . .

Сегодня ночью,  
Сегодня ночью  
Испуганный мир  
Видел воочью,  
Как поезд кровью  
Приветствовал нас:  
— Слушайте, люди,  
Призыв и приказ!  
Берите пилы,  
Идите пилить.  
Идите пилить —  
Землю делить!  
Земля покрыта  
Коричневой цвелью.  
Добудьте весну  
Из подземелья!  
Землю пилите  
Скорей на куски.  
В ход зубы пустите  
И кулаки.  
Добудьте весну —  
Разом, все вместе! —



С корнем, с гнездом,  
С материнским местом.  
Кромсайте ее,  
Рубите, режьте,  
И сок ее пейте,  
И тело ешьте!  
Глядите:  
В огне  
Золотая скирда,  
Бесплодна высь,  
Ядовита вода. . .  
Берите же пилы,  
Идите пилить.  
Идите пилить —  
Землю делить!  
Бегите!  
Набросьтесь с пяти сторон!  
Мир изранен, избит, изъязвлен  
Сегодня ночью,  
Сегодня ночью. . .

1923

Берлин

## 81—85. П А Р И Ж С К И Е У Л И Ц Ы

### 1

Земля вздыхает. В купола и трубы  
Уткнись, туман, и кровли опьяни:  
Над ними, как ощеренные зубы,  
Парижские кровавые огни.

О, челюсти нужды и голоданий,  
О, безутешный плач рассветных ланей!  
Твою печаль во мраке узнаю,  
Несу ее в душе, как смерть свою.

Ночной Париж, холодные ночлеги,  
И сердце на расхлябанной телеге,  
Многоэтажных алчностей прилив!

Лакай абсент и до безумья пьянствуй,  
Среди манящих звезд бесцельно странствуй:  
Ручей иссяк, тоски не утолив!

2

Булыжник говорит с поэтом пришлым,  
Как душно небесам, как зной свинцов!  
На жалких костылях, подобных дышлам,  
Влачится сердце к перепутью снов.

Пустых небес фарфоровые дебри,  
Такси плывут, как дьяволы, во тьму,  
День чинно выступает в «марш-фюнебре».  
Грянь, фрейлехс, грянь! Чуму на вас, чуму!

А рядом — смерть. Вокзальная платформа,  
Где красный крест и запах хлороформа,  
Созвездий семафорных фейерверк.

О, госпиталь святой парижской боли!  
Коричневый фургон! Не всё равно ли,  
Что нынче — понедельник иль четверг!

8

Совокупляйтесь, туши паровозов,  
Чудовища мазутной наготы, —  
Пар вашей спермы яростен и розов,  
Утробный смех колышет животы!

Скелетов гуттаперчевые бедра,  
Горячечных гранитов толчея, —  
Топчите душу радостно и бодро,  
Давите — вот она, душа моя!

Чума и фрейлехс! Аисты — откуда?!  
Тысячеглазье окон! Кровель гряда —  
И мостовой становится теплой

От прокатившейся телеги. Жесткий  
Гудит булыжник. Сердце к перекрестку  
Волочится на паре костылей.

4

Здесь душно небу от земного быта!  
Сюда приносят ветры запах жита,  
А в их дыханье — сонм ночных чудес,  
Зубовный скрежет, поступь «Марсельез»...

Стальные шумы, вывесок миганья,  
Выстраивайтесь на поверку, зданья!  
Толпитесь, улицы, по всем углам,  
Разинув рты назойливых реклам!

Вздымайте в небеса дома шальные  
На клочья туч, облезло-жестяные, —  
Откройте путь блуждающему дню.

Эй, вытяните трубы дымоходов!  
Не хочет рой небесных тучеходов  
На якорь стать и прекратить возню!..

5

Миги наплывают мглой,  
Грают, как вороний рой.

У колоколов бессонных,  
Обступив со всех сторон их,  
Вырвут глотки. В исступленных  
Колокольных перезвонах —  
Глин-глон, глин-глон!

В глубине, под потайным  
Сердцем времени седым,  
Притаился, полный рвенья,  
Колокольный ряд, чьи звенья  
Надрываются, глаголя:  
«К вольной доле, к вольной доле!»

Эй, взрывайтесь, кроя крыши,  
Над бокалами хмельными, —  
Цепь за цепью, выше, выше,  
Пролетайте в мутном дыме,  
Пробуждая ветры, дали  
От бездейственной печали!

Сталь, свинец, — и смерть гласит:  
Вьюгам, вьюгам путь открыт!  
Эй, с кирками средь раздолий,  
Пусть взвоется гимн-хвала  
Вольной доле, вольной доле, —  
О, времен колокола!

1923  
*Париж*

## 86. ЛОНДОН

Как перья филина — туманов пелена.  
Голодная толпа притихла, не горланит.  
Над Темзой трезвенной с рассвета дотемна  
Свершает омовение парламент.

Полк инвалидов. Вопль предсмертной наготы.  
Протезы и кресты. Увечные в коляске.  
Им хочется взорвать надменные мосты,  
Мосты, провисшие, как ордена Подвязки.

Асфальтовая мгла под вольтовой дугой,  
И женских прелестей товар недорогой.  
Карминные уста. Белила и румяна.

Ты, Лондон, поднял их как свой имперский флаг,  
Ты дал им, изо всех земных и прочих благ,  
Хлеб слова божьего и воду океана.

1923  
*Лондон*

## 87. ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО

Степенный твой покой зовет к вечерней требе,  
Огней павлиний хвост распущен в вышине.  
Кто в этот смутный час тебя услышит, Эбби?  
Исходит кровью день, и Темза — вся в огне.

Блуждают призраки по вымершим кварталам, —  
Узнай взыскующих порога твоего!  
Не ты ли звонами сознание оковал им,  
И отнял хлеб у них, и дал им божество!

Плывут моления в холодный свод стрельчатый;  
Дрожа, к лампадам льнут; с навесов и столбов  
В бессилье падают на пыль твоих гробов.

Вожатый сумерек! Помазанник заката!  
В преддверье пасмурном ждет отдыха распятый —  
О, кто еще придет на твой протяжный зов?!

1923

Лондон

## 88. РИМ

С кем фехтуют рапиры твоих серебристых фонтанов,  
И чего домогается мертвая слава твоя?  
О, веков перегар! Тошнотворные дымы струя,  
Купола литургии тускнеют и меркнут, увянув...

Не видать голубей на суровых твоих базиликах,  
В колокольни вселились ушастые нетопыри...  
Рим, еще ты горишь! То не солнце ль ущербной зари  
Истлевает, скудея, как память столетий великих?

Тщетно день зажигает тиары соборов святых,  
Вечер тушит их пламя... И тени в худых балахонах  
На безрадостный звон ковыляют с кладбищ отдаленных.

О надгробье торжественное из лучей золотых!  
Купола, колокольни во власти ветров исступленных...  
С кем же, с кем же фехтуют рапиры фонтанов твоих?

1923

Рим

## 1

Как жар в Везувии, душевный страх растет,  
 И выпит ужасом рассудок оглушенный.  
 О призрак, слеп твой шаг, луной замороженный,  
 Твой подневолен шаг, — в нем смертный виден  
 гнет.

Ночь окровавленный ломоть луны грызет  
 В холодной синеве, и сквозь лучей колонны  
 Костями скалится Помпея в сумрак сонный.  
 Над ней суровое молчание высот.

Ей снится пиршество: в застывшей мгле витая,  
 Мелькают призраки — за мрачной стаей стая,  
 И, мертвый круг сомкнув, стоит стена к стене.

Из глубины годов двухтысячной — в восторге  
 Несутся рокоты недошумевших оргий,  
 И пляшут мертвецы, венки подняв к луне.

## 2

Помпея ждет потех, но тишина тяжка,  
 И гладиаторов нет на кругу широком.  
 О, смерти страшный сон, определенный роком!  
 Как вымя тощее, свисают облака.

По плоти огневой у мрамора — тоска,  
 Забил из всех ключей Везувий пьяным соком.  
 Помпея страстная! В веках явясь зарокотом,  
 Твое дыхание сдержала чья рука?

Ждут завсегдаев раскрытые притоны,  
 Где арки всех венчать готовы, как короны,  
 С постелей похоти летит дразнящий зов.

Помпея ждет потех, но смотрит взор Нерона  
 На Рим пылающий, как в космах облаков  
 Везувий яростный на груды костяков.

Пьяна ли Смерть еще, и снится ль ей, проклятой,  
 Помпея? Как слепец, слоняется луна,  
 И кости шупает, и метит их она  
 Лучами блеклыми, и лижет мрамор статуй.

И птицы лунные в выси голубоватой  
 Пьют влагу смертных рос. Неаполь, ночь душна!  
 Ударь в колокола, пусть дрогнет тишина, —  
 Везувий дремлет, рот забил он мглой, как ватой.

Но бешен этот рот, и дышит он огнем,  
 И потаенная клокочет ярость в нем —  
 Хребты склоняются и распухают доли.

Неаполь, звон бросай, тревожный и тяжелый!  
 Летит молва, что вновь проклятия свои  
 Твердит молитвенно Везувий в забытьи.

На дне глубоких ям — мешков солдатских кучи.  
 Там — вязко, глину там кровищей развезло.  
 Висит на проволоке голубя крыло,  
 Оттуда тянет мглой и сыростью колючей.

Дороги — в ужасе; и холмики и кручи  
 С крестами на боках влачатся тяжело. . .  
 Дурман Везувия! Свод хрупкий, как стекло,  
 Широко крестится огнями звездолучий.

Былые пиршества, триумфы снятся им. . .  
 А скука черная ползет, как червь могильный,  
 И ворон ворожит на изгороди пыльной.

О, ветхий скрип котурн! В душе неукротим,  
 Везувий жаждет вновь, и в недрах жар сильнее.  
 Спит череп в ужасе, он спит, как ночь в Помпее.

1923  
 Рим

### 93. ПРЕДВЕСТЬЕ ГРОЗЫ

По часам растекаются медные зовы тоски,  
Одиноко Помпея томится, в веках позабыта...  
Только месяц блуждает, щербатые щупая плиты  
И сухие, ветрами обшмыганные костяки.

Спят вертепы и храмы и грезят о славе былой,  
И предвестьем грозы облака набухают сурово...  
О Неаполь, раскачивай меди тоскливые зовы —  
Встал Везувий, по плечи окутан зловещею мглой!

Воспален его бешеный рот, извергающий пламя,  
В нем — безумье клокочет, и сквозь потрясенную тьму  
Пастухи с плоскогорий о мести взывают к нему.

О Неаполь, покачивай черными колоколами!  
Безутешно томясь, поспешает к тебе над полями  
Весть о том, что Везувий очнулся в багровом дыму.

1923

*Неаполь*

### 94

За днями дни, как корабли, свой путь  
Прокладывают твердо в море чуда.  
Я не пришел спросить: «Куда? Откуда?»  
Пришел, чтоб с ними плыть и утонуть.

За днями дни... И вот уж слышен зов  
Береговой — он нежен и печален...  
Я в гавань не войду, я не причалю —  
Сломал мне ветер крылья парусов.

За днями дни  
Прокладывают  
Путь...

Пришел я к ним,  
Чтоб плыть,  
А не тонуть.

1923



## 95. НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ

За субботним столом, словно царь, восседает хозяин,  
И двенадцать сынов — как двенадцать библейских  
колен.

«Я, как раб ханаанский, пахал и снимал урожаи,  
Как еврей и отец, делал всё, что нам бог повелел.

Вот такой, какой есть, всё на свете я делать умею:  
И доить, и ковать, и уладить базарный скандал.  
Я трудился и ездил; я видел, поверьте еврею,  
И Париж, и Нью-Йорк, и в Одессе я тоже бывал».

В хрен макает он белую халу, сопит и чихает,  
И, размазавши слезы, которых не может унять,  
Говорит: «Хрен в субботу — ведь это же радость какая,  
Всё равно что страничку Талмуда прочесть и понять.

А мои сыновья? Я всегда их воспитывал честно,  
И прошу я вас, пан, объясните, пожалуйста, мне:  
Я приучен к любому труду, так найдется ли место  
Для такого, как я, в вашей новой советской стране?»

1924  
Польша

## 96

В вагоне, на полу, весь в предрассветной сини,  
Сидит седой старик за спинами чужими.  
Бородкой выцветшей уткнулся в апельсины;  
Кто знает: ест он их иль молится над ними?

По гулким улицам вышагивают люди,  
И серебром полны студеные их ведра.  
Привет вам, нищие! Мир с вами да пребудет!  
Вы, вестники удач, идете мимо гордо.

На мостовых — толпы растущее гуденье,  
И попрошайками панели обросли,  
И, лежа, улицы читают объявленья.

О братья-нищие! Не спорьте хоть сейчас:  
Вот с солнцем молодым шагает день вдали,  
Как егерь из лесу с оленем на плечах.

1924  
Польша

## 97. СТАРОСТЬ

Ступай домой, старик! Звонят колокола...  
И клонит в сон тебя, и веками прикрыты  
Твоих потухших глаз огромные орбиты,  
Закатным пламенем сожженные дотла.

Шарманка не поет, и посох мхом оброс,  
И сердце не стучит о старческие ребра;  
Лишь трется о тебя с ворчанием недобрым  
Покрытый струпьями чесоточными пес.

Ступай домой, старик! К вечерне зазвонили...  
Седые сумерки цыганами бредут,  
И ты, нахохлившись, сидишь и дремлешь тут,  
Как старый попугай, оставшийся без крыльев.

1924

## 98

Четырегорбые, в отрепьях, маниаки!  
Проклятья тяжкого на вас лежит печать.  
Вас рынки выслали — в ветхозаветном мраке  
И в смраде синагог субботу привечать.

Прижмитесь к господу! Дышите смрадом старых  
Отрепий на него и войте во скорби:  
«Твои обеты, бог, не сбылись на базарах.  
Сойди! И старый зонт, не купленный, купи...»

Уже смеркается. Базары опустели.  
Как стая серых крыс, бегут ханжи домой  
Совокупляться в честь субботы на постели,  
Пропахшей затхлостью подвала, как тюрьмой.

И ветер голосит, по кровлям громохвая:  
«Для вас и эта тьма — еще не тьма глухая!»

1925

### 99. В ПУТИ

Идут рабочие, несут большие пилы.  
Огнем и кремнем дохнули губы их.  
Сзывает их ремонт. Скликают их стропила  
Разрушенных мостов, Украина, твоих.

По мокрому песку, булыжнику и шпалам,  
По трактам столбовым, по насыпям и рвам,  
Куда бы вы ни шли, — мир путникам усталым!  
Хлеб и вода ключей да не скудеют вам!

За рябью ситцевых косынок и рубашек,  
За частоколом пил, и заступов, и рук  
Да не скудеет новь дымящихся запашек,  
Да расцветет опять медвяной ярью луг!

В мельканье тысяч рук дорога развернулась,  
И руки плещутся, как полая вода.  
Артель сезонников над рельсами согнулась,  
Крошится в оползнях песчаная гряда.

Там ветку выстроят. Там семафор поставят.  
Пронзительный свисток аукнется в полях.  
И кто к тебе придет? И кто тебя оставит?  
Прощай, Украина! Прощай, червонный шлях!

1926

### 100

Сизое и легкое пламя алкоголя...  
Разнузданная музыка, нож за голенищем...  
Хорошо, по свету побродяжив вволю,  
Снова возвратиться к милым пепелищам!..

Жизнь! Твои великолепны грозы!  
Только ты ответь мне, что опасней:

Яд ли золотистый в бессмертной дозе  
Иль в смертельной дозе мед пчелиных пазух?

Плещутся пожары в прихотливом мраке...  
Пеплом осыпается роща золотая...  
Славься, славься, пламя!...  
Как смолистый факел,  
Я над пестрым миром сердце подымаю!..

Сизое и легкое пламя алкоголя...  
Разнузданная музыка... Нож за голенищем...  
Хорошо, по свету нагулявшись вволю,  
Снова возвратиться к милым пепелищам...

1926(?)

### 101. МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мандат на мир, в боях заверенный мандат  
Мое мятежное имеет поколенье.  
И всюду гимн гремит, ружейный гимн в раскат,  
И море гнева плещет в исступленье.

Под знаменем сверкающим идет  
Широкоплечий век, и, в темных далях шаря,  
Его глаза обращены вперед,  
Как два пылающие полушарья.

И вдаль протянутая правая рука  
Винтовку держит, а на левой — рана.  
И солнце, раздирая облака,  
Прожектором ощупывает страны...

Оно сквозь облаков смолистые слои  
Указывает путь во все земные дали  
Еам, братья мужественные мои,  
Еам, поколенья из упругой стали!

Встает мой гордый век, — величественный рост!  
Проносится гроза, в которой гнев и радость, —  
И мир изрезан поездами звезд,  
Высокими шлагбаумами радуг.

О поколение буйное! Иди  
С путевкою в грядущее, далече!  
И, пробужденные, с надеждою в груди  
Все пять материков встают тебе навстречу.

Трясутся горы — черные гробы,  
Клокочут шахты — кочегарки мира,  
И поднимаются над Африкой рабы  
С рабами Вены, Лондона, Каира.

Матросы Франции тебе несут в руках,  
Как знамя каменное, Стену коммунаров,  
И паруса морей, и паруса пожаров  
Тебя приветствуют, взметая знойный прах!

Мой век, над миром ты занес таран,  
Ты семьдесят пробил широких входов  
Для всех земных семидесяти стран,  
В которых — семь раз семьдесят народов.

Иди же, мудрый век, на площади и веси!  
Вспаши вселенную, киркой дробя пласты,  
На гранях гор и звезд — багряные — развесив  
В двух революциях прожженные холсты.

На грани всех веков стоит над миром Ленин,  
И дерзостней, чем мост над пропастью реки,  
Народы двигает, скликает поколенья  
Протянутый вперед чугуна его руки.

Простер он руку вдаль, от снежных гор Сибири  
Через окутанный туманами Монблан,  
Чтоб гневом подковать страны степные шири,  
Чтоб исцелить ее от гнойных язв и ран,

Чтоб вырядить ее в домов и домен дымы,  
Чтоб яростью сердец встряхнуть ее простор...  
Кудесник всех стихий с глазами огневыми,  
Как стрелку компаса, он руку вдаль простер.

Через снега тайги и через всю планету,  
Подобно лунному бескровному лучу,  
Восходит рикши стон:

«Нет хлеба, риса нету,  
И кожу метрами дерут, как чесучу!»

О поколение в лохмотьях из рогожи,  
Босой, голодный век! Твои сожгли поля,  
Твои ручьи зачумлены, и всё же  
Последний каравай ты делишь пополам:

«Откушай, рикша, хлеб — подарок наших пашен,  
И наши ешь плоды, и наше пей вино!  
Нет чесучи у нас, и поколенье наше  
В пространства светлые, как в лен, облачено...»

Сгорает лен пространств, и в синеву эфира  
Кольцом уносится седого пепла дым,  
Но под сгоревшим льном клокочет сердце мира,  
И совесть века светится под ним...

До времени мое седеет поколенье,  
На лбу его горят старинные рубцы,  
Но на мече его — ни ржавчины, ни тленья,  
Суровы и тверды гранитные борцы.

До времени мое седеет поколенье,  
И седина его — как новое цветенье!

. . . . .

От старых пастухов, бросавших города,  
Вдыхавших среди пещер пергаментную плесень,  
Я унаследовал большой и сладкий дар —  
Великолепное вооруженье песен.

И — знак преемственности — ржавый алфавит  
О грандиознейший точильный камень века  
Я должен наточить, и голос мой звенит,  
Высокий, зычный голос человека:

— Иди вперед, мой век, — величественный рост!  
Греми, гроза, в которой — гнев и радость!  
И мир изрезан поездами звезд,  
Высокими шлагбаумами радуг...

1927

## 102. ПЕСНЯ

Полночью старинною  
Злые ветры дуют  
Над пустыми рынками  
В колыбель пустую.

В дали непочатые  
Ветры вносят споры:  
— Для чего качать ее  
И швырять в просторы?

Ярмарки развеяны,  
Отшумели — нет их...  
На груди камьями —  
Медные монеты.

Пепел и отрепья  
Расшвыряли в гуле  
И дороги-жребии,  
Стасовав, тянули.

Кровь на теле — пламенем.  
Кровь на теле — миррой.  
Развернулся знаменем  
Ураган над миром!

Как взорвал он, яростен,  
И гремуч, и жарок,  
Ветхое от старости  
Кладбище хибарок!

Вихрь тряпья и падали,  
Нищенские сумы,  
Из-за туч не падало  
Золото изюмин.

Кто там пытан пытками,  
Кто там исковеркан?  
Нищие, забытые,  
Встаньте на поверку!

С жерновом и молотом,  
Розовым от жара,

Выступайте молодо  
Через шум базара.

По запевшим улицам  
Шагом поколений  
Входит Революция  
В сумерки молелен,

Где грозой исхлестанный  
Разрывает талес,  
Пусть под звонкой поступью  
Просияют дали...

Входят вереницами  
В дали голубые  
Нивы — роженицами —  
Грозные и злые...

И леса кудрявые  
В буре и в брожении  
Жаждут — величавые —  
Оплодотворения...

Спины выпрямляются,  
Песни над полями.  
В жилах зажигается  
Солнечное пламя.

Блещут спины голые  
В знойный день покоса,  
О ржаное золото  
Ударяют косы.

Прочь, тоска косматая,  
Прочь, тоска и горе,  
Вызреют богатые  
Урожай скоро!

Поутру отбитые  
Польхают косы,  
И жнецы ушли туда,  
Яростны и босы.



Чтобы радость радугой  
Брызнула вослед им  
За страданья прадедов,  
За мученья дедов!

1928

### 103. ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

*Зарисовки из жизни*

Шесть долгих лет прошло, а может быть, и пять,  
А может быть, к концу подходит третий...  
Они сидят вдвоем, не в силах глаз поднять,  
Не зная, что спросить, не зная, что ответить.

Ребенок говорит, цепляясь за двоих.  
Разлука для него — еще пустое слово.  
Не знает ничего он про дела больших  
И на руки к отцу карабкается снова.

Гудящий ресторан. Обед среди чужих.  
Накрытые тоской столы с казенной меткой...  
В угрюмой немоте застыли лица их.  
Она глядит в стакан и тербит салфетку.

Молчанье глаз сухих, усталость серых лиц...  
Кто больше виноват, кто первый камень бросил?  
Печально-сдержанно мигание ресниц.  
«Пора, пора!» — один без слов другого просит.

Скорей бы вырваться в мир шума и машин!  
Скорей бы утонуть на перепутьях улиц!..  
Но с равнодушием глядит на них графин:  
Ему ведь не впервой таких вот караулить...

Мужчина крепок, сух, красив, широк в плечах,  
Бескровных губ разрез решителен и тонок.  
Наверное, ему подумалось сейчас,  
Что мало на него похож его ребенок.

Она же думает: «Он не виновен, нет!  
Но разве я виной разлада между нами?» —  
И тихо говорит: «Малыш, иди ко мне,  
Иди, мой маленький, ну подойди же к маме».

Прохожие спешат. Им, людям, всё равно.  
Но кажется, что все глядят они сквозь окна.  
Чей первый был удар, кто выломал окно,  
Покою разорвал прозрачные волокна?

Гонимая овца — потерянный покой. . .  
Ее полощет дождь, терновник колет ноги.  
Овечка, не беги! Страх бесполезен твой.  
Тебе назад, домой, уж не найти дороги.

Печально-сдержанно мигание ресниц.  
«Пора, пора!» — один без слов другого просит.  
Молчанье глаз сухих, усталость серых лиц, —  
Кто больше виноват, кто первый камень бросил?

Воспоминания долой с усталых плеч!  
Неважно, кто сказал то роковое слово. . .  
Но дни встают, как строй угасших белых свеч,  
И просит каждая зажечься, вспыхнуть снова.

«Ну ладно, — он сказал, — отдай ребенка мне,  
Отправлю я его на дачу этим летом  
И буду добрым с ним и ласковым вдвойне».  
Сказал — и развернул перед собой газету.

Ребенка с нежностью целует в лобик мать,  
И растекается такая боль по жилам. . .  
С нахмуренного лба отбрасывает прядь  
И говорит: «Ты ешь, ведь всё уже простыло».

Ребенку весело. Из хлеба строит дом.  
Никто не сердится, что скатерть он закапал.  
Играет с матерью, к отцу идет потом:  
«Ты почему домой к нам не приходишь, папа?»

Как много дядюшек повсюду у него!  
Игрушек — сколько их! — мячей, картинок, пушек!  
И среди них одной недостает всего —  
Недостает ему отца среди игрушек. . .

1928  
Харьков

## 104. ЖЕНЩИНЕ

Нынче солнце в зените — как прорубь над омутом золота,  
Над плотинами света, омытыми первым дождем.  
Мы пойдем, мы придем — синева нашим солнцем  
расколота,  
Мы ковшами ладоней отраду твою зачерпнем!

Сколько в мире костров, сколько гроз, сколько радостей  
юных,  
Сколько вихрей веселых, голодных, тревожных, лихих!  
Я твой голос, сестра, услышал на весенних трибунах  
Пробудившихся к жизни садов, городов, мастерских!

На заляпанных нарах, в траншеях, у братской могилы,  
Семя пуль восприяв, ты в годину войны понесла,  
И своим молоком ты винтовку свободы вскормила,  
Словно первенца смерти. И не было битвам числа.

Путь твой праведно-прямо, только долог, и труден,  
и вязок:  
До тифозных вокзалов, во тьму от родного гнезда,  
К лазаретам войны, в гной солдатских бинтов и повязок,  
Но уже кирпичи в день грядущий везут поезда!

Нынче — солнцем пропахло твое загорелое тело,  
И глаза твои нынче великой надежды полны,  
Молотком и киркой ты орудуешь нынче умело,  
Славно трудишься ты на бесчисленных стройках страны!

Голос твой, словно колокол, звучен и радостен ныне,  
Вот он в дали земные за тысячи верст полетел:  
— Знайте, сброшено наземь постылое бремя рабыни,  
Вольный труд и борьба — не таков ли мой новый удел?

Нынче солнце в зените — как прорубь над омутом золота,  
Над плотинами света, омытыми вешним дождем;  
Мы пойдем, мы придем — синева нашим солнцем  
расколота,  
Мы ковшами ладоней отраду твою зачерпнем!

## 105. ДЯДЯ ТЕВЬЕ

Мой дядя Тевье! Вновь ко мне выходит он,  
Вкруг пояса его льняные вьются нити.  
Он плавно, словно песнь, вытягивает лен  
В такую крепкую веревку, хоть рубите!

Посмотришь издали — не сеет ли старик?  
Запустит руку в лен, как в ящик с семенами,  
Зажмет его в горсти, взмахнет, и в тот же миг  
Веревка тонкая закрутится пред вами.

Стекает прядями седая борода  
И в лен вливается, расчесанный искусно.  
Откуда тянет он веревки и куда,  
И почему глаза глядят на мир так грустно?

По локоть рукава засучены. Идет  
И крутит, и поет, и странно тают звуки.  
И не поймешь никак: лен эту песнь поет  
Иль волосатые мозолистые руки.

«Сынок! — он говорит. — Не хочешь повертеть  
Немного колесо? Сейчас прибудет смена.  
Жди тетю Басю здесь!» И, как ручной медведь,  
Не торопясь во двор уходит он степенно.

И голос издали: «Поосторожней будь!  
Что слышно у отца?» — Бегут льняные пряди.  
И дядя жарится, подставив солнцу грудь.  
Как с воза космы льна, свисают годы с дяди.

Он весь — как тучный стог созревших дней труда.  
Сам выстроил свой дом, сам продавал веревки.  
По слухам, забывал молиться иногда,  
Но мастер был зато на удивленье ловкий.

Он любит изумлять наш местечковый люд:  
«Мне пишет мой Наум — ведь он теперь  
в Чикаго, —  
Что электричеством веревки там плетут.  
Он «леттер» мне прислал, соскучился бедняга!

„Родные! — пишет он. — Америка у нас — Страна, по совести сказать вам, золотая, Но чтобы здесь пробыть хотя бы лишний час, Трудиться надобно мне, рук не покладая.

Чуть мы приехали, сказал я: — Плиз, Наум! Ты раньше никогда не бегал от работы. Так что же, так тебе и не придет на ум, С чего теперь начать? Ведь надо делать что-то!

Ведь нужно как-то жить, и нужно день за днем Есть хлеб, а к хлебу что-нибудь в придачу. Так плиз, Наум, берись за дело с огоньком! Ведь это жизнь иль смерть, — так попытай удачу!

Ведь может без толку вся жизнь твоя пройти, Костюм ты износил еще прошедшим летом. И я по-прежнему веревки стал плести, Когда-то кое-что ведь я кумекал в этом!

Ты поглядел бы, как их крутят, — боже мой! Всё — электричеством! И быстро и красиво!“» И дядя радостно качает головой, Гордясь перед людьми, что есть такое диво.

Не знает Тевье наш, как тяжело в том раю, Как редко бедняка встречает там удача, Как трудно тысячи в нем тянут жизнь свою И по ночам не спят, в подушку тихо плача;

А если вырвется из тысячи один, Так сотни голод ждет и ранняя кончина. И радуется он, что вышел в люди сын, И продолжает нам читать письмо от сына:

«Теперь мы наконец соорудили дом, У нас шикарный „рум“, а в „руме“ пианино. Учу детей играть, — хоть и с большим трудом, Но что не сделаешь для дочки и для сына!

Хочу достигнуть „бест“». — «А что такое „бест“ — Ты знаешь?» — говорит мне, ухмыляясь, дядя.

«Шлем наши фото вам и снимки здешних мест», —  
Кончает он читать, в письмо уже не глядя.

«Крути, крути, сынок! Ну, раз, теперь другой!  
А что же Баси нет? Крути, скорей доедем!»  
И удаляется, чеканя шаг ногой.  
Посмотришь издали — как есть, медведь медведем!

А годы катятся, и Бася уж седа,  
И ей — за шестьдесят, но трудится прилежно.  
Распутывает лен зубами, как всегда,  
А после, как дитя, расчесывает нежно.

Вскормила семерых детей своих она.  
Троих в холерный год сложила в три могилки.  
Двоих Америка, далекая страна,  
Богатством завлекла, а два в Сибири — в ссылке.

Крутила колесо для мужа своего,  
Крутила, думала и дом вела умело.  
Так — лен ее волос, пенька ль в руках его —  
Кто знает, что всегда у дяди Тевье пело?

А смерть уж близилась и стерегла их путь,  
Чтоб не готовились в далекое кочевье,  
И протрубила вдруг: «Америку забудь!  
Для самого себя крути веревку, Тевье!»

«Что медлишь, Басеню? — ей дядя говорил. —  
О чем задумалась? О том, что есть царица?  
Крути, крути еще, хоть из последних сил!  
Кто нынче наверху, тот будет вниз валиться!»

Еще, еще разок! Последний оборот —  
И дети к нам придут. Еще раз! Ну-ка, с ходу!»  
И Бася, докрутив, воды ему несет,  
И с наслаждением пьет вспотевший Тевье воду.

Бывало, по ночам, грустя, она ткала  
Узоры и цветы на скатерти пасхальной,  
И по щеке слеза невольная текла, —  
Увидит ли детей она в свой час прощальный?

Когда же слышать ей случалось иногда,  
Что в городе во всем нет лучшей мастерицы,  
Она, как девочка, краснела от стыда  
И опускала вниз крылатые ресницы.

И много лет спустя, и много лет позднее —  
Ведь годы всё летят и всё меняют в мире —  
Волнуясь и крича, сбежались люди к ней —  
Сказать, что сыновья вернулись из Сибири.

И Бася охнула и кинулась бежать  
Средь флагов и знамен и скопища людского.  
«Вот мать, — кричал народ, — пустите, вот их мать!»  
А дети? Дети шли... И даль их скрыла снова.

«Ну, Тевье! — смерть кричит (она уже близка). —  
Крути последнюю! Ты подошел к могиле!» —  
«Последнюю?» — «Крути! Да чтоб была крепка,  
Чтоб даже топором ее не разрубили!»

(1929)

## 106. ОКТЯБРЬСКИЕ СТИХИ

Путь — в гору! Ввысь! Прямее переходы!  
День ото дня увереннее шаг!  
Мы с лампами на лбах раскалываем годы,  
Как антрацит в седых глубинах шахт!..

И даль шумит, день ото дня огромней,  
И в каждом шаге — родовая боль.  
Как уголь, глыбами мы катим время к домне,  
Переплавляющей всемирную юдоль.

Сплетаются пути, как руки человечьи,  
И дали ширятся, день ото дня светлей,  
И движется грядущее навстречу  
Стогами золотистыми с полей. . .

Песчинка слабая и исполинский камень  
Стать молотом хотят и молят об одном,  
И алчут одного: «Возьмите нас руками  
И киньте в горн, и мы смешаемся с огнем!»

Дорога — в гору! Ввысь! Прямее переходы!  
И горькой кровью битв разит от кирпича...  
Мы с лампами на лбах крушим и колем годы,  
Как в шахтах уголь колетса сплеча.

Наш пульс гремит, как толпы на рассвете,  
И сердце пенится, как океанский вал,  
Как телеграфные столбы, стоят столетья...  
Эй, в гору, в гору, ввысь — и через перевал!

Мелькают города, и даль лежит — огромна.  
Взывает к полночи рожок грузовика...  
И уголь глыбистый проглатывает домна,  
Переплавливающая ржавые века.

Мы — молодость страны, мы — в силе и расцвете  
И чувствуем себя день ото дня бодрей,  
И, стоя на горе в развернутой заре,  
Встречаем первое октябрьское столетье!

1929

### 107. МОСКВА

Вот я — песчинка среди пустых песков,  
Вот я — кремень среди камней пустыни.  
Я должен быть таким —  
И я таков.  
Возьми, мой век,  
Сырой восторг мой ныне,  
Сырую скорбь, —  
Я к зрелости готов.  
Твоих законов мудрых  
Не страшусь:  
Пасть за тебя?  
В передней роте буду!  
Сломить строптивых?  
Сам переломлюсь...  
Не первым, так последним —  
Я смирюсь,  
Но только бы  
С тобою быть повсюду!



Всегда с тобою и всегда вперед!  
Не с теми,  
Кто отстали и забыты!  
Мою мятежность  
Время пусть ведет  
Над безднами  
И ввысь через граниты,  
Чтоб утвердить ее и закалить  
В огне, в ветрах,  
Чтобы ножом убойным  
Ее земле в нагую грудь всадить,  
Чтоб дрогнул мир  
В своем движенье стройном.  
Чтоб для меня  
Разверзлась глубина  
И мне раскрылось  
Всех начал начало.  
— Внимайте все!  
Мятежность мне дана,  
Но Время непокорную взнуздало.

И в сердцевине мрака,  
В тяжелой мгле  
Гудящей ночи,  
В завываньях влаги  
Ныряют купола,  
Как с кораблей  
Закинутые в темноту морей,  
О помощи взывающие фляги.  
Чтобы потом в морях,  
Через века,  
Поймав, их распечатала рука.  
Чтоб чей-то глаз  
На рукописи старой  
Прочел слова,  
Что океан глотал:  
«Октябрь... «Аврора»...  
Выстрелы... Пожары...  
Народ настиг...  
Обвал... Обвал... Обвал...  
Рабы... Приказываем...  
...Не желаем...

...Мы... Палачи...  
Владыки... Короли...  
Безвестных стран... Распаханной земли...  
Мы тонем... Погибаем... Погибаем...»  
Несутся купола в просторах тьмы,  
Как вплавь пустившиеся корчмы,  
Где в комнатах табачных и туманных  
Огромные бородачи в кафтанах  
Бубнят слюняво,  
Сдвинув к заду зад:  
«Эх ты, сад,  
Зеленый сад...»

И у стены, ослепшей от испуга,  
Где сумасбродят черные кусты,  
Мяучат прокаженные коты,  
Луною мусорною облиты,  
Скользящие, как вереницы пугал...

И всё-таки Москва —  
Она жива!  
Она лежит, вознесшись над веками,  
Дорогами вцепившись в шар земной —  
Горячими, вопящими руками.  
Она лежит, как вылущенный мозг  
Убитых  
Поколений и столетий,  
В лучах планет, под строгим взглядом звезд,  
И ночь светлей  
В ее нетленном свете.  
И каждая пылинка и кирпич  
Стремятся к небу  
И в простор безгранный  
Восходят грозно,  
Как призывный клич,  
Как возглас рога  
В полночи туманной.  
Когда же Кремль  
Хор будущих столетий  
Подымет в ночь  
Пылающим бичом, —  
В пространствах возникает колыханье,

Гранита сдвиг  
И плоскостей порханье...

И грани стен, как песенный порыв,  
Восходят вверх, и песен хор безгранный  
Восходит вверх,  
Как омертвелый взрыв,  
Как возглас рога  
В полночи туманной.  
Тогда встают из-под трухи крестов  
Чубатый Разин,  
Черный Пугачев.  
Как фонари,  
Зажженные безумьем,  
Подняв в ладонях  
Головы свои,  
Вниз, с Места Лобного,  
В чугунном шуме  
Цепей,  
В запекшихся кусках крови,  
По Красной площади  
Проходят молча  
Тяжелой поступью,  
С оглядкой волчьей,  
И в Мавзолей спускаются,  
И там,  
Надрывно двигаясь  
В кандалном гуле,  
Один у головы,  
Другой к ногам —  
Становятся в почетном карауле.

1929

### 108. МУДРОСТЬ МОЕЙ СТРАНЫ

(Отрывок)

Законы точные дерзаний и свершений,  
Уменьше сокрушать преграды на пути  
И сквозь лишения, сквозь ужасы крушений  
Неудержимо в даль созревшую идти, —

Законы властные, что прошлое поправили  
И к солнцу день за днем по новой магистрали  
Ведут, благословив, испытанный твой шаг,  
Заклятьем каменным звуча в твоих ушах,  
О племя дивное, чью душу открывая,  
Так сладко, так светло томится мысль живая!

Сухие, желтые, пергаментные груди  
Зловещей старины, карги глухонемой,  
Я грязью забросал, камнями — груда к груде,  
Как падаль, обложил и отравил чумой,  
Истыкал, искромсал безжалостно и грубо,  
Чтоб не тянулись к ним возжаждавшие губы,  
Чтоб, насосавшимся до пьяной тошноты,  
От рабства, горечи, недугов, нищеты  
Отвыкнуть наконец, впивая жадным взором  
Сок солнечных лучей, текущий по просторам.

Мне прошлое мое кивает издалёка,  
Грозится и зовет руками бунтарей,  
Руками нищеты, руками злого рока,  
Руками немощи манит из тьмы ночей. . .  
А я. . . а я в пути — в просторах, затоплённых  
Сияньем солнечным, и жребий мой высок.  
Что мне до прошлого, до жестов исступленных!  
Я опьянен тобой, борьбы багровый сок,  
Тобой, премудрый век, чью тайну открывая,  
Так сладко, так светло томится мысль живая.

Как бремя, на плечах еще лежит, чернея,  
Наследье прошлого, глухих ночей бедлам,  
Еще с моих бровей свисают, словно змеи,  
Туманы желтые, и тянутся к глазам,  
Из глубины веков являются с попреком  
Сведенные в дугу и скрюченные роком  
Фантомы, и еще, как приглушенный звон,  
Я слышу прадедов протяжный, тяжкий стон.  
Я правды не таю, но я открою жилы  
И выпущу ту кровь, что рабство осквернило.

Теперь душа моя грохочет голосами  
Гигантов, яростно стремящихся вперед, —

Нет времени у них, им тесно, и, как пламя,  
У каждого теперь горит открытый рот.  
Вскипает крови мол от внутреннего жженья,  
И в каждой клетке жизнь лепечет, как дитя.  
О, сладостная боль вторичного рожденья!  
О, сладостный недуг второго бытия!  
Я чувствую, как плоть гудит, перегорая,  
Я чувствую, что кровь бурлит во мне иная.

Спадают старины пудовые оковы,  
Я вырван из тисков удушливого сна,  
В глазах — сияние, и горизонты новы,  
Громовым вестником душа потрясена,  
Заветным молотом — ударом умной стали,  
Которую века к деснице приковали. . .  
И, уходящему от мрака и тоски,  
Мне радостно в простор тянуться клеткой каждой  
И каждым органом, томимым дивной жаждой,  
Глотать познания и знанья родники.

Теперь я бодрствую на пограничной страже  
Веков. Я для того поставлен, чтоб в упор  
Встречаться с вихрями, чтоб не дать силе вражьей  
Скрываться до поры. Еще блуждает взор  
В просторах, и еще неведома дорога, —  
Но, пьяный от надежд, настойчиво и строго  
Я буду вдаль шагать — и мне ли не дойти,  
Ни разу якоря не бросив на пути,  
Когда как следует мое владеет рвенье  
Оружьем вековым познания и терпенья!

И даже если впрямь чудовищно трудна  
Задача управлять пятью частями света,  
Не зная четырех, — то нечего на это  
Пенять и сетовать, на ком лежит вина.  
Я чувствую, как плоть становится иною,  
Как творческая кровь кипит, гудя и ноя.  
О да, родился я с оружием в руках,  
Но в день рождения глаза мне завязали,  
Чтоб видеть я не мог той смертоносной стали,  
Которую держу, внушая тайный страх.

Восторгов собственных и собственных печалей  
Я сбросил мелкий груз — и вот в груди моей,  
Как старое вино в объемистом подвале,  
Густое, терпкое, час от часу грозней,  
Всемирный бродит груз — всемирные невзгоды,  
Настороженные, гонимые народы  
Друг к другу тянутся, скликаются во мне.  
О, ныне в первый раз я углубляюсь не  
В пределы одного народа, а в священный,  
В огромный материк народов всей вселенной.

Мой путь, моя судьба, мои дела — до гроба  
С судьбой и жизнями рабов соплетены,  
За каждого из них моя пылает злоба,  
За каждого из них меня изводят сны.  
И если я не раб, и если радость ныне  
Меня пресытила, то горечью полыни  
В меня вливается мучительная скорбь  
О рикшах загнанных, об индусах, зажатых  
В железные тиски, покорно гнущих горб,  
О неграх, вздернутых судами Линча в Штатах.

Законы точные дерзаний и свершений,  
Уменье сокрушать преграды на пути  
И сквозь лишения, сквозь ужасы крушений  
Неудержимо в даль созревшую идти, —  
Законы властные, что прошлое попрали  
И к солнцу день за днем по новой магистрали  
Ведут, благословив, испытанный твой шаг,  
Заклятьем каменным звуча в твоих ушах,  
О племя мудрое, чью душу открывая,  
Так сладко, так светло томится мысль живая!

1929

### 109. КОМСОМОЛУ

Как налит сладостью и соками гранат,  
Как весла сращены с обхватами уключин,  
Так — в подвигах своих упорен и крылат —  
Ты с мужеством и славой неразлучен.

В них блеск оружия, готового к борьбе,  
Свободный дух, завещанный отцами;  
Победою они присуждены тебе,  
Как родина тебе присуждена боями.

Бесстрашно шли мужи под знойную картечь,  
И мужественно гнев вынашивали жены,  
Не избегая смертоносных встреч  
В полуночи, предгрозем заряженной.

Но, колыбель твою снастями укрепя,  
Тугие паруса над ней раскинул Ленин  
И в рейс невиданный напутствовал тебя  
Бушующим своим сердцебиеньем.

Оно вещало всем, что молодой побег  
И градоносные не поглотили смерчи,  
И сердце мудрое он передал тебе,  
Чтоб ты сквозь вихри лет пронес его в бессмертье.

Он, как судьба, прошел сквозь канонадный гул,  
Спокойствие храня и в бешенстве сражений,  
В тебя он мужество свое вдохнул,  
И жизнелюбие, и жажду завершений.

Чтоб не легла и ночь преградой пред тобой  
И день не обольстил слепящими лучами,  
И если грянет бой — да будет бой!  
И пламя ли блеснет — да будет пламя!

1931

## 110. ВОПЛОЩЕНИЕ

*Другу моему —  
Э. Лазебниковой*

И камню, может статься, нелегко,  
Когда его резец жестокий режет. . .

Быть может, отзвуком на стон его, на скрежет,  
На срезах изрубцованных его  
Исторгнется из тьмы и выявится в свете  
Слепая клинопись тысячелетий. . .

Быть может, болью скрытою своей  
Исходит дерево, когда, влекомы к сини,  
Под натиском весны бушуют в древесине  
И раздирают ствол зародыши ветвей.

Но только нам, владыкам из владык,  
Наследникам времен и поколений,  
Дано постичь материи язык  
И мудрые законы воплощений.

Быть может, плачет глина в тишине,  
Пока ваятель бьется над замесом  
И плоть аморфную то сплющивает прессом,  
То вновь калит на медленном огне...

Но только нам, единственным из всех,  
Питомцам бурь и песнопевцам штормов,  
Дано осмыслить боль и сдвиги ветхих вех,  
И выплеск вещества сквозь косный панцирь формы.

Не мерим чисел мы и времени не числим,  
Как счета им стрела в полете не ведет.  
Как ей на тетиву закрыт обратный лет,  
Так нам возврат к исходным дням немислим.

Уж даль распахнута. И, ею экрылясь,  
Нам стелют вихри путь по судьбам, по годинам...  
Мы смотрим в прошлое лишь в помысле едином:  
Не для того, чтоб с ним свою упрочить связь,  
А чтоб в грядущее стремительней войти нам.

Да, может быть, и камень терпит боль,  
Когда его резец жестокий режет...

И только нам доверено судьбой,  
И только мы единственные в силе  
На стыке тьмы и светоносных зорь  
Прославить и осмыслить скорбь  
И в воплях, в скрежете, в стёнаньях укоризны  
Расслышать первый вскрик рождающейся жизни.

1932



И те, чья жизнь — остывший прах и пепел,  
 И те, чей пепел — жадное рожденье, —  
 Вы все, как кровь, рокочете во мне,  
 Вы все, вы все растете из меня  
 И упадете с меня плодами. . .

Но поступи вовек не изменю, —  
 Что силы есть гони вперед, погонщик!  
 Не развалюсь в прохладе у колодца,  
 Покуда прах не провожу в закат,  
 Рожденное не вознесу в зарю. . .

О время перечеркнутое! Вы,  
 Распутья перечеркнутые, словно  
 Утопленники, в памяти туманной  
 Всплывающие! Тщетно раздвоилось  
 На вас мое единственное сердце,  
 Затем, что в обе стороны струиться  
 Река заведомо не в силах. . . Путь  
 Един, как сердце и как боль, затем, что  
 Закат — преддверье пламенной зари!

Я возложил тебя на рамена,  
 О век!  
 Я препоясался тобою,  
 Как каменным широким кушаком.  
 Огромной крутизной встает дорога,  
 И должен я взобраться на нее.  
 Сквозь вой ветров, сквозь снеговые крутни  
 Я поднимаюсь. . . Многие погибнут  
 Среди сугробов. Многие сорвутся. . .  
 Я слышу хряск суставов и костей,  
 Я слышу вопли падающих в бездну.  
 Вы все, как кровь, рокочете во мне,  
 Вы все, вы все растете из меня  
 И упадете с меня плодами. . .

Так бейся, сердце, за обоих. Бейся  
 Для тех, которых я навек отринул,  
 Для тех, которым дружбы дал обет, —

Ты быть должно гробницей и купелью.  
Встает дорога дикой крутизной.  
Сквозь вой ветров, сквозь снеговые круты  
Вперед, мое единственное сердце!

Один есть путь, ведущий и приведший!  
Но долг последний должен я отдать  
Покойнику — закрыть ему глаза,  
От света отделить и, на вершину  
Взнеся останки бранные, достойный  
Ему воздвигнуть памятник в веках —

И возложить на памятник, как меч  
На ту могилу, где почитет воин,  
Его пустую продранную торбу, —  
Затем, что с этой торбой за плечами  
Шел сквозь века и множился народ.

1932

112

О небо!  
О земля!  
Отцы-бородачи  
И деды дряхлые!  
Ваш сонм сидит печален,  
Как древние пророки у развалин,  
Над грудями тряпья сидит в глухой ночи,  
Убогие лотки, как Библию, листая.

Уже на путь людской  
Не ляжет ваша тень.  
Как с бочек обручи, отскакивает день  
За днем от вас навек —  
И бродит ночь пустая.  
Облезлой мордою, вся в копоти, пьяна,  
Суббота чешется о переплет окна.  
Сгибайтесь, торгаши!  
Цыган, быть может, днями  
Объявится — с шатром, иссохшим, как репье,

Серьгой из олова уплатит за тряпье,  
Украсит пальцы вам жестяными перстнями.

Чего еще теперь  
Вам нужно на земле?  
Что за печаль гнетет  
Вас на путях поныне?  
Нет, больше вы меня не ждите в черной мгле!  
Для вас — теперь и впредь —  
Меня нет и в помине.

1932

### 113. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Не гладиатором в тавернах Афродиты,  
Не в черной гущине бурьяна и волццов,  
Где в груди свалены для воронов и псов  
Казненные рабы, пираты и бандиты,  
Но на Везувии — в сияющей выси —  
Свой гнев, свою мечту и жажду вознеси.  
Засядь на крутизнах, направленных к восходу,  
Фракиец, и, ветра созвав там на собор,  
Сенату возвести и миру обнародуй  
С надменным Цезарем возобновленный спор!

Минуя мраморный и медный Капитолий,  
Минуя портики Помпеи, где, горды,  
Текли манипулы, сомкнув свои ряды,  
Под крыльями орлов, предвестников неволи,  
Сквозь виноградники, спаленные дотла,  
Сквозь придорожные несметные могилы,  
Сквозь мертвые века, события и дела, —  
Кометой пронеслись живой, огненнокрылой,  
Походы грозные и подвиги твои, —  
Взойди ж — и с Цезарем борьбу возобнови!

Из плеч твоих, Спартак, разрубленных, играя,  
Как ключ, ударивший из каменных пластов,  
Сквозь хаос боевой бежала кровь живая;  
Бежала, яростный расплескивая зов,  
И опалая кровь багряными волнами  
Пески и валуны, въедаясь в них, как яд, —

Песчинка средь песков, валун меж валунами  
Воспоминание о ней еще хранят, —  
Сгущаясь в облака, струя сквозь Тибр и Сену  
В Неву, в широкий Днепр пылающую пену...

В твоём отечестве — затменьё... Как тюрьма,  
В полях — из края в край — распластанная тьма.  
К Везувию, Спартак! Вовеки не впадала  
Заоблачная высь в безвыходную тьму!  
Там — властвует лазурь, там — огненные шквалы  
Кружат над кратером в торжественном дыму...  
Засядь на крутизнах, направленных к восходу,  
Фракиец, и, созвав созвездья на собор,  
Сенату возвести и миру обнародуй  
С надменным Цезарем возобновленный спор!

Его узнаешь ты не по морщинам тоги,  
Не по бряцанию короткого меча, —  
Рубаха черная на Цезаре, и строгий,  
Надменно-белый крест глядит с его плеча, —  
Чудовищную тень отбрасывают плечи,  
И вся страна во тьме, бескрайней и глухой.  
Но под Сицилией уже заводят речи  
Сигнальные костры, уж факельный прибор  
Из Каталонии спешит к тебе сурово...  
Взойди же и вещай: твое да слышат слово!

То наши небеса, то наша твердь, наш Рим,  
И солнечный огонь, и звездный блеск нетленный,  
Всё ярче наш восход над мраком мировым, —  
Уж наша родина — шестая часть вселенной,  
За нею тянутся и остальные пять!  
Уж нашей поступью любая бредит пядь  
Земли, — за каждый след, оттиснутый стопою,  
За каждый наш кирпич, коль грянет вызов к бою,  
Ощерятся леса, стряхнув с ветвей листья,  
Сбегутся крижи гор — и станут под ружье.

Вот мир перед тобой — от края и до края,  
В нем наша ненависть и наша скорбь глухая.  
Он вновь рождается, огромный, огневой,  
И вновь — из наших рук — приемлет облик свой!

Теперь вселенная, потрепанная шквалом,  
Измученная, спит; в затишье небывалом  
Равнины и холмы, как море пред грозой,  
А наш резерв стальной — не пастухи-номады,  
Не темных батраков нестройные отряды,  
Вооруженные дубиной и косой. . .

Мы возвращаемся с любовью к нашим будням,  
Мы ртами жаркими к руинам припадем,  
Заводы и поля фанфарами разбудим  
И с плачем выплещем в просторе молодом  
Столетия скорбные насилий и обмана;  
И в час, когда пути из наших рук взойдут,  
И в час, когда ветра, натужась, раздадут  
Пред нами кругозор — ограду из тумана, —  
Мы на могильники укажем, чей редут  
Превыше снежных Альп, обширней океана.

Вот мир, начерченный на наших спинах! Вот —  
Обремененные в столетьях, как поклажей,  
Кровоподтеками материков и вод,  
Рубцами рубежей и швами горных кряжей!  
В них вражеский свинец переплавлялся в гнев,  
Зарницами из ран хлестал, осатанев. . .  
Вглядись и опознай живую карту мира —  
Столетиями борьбы начертана она,  
Прочти огромные, как время, письма,  
Что вывели копье, булыжник и секира!

Без усталости в нее вникали мы стократ,  
Когда, враждебные осиливая мили  
От гималайских льдов до буковых Карпат,  
Сквозь пламя и сквозь тьму победный марш стремили, —  
В торжественном пути — с восхода на заход —  
Созвездьями взошли республики свобод,  
Мы сопрягли хребты с хребтами воедино,  
На тучи, на ветра свою простерли власть —  
Где надобно, у нас раскинулась долина,  
Где надобно, в лазурь вершина вознеслась!

С Эльбрусовой главы мы высмотрели тропы  
Свинцовым сумраком затопленной Европы,

Мы видели Стамбул с заоблачной Яйлы;  
К лазурной вышине, на снежные валы  
Всходили мы — принять привет от всей вселенной  
И передать ей страсть Москвы, и от нее,  
Нетленной, мудрости набраться вдохновенной,  
И стаи туч над ней вспугнуть, как воронье,  
И медным грохотом фанфарного прибоя  
Призвать к последнему, решительному бою.

Торжествовать со всей вселенной заодно!  
Привить себя, как плод, пяти частям вселенной,  
И влить в них нашу кровь хмельную, как вино,  
И наше рвение, и влить в них пыл священный,  
Вскормленный в тайниках чудовищных ночей,  
Где пламя изо ртов рвалось, как из печей,  
Где безднами сердца свой голод утоляли  
И миллионы глаз созвездьями цвели,  
В мир семя заронив, из синих далей в дали —  
От жаждущих небес до жаждущей земли.

Закончен первый бой, затишье наступило,  
И для последних битв мы накапливаем силы:  
Войска — на отдыхе, в движенье, на постах.  
Мы наше торжество явили всей вселенной, —  
Впервые вырвали из векового плена,  
Оно колышется на нивах и в садах.  
Уже перед тобой — не пастухи-номады,  
Не темных батраков нестройные отряды, —  
Взойди — увидишь их в просторах мировых.  
Взойди, прислушайся — и ты услышишь их!

Узнай же первенцев, замученных тобою,  
Застреленных у стен, в дыму, в тревоге боя,  
Припомни и сочти, коль хватит силы счесть.  
Вот — пробужденные — они идут, как тучи,  
Их взоры и сердца — суровы и могучи,  
Горящие уста гласят за вестью весть, —  
С восхода на заход, сквозь гул и гром железа,  
Идут, упорные, глася победный час.  
Нет, не умножатся могилы Пер-Лашеза,  
Могилу первую мы выроем для вас!

Мы всякого судью с презреньем отмечаем,  
Нас обвинения и кары не смутят, —  
Нам время судия, и, праведны стократ,  
Мы пламенно идем навстречу вражьим стаям;  
Нам больше не знать застенков и оков.  
Мы на весы кладем свинцовый груз веков,  
И мощь рассудит нас, рассудит нас терпенье,  
Рассудит истина; снарядам никаким  
Не превратить нас в прах, не превратить нас  
Стныне будем мы владыками сражений! В ДЫМ, —

1932

114

Ночь надвигается. Просторы синевы  
Уже становятся и немощны, и нищи.  
Несите, призраки базаров, на кладбище  
Останки истины, прожившейся вдовы!

Старинные свои забудьте имена,  
Сорвите маски с лиц, скопцы и маниаки:  
Мне нечего от вас наследовать во мраке,  
Вам нечего приять во мраке от меня!

О, круглая земля!  
В тоске невыразимой  
Ты гетто на себе, как темную камео,  
От Франкфурта несешь до Иерусалима,  
От Иродовых дней до дня Варфоломея.

1932

115

Древней надгробных плит обугленные лица!  
Еще вы бродите средь звездной синевы,  
Как средь навозных ям; еще ваш вечер длится, —  
Схоластику, как кость, еще грызете вы!

Не выше ворона ваш хилый ум взлетает,  
Как ворон, смрадную раскапывает гниль.  
Еще раз и еще, юродивая стая,  
Цветистой формулой Каббалы щегольни!

Уже царить в сердцах развалины не властны.  
Грошовой истине сетей не разостлать.  
Нарежьте же ее, софисты и схоласты,  
Насытите ею плоть, сгоревшую дотла!

1932

## 116—118. ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ

### 1

И день и ночь в раздумье оснежённом  
Всё ждет тайга, когда броней экспресс  
Загромыхает гулко по уклонам,  
Багровый дым держа наперевес.

И, прижимаясь к небесам морозным,  
Тоскуют дни и ночи напролет  
По сменам зорь, по циферблатам звездным  
Громады гор, закованные в лед.

И тишина прозрачная такая,  
Что слышно за версту хрустение сучков,  
Когда, подстреленный, в чащобу, спотыкаясь,  
Уходит зверь унять струящуюся кровь.

Но к иступленному составу вихрем рвется  
В тоске, вскормлённой сопками, тайга,  
Когда он медным горлом разревется  
И дым прощальный бросит на снега.

Она манит красой пестрополосой,  
Камку и бархат мечет под колеса  
И вьюгами гудит среди пустырей:  
«Экспрессы, возвращайтесь поскорей,  
Чтоб вызволить меня из дремы хмурой  
И первозданность соскрести с меня».  
Расперты мощью берега Амура,  
Он продвигается упорней день от дня  
К золотокованным подножиям Хингана.  
«Не мешкайте в путях,  
Ждут горы-великаны.



Густейший мед — в набухнувших грудях,  
Звончайшим золотом расперты жилы.  
Есть у меня родник:  
Кто, сумрачный и хилый,  
К нему хоть раз приник,  
Тому чудесное дарует исцеленье, —  
Ужели только страждущих оленей  
Целить ему назначено вовек?»

2

К трясине облако нисходит золотое  
И окунается в зеленые настои;  
Туманы ржавые кочуют вдоль озер,  
Толчется мошкара над буйною осокой.  
Но солнце в небесах вздымается высоко,  
Стеклом расплавленным струится кругозор.

Кружитесь, ветры!  
Солнце, полыхай!  
Дыханьем жги, мороз, морщинистые лица,  
Вливай нам силу в грудь, пылающий мороз!  
Идет к тебе, тайга, народ омолодиться,  
Идет разворошить тебя из края в край,  
Исполненный надежд и рвенья;  
Он тоже внял движенью звезд,  
Божественной премудрости оленей:  
С высоко поднятою головой  
Идет к тебе, тайга, громадой боевой, —  
Не по глухим тропам  
В неведомые дали  
Бредет, тая печаль и страх, —  
Но в пламенных,  
Но в бурных поездах  
Он по Сибирской мчится магистрали.

8

Здесь в голову мороз кидается, как брага,  
Вливает в жилы крепость и отвагу,  
На сотни миль простертые снега  
Здесь наготой сияют человечесьей.

Так радостно ступает здесь нога.  
И дерево древнейшее на плечи  
Здесь хочется взвалить и понести в простор,  
И встать могучей сопкой у границы,  
И недругу бросать в упор:  
«Взгляни на кряж, что в даях громоздится,  
Он в тучи врос гранитной головой,  
Из края в край раскинулся, могучий.  
Ты видишь ли его издалека?  
Он еще выше встанет, грозовой,  
Взойдет еще неодолимей,  
Когда врага протянется рука  
Хоть к малому клочку земли родимой».

1935

### 119. БАЛЛАДА О ДВУХ БРАТЬЯХ

Росли, как колосья, два брата родных.  
Страна, как мать, воспитала их.

Дала им моря и вершины гор,  
Простор полей и таежный простор.

И на́ поле, солнцу подставив лицо,  
Один отливало золотое кольцо.

Работал в жарынь, работал в мороз, —  
Любил и берег свой зеленый колхоз.

Любовью к стране своей гордой богат,  
Границу стеречь ушел его брат,

Чтоб Родину милую — мать свою —  
И в мире беречь, и в кровавом бою.

. . . . .

Верен глаз, и надежна рука.  
Любовь к стране своей трижды крепка.

Не время веселью, не время сну.  
Трижды почетно беречь страну.

Верен глаз, и надежна рука.  
Трижды разбить и отбросить врага!

Сладостна ночь, радостен день.  
Чья это стелется черная тень?

Мчатся армейцы в рассветной мгле.  
Доверен им мир и покой на земле.

И ради покоя всегда трезва  
Винтовка солдатская и голова...

Ночь раскололась. Эхо вдали.  
Восемь бандитов рубеж перешли.

Радостен день, сладостна ночь.  
Надо стране родимой помочь!

Скорей в погоню! Открыть огонь!..  
Встал на дыбы испуганный конь.

Солдат пришпорил, помчался вперед.  
Он целую банду на мушку берет.

Он мать защищает — землю свою.  
Он выстоит, сын. Не струсит в бою.

Упали двое. Троицк конец...  
Но ранен смертельно отважный боец.

. . . . .

А брату — от ветра о брате узнать.  
Брат глянет на землю — не плачет ли мать.

Отец его — Ленинский комсомол...  
Собрался брат, на границу ушел.

День за днем, за вокзалом вокзал...  
И брат командиру заставы сказал:

«Брат умер. Возьмите в солдаты меня!  
Дайте винтовку мне, дайте коня.

Пойду я в дозор пограничный — туда,  
Где брат мой глаза закрыл навсегда.

Я брата сменю в солдатском седле».   
Много братьев на нашей земле!

1935

## 120. ИСПАНИЯ

Вернулся я к тебе из дальней стороны,  
Нарушил я обет и память предков предал.  
Здесь, на твоей земле, разорены  
Могилы древние, кладбища наших дедов.

Лежат останки их среди могил бойцов,  
Здесь пронеслись бои, столетний плен развеяв,  
А мне не воскресить забытый прах отцов —  
Гонимых из страны в страну евреев.

Они покорно шли, как гурт овец в загон,  
Шли, страхом скованы, кляня свое бессилье,  
Под лязг и звон секир, под колокольный звон  
Шли в тюрьмы Кордовы и на костры Севильи.

Над головой твоей опять занесены  
Срудья палачей — куда страшней секиры.  
Пришел я из Москвы, из дальней стороны,  
Пришел как брат, не как изгнанник сирый.

Я вновь свою судьбу теперь связал с тобой,  
Когда ты стонешь, кровью истекая.  
Несу тебе любовь и опыт боевой  
Из вольного, прославленного края.

Проснулась ты в годину мук и бед,  
Чтоб вольность отстоять в горниле испытаний.  
Да сменил звон меча бряцанье кастаньет  
И яркой молнией разящий меч твой станет!

Европа вся в дыму, огнем озарена,  
Вся кровью залита, а над тобою ныне

Уже занесены, несчастная страна,  
Крест Гитлера, секира Муссолини.

Они разносят по земле чуму,  
Хотят, чтоб землю трупы заражали,  
Летят, как злые демоны в дыму,  
Над пеплом городов, над грудами развалин.

Они несут предательство и страх,  
Бесправье и разбой, расстрелы, бомбы, пламя,  
Они живое всё сжигают на кострах,  
И путь их вымощен повсюду черепами.

Но мужество твое, оно всегда с тобой,  
С тобою вера твердая в победу.  
В Мадриде каждый камень рвется в бой,  
Готовы к бою хижины Толедо.

Путь боем озарен, и чувствуют сердца:  
Звучит разрывов гром, звучит атаки топот,  
Как эхо выстрелов у Зимнего дворца,  
Как громовой повтор атак у Перекопа.

Твой путь, твоя судьба, как горы, высоки,  
От поступи твоей вскипают волны моря.  
И дети в бой идут, и старики,  
Чтоб отстоять твои поля и взгорья.

Светла твоя душа и помыслы чисты,  
И звонко бьется сердце молодое.  
Не хочешь быть женою труса ты,  
Ты знаешь: лучше стать вдовой героя!

Не плачет о погибшем друге друг,  
Сын об отце убитом, брат о брате, —  
Берут оружие из холодных рук,  
А губы шепчут клятву о расплате.

Повсюду, как гурты растерзанных овец,  
Деревни мертвые лежат в крови и гари,  
Любой булыжник рвется, как боец,  
По вражеской броне, по свастике ударить.

За всех детей, погубленных врагом,  
За брызги крови на листве и травах  
Пусть грянет, как обвал, обрушится, как гром,  
Народный правый суд и гнев народа правый!

Здесь прошлое мое — среди могил бойцов,  
Здесь пронесли бои, столетний сон развеяв,  
И мне не воскресить забытый прах отцов —  
Гонимых из страны в страну евреев.

Тех, что покорно шли, как гурт овец в загон,  
Шли, страхом скованы, кляня свое бессилье,  
Под лязг и звон секир, под колокольный звон  
Шли в тюрьмы Кордовы и на костры Севильи.

Я вновь свою судьбу теперь связал с тобой,  
Когда ты стонешь, кровью истекая.  
Несу тебе любовь и опыт боевой  
Из вольного, прославленного края.

Как на вершинах пиренейских снег,  
Сынов и дочерей твоих не меркнет слава.  
Верней оружия не было и нет,  
Чем твердость, мужество, чем гнев народа правый!

1936

## 121. ТОРЕАДОР

Взмахни своим плащом, тореадор, и в бой!  
Гул над трибунами — волненья верный признак...  
Сегодня ведь не бык стоит перед тобой,  
А инквизиции зловещий черный призрак.

Ворота древние истерзанной страны  
Распахнуты. Поля полны не плачем — стоном.  
Крестом кровавым все в стране осенены —  
Так проповедует епископ миллионам.

Темно на улицах. Но нет, не спит Мадрид!  
Там пули люди льют, готов там к бою каждый...  
Пусть не нарушится там песни четкий ритм,  
Пусть мужество бойцов учетверится дважды!

Твоя любимая сейчас в огне, в бою...  
И гулом изошли гор обожженных грани.  
Твоя любимая, обняв страну свою,  
Бинтует знаменем дымящиеся раны.

Так обнажи свой меч! Пусть вспорет он простор!  
Пусть вспыхнет горизонт, разорванный тобою...  
Так плащ пурпурный свой взметни, тореадор,  
И пусть он взмоет ввысь, как знамя боевое!

1936

## 122. ШОТА РУСТАВЕЛИ

На пергаменте лазури,  
        испещренной блеском молний,  
Встали строфы, как законы,  
        обращенные в века,  
И в прозрачности извечной,  
        в неразгаданном безмолвье  
Эту летопись хранили  
        кряжи гор и облака.

Как зеленые кувшины,  
        поднимались кипарисы,  
Упоенные виденьем,  
        влагой песен налиты,  
И скользили меж утесов  
        в ослепительные выси  
Благородные порывы,  
        вдохновенные мечты.

Словно citrusы и пальмы,  
        месх безвестный из Рустави,  
Насадил ты эти песни  
        среди гор своих родных,  
И сегодня, Руставели,  
        мы поем тебя и славим  
На наречьях возрожденных  
        расцветающей страны.

Сколько дивных и глубоких  
афоризмов стародавних  
Людам ты послал на крыльях  
освежающих ветров!  
Мудрость древнего Востока  
вдохновенно сплетена в них  
С духом вольности и правды  
лучших Запада сынов.

В благородных славных братьях —  
в Автандиле, в Таризле —  
Дружбу братскую народов  
ты торжественно воспел,  
И живет в народе память  
о великом Руставели,  
И века и поколенья  
не забудут о тебе.

В озаренные просторы,  
к величавой звездной славе  
Имена певцов бессмертных  
горделиво вознеслись.  
Как о Пушкине и Данте,  
так о месхе из Рустави  
Нам рассказывает ныне  
торжествующая жизнь.

На пергаменте лазури,  
испещренной блеском молний,  
Встали строфы и законы,  
обращенные в века,  
И в прозрачности извечной,  
в неразгаданном безмолвье  
Эту летопись хранили  
кряжи гор и облака.

*25 декабря 1937  
Тбилиси*



### 123. ЛЕНИН

Придет одно и сменится другим,  
Уходят поколения навеки,  
Но никогда народ не разлучался с ним,  
Как с морем никогда не расставались реки.

То слово, что, взлетев с броневика,  
Над миром, как набат, когда-то прозвучало,  
Еще живет в сердцах и будет жить века —  
Одержанных побед великое начало.

На строгий монумент, чей сумрачный гранит  
Хранит его черты, порывистость движений,  
Народ воспрянувший не с горестью глядит,  
А с гордостью — мы с ним в труде, в дыму  
сражений.

Народ его мечты взрастил, как семена,  
И сердце уберег, его заветам внемля.  
Цветущая, как сад, раскинулась страна,  
Обильный урожай едва вмещают земли.

Что времени незыблемый закон?  
Пушай в природе неизбежно тленье,  
Но смерть побеждена, и вечно будет он  
Великим светочем грядущих поколений.

И полон новых сил, и к подвигам готов,  
Идет народ-творец заре навстречу,  
Поднявши голову до самых облаков  
И богатырские свои расправив плечи.

Во всем, что ныне мы без усталости творим,  
Сверкает мысль его, великая, простая,  
И кажется — он здесь, он жив, и вместе с ним  
Любимая страна живет и расцветает.

Ту клятву родине, которую сыны  
Народа дали в дни кончины и печали,  
Они исполнили, ей до сих пор верны.  
В боях закалены, они обет сдержали.

Его простертая в грядущее рука  
Сулит свободу, мир, зовет к счастливой доле  
Народы всей земли, которые пока  
Томятся, как рабы, под гнетом и в неволе.

Народом вскормленный, познал он до конца  
Его стремления, и радости, и горе.  
Со всех сторон к нему стекаются сердца —  
Так воды вешних рек, бурля, несутся в море.

На строгий монумент, чей сумрачный гранит  
Хранит его черты, порывистость движений,  
Народ воспрянувший не с горестью глядит,  
А с гордостью — мы с ним в труде, в дыму сражений.

1937

#### 124. ПУШКИНУ

Властитель дум — бессмертье ты познал,  
Не мир покинул ты, а тьму и безвременье;  
И в вихре буйных лет не угасал  
Твой гордый и величественный гений.

Во тьме ночей морозная белеет ель,  
Как заснеженное минувших дней преданье.  
Твоя дуэль с царем, поэт, — твоя дуэль  
Народом принята была как завещанье!

В огне гражданских схваток и боев,  
Когда взлетали грозные зарницы,  
Когда в потоках гнева рокотала кровь, —  
Кровь и твоя была засчитана убийцам!

Надежду вечную в борьбе тая,  
Ее народ пронес сквозь гул столетья, —  
Была, была засчитана твоя  
Поруганная кровь пророка и поэта!

Твой неостывший прах, поваленный на сани,  
Как в ссылку, проводили ветер и конвой;  
Над Русью пронеслось еще одно сказанье  
Из летописи тьмы и скорби вековой!

По всей земле, по всей планете снова  
Слух о тебе идет потоком лет,  
И древний мой народ стихами славословит  
Тебя, усыновленный человечеством поэт!

1937

125

Валенсия — твоя сестра, Мадрид!  
Она изранена, но вновь готова к бою,  
Она за твой пример тебя благодарит,  
Соперничая мужеством с тобою.

Над нею солнце жаркое горит,  
Она измучена, но зубы крепко сжаты.  
Валенсия — твоя сестра, Мадрид,  
Она, как ты, хранит свободу свято.

Она прикрыла родину, как щит,  
Она атаки грудью отражает,  
Валенсия — твоя сестра, Мадрид,  
Она тебе в геройстве подражает.

Ей светит зарево твоих ноябрьских дней  
И грозный штурм высот Гвадалахары.  
Валенсия — твоя сестра, и с ней  
Разделишь славу ты и тяжкие удары.

Да будет враг от этих стен отбит,  
Разбит здесь будет недруг одичалый.  
Валенсия — твоя сестра, Мадрид,  
Она огнем борьбы отчизну увенчала.

О грозовой Мадрид, за все века  
Так пышно не цвели еще оливы эти,  
А ненависть твоя настолько глубока,  
Что не было еще такой на свете!

Поруган каждый двор, позором край покрыт,  
А кровь детей зовет к отмщению всё живое.  
Валенсия — твоя сестра, Мадрид!  
Она изранена, но вновь готова к бою!

Она измучена, но накрепко стоит,  
Она — победы лик на бронзовой медали.  
Еще твои сыны не бились так, Мадрид,  
И дочери твои прекрасней не бывали!

Отвагой ты пылал не только в дни коррид,  
Ты шел на палачей, подобен грозной буре,  
Когда сверкнуло над тобой, Мадрид,  
Как меч разящий, сердце Ибаррури.

Небесная разверзлась глубина,  
Дрожат хребты от бранной непогоды.  
Валенсия — твоя сестра! Она  
Как подпись под воззванием свободы!

Захвачено врагом три четверти страны,  
Гробы Альмерии забыли о покое.  
Всех звезд лучи к тебе устремлены,  
С тобой моя страна, все граждане с тобою!

Над головой твоей уже заря горит,  
И пламя мук твоих просторы озарило.  
Валенсия — твоя сестра, Мадрид,  
А для твоих врагов ее земля — могила!

1937

## 126. ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ СООТЕЧЕСТВЕННИК ВЕРГИЛИЯ

Снова полночь, и в темной могиле,  
Орудийным разбужен огнем,  
Просыпается старец Вергилий  
И блуждает во мраке ночном.

Здесь кладбище от края до края,  
Всюду холмики, всюду кресты;  
Не узнаешь родимого края,  
Не услышишь напева листвы.

Всюду пусто, и вдруг в отдаленье  
Обезглавленный отрок возник,  
Он причудливой движется тенью,  
И его окликает старик:

— Соплеменник мой, призрак безглавый,  
Кто ты? Молви хоть слово в ответ!

— Был наследником дантовой славы, —  
Ты о Данте слышал или нет?

— Соплеменник мой, призрак безглавый,  
Как ты мог головы не сберечь?

— Захотел я свободы и права,  
Вот и скинули голову с плеч.

— Соплеменник мой, отрок казненный,  
Почему ты в земле не почил?

— Сколько пало! В земле миллионы,  
И уже не хватает могил.

— Соплеменник мой, призрак безглавый,  
Где же песни — отрада сердец?

— Говорят, что нужней для державы  
Нынче жерла стволов и свинец.

— Соплеменник мой, отрок казненный,  
Что же смолкла мольба нищеты?

— Нет живых. На земле разоренной  
Сеют кости — и всходят кресты.

— Соплеменник мой, отрок казненный,  
Где же Рим, где мой город родной?

— Там, где пламя сегодня и стоны,  
Где охвачены страны войной.

Где твой Рим? — не найдешь и развалин,  
Где твой дом? — и его не найти,  
Сколько б ты ни оглядывал дали,  
Сколько б верст ни прошел ты в пути.

Дали в пламени, дымом одеты,  
Блеск секиры врывается в сон.

Римский стяг в Эфиопии где-то  
Над горой черепов вознесен.

Не полотнище черное плещет —  
Цвет рубахи чернее, чем дым,  
И разбойничьим бригам зловеще  
Проплывает сегодняшний Рим.

Бродит Рим твой теперь на чужбине,  
Нет здесь родины, старец, твоей,  
Рим в Мадриде бесчинствует ныне,  
Убивая испанских детей.

— Соплеменник мой, призрак безглавый,  
Как туда мне дорогу найти?  
— Путь далекий лежит и кровавый,  
И в Берлине начало пути.

От полуночи и до рассвета  
Мимо черных руин и могил  
Водит мальчик седого поэта,  
Как Вергилий собрата водил.

— Соплеменник мой, отрок казненный,  
У кого еще есть голова?  
— Лишь у тех, что в борьбе непреклонны,  
В ком отвага и честность жива,

В ком мечта никогда не увянет,  
Кто на звездный глядит небосвод,  
Тот, кто в Риме хозяином станет  
И свободу в бою обретет.

1937(?)

## 127. ДНЕПР

Не допел средь базарных майданов кобзарь  
О набегах, о битвах, заглохших в былом,  
Не оплакали хмурые воды  
Над багряным бурьяном багровую гарь  
Вдоль дорог, по которым неслись напролом,  
Громяхая, мятежные годы.

Старый Днепр! Запрокинута шея твоя  
Пред мечом обнаженным грядущих веков,  
И сквозь грохот камней, сквозь пламя  
Вырываются, радость, как зори, струя,  
Из-под хлябей твоих и зыбучих песков  
Поколенья — густыми рядами.

Из чумацких становищ рассвет над тобой  
Возникает, пылая, как в горне металл,  
Сквозь леса, что туманом одеты, —  
Не с поселков, что пламени предал разбой,  
Не с долины мечей окровавленной встал  
Огневеющий лагерь рассвета.

И как мост — над тобой молодая луна  
Изогнулась прозрачной и узкой дугой,  
И по мосту проходят ночами  
Сквозь туманы, среди беспокойного сна  
Поколения с тысячелетней тугой,  
С подневольной тугой за плечами.

Нарастающий гул и тревога кругом,  
И простор осеняется звездным крестом,  
Перешептываясь с тишиною.  
То шумит водопад или, может быть, вдруг  
Как стрела с тетивы, прынет узкий уструг  
Под медовою низкой луною.

Полыхают костры на глухих берегах,  
И впотьмах старики, развалясь у огня,  
Под журчанье былин и преданий  
Вспоминают о вещем Олеге, чей прах,  
И змея, и костяк боевого коня,  
Как святыни, таятся в кургане.

И еще вспоминают впотьмах старики,  
Созерцая высокие стены дубрав,  
По холмам, над зеленой долиной:  
«Вон туда, на камень, среди спутанных трав  
Приходила ночами у тихой реки  
Предаваться разврату Екатерина».

Старики в исступленье, их взор воспален,  
Исхудалые шеи от гнева красны.  
— Ну, поведайте, деды, просторам,  
Как кончались, как заживо гнили сыны,  
Как пытали в плену обездоленных жен  
Батогами, бичами, измором...

На завалинках, низко, средь черной тоски  
Поколение дремало, лелея в тиши  
Вулканический пламень для мести...  
Ну, поведайте вновь, как гуртом за гроши  
Отдавали друг другу князья и князьки  
Молчаливых рабов и поместья.

Как, томимые жаждой, в просторе пустом,  
Задыхаясь под тяжестью дней и ночей,  
Голодали, глодали засохшую корку;  
Как по праздничным дням, нахлебавшись щей,  
Помолившись святым, осенившись крестом,  
Отправлялись, покорные, к барам на порку...

И взрываются горы и, лаву меча,  
Озаряют пути, по которым, теснясь,  
Воспаленные всходят народы:  
— Над косматым Днепром никогда уже князь  
Не подымет горящего славой меча!  
Под ладьями вовек не запенятся воды!

Молодая заря за косматым Днепром  
Разливается пурпуром и янтарем  
Над лесами, над степью старинной:  
— Гей, вы, лоцманы, — вы, что как пена седы!  
Никогда уж на камни у тихой воды  
Не придет к полюбовнику Екатерина!

То не буйные орды из балок и рощ,  
Громяхая, в поту и в пыли, поутру  
Прискакали к пылающей влаге, —  
Широко по холмам, где качается рожь,  
Золотея на синем и сонном ветру,  
Поколение раскинуло лагерь.



Пробудился простор от машинных громов,  
Задрожали утесы, и, встав на дыбы,  
Разъяренно ощерились воды. . .  
Этот гул для Днепра еще странен и нов, —  
То не сумрачный клекот сигнальной трубы  
Запорожцам вещает походы.

И раскатисто сквозь паутину лесов  
Запевают сирены у древних камней  
Голосами грядущих сказаний. . .  
Из простора в простор — полыхающий зов,  
Из простора в простор — переключка огней,  
Переключка забот и дерзаний.

Опьяненные гулом днепровских зыбей,  
Потянулись бригады из сел и степей,  
Воспаленные, в копоти. Хором  
Поклялись, отвечая Днепру на привет:  
«Не отстанем, покуда сияющий свет  
Не взойдет, как заря, над простором!»

По крутым берегам громоздятся леса,  
Над равнинами — двадцать четыре часа  
Громяхают стальной канонадой.  
От зари до зари — завыванье сирен,  
От зари до зари по конвейеру смен  
За бригадой несется бригада.

Собрались партизаны эпических битв,  
Вместо сабель и пик — инструменты в руках,  
И днепровские воды — в осаде.  
По старинным холмам, по долинам, в песках  
Наступающий труд иступленно трубит,  
И бригада — на смену бригаде.

Старый Днепр! Поколение взнуздало тебя,  
Ты рассечен бетонным ножом пополам.  
С голубых берегов, громяхая,  
Наклоняются краны к покорным валам.  
Ты несешься, бессильную ярость дробя  
О глухие плотины и сваи.

За ступенью ступень, за подъемом подъем —  
Это мудрый закон, что ведет к облакам,  
В синеву, над округою старой.  
И плотины — как путы на теле твоём,  
Полыхающий Днепр! То на диво векам  
Приручили тебя коммунары.

— Гей, вы, старые лоцманы, гей, чабаны,  
Отплывающие на последних плотах!  
Ослепительные приближаются годы.  
Эти волны, что в дикий простор влюблены,  
Будут сами, пылая, в грядущих портах  
Исполинские в путь торопить пароходы.

Не допел средь базарных майданов кобзарь  
О лампадах, пылавших, как факелы, встарь,  
О походах, о славе священной, —  
Но любая грохочет в эфире звезда.  
Уж разносят, как музыку, ветры в года  
Тот ликующий свет, что зажжен над вселенной.

(1938)

## 128. ЧЕРНЫЕ КОСТРЫ

— Что ж, развлекай толпу,  
Венчанный шут,  
Кострами черными, угарными кострами!  
Умножь число,  
Подбрось еще!  
Пусть всё костры сожгут!  
Пусть освещает тьму  
Хотя бы это пламя!

Что ж, развлекай толпу  
Убийственным огнем,  
Скорее созывай  
На торжество парламент!  
Пусть радуются все на празднике твоём,  
Пивною пёною  
Пускай клокочет  
Пламя!

Двадцатый век сегодня держит речь.  
О, Галилеи плоть! —  
Опять в огне истлеть ей!  
Опять готовятся Джордано Бруно сжечь.  
О, слава,  
О, печаль двадцатого столетья!

Но каждая строка  
Возносится в дыму,  
Как смертный приговор,  
Как ярость и дерзанье.  
Бросай тома в огонь! —  
Пусть разгоняют тьму:  
Пусть искра каждая  
Летит, как предсказанье!

Что ж, развлекай толпу! Всё, всё бросай  
в костер!

Пускай струится кровь племен и рас  
«ничтожных»!

Как орден нации, на грудь повесь топор!  
Да сгинут на земле мыслитель и художник!  
Что? Мало? Так пускай все знания сгорят,  
Науки пусть гниют, свисая с перекладин!  
Скажи, что здесь твое? Коричневый наряд?  
Да, он один тобою не украден.

И ты не забывай,  
Державный шут:  
Бумага станет черной горсткой пепла,  
Живую плоть,  
Закон  
Твои костры сожрут, —  
Но помни: мысль всегда  
В огне пожаров крепла!

День похорон своих  
Оттянешь лишь на миг  
Крестовым шествием  
С убийствами, с кострами,  
Твой приговор навис разящим острием, —  
Пусть радуются все на празднике твоём,  
Пивною пеною

Пускай клокочет  
Пламя!

Вы мните — мысль горит?  
О нет! Наверняка  
Уже ваш френч коричневый дымится.  
Вы хуже разъяренного быка,  
Который  
На рога  
Планету взять стремится!

Что ж, развлекай толпу! Воспитывай скотов,  
Кострами опьяняй, лишай ума и чести!  
Но толп голодных крик уже взлететь готов,  
И он взорвет вас с площадями вместе!

Читай свой приговор! —  
Не на бумаге, нет! —  
На свитках времени, развернутых, как знамя,  
Читай на лицах толп! —  
На них багровый свет.  
Из пепла мертвого  
Взойдет иное пламя.  
Вы сеете огонь, растите сотни бед,  
И Средние века бледнеют перед вами!

Так знай же:  
Ярче звезд  
На бронзовых плечах  
Горят сегодня буквы приговора;  
И каждый выстрел твой  
И плети каждый взмах  
Твердят о том,  
Что Возрождение —  
Скоро!

Запомни:  
В сердце выжженной земли  
Отчизна вольнодумцев сохранится,  
Они — как загнанные корабли.  
— Сюда, собратья! К нам! Через границы!

(1938)

## 129. ХО ЛАХМО!

### 1

На что он нужен был, тот хриплый контрабас?  
И без него бы все ушли, как уходили. . .  
Все улицы снялись в один и тот же час  
И вместе двинулись к распахнутой могиле.

Лег снег на бороды и на пергамент щек,  
Перед голодным рвом надменно люди встали. . .  
— Хо лахмо! — вот он, хлеб, который дал нам бог  
И языком светил нам предки завещали.

Кто станет в городке поститься в этот час?  
К могиле, как к столу! . . Как в храме перед Торой,  
Накрылся талесом скорбящий контрабас,  
Храня достоинство перед кончиной скорой.

Раскрой нам, ангел, черный свой чертог, —  
За ним бессмертья солнечные дали. . .  
— Хо лахмо! — вот он, хлеб, который дал нам бог  
И языком светил нам предки завещали.

### 2

Сыпучие пески сковал кровавый лед,  
Вот малхамовес встал, большим крылом качая. . .  
А контрабас в ночи отходную поет,  
Навеки городок с евреями венчая.

Он помнит танцы свадеб и нищенских пиров,  
Он вспоминает всё в минуту смертной муки.  
А в это время штык ребенка сбросил в ров,  
И мать в отчаянье протягивает руки,

Те руки, что пекли и праздничный пирог,  
И в муках родовых к создателю кричали.  
— Хо лахмо! — вот он, хлеб, который дал нам бог  
И языком светил нам предки завещали.





Ни крова, ни гроба не дав, судьба ее дальше гнала.  
 Бездомная женщина шла, вокруг озираясь пугливо.  
 Кричали вдали петухи. Сгущалась и ширилась мгла.  
 Шумливо толпясь у стола, тянули насильники пиво.

Убийцы своим барышам в ночи подводили итог,  
 Доход с городов и кладбищ подсчитывая чистоганом.  
 Сожженная стала в дверях. Взглянули они на порог  
 И глаз не смогли отвести, подобно немым истуканам.

Мерещилось им наяву, что видит постыдный дележ  
 Сожженная ночью в хлеву и ставшая пеплом и прахом.  
 От взгляда бездонных глазниц бросало грабителей  
в дрожь.
 Во тьме пригибало к столу их головы хлещущим страхом.

...А ветхие стены в хлеву давно от костра занялись.  
 По-детски заплакал бычок, уткнувшийся в дымные ясли.  
 И мать, обнимая дитя, глядела в холодную высь:  
 Над сумраком вечных дорог звезда для нее  
не зажглась ли?

Подобно обмоткам за ней влачился пылающий след.  
 Горящие ноги ее во тьме продолжали светиться.  
 Здесь много разрушенных гнезд. Быть может, украдкой  
на свет
 Откуда-нибудь прилетит бездомная странница-птица?

Ей дым ниспадал на лицо, совсем как субботняя шаль,  
 Когда славословье она читала, склонясь над свечами.  
 Быть может, из чащи лесной, покинув дремучую даль,  
 Появится мститель святой в ушанке, с ружьем  
за плечами?

Ей путь преграждал бурелом. Она продолжала шагать.  
 Служила ей посохом тень. Вдали перепутья темнели.  
 Быть может, во мраке ночном, увидя гонимую мать,  
 Блеснет ей живая звезда в распахнутой ветром шинели?



Бездомную мать и дитя во тьме окружив, как друзья,  
Приветливо скажут они: «Изгнанница, доброй недели!»  
...Сожженная женщина шла, и неба пылали края.  
Великое пламя росло, и жаркие искры летели.

1940(?)

### 131. ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА

#### 1

Ни встать ни сесть — такая теснота!  
Им не подашь и корку бога ради. . .  
Беда скупила в эшелоне все места  
И разлеглась и спереди и сзади. . .

Беда спешит — вперед, вперед, вперед,  
И не свернет состав с пути стального. . .  
Как за руку слепца, ведет беда народ,  
Ей на слово доверили слепого. . .

Предсмертный хрип. . . Предсмертный звон  
в ушах. . .  
Ребята на полу, как сломанные ветки. . .  
Вот смотрит из угла худой еврей в очках:  
Беду бы обмануть, бежать из этой клетки! . .

Он выйдет на перрон. Он юркнет в никуда.  
Прорвется через снег на черных тротуарах. . .  
Ни встать ни сесть — такая теснота,  
Беда, одна беда — под нарами, на нарах. . .

#### 2

И он ушел. . . Неверные шаги. . .  
И пальцы тянутся за ним во мгле вокзальной. . .  
Печалью глаз задымлены очки,  
Как рыжее стекло коптилки поминальной.

В лохмотьях впалая белеет грудь,  
На скулах мох, глаза мигают слепо. . .

Он вышел боль свою излить кому-нибудь  
И вымолить немного хлеба.

Но жалости не пробудив ни в ком,  
За кипятком поллелся в рваных ботах. . .  
И вздрогнул эшелон, и тронулся рывком. . .  
И наступила ночь, и занялась суббота. . .

За стеклами в зрачках немая жуть  
Горит, как фитилек. . . И непроглядно небо. . .  
Он вышел боль свою излить кому-нибудь  
И вымолить немного хлеба. . .

8

Насупился завьюженный вокзал,  
Железные пути натянуты до боли. . .  
Мороз еврея гнул и обжигал:  
Добыть бы кипятку, полкружки бы, не боле. . .

Был у него когда-то дом и хлеб,  
И дочь была, и ожидались внуки. . .  
«О господи! Наверно, ты ослеп, —  
Ты видишь — кипятком я грею руки. . .»

Дом вспомнился, но был ли добрый дом?  
Всё отнято. Бредут босые ноги  
Из польского местечка день за днем,  
Тысячелетьями, без цели, без дороги.

И сводит рот, и хлеба нет, хоть плачь,  
И кто он — человек или собака? . .  
«О господи, как скуп коричневый палач —  
Так мало кипятку я взял из бака. . .»

1940(?)

### 132. КЛЯТВА

Ты боль свою, как славу, гордо нес,  
Как саблю, выхваченную из ножен.  
Слезами сон твой мы не потревожим,

Мы честью поклялись красноармейских звезд  
У праха твоего, — где б ни лежал твой прах,  
Каким песком его б ни заносило время,  
Мы будем мстить, сжимая меч в руках,  
Пока твоих убийц не уничтожим племя.

Покрылась пеплом скорбная земля,  
Покрылись дали траурною сеткой.  
Ты шел на смерть — была тверда нога твоя,  
На муки шел ты, как идут в разведку.  
Ты был от мук своих отчизной отделен,  
С отчизною в груди ты миг последний прожил,  
Пред сворой палачей стоял ты, обнажен,  
С презрением глядел на мерзостные рожи.

Привязан к дереву, как Прометей к скале,  
Стоял ты, взорами грядущее читая,  
Но не орел клевал тебя в полночной мгле,  
А черных воронов тебя когтила стая.

Ты на костер взошел, последний сделав шаг.  
Пред пытку такой померкнул пытки ада,  
Но голос родины звенел в твоих ушах,  
Нет, ты не зарыдал и не молил пощады.  
Рыдали за тебя и ветер, и леса,  
Текли, как воины, отряды рек ревучих,  
Из недр высоких гор гудели голоса,  
И солнце спряталось в густых ненастных тучах.

Сквозь ветви пробиваясь, звуки шли,  
И песнь лилась, как буря, нарастая.  
Смятенная земля скорбела. А вдали  
Простерла руки мать седая,  
С тобой страдания предсмертные деля,  
На подвиг младшего благословляла сына:  
— Сияньем солнечным клянется вся земля,  
Клянется родина, могуча и едина.  
Клянется битвою последнею своей  
Боец, принявший смерть с презреньем небывалым,

Что будет мрак твоих проколотых очей  
Могильной пропастью фашистским каннибалам!..

Где камни на земле, чтоб охранять твой прах?  
Где приняла тебя земля отверстым лоном?  
Потомки пронесут тебя в своих сердцах,  
Они тебя найдут, они придут с поклоном.  
Свободные пройдут свободною землей.  
Они тебя найдут, ты можешь быть спокоен.  
Они придут к тебе сквозь холод, ветер, зной,  
Замученный врагом, бессмертный воин!

Мы нашу боль должны достойно перенести,  
Но сталью мы сверкнем, мы пламенем взметнемся!  
Великой будет месть, и грозной будет месть,  
Красноармеец! Мы не плачем, мы клянемся!

1941

### 133—141. ОСЕНЬ 1941

#### 1

Москва! Твои сыны-богатыри  
Тебя венчали вечной славой!  
Три революции, раздув костер зари,  
Одели в сталь твои заставы.

«Всем, всем! ..» Как сердца стук в груди,  
Приказ твой внят — и простой и грозный.  
Смерть не шагнет за твой порог, пока с пути  
Не сбились, угасая, звезды.

Ждут площади. Для подвига созрев,  
Ждут все, кто здесь крепили с камнем камень,  
Чтоб ты вложила в них и ненависть и гнев,  
Дыханья воинского жгущий сердце пламень.

Сыновний долг суров и прост:  
«Встань под ружье!» — вот смысл твоих велений.  
О город-мир! Огнем багряных звезд  
Ты начертал судьбу грядущих поколений.

Твоя печаль как властный зов! Костром горит  
 Высокий твой удел. И мнится:  
 Нам каждый камень твой, как летопись, раскрыт,  
 Где кровью каждая отмечена страница.

На площадях твоих, как на весах судьбы,  
 Всё бытие. К тебе из тьмы и гула,  
 Из черных далей в горький час мольбы  
 Земля дороги протянула.

О город бурь! Ко мне в угар  
 Ночей бессонных, в боль и в одурь пыток,  
 Как светлый код грозы, врывается удар  
 Твоих недремлющих зениток.

Нет, не удар — призыв во все концы земли.  
 Враг слышит приговор и правильный и грозный.  
 А в небе белые дороги пролегли,  
 Чтоб на пути к тебе не заплутали звезды.

Одет в защитный цвет бульваров строгий ряд.  
 Пусть осень над тобой и ветры точат злобу,  
 Но ветви легкие вцепиться норовят  
 Той буре в горло, что сломать их пробует.

Неугомонный дождь. Грядой незрячих гор  
 Орудья движутся, закованные в латы.  
 Но за тебя Можайск восходит на костер,  
 Встав огненной стеной на подступах к Арбату.

По флаггам рвется вихрь — в грозе атак  
 Поколебать тебя, мой город гордый.  
 Но Серпухов, подняв фабричных труб кулак,  
 Размел грабительские орды.

Пусть осень над тобой. Но даже листья все  
 Готовы опить врага отравой:  
 В твою защиту Ленинградское шоссе,  
 Как обнаженный меч, простерлось от заставы.

Снег, первый снег. . .  
 Так бел, так нерушимо чист, что взору странно.  
 Он боль твою уймет, он тихо, как во сне,  
 Перебинтует марлей раны.

Фугас ворвался в Телеграф. Но ход  
 Часы не прекратили. И упрямо  
 В грядущее сквозь грохот битв идет  
 Тверская улица в пробоинах и шрамах.

Ты видишь снег, московский первый снег;  
 Дома, как шаль, его натягивают сонно.  
 Кружил над площадью стервятник и рассек  
 Под вздыбленной квадригой колонну.

Но представленье шло. Был ровен рампы свет.  
 Никто не встал. Со шляпой за спиною  
 На площади стоит поэт  
 И голову склонил перед Москвою.

К тебе несется сердце — ночью, сквозь метелицу  
 К твоим камням припасть, Москва. Родная даль  
 В снегах и звездном прахе стелется  
 И шлет навстречу поезда.

Они к тебе спешат, мой город: грудью  
 Мрак рассекая, не сходя с орбит,  
 Везут с востока мощные орудья —  
 Для близких, для упорных битв.

В них кость и плоть твоя, они по твоему  
 Бессмертному подобию созданы,  
 И эхо скорбно-грозное сквозь тьму  
 Летит за ними в холод звездный.

Нет звука радостней, чем стук колес, везущих танки,  
 Чтоб их сгрузить на твой порог.  
 Трепещет звездочка: «Не опоздай!» И полустанки  
 Ей отвечают: «Будут в срок!»

Москва, я видел твой расцвет:  
 Как складывались кирпичи и стены выростали,  
 Как во всю грудь вдыхали окна свет,  
 Как, раздвигаясь, отступали дали.

Я видел зорь рассвет, раскрывших нараспах  
 Проснувшимся народам двери жизни;  
 Навек той зелени пылать в моих глазах,  
 Хотя бы срок настал осенней тризне.

Мост подымал костяк. Живым бетоном тел  
 Не мы ль крепили сваи в половодье,  
 Дома передвигали, чтобы в наш предел  
 Просторней было проходить Свободе?

Мы снова сдвинем их! А где сверкнет прозор,  
 Его закроем телом и не дрогнем!  
 Врага, несущего земле ярма позор,  
 Спали, Москва, дыханьем огненным!

Теплушки тянутся, разжеывая рельсы,  
 От них, как от коней, исходит пар крутой.  
 Все ветры Арктики, отчаливая в рейс свой,  
 Спешат к тебе, Москва, и с ними на постой

Полуночных краев державный завсегда —  
 Мороз летит к тебе сквозь вихревую даль,  
 Готовый русского возрадовать солдата  
 И белым пламенем расплавить вражью сталь.

И, мстительную впрок накапливая силу,  
 Чтоб смертоносные меха свои раздуть,  
 Они в дохах из туч по снежному настилу,  
 От Ледовитого кратчайший выбрав путь,

На тройках удалых несутся без оглядки,  
 В грознейшую из битв летят на всех парах,  
 Чтоб на костях врага, на готских черепах,  
 С тобой, Москва, пропеть веселые колядки!

Плывет верблюда контур вырезной  
 На горизонте. Воздух ленью скован.  
 Ташкент натужился, и, словно из мехов, он  
 Восточный, спохватясь, выкачивает зной.

Безмолвны тополя в одежде изумрудной,  
 И солнце паранджой завесилось. . . И вдруг  
 Щемящий аромат, как будто майский дух,  
 Доносит ветерок, растерянный, приبلудный.

А на дворе — декабрь. Я чту его устав.  
 Во мне мираж тепла не обретает друга. . .  
 Мне причитаются мороз и вьюга!  
 Не переуступлю тех первородных прав!

Нет, с болью отвернусь от благодати вешней, —  
 Мне ль праздновать ее безвременный возврат,  
 Когда ты ждешь, Москва, грозы из тьмы кромешной  
 И копят улицы снега для баррикад!

Поэты, трубадуры! Все за рядом ряд  
 На переключку! Вновь сегодня надо,  
 Как тридцать шесть горячих лет назад,  
 Идти на улицу и строить баррикады.

Как в годы прежние, но с новою сноровкой  
 Мы укрепим свой дом, гнездо свое  
 И песней присягнем, чтоб птицам петь ее  
 И чтоб она была как за плечом винтовка.

С кремлевской башни звон пробьет сигнал,  
 Знаменами заплещут зори.  
 Все по местам! И первым Пушкин стал  
 На стихшей площади в дозоре.

Мы отдадим сердца за тот грядущий мир,  
 Где светел каждый дом и каждый день московский.  
 А если упадет в бою наш командир,  
 Команду громовым стихом подхватит Маяковский.

194!



## 142. МАТЬ-СТОЛИЦА

Пусть заметет нам снег дорогу вспять!  
Пусть звезды под ноги камнями ночь подложит!  
Не отсылай меня, столица-мать,  
Я пригожусь тебе еще, быть может.

Лишь ты одна теперь владеешь мной,  
В годину бед, когда пираты рядом.  
Твои огни потушены войной, —  
Так яблоки гроза сбивает градом.

Что делать с сердцем, если бороздят  
Стервятники твой небосвод высокий?  
Горит в груди раздавленный гранат,  
И в яд я превращу его живые соки.

Я камни отточу твои, дабы им стать  
Оружием, что мощь твою умножит.  
Не отсылай меня, столица-мать,  
Я пригожусь тебе еще, быть может.

1941

## 143

Вагоны, лязгая, ползли неторопливо,  
Сыпнотифозное баюкая дитя,  
И ветры, воем душу отводя,  
Шли плакальщиками вблизи локомотива.

В окно вперив потусторонний взгляд,  
Ребенок возлежал, на груди торб покоясь.  
Так, засмотревшийся, и был он смертью взят,  
И тут как вкопанный остановился поезд.

Никто не всхлипывал. Одни лишь буфера  
Отстукали его душе поминовенье. . .  
А поезд, постояв растерянно мгновенье,  
Опять рванулся в путь, им начатый вчера. . .

Он ляжет — маленький скелетик одинокий —  
У самой насыпи, под снеговой завей.  
Его потом фашист отметит как трофей,  
Захваченный в сраженье на востоке.

1941

#### 144. К МОСКВЕ

Столбы мелькают, мчатся под откос,  
За провода они в отчаянье схватились.  
В какую б сторону нас поезд ни унес,  
Москва, мы встретимся. Поверь, мы не простились.

В глаза ты взглянешь нам — они тоску прольют,  
И расставание на миг нас больно ранит.  
Но птицы бодрость нам свою передают,  
И свежесть в души нам вдыхает ветер ранний.

Ударит луч в глаза рассветною порой,  
Я контур крыш твоих и твой вокзал узнаю,  
Я в проблеске зари увижу Кремль седой, —  
Как будто к небу на качелях я взлетаю.

Мне дорог каждый миг, и в блеске светлых снов  
Глаза я прогляжу — твои мне звезды снились.  
В какую б сторону нас поезд ни унес,  
Москва, мы встретимся. Поверь, мы не простились.

1941

#### 145. СЕРДЦА МОЕГО ТЕПЕРЬ МНЕ МАЛО

Все драгоценности долой: браслеты с рук,  
Сережки — из ушей и ожерелья — с шеи, —  
Их каждый отдает, как твой солдат и друг,  
И с песнею идет сражаться, рыть траншеи.

Все семьдесят твоих языков шлют полки,  
Готовы жизнь отдать за мир, за земли эти.  
Теперь нам более всего к лицу штыки,  
Теперь ценней меча сокровищ нет на свете,

Чтоб драться за тебя, чтоб каждый камень твой  
Собою заслонить, вокруг тебя сплотиться  
И кровью жил своих, своею головой  
За славу, за твое величье расплатиться!

Нет, сердца моего отныне мало мне!  
И пусть я не чета плеяде благородной  
Прославленных певцов твоих, но я в огне  
Отдам его тебе, твоей земле свободной.

1941

#### 146. ФАШИСТ НА ДОПРОСЕ

Он свой нагрудный крест с кладбища приволок.  
Оружие — в грязи, и взгляд потуплен бычий.  
Он вспоминает здесь, как весел был пролог,  
Когда их вел вожак за легкою добычей.  
Плясал по горлам он, оттачивая нож —  
Арийской бестии апостол белокурый.  
Теперь он присмирел. Во всех поджилках дрожь,  
Куда девалась прыть, когда дошло до шкуры!

Тевтонский каннибал! Имперской славы щит!  
Борделей мюнхенских герой и завсегда-тай,  
Палач и истукан, чудовищный гибрид.  
В крестах загривок весь, обвис кадык шербатый.  
Сей рыцарь черепа и двух костей крестом —  
Он, как на пир, спешил к насилью и разбою,  
Чтоб славой прогреметь, чужой разграбив дом,  
И подло струсил он, за горло взят судьбою.

И мнится: этот зверь к земле бы мог припасть  
И, рылом скошенным разрыв навоз вонючий,  
Гнильем набить живот, измазать кровью пасть  
И, в логово вползая, заснуть на смрадной куче.  
Да, он не ожидал, что попадет под суд,  
Он — этот паладин непобедимой банды.  
Ведь столько дел его сгущаются, ползут:  
Поверженные в мрак разгрома Нидерланды,  
Париж, попавший в плен коричневым ордам,  
Чью славу растоптал сапог его кровавый,

Разграбленный Коринф, сожженный Амстердам,  
Разгул на улицах поруганной Варшавы. . .

Он слышит вопли жертв, нажравшийся шакал:  
Детей, зарезанных у материнской груди,  
Людей, которых он живыми зарывал,  
Глумясь и гогоча: «На кой нам дьявол люди!»  
И он устал. Он сыт. И голову ему  
Виденья тяжелят. Уснуть ему теперь бы.  
Не движутся ль к нему, могил покинув тьму,  
Поляки мертвые, растерзанные сербы?  
И мох коричневый покрыл его кругом,  
И ночь вокруг него растет угрюмой тенью,  
И воев в нем тоска, как волк в лесу глухом,  
Зовет к насилию, к убийству, к преступленью.  
Тевтонский каннибал, палач, кровавый шут,  
Ты смиренно ждешь суда, труслив, блудлив и гадок:  
Не ты ль надменно взял себе почетный труд  
Преобразить весь мир, создать в нем свой порядок?

В недоуменье он оставил бычий взгляд.  
Его животный страх, тупая злоба гложет.  
Он изнемог. По нем разлит бессильный яд.  
Его насущных нужд никто понять не может.  
Он доблесть в грабеже, в разбое находил,  
В насилиях искал германца добродетель,  
С триумфом шествовал меж трупов и могил,  
«Порядка нового» апостол и радетель.  
Он сквозь дурман побед, про «новый мир» крича,  
Шагал с трофеями, достойными шакала,  
Он блюл убийцы честь и славу палача  
И в рыцарство возвел жестокость каннибала.  
И, кровожадною галантною дыша,  
Он Гретхен настрочил посланье без заминки:  
«Просила ты прислать манто, моя душа,  
С еврейки снять его, не то так с украинки.  
Я сделал всё, майн шац, манто тебе — как раз:  
Ты будешь первою красавицей Берлина.  
И золотой кулон. И небольшой алмаз —  
Он чист, как наша кровь, искрист, как наши вина.  
Вещицы — первый сорт! Затем белье, меха. . .  
И шаль пуховую я снял с какой-то дуры.

Носи — и будь верна. Остерегись греха.  
Целую ротик твой, мой ангел белокурый.  
Еврейки всё с себя покорно отдают,  
Но самому срывать, клянусь, куда милее.  
Рванул с нее кольцо — глядишь, и палец тут.  
Разрезал нитку бус — ни головы, ни шеи!  
Так веселей, дружок! И ты — в чести всегда.  
Тебе в глаза глядят таким покорным взглядом!»  
Да, он не ожидал допроса и суда,  
Раскисший истукан, смердящий трупным смрадом.

1941

### 147. ЛЕНИНГРАД

Развернутой старинною гравюрой  
Задумчиво стоишь перед лицом времен.  
Так некогда стоял над невской гладью хмурой  
Создатель славный твой, в раздумье погружен.

У ног твоих залив, ты слышишь моря ропот,  
И жерла батарей глядят в простор морской.  
Стоишь ты на посту, чтоб сквозь окно в Европу  
С Востока лился свет широкою рекой.

Свет справедливости течет через границы,  
Стоцветной радугой полмира озарив.  
Все двадцать с лишним лет поток лучей  
струится, —  
Так быстрину свою Нева несет в залив.

Ты, как броней, прикрыт своим стальным  
рассветом.  
Пусть захлестнуть петлей тебя грозит беда.  
Ты грозен, Ленинград, и страх тебе неведом,  
Ты славой осенен, бессмертен навсегда.

Береговой гранит готов идти на приступ,  
А камни мостовой годны для баррикад, —  
По ним когда-то шли на гибель декабристы,  
Доныне клятву их торцы твои хранят.

Потомки берегут погибших предков славу,  
С оружием в бой идут полки мастеровых.  
Недаром шел народ в январский день кровавый,  
Недаром кровь текла на площадях твоих.

Как прежде, конь Петра над постаментом вздыблен,  
И всадника никто не выбьет из седла,  
Творенья рук его поныне не погибли,  
А сталь его меча по-прежнему светла.

Окно прорублено, чтоб лился свежий воздух,  
Никто замуровать его не сможет вновь.  
Над невскою водой стоят в дозоре звезды,  
Рожденные в боях гражданской войной.

Вся Балтика встает, бескрайна и сурова,  
Всю глубь она тебе вручает, Ленинград!  
И вновь Балтийский флот берет сегодня слово,  
Патроны в гнездах лент, как светлый шрифт, горят.

Пылают заревом вокруг тебя просторы,  
Как в час присяги шелк трепещущих знамен.  
Недаром объявил когда-то залп «Авроры»:  
Не будет Петроград врагами осквернен!

Ты ночью окружен, ты скован затемненьем,  
Но светят, как всегда, лучи далеких звезд.  
Ты встал, как броневик, тот, на котором Ленин  
Когда-то пред тобой во весь поднялся рост.

К тебе, мой Ленинград, ефрейтор руки тянет,  
Он хочет кандалы на нас с тобой надеть.  
Увидит он в бинокль твой силуэт в тумане —  
Последнее, что сможет разглядеть.

1942

#### 148. ПАТРУЛЬ НАД МОСКВОЙ

Когда сумерек видишь игру,  
Хмурым дождиком город осыпан,  
Поднимается в небо патруль,  
Чтоб Москву охранять неусыпно.

Грозен в небе металла отлив,  
Долго рокот в сознании длится.  
И, любовь глубоко затаив,  
Сыновей провожает столица.

Свет из окон не льется. Взгляну —  
Фонари все потупились молча.  
И патруль устремлен в вышину —  
Баррикадой от вражеских полчищ.

Крылья гнев опалил сторяча,  
В сердце — пламень горит безысходно.  
Не коснется рука палача  
Нашей первой столицы свободной!

С каждой улицы — дым боевой,  
Площадь каждая — ширь громовая.  
И патруль над моею Москвой  
Так бесстрашно и гордо взмывает.

Ястреб ринулся с лету в грома,  
Но в наш город прорваться ему ли?  
В окнах свет погасив, все дома  
Встали рядом, уста сомкнули.

Каждый камень ответит, что тля  
Не подточит величье стальное.  
Неприступна родная земля,  
Неприступно и небо родное.

Пусть же враг свои когти вберет,  
Не страшимся их дьявольской меты.  
И размеренным шагом грядет  
Слава битвы в столицу планеты.

И, вечерний чертеж опалая,  
Пламень битвы и зорок и страшен.  
Дали слушают голос Кремля,  
Орудийную летопись башен.

Векового труда маета  
Создавала столицы обличье.  
И ничья не наступит пята  
На ее вековое величье!

Вся до пояса в глыбах песка  
И с мечами прожекторов-стражей,  
Вся она для врага далека,  
И была и останется нашей.

В небе снова сгущается мгла,  
Всё покрыто густой синевою,  
Только Кремль подымает крыла,  
Как надежный патруль над Москвою!

1942

#### 149. НЕТЕРПЕНИЕ

Подобно капелькам, что ветер сдул с ветвей,  
К вагону брызнули с нагой ветлы пичуги.  
С вокзала хмурого, из Пензы, всё ясней  
Уже видать тебя, Москва, сквозь дымку выюги.

Шум площадей твоих уже коснулся нас,  
И хлеба твоего отсюда запах слышен.  
На улицах твоих гремит: «В последний час», —  
И люди головы приподнимают выше!

И телеграфные столбы всю ночь, весь день  
Колдуют, душу жгут одним предназначеньем:  
К тебе! — сквозь ропот рощ и дрему деревень  
По снежным, до небес поднявшимся ступеням

Мы к ночи думаем уже в Рязани быть,  
От позывных твоих проснуться в час рассветный. . .  
Уже не вмоготу мне песни впрок копить,  
Нет сил тебя так жаждать безответно!

1942



## 150. ВО СНЕ Я ВИДЕЛ МАТЬ

Светает за окном. . . Доехать бы скорее!  
Мне слышен стук колес. . . Уже не задремать.  
Во сне я видел мать, и на душе светлее,  
Мне так легко всегда, когда приснится мать.

Шлагбаум за окном. А строй гусей гогочет,  
Нетерпеливо ждет, пока пройдет состав.  
Бежит локомотив и тянет дыма клочья,  
Дремоту гонит прочь, протяжно засвистав.

О, сколько сотен верст в дороге я измерил,  
О, сколько долгих дней она меня трясла!  
Приснилась мне Москва. Входила мама в двери,  
Горячие коржи в переднике несла. . .

Ни слова не сказав, в глаза взглянула прямо, —  
Должно быть, поняла: совсем другим я стал. . .  
И оборвался сон. . . Ответь мне: где ты, мама?  
Всё тише стук колес. В окне плывет вокзал.

1942

## 151

Забудь, пират, что есть спасенье позади,  
Когда выходишь в рейс на пиршество разбоя.  
В последний раз на берег погляди,  
Он больше не возникнет пред тобою.

Простись с душой преступною своей —  
Ревет прибой, норд-остаи клубимый,  
Стальные каски на крестах снастей  
Угрюмо сгрудились в морских глубинах

И ждут тебя в слоистой тишине,  
Расставленные смертью, как виденья.  
Поведай своякам в их беспробудном сне,  
Какое царство им досталось во владенья!

Какой дремучий край, с угодием каким  
Зеленых топей и бездонных ямин!

И черный вымпел плещется над ним,  
И водит рак по свастике клешнями.

Колышется, травой обвитая кругом,  
Колонна кораблей с броней заржавелой,  
У борта каждого зияющим нутром  
Чернеет «юнкерса» распластанное тело.

Припав к штурвалу, задремал пилот,  
Ему провалы гибельные снятся;  
Флажок сигнальный — «Воздух» — не мигнет,  
И черным плоскостям со дна не приподняться.

На броненосце — мертвый капитан  
Сжимает руль, забыв, куда он плыл в тумане,  
Какой был курс ему в приказе дан,  
Как путь ему найти назад в Германию. . .

Шли под эскортом транспорты в морях,  
Шли, смерть неся, — уверенны и горды.  
Уже пред ними в голубых парах  
Крутобережные разворачивались фьорды.

Нет, к гавани тебе вовеки не пристать,  
Каким бы патрулем ты ни был охраняем;  
Ты в море выблюешь погибельную кладь,  
Огнем нажрешься ты и орудийным граем.

И ворон весть в Германию снесет,  
Что срам ее морские прячут воды, —  
Забудь, о бронированный урод,  
Что был причислен ты к людскому роду!

1942

## 152. МОРЯКАМ

Раскинулось море широко,  
Прибой в простор взметены.  
По мутным, по вражьиим потокам —  
Огонь, Черноморья сыны!

Пусть ярость, как парус раздутый,  
Ваш дух понесет, окрылив.  
К земле раскаленной пригнуты  
Вершины надломленных ив,

Листвой устилают дорогу  
И ластятся к вашим стопам.  
Безбрежность морская тревогу  
Трубит по безбрежным степям.

Тревога несется в предгорья  
До южных окраин страны.  
В атаку, сыны Черноморья!  
Огонь, Черноморья сыны!

Колосья от края до края,  
Как копья, сверкают сквозь дым.  
Матросская песня лихая —  
По знойным дорогам степным.

Предгорья Кавказа прикрыты  
Сердцами богатырей,  
Где ненависть крепче гранита,  
Где ярость алмаза острей.

Матросы, окрепшие в бурях,  
Казачьи из вольных степей,  
На орды убийц белокурых  
Всей мощью обрушьтеесь своей!

Пусть дерево станет дубровой  
И камень гранитной грядой  
Подыметесь в мощи суровой  
Пред вражьей разбойной ордой.

Повсюду в пути настигая,  
Врага ты в огне утопи!  
Тревогу безбрежность морская  
Трубит по безбрежной степи.

Возмездье — за кровь и за горел  
Ты слышишь ли голос страны?  
В атаку, сыны Черноморья!  
Огонь, Черноморья сыны!

1942

### 153. БАЛЛАДА О ВОИНСТВЕ ДОВАТОРА

На конских гривах снег. Клинков блистает сталь.  
Пар из ноздрей валит. Сугробы словно горы.  
Вот-вот раскроется синеющая даль,  
Вот-вот расступятся по сторонам просторы.

Метнется рыбкою падучая звезда  
Над снежной белизной нетронутого мира.  
Вблизи деревня спит. Лесистые места.  
Доваторовцы ждут приказа командира.

Из монолитных глыб тугие торсы их,  
Но каждый мускул жив, сердца не знают страха,  
Шинель распахнута, как крылья — в ветер, в вихрь,  
И лихо набекрень посажена папаха.

В полночный тихий час по снежному пути,  
Пока деревня спит, покуда сны ей снятся,  
Бойцам Доватора в глубокий рейд идти —  
По вражеским тылам без усталости скитаться.

На статных лошадях, чья поступь так тверда,  
Что даже в бездну, в ночь рвануться вмиг готовы, —  
Комбат неугомонный Кабарда  
И подполковник Аристов суровый.

Сквозь ночи тишину им слышен стон и зов  
Замученных земель, где стынут на просторах  
По горло в горестях домишки городов  
И сел, где — весь в крови — еще лютует враг.

В снегу деревья спят, и ветер на лету  
Заденет ветви их и сам замрет в испуге,  
И видят конники сквозь ночи темноту,  
Кто ждет прихода их, кто протянул к ним руки.

Скорей бы в ночь коней пустить одним рывком,  
Чтоб ветер ледяной припал к тугим поводьям,  
Чтоб вражьи черепа снести лихим клинком  
И вражий стан залить весенним половодьем.

Приказа нет еще, зовущего к боям.  
Секунды замерли в снегах. Вот чей-то голос,  
И вот раздался стон — затрепетал баян, —  
Не у дивизии ли сердце расколосось?

Смутила песня тьму, испугнула снежный сон,  
И звуки из-под рук, что искры, полетели,  
И Кабарда в седле привстал, — он удивлен:  
«Постой, что слышу я? Лезгинка... неужели?»

И он, как молния, стремглав слетел с коня.  
Взметнулась бурка вдруг, как буйный вихрь  
крылата,  
И по снегу пошел он, шпорами звеня,  
И все, дивясь, глядят на молодца комбата.

И Аристов с коня сошел и, как во сне,  
Как зачарованный, идет за ним по кругу.  
Так вьется над землей, так лихо топчет снег,  
И в быстрой пляске друг пошел навстречу другу.

А снег кипит, кипит. Две бурки — два крыла.  
А руки в стороны, как стрелки часовые.  
Казалось, ночь сама вприсядку вдруг пошла,  
В такой могучий пляс увлечена впервые.

«Эй, подполковник, жарь!» — Вдогонку ветра свист.  
Во тьме храпят и ржут нетерпеливо кони.  
То левою щекой, то правой гармонист  
Самозабвенно льнет к заливистой гармонии.

И льется песня в ночь, и всадники сидят  
На конях, и вокруг — везде земля родная,  
И всадников сердца стучат и в такт и в лад  
Тем звукам, что плывут, бойцов объединяя.

Скорей бы принести весну, свободу, свет  
Войной измученным, врагом закабаленным!  
Ждут конники в ночи. Еще приказа нет.  
И полночь с песнею идет по эскадронам.

И вдруг, вторгаясь в песнь, всех канонад сильней,  
Из генеральских уст послышалось родное.  
«По ко-ням! — раздалось. — На-пра-во, по три, эй!  
Доваторовцы, марш, бойцы, вперед, за мною! . . .»

Ночь вызвездила. Тишь. Насторожилась мгла.  
Деревья скованы ледком и сонной ленью.  
По снежному пути из спящего села  
Бойцы Доватора рванулись в наступленье.

1942

## 154. БАЛЛАДА О ПЯТИ

### 1

За тополем скользит по скатам тополь,  
Как в перебежке, промелькнув.  
Они придут к ночи в Севастополь,  
Придут с донесеньем про весну.

Там травка каждая, и лозы винограда,  
И волны звонкие на светлом берегу —  
Все поклялись повсюду стать преградой,  
Дорогу выстлать пламенем врагу.

Сетями цепкими там станут все проходы,  
И пропастью — ущелья гор родных.  
Священной есть ли что, чем ярый гнев народа?  
И есть ли что грозней, чем ненависть страны?

Прорвали тополи кольцо осады грозной,  
Для солнечной весны открыли все пути.  
Враг гонит пред собой стада овец колхозных,  
Чтобы под их прикрытьем подползти

И новым натиском обрушиться неожиданно,  
Дома и улицы огнем испепеля.  
Свинцом перепахал повсюду он баштаны,  
Телами детскими засеял все поля.

Ордами танков он меж древних скал протопал,  
Где ветер и орлы, где горных гнезд не счесть.  
Но к ночи тополи домчались в Севастополь  
И принесли ему тревожащую весть.

И встали перед ним, и вытянулись гордо,  
И тихо молвили листвою своих вершин:  
«Иссякнуть может ли луч солнца животворный?  
И высыхает ли простор морских глубин?»

Пожар над городом метался иступленно,  
Снаряды воюющие мчались издали,  
Но никогда еще акации и клены  
В горящем городе так пышно не цвели.

2

Росой обрызганы вершины гор и тропы,  
Долины словно замертво легли.  
Вели их оживить прибою, Севастополь,  
И тополям твоим оружие взять вели.

Сады склоняются в тревоге постоянной  
С мольбой безмолвною к земле, чтоб сберегла  
От бурь неистовых, от буйных ураганов,  
От стали воюющей, сжигающей дотла.

Всё небо затянул зловещий дым пожаров,  
Густые облака проносятся вдали.  
Где бродят крымские несчетные отары?  
Куда угнал их враг из солнечных долин?

Он в третий раз идет на приступ исступленный,  
Он в третий раз ведет свои оравы в бой,  
Но остаются здесь навеки батальоны,  
Не погребенные, не скрытые травой.

В расщелинах меж скал их осень схоронила,  
Зима их вьюгами и снегом замела,  
А вешних вод стремительная сила  
Из щелей выплеснула мертвые тела.

Но трижды умерев средь каменных уступов,  
В звериной ярости враг ищет вновь тропу  
И вновь шагает он по грудам стылых трупов,  
Не достойных пристанища в гробу.

Взбешенный, ищет он проход на Севастополь,  
Он рвется к городу, истерзанный, в крови,  
И танков табуны хотят пройти галопом,  
Чтобы стальной броней побережье раздавить.

Но черноморцы здесь стоят на страже,  
И каждый куст, и каждый выступ скал. . .  
Не дать пройти стальной лавине вражьей  
Спокойно комиссар отряду приказал.

8

Акаций аромат сквозь горький дым пожаров  
Плывет и зыблется на улицах сквозных.  
Стройны, как тополи, явились к комиссару  
Пять моряков, пять черноморцев молодых.

И море знает их, и черноморский берег:  
Перед врагом они не дрогнут никогда.  
Так пусть же комиссар им эту честь доверит —  
И танков не пройдет ревушая орда.

Не посрамят они матросского бушлата  
И, если смерть придет, не дрогнут перед ней. . .  
Неслись над городом обрывки туч косматых,  
И море Черное листало книгу дней,



Читая летопись сражений на просторе  
О краснофлотцах, защищавших от врага  
Безбрежность синюю родного Черноморья  
И неприступные морские берега.

Еще не замер гром и гул минувших схваток,  
Когда гигантские сшибались корабли  
И бились грудь о грудь и, пламенем объятый,  
В морскую бездну опускался исполин.

Кивает море морякам волной державной.  
Белеют паруса, как крылья мотыльков.  
Простились с палубами юноши недавно  
И с колыбелью зыбкою крутых валов.

Как сыновей, она их вынесла на берег  
И не покинет их на суше никогда.  
Так пусть же комиссар им эту честь доверит —  
Сойтись в бою с врагом и отразить удар.

И тихо комиссар им пожелал победы,  
И каждому из них он крепко руку жал.  
С сердитой нежностью смотрело море вслед им,  
С любовной гордостью их берег провожал.

4

Взлетели чайки ввысь, в простор голубоватый,  
И замерли на миг, дыханье затая.  
Пять моряков готовили гранаты,  
Пять моряков готовились к боям.

Как на качелях, шевеля чуть-чуть крылами,  
Висели чайки в солнечной дали.  
Пять моряков прощались с друзьями,  
Пять моряков простились и пошли.

Еще кружилась долго стая чаек белых,  
На солнце крыльями сверкая в вышине.  
Пять моряков взошли на сопку смело  
И залегли среди утесов и камней.

Их море осеняло ясною лазурью,  
И веяло от них бесстрашием его.  
Когда на лес могучий налетает буря,  
Не борется ли с ней отдельно каждый ствол,

Чтоб замертво не рухнул, не простерся  
Поверженным во прах массив лесной?  
И в час опасности пять смелых черноморцев  
Клянутся солнечным горам страны родной,

Потокам, что с вершин сбегают дальних,  
И виноградникам в цветенье золотом,  
И стройным тополям, задумчиво-печальным,  
Клянутся встать заслоном пред врагом.

Отбросил Чатырдаг туманную завесу,  
Яйла с груди своей срывает облака,  
И залегли пять моряков среди отвесов,  
Забушевало пламя среди скал.

5

Стоит, пылая, осажденный Севастополь,  
Открыт ветрам, на светлом берегу,  
Любая ветвь и каждый камень сопки  
Подходы к городу безмолвно стерегут.

На раны города ложится нежный пух там,  
И под ласкающим дыханьем ветерков  
Стоит видением чудесным он над бухтой,  
Овеян славными легендами боев.

Не внемлет он пальбе и гулу самолетов,  
Не могут ослепить его огонь и дым.  
Как будто по волнам истории плывет он  
И книга всех судеб открыта перед ним.

Он смотрит пред собой, грядущее разведав.  
Просторы зыблются в пыланье огнем.  
Он видит моряков — сынов, отцов и дедов,  
Что бились некогда и бьются за него

Не только ядрами, снарядами и миной,  
Но силой верности, могучей, как гранит.  
И тополя стоят, как полные кувшины,  
И, пенясь в воздухе, с акаций цвет летит.

Над головой его мелькают тени свастик,  
Несется долгий вой стервятников стальных.  
Дома израненные рвут они на части  
И рушат всё вокруг. Но он не слышит их.

Лишь клятву сыновей — матросскую присягу —  
В далеких выстрелах всем сердцем слышит он:  
«До самого конца не отступить ни шагу!  
Разить врагов, пока есть хоть один патрон!»

А буйная весна цветет неукротимо,  
И о сражениях над светлой гладью вод  
Потомкам некогда расскажут горы Крыма  
И море Черное в гекзаметрах споет.

6

Четвертый день они удерживают сопку.  
И бой четвертый день грохочет и бурлит.  
Здесь к Севастополю проход захлопнут,  
Здесь к Севастополю путь наглухо закрыт.

Четвертый день они удерживают сопку,  
А танки всё ползут, как черные валы,  
Но каждый выстрел перед ними роет пропасть,  
Едва покажутся они из-за скалы.

Уже их семь идет, деревья подминая,  
За ними двадцать напалзают, словно мрак.  
Оружие к груди, как друга, прижимая,  
По головному бьет неистово моряк.

Встал первый танк. Над ним зонт пламени и дыма,  
Жует он камни из последних сил.  
В колонне грозной полз он по дорогам Крыма,  
Но сразу путь его моряк укоротил.

Уже второй горит с простреленным мотором,  
Сраженный яростью матросского свинца.  
Но и один моряк лежит, оплаканный простором,  
Покрыт шинелью, мертв и верен до конца.

А буйволы в крестах ползут сквозь дым багровый,  
И навзничь падают, и в бешенстве ревут.  
Сквозь пламя, чад и смерть моряк не видит крови,  
Что лентой алою скользит по рукаву.

От жара запеклись потресканные губы,  
Но гнев его могуч и ненависть свята.  
Чем жажду утолить? Воды теперь ему бы,  
Но под рукую лишь холодной каски сталь.

Вот вражеский свинец в бедро его ужалил,  
А всё ж оружия не выпустит рука,  
И пулемет в его руках умолк тогда лишь,  
Когда навек умолкло сердце моряка.

7

У каждого бушлат уж просверлили пули,  
И кровь у каждого на робе запеклась.  
В последний раз они на город свой взглянули  
И крепко обнялись в последний смертный час.

Патронов больше нет, а танк ползет проклятый.  
Задохся пулемет, замолкла высота.  
Моряк подвесил к поясу гранаты  
И двинулся вперед. Моряк пошел на танк.

Под сопкой — кладбище, куски измятой стали,  
Сожженное нутро, куски железных скул.  
Моряк в последний раз взглянул в родные дали,  
На море Черное в последний раз взглянул.

И ринулся под танк, прижав к груди гранаты,  
Как прыгал с палубы в морскую глубину.  
Отчизна! Если б жизнь ему опять дала ты,  
Ее тебе в бою он снова бы вернул.

Страх пятился пред ним, дорогу уступая,  
И каждый камень льнул к его ногам.  
Команду подала ему страна родная,  
Но смертью в этот миг командовал он сам.

За ним второй моряк пошел неторопливо —  
И рухнул танк, рванувшийся к нему,  
И горы дрогнули от громового взрыва,  
И задохнулась даль в удушливом дыму.

И пятый встал моряк. В последнюю минуту  
Он услышал пальбу с родимых кораблей.  
Раскаты грозные звучали, как салюты  
И как последнее напутствие друзей.

Как гром, обвешанный гранатами, упал он  
Под исполинский танк и землю целовал:  
— Пусть на телах взрываются железные шакалы  
И кости, как мечи, разят их наповал!

8

Ты слышишь, родина! Да будет их бесстрашье  
Навек записано на кряжах Крымских гор,  
Чтоб память витязей потомки чтили наши,  
Чтоб помнила земля, и ветер, и простор, —

Сожженных буйволов презренные останки  
Немыми грудями лежат на всех путях,  
И вспять уже ползут оставшиеся танки,  
От высоты их гонит смертный страх.

Над Севастополем огней несчетных россыпь,  
Стоит он, величав, в легенды облачен.  
А там, под сопкою, богатыри матросы  
Спят тихо, с родиной обнявшись горячо.

И неприступностью там веет величавой. . .  
Как бескозырка — сопка среди скал.  
И родина хранит сынов покой и славу,  
И море песню им поет издалека.

За тополем скользит по сопке тополь,  
Как в перебежке, незаметно проскользнув.  
Они придут к ночи в Севастополь,  
Они придут с донесеньем про весну

И сквозь кольцо врага найдут проходы,  
Нет на земле преград для вестников весны.  
Священной есть ли что, чем ярый гнев народа?  
И есть ли что грозней, чем ненависть страны?

1942

### 155. НАТЮРМОРТ

Кобылий череп, каски жечь на нем,  
И немца голова, в обрывках гривы рыжей,  
В болоте илистом, в заплесневелой жиже —  
Им под ефрейторской шинелью гнить вдвоем.

Спят, изумленные, в трясине зыбкой навзничь,  
Бесславы и позор приял мертвец впервой. . .  
Весна швыряет тающую грязь в них,  
Зеленую шинель рвет ветер гулевой.

О дуб поваленный танк чешет рваный бок свой;  
Весь точно в желчи он, непоправимо-ржав.  
Утробу вспучило, — насилу доволокся.  
Свихнулись челюсти, земли не прожевав. . .

Бокалы битые в окопной глухомани,  
Буылки из-под коньяка во рву. . .  
Вот всё, чем ныне стал он — полк «Германия»,  
Летевший пьяным ловчим на Москву.

Еще нет птиц в ветвях березняка-красавца.  
Друг в друга смотрят блиндажей ряды. . .  
Идет на запад путь от Малоярославца,  
Путь отступления разбойничьей орды.

Они готовились тут к встрече новогодней,  
Зазимовать они надеялись в лесу.

Чтоб было снегу их заваливать вольготней,  
Их ветры русские хлестали по лицу.

Вино бургундское, норвежские закуски,  
И русский спирт, и шпик, и гуси к торжеству...  
И письма с перечнем землевладений русских,  
С обратным адресом прямехонько в Москву.

Их смертный сон теперь безумьем не тревожим...  
То не литавры быют, то буйствует метель.  
Болото стало им победоносным ложем,  
Надгробную парчой — зеленая шинель.

Шумит весна в стволах березняка-красавца,  
Вспоили землю к пахоте снега.  
Бежит на запад путь от Малоярославца —  
Путь нашей славы, путь бесславья для врага.

1942

### 156. ЗИМНЯЯ БАЛЛАДА

Ночами бродит по селениям тревога,  
Оповещая замерзающих солдат,  
Что, распростершись на заснеженных дорогах,  
Полки немецкие разбитые лежат.

Кто нарушает их потусторонний отдых?  
Кто будоражит посрамленный их привал?  
С крестами грузными в крови на отворотах  
Продефилировал немецкий генерал.

Полна кладбищенским молчанием округа.  
Он озирается во тьме по сторонам,  
Команду «смирно» пересвистывает выюга,  
К ночному смотру нарядиться мертвецам.

«В строй, черепа! Встать, мертвые, повзводно!  
Колонны сдвоить!» — унтер проорал.  
В завьюженной избе с печуркою холодной  
Расположился спать германский генерал.

Тревожно кладбище солдатское дремало,  
Одни высовывались каски из оград.

А дюжий генерал устал немало:  
Он поспешал в Москву — быть первым на парад.

Весь воздух выстекленел изморозью за ночь,  
Когда на выстуженной, скованной земле  
Была захвачена одна из партизанок  
И в генеральский штаб доставлена во мгле.

«Ну, скажем, сколько вас? Ответьте для начала,  
Где ваше логово, за много ль миль и верст?»  
И тихо девушка в раздумье отвечала:  
«Не сосчитаете. Нас столько же, как звезд».

Под утро высилась в ненастном поднебесье  
Кривая виселица, вбитая во льду.  
И генерал велел ту девушку повесить,  
Сначала вырезав на теле ей звезду.

Глазами тусклыми бог знает где блуждая,  
Он всё высматривал, но высмотрел едва,  
Где вырисовывалась грозная, седая,  
Недосягаемая для него Москва.

Семь одеял его, не грея, укрывали,  
Потела плешь его от бабьего платка.  
— Кто завывает там? Не вьюга ли? Едва ли...  
Кто разбудил его, притронувшись слегка?

Кряхтя, потягиваясь, корчась на полатах,  
Фашист приглядывался к меркнувшей звезде.  
— Так, значит, девушка сказала: не поймать их,  
Они горстями звезд рассыпались везде...

И он откашливался: «Ладно, это вьюга», —  
И хорохорился, и подавлял смешок.  
А рядом патрулям, притихшим с перепуга,  
Пороша сыпала снотворный порошок.



Тиха земля, мертва. Глядит на землю месяц,  
Хрустит, как сахар, снег, блестит едва-едва.  
А та, которую осмелились повесить,  
Недосягаемая, все-таки жива.

Вот родина ее, деревни в шапках снежных,  
Овраги синие, косматые леса.  
Вот пробивается из-под земли подснежник,  
Вот еле слышные домчались голоса.

Всё, всё повешенная чувствует и слышит:  
И шепот партизан, и дальнюю весну,  
И то, как генерал германский тяжело дышит,  
Как на чужой земле не может он уснуть. . .

Встает он в егеровских вязаных кальсонах,  
Приподымается и чешется сопя.  
Он видел тыщи тел, снегами занесенных,  
В лоскутьях краденого женского тряпья.

Мученья девушки могли б его утешить,  
Он видел судорогу, подошел к ней вплоть,  
И вот он чешется, всей пятернею чешет  
Свою неряшливую старческую плоть.

И тень на потолке охвачена чесоткой,  
Тень тоже чешется, струясь на потолке,  
И вся Германия, чей сон со смертью соткан,  
Расчесывает струпья где-то вдалеке. . .

Палач натягивает лихо портупею,  
Потом напяливает каску — и на двор,  
И у калитки ждет, зажмурясь и тупея, —  
Что там метет всю ночь, чей слышен разговор?

И различает он в потемках понемногу  
Простую девушку, закутанную тьмой.  
Не преградила ли она в Москву дорогу?  
Не преграждает ли дороги и домой?

Снег повенчал ее с самим бессмертьем за ночь.  
И, вся заиндевав в серебряной фате,

Простая девушка, одна из партизанок,  
Недосягаемая, ждет на высоте.

«В строй, черепа! Встать, мертвые, поротно!  
Колонны сдвоить!» — каркает пурга.  
Германский генерал во всей красе добротной  
На этот тихий снег глядит, как на врага.

И чует генерал, что срок уже недолог,  
Что партизан в лесах не менее, чем звезд.  
И выстрел щелкает из-за мохнатых елок,  
И наземь валится фашист во весь свой рост.

«В строй, черепа! Встать, мертвые. . .» —  
и будто:

«Колонны сдвоить!» — вновь повторено.  
Но генерал, как тюк, упал на первопуток,  
Он хриплых окриков не слышит всё равно.

Ночами бродит затаенная тревога,  
Наперебой оповещая рубежи,  
Что, распростершись на заснеженных дорогах,  
Сам генерал с солдатами лежит.

В Москве не быть ему, не знать ее вовеки.  
Взамен Москвы — могила и пурга.  
И в первый день весны разлившиеся реки  
Из ямы вымоют замерзший труп врага.

1942

## 157. БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИ ВОСЬМИ

### 1

Над сумрачным Волоколамским шоссе  
Раскинулся дуб в богатырской красе,  
К нему прилетает с неизвестных полян  
Блуждающий ветер. Он ищет курган,  
Он ищет клочок опаленной земли,  
Где бились гвардейцы и где полегли.

Кто место укажет? Кто тут на часах?  
Кто скажет, где славой увенчанный прах?  
Безмолвье заглохших боев на бугре. . .  
В шинели тугой, как в дубовой коре,  
Уставясь на запад, где огненный вал,  
Из гроба на вахту встает генерал.

О, ветер залетный, скиталец полей,  
Здесь родины слава — склонись перед ней.  
Лежат здесь герои в обнимку с землей,  
Но это всё прежний рубеж боевой.  
Величьем приказа в просторах горя,  
Гвардейцам побудку играет заря.

Здесь все на местах, продолжается бой.  
Зарю не затмить пелене дымовой,  
Над строем гвардейцев не властна гроза,  
Гранитную мощь не проточит слеза, —  
Бессмертье, рождаясь в громах грозových,  
Как стяг, осеняет друзей боевых.

Доспехи из меди с дубрав сорвала  
Осенняя стынь, их раздев догола,  
Чтоб на золотых коромыслах своих  
Снегов натаскали для вьюг молодых.  
И, словно орел над изломами скал,  
Бессонный, на запад глядит генерал.

Он видит: в свинцовом морозном дыму  
Склонясь треуголкой к коню своему,  
Плывет император под вьюгою злой,  
Навеки прощаясь с российской землей,  
И волоколамским снежком голубым  
Поземка следы замечает за ним.

Свивается клубами пушечный дым,  
Бегут батальоны под небом седым,  
Копыта вминают их в мерзлый песок,  
Но топит виденье железный поток  
Немецких дивизий. . . Они наяву —  
Трехглавой змеею текут на Москву.

Лежит в изобилие осеннем страна,  
Земля свои злаки несет ей сполна:  
Деревья несут ей роскошный свой плод,  
Оружье для воинов город кует,  
И каждая область, любое село  
В ней мощных и доблестных множит число.

Они охраняют преддверье Москвы,  
Долины, и рощи, и шелест травы.  
Вот молния блещет, и рушится гром,  
И свищут ветра ошалелым свинцом,  
Надвинулись танки на гребень крутой  
Упрямой, тяжелой железной грядой.

Орел размышляет ли долго, когда  
Приметит змею у родного гнезда?  
Сын станет ли мешкать, когда его мать  
Голодные волки придут растерзать?  
Гвардейцам ли думать о смерти в бою —  
Им родина душу вручила свою.

2

Разорванной лошади вздувшийся круп,  
Со скрежетом танк наезжает на труп,  
Стволы его пушек клыками торчат,  
И буквы «Нах Москау» на брюхе рычат.  
Он лапами роет рудую листву,  
Вынюхивая магистраль на Москву.

Он рушит деревья и землю грызет,  
За ним и другой проползает вперед.  
Вон целый табун попер наугад, —  
Как дымные факелы, избы горят,  
И танки ревут, натываясь на рвы:  
«Москва! Где Москва? Далеко ль до Москвы?»

Кленовые листья, как смерч золотой,  
Кружат по равнине, огнем залитой,  
Нагие березы срываются с мест  
И мечутся, как привиденья, окрест,  
И ветер гудит средь бугров и яруг, —  
Не пахнет ли здесь чертовщиной вокруг?

То роца катится в овраг кувырком,  
То вдруг погрозится бугор кулаком,  
То речка студеною саблей блеснет,  
Дорогу, как молния, перечеркнет.  
Равнина то вкривь повернется, то вкось,  
А может, им сбиться с пути довелось?

Двухверстку! Скорее! Дорога верна —  
Она пролегла до Москвы, как струна,  
Сквозь дымы пожаров, сквозь стоны и плач.  
И в собственном танке проносится вскачь  
Приказ, заключенный в сургучный пакет,  
За ним бутафория едет вослед.

Мундиры, шинели по рангам лежат.  
«Когда ж долгожданный московский парад?  
Когда на бортах заблестают кресты?»  
И череп, к биноклю прильнув, с высоты  
Округу в глазницы вбирает до дна,  
Но нет, ниоткуда Москва не видна.

Лишь ветер да вьюга до края земли. . .  
Урочные сроки пришли и прошли. . .  
От злобы уж лопается барабан.  
Соскучившись, тянутся в тусклый туман  
Тромбоны, висящие вниз головой,  
Но ветер вбивает им кляп снеговой.

«Где хриплые марши разбойничьих орд,  
Ворвавшихся с воём на площадь Конкорд?  
Что медлят секиры в руках палачей,  
Казнивших в застенках варшавских ночей?  
Где пламя, бурлившее по площадям,  
Сжиравшее храмы твои, Роттердам?»

«Ты, череп, видать, заплутал средь дорог,  
Могилу ты ищешь? К ней путь недалек!  
Тебе ее рыли гвардейским мечом  
На Волоколамском шоссе ледяном, —  
Увенчаны блеском полуночных звезд,  
Кремлевские башни вступают на пост».

Гвардейцы, воители русской земли,  
 Дозором в траншее глухой залегли.  
 Их шлемы подобны стальным куполам,  
 Шинели — туман по осенним полям,  
 Их лица обветрены гневом. В те дни  
 Неделями не отдыхали они.

В баклагах водица, буханка в мешке —  
 Едят, полулежа на волглом песке,  
 Вот с воблы сдирают шершавую медь,  
 Вкусна, хоть совсем незатейлива снесь.  
 Недавно они разгромили отряд,  
 Сердца еще пламенем боя горят.

По вкусу краюха ржаная, когда  
 Прервалась на миг боевая страда.  
 Врагов было больше в семь раз. Но в семь раз  
 Сильней был суровый гвардейский наказ.  
 А сердце не знало в железной груди,  
 Что самое грозное ждет впереди.

И вспомнил один Казахстана простор,  
 Там солнце еще горячо до сих пор.  
 Другой по Кавказу украдкой вздохнул:  
 «Заждался ты гостя, родимый аул!»  
 Но сыщется разве роднее очаг,  
 Чем этот окоп средь лесов и бочаг?

Украинец, русский, казах и узбек, —  
 Но спаяна боем судьба их навек.  
 За кровь белоруса оплатит грузин,  
 За кровь украинца — Киргизии сын.  
 И в братстве суровом они как в броне,  
 Судьба их спаялась в смертельном огне.

Снег тычется слепо в туманную ширь,  
 И ветер ведет его, как поводырь.  
 Березы ли плачут, тоски не тая?  
 Иль птицы умчались в чужие края?  
 Нет, мечутся рощи и реки, спеша  
 Проститься с гвардейцами у рубежа.

Осеннего ветра немолкнувший звон.  
Не будет родимый простор осквернен.  
Кругом всё торжественно, просто, легко,  
Хоть песней лети в эту ночь далеко.  
Снега вопрошают: Россия, ответь,  
Почему так легко за тебя умереть?

Дозорный в траншею вернулся. «Друзья, —  
Сказал он спокойно, — подсчитывал я:  
Штук двадцать их перевалило кювет.  
На каждого танк. . . Да и этого нет,  
Ведь нас двадцать восемь! Ни шагу назад!»  
И бой принимает гвардейский отряд.

4

Над древним Кремлем небеса как шелом.  
Столица в морозном тумане седом,  
По ней из конца протянулись в конец  
Сплетенья ершей; как терновый венец,  
Вонзается копиями башенный строй  
В рассвет, разлитой над Москвою-рекой.

Москва на походе. На марше Москва.  
Звездой осиянна ее голова,  
Как шлем запыленный гвардейца-бойца,  
Простерлись окопы в четыре конца.  
Но мечется даль в огневом колесе:  
«Угроза над Волоколамским шоссе».

Там танки ползут, за отрядом отряд.  
То охнет земля, то леса завопят.  
Качаются черно-стальные горбы,  
И танки, шалея, встают на дыбы,  
Грозятся бока их крестовым тавром,  
И смерть, как погонщик, за вражьем гуртом.

«Москва! Где Москва? Где кварталы Тверской?»  
Но залп ударяет — один и другой.  
«Где Кремль? Где тут площади Красной гранит?»  
Стальная броня, расседаясь, трещит,  
И башня зияет разрубленным лбом, —  
К соломе гвардейцы припали ничком.

В ней свежесть степная младенческих дней,  
Но каплями кровь пробивается к ней.  
И боль сквозь шинель ударяет волной,  
То холод обнимет, то взвихрится зной, —  
К земле припадает гвардеец, томясь,  
И боль утихает, смиряясь тотчас.

По капелькам кровь свою в сердце страны  
Вливают ее исполины-сыны.  
Губами к земле припадает один:  
«Россия. . . Она велика, погляди,  
Да некуда нам отступить и уйти,  
Во мгле и метелях — Москва позади».

Она, как в дозоре, лежит без огней,  
Но дали ночные открыты пред ней.  
В столице не спят. Над столицею гул. . .  
Быть может, стервятник в тумане мелькнул,  
Быть может, ее осыпает свинцом,  
Быть может, ее поливает огнем. . .

И каждый разбитый кирпич в этот миг  
В гвардейское сердце сквозь грохот проник, —  
Они кирпичи обжигали, они  
Дворцы воздвигали в счастливые дни,  
И мрамор метро шлифовали они,  
И в звездах Кремля зажигали огни.

В сердцах у гвардейцев родная Москва,  
Она тут, в зигзагах окопного рва,  
С ней не расстаются роса и трава,  
И каждая песня Москвою жива.  
В ней птиц перезвоны, в ней ветер полей,  
И смерть, как над миром, не властна над ней.

И ветер к траншее гвардейцев прильнул:  
«О ветер, пробейся сквозь пламя и гул.  
Посланцем ступай и Кремлю доложи:  
Мы телом своим отстоим рубежи  
В неравном бою, в огневом колесе —  
На вздыбленном Волоколамском шоссе».



Россия, созревшая в гнев боек,  
 От края до края раздался твой зов,  
 Дружины ветров на врага обрати,  
 Встречай его бурей на каждом пути.  
 В отвагу и мощь, как в доспех броневой,  
 Сынов облачи для страды боевой.

Буди в поднебесье вершины хребтов,  
 Огнем заколдуй беспределье снегов,  
 Прикличь сребробронные стужи зимы,  
 Кровавое выжги отроде чумы.  
 Винтовки — на взводе, надежна рука,  
 И — свист молодецкий летит с большака.

Гвардейцы! Гранатами крой по врагу.  
 Удар громовой. Ослепительный гул.  
 И — дыбом просторы, и даль — ходуном,  
 И танк — исступленным захлестнут огнем.  
 В смятенье ноздрями поводит другой,  
 С распоротой и обожженной броней.

И словно над бездной, в испуге, слепой,  
 Сожженные лапы подняв пред собой,  
 Со скрежетом третий, минуя откос,  
 Бокастое тулово тяжко занес  
 С налета в затылок четвертому лбом  
 И замер, застыл в онемень тупом.

Снега голубые в кровавой росе  
 На вздыбленном Волоколамском шоссе,  
 Над люком стрелок запрокинулся, нем,  
 Слетает подшибленным вороном шлем,  
 Рука протянулась в простор пустырей:  
 «В Москву! На парад! Ну, ступай, поскорей!

О русских санях бредил ты наяву  
 И по первопутку собрался в Москву.  
 Чего ты закутался в бабий платок?  
 Что ежишься ты? Иль на стуже продрог?

Раздумье взяло? Не по вкусу свинец?  
Иль русской зимой зачарован мертвец?»

Крылатая ненависть, пламенный гнев:  
«Без спросу пришел ты сюда, обнаглев».  
Израненных танков неистовый гуд. . .  
Они потрохами стальными блюют. . .  
Вот втянут четвертый в огня коловертъ,  
Вот пятого к счету прибавила смерть.

«Попотчевать пойлом собачьих сынов!»—  
Чеканит приказ, непреклонно суров.  
Бутылку с горячим — по танкам взхлест,  
Метнулись они, как жар-птицы из гнезд,  
И, стиснут объятием огненных крыл,  
Десяток чудовищ в тоске завопил.

Оббитые дымной волной огневой,  
Они громоздятся под грохот и вой,  
Как буйволы черные в лаве огня,  
Сплетаются, корчась, надрывно стена,  
И прочно к себе их большак пригвоздил:  
Колдобины — спереди, ров — позади.

Свинцовый летит над гвардейцами град,  
Их руки от ран и натуги горят,  
Шинели напитаны кровью густой,  
Лежат уже трое, обнявшись с землей, —  
Но в сердце по-прежнему бодрость крепка:  
Оружие верно, надежна рука.

6

Москва — в изголовье, Москва — под ружьем,  
И край, что не дремлет ни ночью ни днем,  
Что рядом, в траншее, под градом свинца,  
Отвагу и силу вселяет в сердца. . .  
Багрово от крови снегов полотно, —  
Еще два гвардейца насмерть сражено.

В равнине, где бурных ветров перебег,  
С оружием в руках повалились на снег,

Легли, прислонясь голова к голове,  
Телами заставив дорогу к Москве.  
И грозен гвардейцев редующий строй  
Под градом свинцовым, под хлесткой пургой.

Не дрогнуть, не сдать в иступленном бою.  
Уже восемнадцать осталось в строю.  
У каждого кровью набухла шинель,  
Не слышат, как шалая свищет шрапнель;  
Пред ними четырнадцать мертвых громад —  
Четырнадцать танков в обломках лежат.

На смену подбитым лавиной идут  
Четыре десятка под скрежет и гуд,  
Гранаты уже на исходе — и вот  
Товарищ товарищу передает:  
«Гвардейцы! Ударил решительный час:  
Три танка принять должен каждый из нас!»

Траншею покинув, навстречу врагу  
Выходят они, залегают в снегу.  
Гранаты на взводе! Не станет гранат —  
Телами дорогу они заградят.  
«За родину! Нам умирать черед, —  
Давайте простимся, друзья, навсегда».

На миг боевая притихла гроза. . .  
К далекой Москве устремились глаза,  
Крутой молодой оглядели снежок,  
И губы коснулись обветренных щек.  
Прощанье героев услышала высь,  
И в крепком пожатье ладони слились.

На каждого жребий отечества лег.  
«Ты будешь нетронут, родимый порог».  
И двинулись цепью они напрямик, —  
Вплотную последний приблизился миг:  
«Россия, запомни гвардейцев семью,  
Вот их уже восемь осталось в строю».

Пред яростным пламенем, бьющим захлест,  
Гвардейцы во весь поднимаются рост,

Фалангою сказочных богатырей  
Идут по сугробам среди пустырей,  
Шинели — крылами в ветрах огневых,  
Теперь раскрошатся и горы о них.

Пылают их каски. В снегу сапоги.  
И непобедимо тверды их шаги, —  
И смерти да будет известно о том,  
Что сердцу отчизны здесь каждый — щитом,  
Что не опрокинуть лавине стальной  
Веками сращенных с землею родной.

7

На травах каких, на былинке какой  
Роса не сверкнет потаенной слезой?  
Булыжник каких безыменных краев  
Не дрогнет, откликнувшись эхом боев?  
Леса не взметнутся ль, трубя в небосвод, —  
По дюжине танков на каждого прет.

Но помнит гвардеец присягу свою,  
Он, с дюжиной целой сцепляясь в бою,  
Последним усилием железо грызет.  
«Кто мощь твою мерой измерил, народ?  
Кто благословение взвесил твое?  
Гвардейцы! К Москве не прорвется зверье!»

Рукою израненной, тверд и упрям,  
Там путь заслоняет гвардеец врагам,  
Родимую землю, одетую в дым,  
Уже преграждает он телом своим.  
Но только лишь трое осталось из всех,  
Идут с ними ветер, и время, и снег.

Грядущее с ними в огне кольцевом,  
На Волоколамском шоссе грозовом.  
И нимбом бессмертья над их головой  
Последний, гремя, разгорается бой,  
Взывает к ним кровью залитый простор, —  
Вот рухнули двое, сраженных в упор.

На снег молодой, обессилев, легли,  
И скорбь припадает к морщинам земли:  
«Пускай всё живое напомнит о нас,  
Цветенье пусть будет сказаньем о нас».  
Остался один на меже огневой,  
С врагами один принимает он бой.

Один — устремленный к ораве стальной  
Сквозь пламя и дым над дорогой родной,  
Один — против тьмы без мерил и числа.  
Как мать, причитая, его обняла  
Бескрайняя ночь меж равнин и высот, —  
Но неотвратимо на смерть он идет.

Мигает звезда, как маяк, впереди.  
Шагает он, руки скрестив на груди,  
Шагает — могучий, сквозь снег и сквозь лед.  
Вонзается пуля в него, — он идет,  
Вторая! . . И третьей свистящий полет. . .  
Но он на врага неуклонно идет.

Земля здесь его. И дорога, и наст,  
Он их никогда никому не отдаст.  
И кажется, здесь он шагает давно  
Сквозь зарево зорь, что от крови красно,  
Здесь маршем идет сквозь мороз и метель  
Он с года Двенадцатого — и досель. . .

Идет он — один против бури стальной,  
И, словно с поклоном отчизне родной,  
На землю он падает, стон затая,  
И вот они — все боевые друзья. . .  
Сигнал «В наступленье!» рокочет трубой,  
«На запад, вперед!» — продолжается бой.

О родина-мать! Ты для яростных сеч  
Вручила гвардейцам прославленный меч,  
И дети твои, уходившие в бой,  
Прощались, но не разлучились с тобой. . .  
В обнимку с землей полегли они все  
На сумрачном Волоколамском шоссе.

(1943)

## 158. ОДЕССА

Сентябрь заплетает твой локон  
И бедра поит колдовством. . .  
Добудешь ты славу в жестоком,  
Крутом поединке твоём.

Ты словно бесценная ваза  
В больших, осторожных руках. . .  
Орудия строки приказов  
Печатают на облаках.

Натянут твой лук, и, как правда,  
Разят твои стрелы в бою.  
Скользит к тебе парусник арфой, —  
Сыграй на ней доблесть свою!

Притихли и море, и суша.  
Гимн славе еще не пропет. . .  
Твой берег щетинист от пушек,  
А с пушками рядом — поэт.

Стоят они молча, сурово,  
Открыты ветрам штормовым,  
И факел звенящего слова  
Становится вихрем живым.

Морскою державой, Россия,  
Ты будешь во веки веков!  
На буйную скифскую силу  
Никто не наложит оков.

Одесса! По праву, по чести,  
Наш город, горды мы тобой.  
«Потемкин» с линкорами вместе  
Вступает с фашистами в бой.

И в черных бушлатах матросы  
Фашистов сметают с пути.  
Одесса! Развей свои косы,  
Тельняшку рвани на груди!

Врагу протруби: «Не надейся  
На эту полоску земли!  
С высот моих белогвардейцы  
В морскую пучину ушли.

Подвинутся парни лихие  
И место вам освободят.  
Посланцы мятежной стихии  
В подводный проводят вас ад».

Скажи им, Одесса, поведай,  
Как в душной, горячей пыли  
В сражение за правой победой  
Твои горожане ушли.

Ушли они с песней и хлебом,  
И, город родимый любя,  
Под синим сверкающим небом  
Погибнут они за тебя.

А те, кто в святом исступленье  
В кровавом бою не падут, —  
К твоим белоснежным коленям —  
К ступеням твоим припадут.

К ногам твоим ластится вечер,  
И неба краснеют края. . .  
Ты видишь, как гордо на сечу  
Уходит пехота твоя!

Со скалами шепчется море.  
Искрится закатная гладь.  
Ты выступишь, город! В позоре  
Погибнет фашистская рать.

Твой локон, обласканный солнцем,  
Прекрасней бесплотной мечты.  
Чужая рука не коснется  
Священной твоей наготы!

(1943)

## 159. БАЛЛАДА О ПЛЕННИЦЕ

В неволю, в кабалу ее ариец продал  
И с ней еще троих из одного села.  
В батрачках бедная промаялась полгода,  
Без имени, под номером жила.  
А покупатель проверял — крепка ли  
И много ли в ней лошадиных сил?  
Он двадцать марок дал. Окупится едва ли!  
Недешево на этот раз купил!  
Чуть свет она в поля работать отправлялась  
И затемно назад едва брела.  
И восемнадцати ей не сравнялось,  
Когда ее угнали из села.  
Вернется ли домой, иль суждено иначе —  
На дальней каторге найти могилу ей?  
Исходит вся Черниговщина плачем:  
Увидит ли своих детей?

Тоскливый путь. Гудят израненные ноги.  
Нет восемнадцати счастливых лет.  
Пред нею путь страданья одинокий,  
Нет прошлого, и будущего нет.  
Ее усталый взгляд не освежают слезы.  
Она идет, с лица не отирая пот.  
До крови удила туберкулеза  
Врезаются в девичий рот.  
И вдруг летит с площадки волейбольной  
Веселый мяч, описывая круг,  
Как весть бывшего, как привет невольный  
С любимой родины, из чьих-то сильных рук.  
И пленница зажглась воспоминаньем юным,  
Сжигающим тоску, и боль, и горький стыд.  
Все мускулы ее напряжены, как струны, —  
Лишь тронуть, и она, как песня, зазвучит.  
Она летящий мяч перехватила взглядом,  
Ее на миг умчало забытье, —  
Она бежит к мячу, он скачет рядом  
И ластится, касаясь рук ее,  
Уже почти в руках, она его схватила,  
Порозовев, дыханье затаив. . .



Отброшен заступ. Горе отступило.  
Чужбину, голод, боль затмил порыв.  
Не сердце ль вырывается с дыханьем?  
Она глядит кругом, на миг ослеплена.  
Жизнь засияла вдруг, как на рассвете раннем,  
Вернулась юность, расцвела весна.  
И чудится — под ветерком весенним  
С друзьями пленница встречается опять,  
Она оглушена оркестром, шумом, пеньем,  
Ее удар! Ей начинать!

Ей стадион мерещится зеленый,  
Весенний день. Лучистый. Голубой.  
Она кидает мяч, она следит влюбленно  
За ним, за ним — за радужной судьбой.  
И всё! Теперь ее не ужаснуть ни бранью,  
Ни истязаньями. Тиха, строга, бледна,  
Закинув голову, она стоит одна.  
К ней палачи бегут — она недвижна, прямо  
Глядит в упор, ей муки не страшны.  
Удары падают, как будто камни в яму,  
Где люди заживо погребены.  
На стиснутых губах лишь капли крови,  
А бьют безжалостно, во весь размах. . .

В хлеву прильнула к дремлющей корове,  
И застывали слезы на глазах.

И снова день — чужой, скупой, суровый,  
Немецкий день — неодолимый год.  
И вот пред нею покупатель новый,  
Рабыню господин соседу продает.  
По дружбе уступает, по соседству.  
Теперь и двадцать марок взять нельзя.  
А пленница еще не распрощалась с детством.  
Застенчиво потуплены глаза.  
Кнутом испробовал сосед свою покупку:  
«Ну, нет, уж за мячом не побежит она», —  
Смеется он, покуривая трубку.

В неволю третий раз рабыня продана.  
Где дни, когда она жила с душой открытой?

Где мать? Где молодость? Под свист бича  
Ее бандит уводит от бандита,  
Палач от палача.  
Взвился над нею кнут, взметнулся окрик грубый,  
Без сил упавшую надсмотрщик исхлестал.  
И молча рукавом она отерла губы —  
Рукав от крови красным стал.

Закат на землю льет лучи косые,  
Последнее письмо нашептывает ночь,  
И адрес у письма был короток — Россия. . .  
Хоть ветер да прочтет, а ей молчать — невмочь,  
Хоть камень да прочтет, — молчать не стало  
силы. . .

Веревки не нашлось в сиротском узелке.  
Свой головной платок она жгутом скрутила,  
Повесилась на балке, в уголке.

С немецкой каторги ждет не дождется вести  
И горестные сны разгадывает мать,  
И мечется и не находит места, —  
О дочке хоть бы слово услышать!  
Не в радость ей весна в сиянии нездешнем,  
Стучится смерть в окно с далекой стороны.  
Не стон ли дочери донесся ветром вешним,  
Не слезы ль дочери в ручьи превращены?  
Нет, не строка письма расскажет о неволе  
И не зловещий звон тяжелых кандалов, —  
Земля, набухшая неутолимой болью,  
Она одна поведает без слов:  
В сарае сумрачном, среди липкой паутины,  
С последней думой о родной земле  
Замученная дочь скорбящей Украины  
Качается в петле. . .

1943

## 160. БАЛЛАДА О ПАРИКМАХЕРЕ

### 1

Его к сырому рву фашисты привели,  
Вручили бритву и точильный камень.  
Кружился мокрый снег, клубилась мгла вдали,  
И обреченных строй мелькал в сыром тумане.

Как в бурю, зыбилась людских голов волна,  
Сюда вели толпу босых, простоволосых.  
Густая изморось совсем как седина  
На этих девичьих, на этих черных косах.

Как побороть слезу, сдержать невольный плач?  
Вот люди. Сквозь туман за ними бруствер брезжит.  
Скорей бы умереть! Ведь он же не палач!  
Нет, первому себе он горло перережет!

Косынки на земле, под вражьем сапогом.  
Струятся по плечам распущенные пряди.  
Их вымыл талый снег. Что делать? Смерть кругом.  
Там впереди штыки, а ров глубокий сзади.

### 2

Завесой черною весь горизонт покрыт,  
Как зеркало в дому, в котором умер кто-то.  
Взглянув на циферблат, убийца говорит,  
Точнее — каркает: «А ну-ка, за работу!»

Как пена мыльная, на волосах снежок,  
А под ногами лед — так будет падать лучше.  
Туманный полог дали заволок.  
Как шали рваные, ползут по небу тучи.

«А ну-ка, брадобрей, правь лезвие скорей!  
Сейчас мы поглядим, как хорошо ты бреешь.  
Вон та — твоя жена? Ее ты первой брей!  
А остальных потом побрить успеешь».

Веселый смех убийц. Хлыста короткий взмах.  
«Ведите первую!» — звучат слова приказа.  
У парикмахера темно в глазах,  
Не держат ноги, помутился разум.

в

«Чтоб чище выбривать, пусть будет сталь острее!  
Позвольте лезвие мне наточить получше».  
— «О, сталь немецкая остра! Не мешкай! Брей!  
За дело, Фигаро! Не то хлыстом получишь!»

Дрожит от смеха горло палача,  
Откинув голову, фашист хохочет.  
Сверкнуло лезвие. «Ты — первый! Получай!» —  
И офицер упал, зарезанный, как кочет.

На дно сырое рва упал он раньше всех,  
Он корчился, хрипя, под глинистую кручей...  
Вода стекала в ров. Повсюду таял снег.  
Пробился первый луч сквозь темный полог тучи.

1943

### 161. ОСКОЛКИ

Чуть я незрячести переборол тиски,  
Паденья под откос открылась крутизна мне.  
Подобно зеркалу, упавшему на камни,  
И сердце, вырвавшись, распалось на куски.

Лишь суммой тех крупниц отныне ставший, я  
Мельчайший отыщу и подниму осколок...  
— Не растопчи ж меня, о Время-судия,  
Сколь ни был бы мой труд по воссозданию долог!

Но как бы тщательно, — хоть кровь из рук текн, —  
Я тех ни свел частиц, — возврата нет к былому;  
Пребудет, цельности обманной вопреки,  
Мой облик искажен мозаикой разлома.

И я, познавши скорбь крушенья под откос,  
Томиться обречен желаньем беспредельным:  
В том зеркале себя опять увидеть цельным,  
Чьи по семи морям осколки смерч разнес.

1943

## 162. У ДОРОГИ

Истерзанный вокзал, как решето, дыряв.  
Купаются в пыли развалины поселка.  
Здесь, направление бывшее потеряв,  
Торчит забытая немецкая двуколка.

Из глины высушенной не вырвать ей колес, —  
Обречена недвижности и тленью.  
Ее обнюхав, пробежавший пес  
Заигрывает с собственной тенью.

Но, слыша издали грохочущий состав  
И жалостно дрожа от лязга поездного,  
Она, как две руки, оглобли вверх задрав,  
Дает понять, что в плен готова сдаться снова.

*Апрель, 1946*

## 163. КУСОК МЫЛА

### 1

Не в этом ли сгустке — плоть сына ее? —  
Мерещится матери сквозь забытьё:

Так вот он, найденыш, родное дитя!  
Вся в струнку, суставами глухо хрустя,

С отчаяньем, стынувшим в звеньях глазниц,  
Надрывней всех плакальщиц, всех вестовщиц,

Бруску, где сыновнее имя живет,  
Последнюю почесть она воздает.

Она погребенью вот это предаст. . .  
Храни его, дерна могильного пласт!

Ей это досталось, лишь ей, лишь одной —  
 Что делать с кирпичиком плоти родной?

В глазах — пустота, на губах — волдыри.  
 Весь день она шла, не приметив зари.

Всю ночь эту ношу сжимает в руках  
 И к небу подьмет невиданный прах.

К земле она снова свой клонит зрачок,  
 И нет ни слезы на пергаменте щек.

И рот ее замкнут и нем, и суров —  
 Не вырвется ль сердце само из оков?

Весь мир ей теперь обойти предстоит. . .  
 В кирпичике мыла — лик сына сквозит!

Весь мир исходить предстоит им вдвоем. . .  
 — А если чужой ты, где мать мы найдем?

Не с неба ли ты? Не в земле ли ты рос? —  
 В бесслезных глазах — неумный вопрос.

Но что ей до неба! Что ей до земли!  
 Вот марка, оценка и граммов нули. . .

Как собственность это к ней на дом пришло:  
 Сев на пол, откуда не станет светло,

Допрашивать будет находку свою  
 У грани судеб, у земли на краю!

Но детская зыбка сквозь мыло видна, —  
 Да, вот оно, то, что вскормила она!

Колышется зыбка, но горе не спит:  
 Рука испытующе прах теребит,

И взор, как стрела, устремляется в пол —  
 На что ж это там, в темноте, он набрел?

Два новеньких детских стоят башмачка.  
 Где ж ножки для них? Приведут ли сынка?

Колышется зыбка, но горе не спит:  
 Какие следы еще темень таит?

Как будто — шапчонка и мех пальтеца?  
 Не детские ль ручки коснулись лица?

Но — свет! И для бреда нет больше причин:  
 Да, мыльною щелочью стал ее сын!

Весь мир исходить предстоит им вдвоем...  
 — А если чужой ты, где мать мы найдем?

Не с неба ли ты? Не в земле ли ты рос? —  
 В бесслезных глазах — неумный вопрос.

Она погребенью вот это предаст...  
 Храни его, дерна могильного пласт!

Ни пепла, ни тлена, ни звона костей?..  
 Кого ж похоронит? — неведомо ей.

1946

## 164. ВЫБОР

Достоинство пчелы — не жало и не яд,  
И соловей поет не только о печали.  
И на восход нам путь открыт, и на закат,  
И в будущие дни, и в те, что прошлым стали.

Мы, горечи хлебнув, поверим в жизнь опять  
И выберем рассвет, встающий над вершиной.  
В грядущем сын и дочь сумеют сочетать  
Усердие пчелы и посвист соловьиный.

Так снова — в добрый путь, да поведет нас честь,  
Да не помянут нас потомки грубым словом!  
Пчела не для того летит, чтоб яд принести,  
Но чтобы в улей свой вернуться с медом новым.

1946

## 165. ДЕРЕВО

1

Его сбереги  
В глазах изумленных  
Взметнувшим круги  
Галерок зеленых.

Спешит наяву  
В лазурь устремиться,  
Вспорхнуть в синеву  
Ветвистая птица...

2

В лазурь влюблено, —  
Скажите на милость,  
Давно ли оно  
У вас приземлилось?



Давно ли с высот  
Глядит, как на страже?  
Зачем стережет  
Гранитные кряжи?

8

Стоит на скале. . .  
Средь вихрей летучих,  
Корнями в земле,  
Вершиною в тучах.

Встречает грозу  
В холодных просторах,  
А к бездне внизу  
Летит его шорох.

4

И гнезда в ветвях  
У снежной границы,  
И вечно в гостях  
Залетные птицы.

И песня слышна  
Вблизи небосвода,  
Хмельнее вина  
И сладостней меда.

5

Медведь и лиса  
Совсем ошалели:  
Встают чудеса  
В гранитном пределе!

Шатер его весь,  
Все веточки скопом,  
Кто вырастил здесь  
Вослед за потопом?

Такой же шатер  
 Листвы беспокойной  
 Растил с давних пор  
 Мой дядя покойный.

В таком же гнезде  
 Устроилась птица,  
 Искавшая, где  
 Навек поселиться.

Такая же здесь  
 Цвела вековая  
 Любовная песнь,  
 Сердца надрывая.

Явилась чума,  
 Вся в дымной кудели:  
 Сгорели дома,  
 И гнезда сгорели.

Осталась зола  
 От зеленокосых,  
 Не стало ствола —  
 Стал нищенский посох.

Листва унеслась,  
 Но ярость окрепла,  
 И птица взвилась  
 С остывшего пепла.

Рыданья и смерть,  
 Земля сиротеет,  
 И синяя твердь  
 От гнева бледнеет.

.. В соцветьях горит  
Ствол дерева стройный,  
Под ними зарыт  
Мой дядя покойный.

1946

### 166. С ДОБРЫМ УТРОМ!

Черны глаза ее, а зубы так белы. . .  
Мне море дарит их, как первый луч рассвета.  
Она одна в волнах. Бегут, бегут валы.  
И ждет она меня с улыбкою привета.

Она мне шлет из волн свой утренний привет,  
И зубы жемчугом на солнце ярко блещут.  
Не чайка ли кричит, шумя крылами? Нет.  
Не сердце ли стучит? Нет, это волны плещут.

Трепещет платьице ее на берегу,  
Средь камешков над ним легко летает ветер.  
Ее приветствие я здесь подстерегу,  
Незаменимое и лучшее на свете.

Вот прынул солнца луч, как дротик золотой.  
И обернулся я на зов лучистый,  
И зубы белые я вижу пред собой,  
И «с добрым утром!» — слышу голос чистый.

1947

### 167. СОЛО

Когда всему молчать приходит срок  
И засыпают музыканты ночи,  
Всё звонче, всё отточенней сверчок  
В потемках озабоченно стрекочет.

Он шелковым шуршаньем входит в сон,  
Им властвует и ткёт в нём всё, что хочет,  
И ждет, в свою работу погружен,  
Ничем не отделяя дня от ночи.

Поет он всё смелей и горячей,  
Кому на горечь, а кому в уладу.  
Назначен он хранителем ночей,  
Он трудится — с ним никакого сладу.

Таинственен его волшебный труд,  
Не знающий границ меж днем и ночью.  
С причудами, а то и без причуд  
Самозабвенно он во тьме хлопочет.

Свое поет он соло. Минет срок —  
И наш сверчок теперь уже сверхсрочник.  
Ему подтянет горный родничок  
Или свистун — заблудший полуночник.

Они хотят парить над тишиной,  
Их голоса взвиваются всё выше,  
Но только он царит в глуши ночной,  
И спящий мир его лишь пенье слышит.

1947

## 168. КАПЕЛЛА

И даже не кивнув, а просто так — на слух  
Договорившись вмиг со всем зверьем окрестным,  
Затерянный в горах ручей проснулся вдруг  
И дробно зажурчал в гранитном ложе тесном.

«Кто вступит вслед за мной? — звенит он. — Говори!»  
И эхо повторить вопроса не успело,  
Как дрогнул над ручьем смешной вихор зарри  
И в шумный разговор вступила вся капелла.

Как ливень по весне. Вступили. Сразу. Все.  
В симфонию любви и скрежета и виста.  
Кузнечик-музыкант почти басит в росе,  
И в стебли трав вплелась печаль жука-флейтиста.

Сперва еще слегка смущаются юнцы,  
И режет чуткий слух рассветная настройка,  
Но вот уже стучат шальные кузнецы,  
И тысячи цикад бьют по цимбалам бойко.

Нас может оглушить скрипение цикад,  
Оно в рассветный час звучит с неожиданной силой.  
Давно гудит пчела над венчиком цветка,  
Вплетя лазурь небес в свой плащ прозрачнокрылый.

Как сладостно пчеле над венчиком висеть,  
Кружиться и жужжать, пускаться в путь окольный.  
А кто-то угодил уже в паучью сеть,  
И грозно загудел орган янтарноствольный.

В сторонке богомол. Одет в зеленый фрак,  
И впрямь он молится. Свисают фалды сзади.  
Крючки передних ног — хитрец! — скрестил он так,  
Чтоб голову снести распевшейся цикаде.

Но радость бытия не ведает конца,  
Сто тысяч голосов слились в один, всецело:  
Певец в густой траве приветствует певца,  
В рассветной свежести усердствует капелла.

1947

### 169. В ТРЕТИЙ РАЗ

Прочь, дурень ветерок! Не спрашивай — куда!  
Дорога горная здесь колдовски петляет.  
Машина, мчись вперед, свободой горда!  
Встречает ветер нас, а солнце провожает.

Пространств распахнутых здесь не охватит взор,  
И солнце на полях, как на стекле, блистает,  
Ярьсь, кидается прибой на локти гор,  
Над ними облаков клубящаяся стая.

А в небе надо мной такая синева, —  
Мне замок золотой мерещится под нею!  
Вверх задирается неволью голова,  
И раскрываются глаза мои жаднее.

Я видеть всё хочу! Там тоже что-то есть!  
О жажда, ты всегда, как небо, бесконечна.  
Вот ширится оно — его пространств не счесть, —  
Как гимн, могучее и молодое вечно!

А ветер выкрики глотает на лету,  
И я с прозрачностью как в битвах рукопашных.  
Машина к счастью мчит, и эту быстроту  
Пронизывает вихрь на поворотах страшных.

Со взглядом — в пропасти, с угрозою шальной,  
Чтоб услышать гудок летящего навстречу!  
И налетает шум упругою волной,  
Там белизна платков и радостные речи.

Так в третий раз зарю мы поднялись встречать,  
Да, в третий раз встречать у вод зеленых Рицы,  
Но мало этого! Пусть через год опять  
Здесь наши встретятся шаги и наши лица!

1947

### 170. СТАРАЯ РЕЙСОВАЯ МАШИНА

Под коркой грязевой пока еще горит  
Ее живая синь, как молодость вторая,  
Хоть ветхий верх ее любим ветрам открыт  
И порыжел брезент, на солнце выгорая.

Нет, с кузова ее не смоют больше грязь!  
На шины намотав с версту дороги бурой,  
Резвится старая, на солнце шелушась,  
Доверчиво шурша заплатанною шкурой.

Взберись, ее крыло немного накреня:  
Облуплена эмаль, бока шероховаты!  
Как грива, дрогнет верх. Как ноги у коня,  
Подрагивать начнут расхлябанные скаты.

Звучит железное ее «кукареку»,  
Встает седая пыль за рейсовой машиной, —  
Пора петлять в горах и стлать виток к витку,  
Над безднами кружить в отваге петушиной!

И так ей хочется оставить за собой  
Хоть этих вот волов медлительную пару!

Пусть дико плещется над бездной голубой  
Верх, полный воздуха, раздутый, словно парус!

Погонщик сдвинул свой выдавший виды брыль,  
Ругнулся, — а волны испуганно застыли.  
Мгновенно унеслась клубящаяся пыль,  
И стекла, и загар, серебряный от пыли.

Скрежешет и сопит, и воздух в клочья рвет,  
И пробивает вмиг сырых туманов бурки,  
И бешено гудит, минуя поворот,  
По щебню грохоча в невиданной мазурке!

Скорее в воздухе, чем на груди земной,  
Скорее в синеве, чем на гудроне черном,  
Вторгается она в литой и плотный зной,  
Колдунья, что сродни косматым ведьмам горным!

Глодают скалы пыль десятком жадных ртов,  
И уступает вихрь дорогу колымаге,  
И радугами брызг касаются бортов  
Веселых горных рек шумливые ватаги.

Опять над безднами плутает шалый путь,  
И вновь приходит блажь скиталице беспечной  
Медлительных волов надменно припугнуть  
И гневно протрубить в лицо машины встречной.

1947

## 171. В СУМЕРКИ У МОРЯ

Э. Л.

Быть может, ты сейчас уже идешь домой,  
Последняя из всех купальщиц деловитых,  
А море за тобой — расплавленной каймой  
В расшитых золотом кипящих аксамитах.

А волны говорят: «Нас на плечи накинь,  
Дай наглядеться нам на твой загар румяный!»  
До неба поднялась морская гладь и синь,  
Слепая синева под кровлей златотканой.

Пусть морю по плечу могучие суда,  
Ты маленькой ему в мгновения свиданий  
Совсем не кажешься... Нет! Даже и тогда,  
Когда склоняешься над ремешком сандалий,

Когда, распавшись вдруг, волос твоих пучок  
Струится по спине с тревожным черным блеском  
И открывается мерцанье плеч и щек,  
Как полированный янтарь в луче нерезком.

Ты маленькой совсем не кажешься ему,  
Хотя и весела, хотя и тороплива!  
Вот встала, вот вошла в лазурную кайму  
Лишь на мгновение. И жадно ждешь прилива.

Закат свою кайму над водами простер,  
Чтобы в румянец твой его вливалась алость,  
Чтоб красоте твоей дивился весь простор  
И кроткая волна у самых ног плескалась.

Предела морю нет! И, увидав тебя,  
Оно весь мир обнять спешит как бы спросонок, —  
Так, чудо увидав, робея и любя,  
За юбку матери хватается ребенок.

1947

## 172. НА ПЛЯЖЕ

Как статуя застыв, угрюм и одиноч,  
Сидит у кромки волн матрос бронзовотелый,  
Моряк с одной рукой. Он смотрит, как у ног  
Размеренно валы дробятся пеной белой.

Приходит он на пляж, когда пустынно здесь,  
Срывает прочь бушлат, зубами помогая,  
И долго так сидит, в соленых брызгах весь,  
И всем ветрам морским открыта грудь нагая.

С его крутого лба стекает крупный пот,  
Пространство мерит он привычным к морю взором.



Он видит где-то там одесский шумный порт  
И Севастополь свой за голубым простором.

Его с одной рукой оставила война,  
Любовь покинула, навек отметив раной.  
Он встарь с любимой здесь бродил, не зная сна,  
Вдвоем на берегу встречал восход румяный.

Как вспомнит, мышц бугры заходят ходуном,  
Но, сковано культей, стихает их движенье.  
Заштопана она непревзойденным швом,  
Но для сердечных ран такого нет леченья.

Когда бы мог матрос, на грудь одним рывком  
Он взял бы, как баян, всё голубое море,  
И про свою печаль сыграл бы он на нем,  
Из глубины души свое бы вылил горе.

Приходит каждый день моряк с одной рукой,  
Сопровождаемый одной своею тенью,  
И смотрит, смотрит вдаль, в слепящий блеск  
морской,  
У самой кромки волн застывши без движенья.

1947

### 173. МОРЕ НА РАССВЕТЕ

У гор покоя просит море,  
Продленья сладостного сна.  
На небе ночь с рассветом в споре,  
На море — мрака пелена.

И пробуждению не верит  
Его дремотная душа,  
Оно ощупывает берег,  
Цветную гальку вороша.

За камни ухватиться хочет,  
В береговой вцепиться склон,  
В последнее дыханье ночи,  
В последний, предрассветный сон.

Но только собственному стону  
Оно внимает в тишине,  
И берег стелет тень на лоно,  
Мерцающее при луне.

1947

174—177. П О Д Д О Ж Д Е М

Э. Л.

1

Нас берега не ждут нигде,  
Не ждут дороги с их зеленой сенью.  
Плывем вдвоем в невидимой воде,  
Сквозь ночь плывем мы, под дождем осенним.

Чтоб ничего не видеть — тьмы покров,  
Внизу река, и молодость, и бездна.  
В глазах огни двух встречных поездов,  
Сознание неизбежности железной.

Тьма говорит, что далям нет конца  
И что пространство черное огромно.  
Так близко бьются, так стучат сердца, —  
Вот-вот река расплещется от грома.

Нас задевает бледный хлыстик света:  
Как обруч, в небе катится звезда.  
Постой, мы взглядами беглянку эту,  
Как чайку, в плен захватим навсегда.

2

Мне кажется — не протекли века,  
Мир не существовал — он только-только создан.  
И шеи наши, словно два клинка,  
Друг к другу тянутся в сиянье звездном.

И мы плывем, плывем вдвоем сквозь мрак,  
Разделены и сращены волнами.

Как молния, руки ежеминутный взмах,  
Плеч смуглота... косынки белой пламя...

Но свет луны из пены туч скользит,  
Нас чернотою яркой зазывая.  
Постой! Я слышу — дерево шумит  
Вблизи... а где — не вижу я, не знаю...

Скорей дай руку мне! Скорее... Берег вот!  
Согреемся, танцуя... Дрогнут плечи.  
Нас ветер под руки торжественно берет,  
И дерево шагает нам навстречу.

3

Закрой глаза — и вот препятствий нет.  
Какой простор вокруг! Я жду тебя. Приди же!  
Я не считаю, сколько прожил лет,  
Как не считаю звезд. Ведь я их столько вижу.

У них тысячелетья впереди.  
Но равным вечности теперь мгновенье стало.  
Навеки ты желанна мне. Приди!  
И нет для нас конца — и нет начала!

Твое лицо озарено луной  
Иль свет горячий излучает тело?  
Он, как бесценный дар, мерцает предо мной,  
Губами и рукой к нему тянусь несмело.

О ночь, о кров ветвей, благословенны вы!  
Пусть на единый миг мне этот мир подарен!  
Меня околдовал напевный шум листвы,  
За этот сладкий шум я листьям благодарен.

4

Пусть ветер и любовь, пусть ночь и дождь косой  
Приветствуют тебя, густое древо!  
Здесь, под твоей развесистой листвой,  
Укроемся мы, как Адам и Ева.

Тебя не тронем мы, нам листья не нужны,  
Сегодня наготы своей не прячем.  
Мы поздней осенью стучимся в дверь весны,  
Распахнуты сердца ее лучам горячим.

Нет на тебе плодов? Познаем всё без них!  
Пусть только лунный свет пробьет завесу чащи!  
Нам хватит темноты и капель дождевых —  
Их пьешь с любимых губ, — они, как мед, пьянящи!

Кружится листопад? Ненастье? Ну и что ж!  
Неужто мало нам густой древесной сени?  
Неужто юности мешает дождь,  
Гостеприимный дождь, прохладный дождь осенний?

1947

### 178. ВЕЧЕРОМ У МОРЯ

Как трудно под вечер из моря выходить,  
Когда оно глядит заманчиво и нежно,  
И огоньки в горах уж начали бродить,  
И легкой дымкою окутано побережье.

И голос просит вас вернуться, а потом  
Обрывки голоса вечерний ветер носит.  
Так хочется к волне прильнуть горячим ртом!  
«Помедли, милый друг!» — сама стихия просит.

Беседует волна с огнями маяка,  
Темнеет нагота купающихся в море;  
Ночь приближается к нам издали  
Тенями тополей, гудящих на просторе.

Так сладко подавлять щекочущий смешок!  
А по небу давно плывет свинец холодный.  
Так, оживая вдруг, лепечут лен и шелк,  
И грудь колышется, как колокол подводный.

Так сладко ускользать из рук волны слепой!  
Чтоб не свалила с ног, прижаться к гальке надо.  
А взглянешь искоса: пришло на водопой  
Большое, влажное, пленительное стадо!

И хочешь без конца купание продлить,  
Но месяца рожок покличет неизбежно.  
Как трудно под вечер из моря выходить,  
Так выглядит оно заманчиво и нежно!

1947

### 179. НА ПЕРРОНЕ

Э. Л.

Обрамлено твое лицо окном вагона,  
Ты смотришь мне в глаза, тоскуя и любя.  
Темно кругом. Состав отходит от перрона.  
Как будет скучно здесь и пусто без тебя!

И только светят мне с последнего вагона  
В густые сумерки одетые огни.  
Оливы глаз твоих, манящих и знакомых,  
Мне в этой зябкой мгле напомнили они.

Зачем так сладостна тоска на расстоянье?  
Разлука почему до боли сблизит нас?  
Мне долго видятся глаза твои в сиянье  
Ночного огонька, хоть он давно угас...

1947

### 180. ВЕТЕР, ПОБУДЬ СО МНОЮ

Э. Л.

Семь лет тому назад пролег здесь мой рубеж.  
Как прошлого следы, и он исчез в тумане.  
Иль ветер никогда не сыщет прежних меж?  
Иль выюга занесла годов минувших грани?

Прибрежной гальки блеск, и кряжей череда,  
И пальма над водой по-прежнему космата,  
И только на семь лет я отступил сюда  
Оттуда, где любил и сетовал когда-то.

Ты их не видел, вихрь? Прошу, побудь со мной!  
Есть времени приказ! Несу плоды работы,

И сердце верное, и день, и труд земной,  
И, как пчела, спешу наполнить медом соты.

Я сам сплетаю сеть, я сам влеку улов,  
Сам возвращаюсь я в объятия природы,  
Я слышу мерный гул больших колоколов,  
С ним двинутся мои исчезнувшие годы.

Да, ветер, это я — в исчезновенье весь!  
Да, ветер, это я — гость, проходящий мимо.  
Ты видишь эту грань? Сейчас рубеж мой здесь!  
Я должен от него уйти неотвратимо.

1947

### 181. ГОРНАЯ МАДОННА

Женщина утром с ребенком в горах, —  
Несет на руках его, словно Мадонна,  
И горный рассвет, зажигаясь впотьмах,  
Их путь осветил вдоль кремнистого склона.

Женщина утром с ребенком в горах, —  
Мерцает над ними рассвет, зеленея,  
А верба их путь осеняет в веках...  
И вспомнилась мне в этот миг Галилея.

Женщина утром с ребенком в горах, —  
Вокруг нее ткань голубая струится,  
Трепещет косынка на узких плечах...  
Мне вспомнились ясли, и хлев, и ослица.

Женщина утром с ребенком в горах, —  
Над ними сияющих радуг свеченье.  
Как хорошо, что в безгрешных глазах  
Не светится будущих мук отраженье!

Певучей походкой идет на восход,  
Легкая, нежная, в воздухе тая...  
Нет, не Мадонна ребенка несет —  
Казачка идет по тропе молодая.

Казак ее муж? А быть может, еврей?  
Крестьянин? Не плотник ли старый скорее?  
Я счастлив, колени склонив перед ней,  
Что миру не ведать второй Галилеи!

1947

## 182—184. ГОРЫ ВЕЧЕРОМ

### 1

Они простерли вдаль теней рисунок четкий.  
Подобно загнанным верблюдам, в небосклон  
Они глядят, — видны одни лишь подбородки,  
Их клонит в сон. . .

Богами в старину казались их вершины.  
Мы жертвы им несли — молоденьких ягнят.  
Теперь на их челе, как мудрости морщины,  
Тропинки ровные лежат.

Падучая звезда им не дает горенья,  
Их не разбудит гром, не возмутит обвал,  
И только человек величье их признал,  
Химеры в них ища начальных дней творенья.

### 2

Пусть о потопе нам, чтоб радовался глаз,  
Напомнит радуга, торжественно сверкая,  
Тогда б в ее узду одна гора впряглась,  
И, как венец, ее надела бы другая.

За стадом гонится буран. Мы слышим бег:  
Как туча, стадо с гор несется, топчет склоны,  
Рвет небо на себе, как бы сквозь балахоны  
Просовывая головы сквозь снег.

А горы древние пронзают свод небесный,  
Велят, чтоб ветерки в разведку понеслись,  
И кажется, они затем лишь поднялись,  
Чтоб легче было прыгнуть через бездны.

Они стоят во весь свой рост,  
 Одеты в золотое платье,  
 Как будто ждут с далеких звезд  
 Гостей желанных на закате.

Но, опустив к траве рога,  
 Приходит грустная корова.  
 И пастушок. И тихо снова,  
 И тишь — божественно-строга.

За ними вслед ложатся тени.  
 Сума и палка, хлеб сухой. . .  
 И горы, сквозь туман осенний,  
 Обозревают их с тоской.

Идет, хотя повсюду сыро,  
 Пастух с коровою вперед,  
 Как будто он хозяин мира,  
 Как будто горы он пасет!

Он достает кисет пахучий,  
 Глядит, куда хватает глаз,  
 И кажется, что он сейчас  
 Прикурит от звезды падучей.

1947

### 185. ПОЛМИРА В ТЕНИ

Луч солнца пробует свой блеск на облаках —  
 Как выглядят они, позолотясь закатом.  
 И кажутся они с земли, издалека,  
 Оленьей кожею с оттенком розоватым.

Потом косым лучом, как пекарь помазком  
 По шапке пирога с чуть подгоревшим краем,  
 Оно вершины гор раскрасит, как желтком,  
 И вниз опустится — к избушкам и сараям.



Уже не ранний час. Из кузни слышен звон,  
Исчезли в облаках возглавия Памира,  
И фольгой золотой сверкает небосклон...  
Но всё еще в тени покоится полмира.

1947

### 186. КРАСНЫЕ КАМНИ

Без них и эту ель никто б не замечал,  
А так — известности она достигла тоже!  
Да что ж они? Пустяк. Обломки красных скал  
Замшелых — на грибы гигантские похожи.

Они из пухлой мглы высовывают нос:  
Быть может, кто-нибудь их ищет втихомолку?  
«Прохожий, вот они — ступени в область грез», —  
Ветвями влажными призывно машет елка.

Она с себя туман стряхнула на заре,  
Как воду мокрый конь отряхивает с гривы,  
И ждет кого-нибудь, чтоб на ее коре  
Он имя вырезал, тщеславный и счастливый...

1947

*Кисловодск*

### 187. ЗАБОТА

Лишь только луч цветка коснется, щекоча,  
А ветерок, кусты взъерошив, захохочет,  
Как, крылья подоткнув, кузнечик сгоряча  
У наковаленки своей уже хлопочет.

Усами жесткими он грозно шевелит,  
Усы в ногах снуют с зеленым нетерпеньем,  
А мошкаре лесной стрекочет он, сердит:  
«Мне надобно ковать! Отстаньте с вашим пеньем!»

Кузнечик прыгает — какая суета, —  
От кустика к цветку легко перелетая,

Травинку хилую догонит у куста  
И спросит: «Припаять? Работа не простая!»

Впивается его зовущий молот сам  
Во множество забот, звонящих и летучих.  
Кузнечик приумолк. И вновь к своим трудам  
Вернется он, когда блеснет заря сквозь тучи.

1947

### 188. БАРЕЛЬЕФ ЛЕНИНА

Нужны большие ветви эти  
Зеленой ели, чтоб могла  
Над барельефом простереть их  
Крылами вольного орла.

Вся прочность горного гранита  
Нужна граниту, чтоб века  
Хранил, как до сих пор хранит он,  
Труды резца и молотка.

И даль со снежными горами,  
И рощи над речной дугой  
Нужны, чтобы в чудесной раме  
Нам видеть образ дорогой.

1948

### 189. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Уже не ночь, еще не день,  
И свет зари пока неведом,  
И мышь летучая, как тень,  
Влетает в щель меж тьмой и светом.

Она проскальзывает в сон,  
Она виденьем из видений  
Вдруг прошмыгнет за грань времен  
Зигзагом мимолетной тени.

Она торопится домой.  
Пора! Она боится солнца.  
Ее терзает свет прямой  
Слепящего, как медь, оконца.

И перепончатую шаль  
Подняв над темной головою,  
Она летит куда-то вдаль,  
Освищенная синевою.

Как день пришел, как ночь ушла —  
Не разобрать летучей мыши.  
Сейчас был свет. И снова мгла.  
То вниз летит, то взмост выше.

Утомлена, ослеплена,  
Косым лучом не обогрета,  
Вмиг улетае прочь она  
Над зыбкой гранью тьмы и света.

1948

### 190. ФИГАРО

Вдох капеллы лесной вдруг на ветке повис,  
В сетке радиоволн трепеща всеми фибрами,  
Трелью вверх поднялось и обрушилось вниз  
Вместе с грустью и радостью радужно: «Фигаро!»

По деревьям промчалась певучая трель,  
Покуражилась музыка в листьях раскованных,  
В лепестки просочилась капеллы капель,  
Задрожали сердца стебельков заколдованных.

Кто щебечет, сладчайшие ноты ища?  
Виртуозные трели весьма удались ему!  
Очарована роза — и, рукоплеща,  
Надрывается, бедная: «Браво! Брависсимо!»

Не видать соловья — лишь рулады слышны;  
Где же тень, что жемчужными крыльями двигала?  
Только трели в садах леденящей луны —  
Колокольцами: «Фигаро! Фигаро! Фигаро!»

Он хохочет и плачет — шальной соловей,  
Этот хохот и плач мельче лунного бисера,  
И капелла сама в колыханье ветвей  
Аплодирует ревностно: «Браво! Брависсимо!»

Выше кражей и глубже пучины морской  
Человеческий голос, звенящий тоской,  
Он и в недрах земных, и над снежными высями:  
«Славься, Фигаро, Фигаро! Браво! Брависсимо!»

1948

### 191. СОЕДИНЕНИЕ

Нетрудно веточке согнуться, наклониться  
И оказать гостеприимство соловью,  
И, захмелев от бражной песенки, забыться,  
И, может статься, позабыть про боль свою.

И кажется: поют зеленые расселины,  
И звуки с веткою сроднились до конца...  
И возникает песнь, в которой нераздельны  
И соки дерева и кровь певца.

Не в тягость это ветке — ей желанно  
Соединенье любящих сердец.  
Что остается ей, когда неожиданно  
Сорвется плод и упорхнет певец?

1948

### 192. РОЗА

Припала к белизне льняного полотна  
Недавно срезанная, вянущая роза:  
Впервые в жизни спит на скатерти она,  
Во власти колдовства, безволия, наркоза.

Еще не замутнен ее прохладный сок,  
На горле стебелька не загноилась рана,  
Зеленой кожицы стыдливый поясок  
С подвязкой круглой схож, надорванной неожиданно.

Поодадь лепестки на влажном полотне  
Лежат, подобно сброшенной одежде.  
Она хватилась их (искала их во сне),  
Хотела их вернуть и стать такой, как прежде.

Ужели в духоте, в густом ночном тепле  
Не раскрываться ей навстречу дробным трелям  
И в предрассветный час, дрожа в одном белье,  
Не ждать, когда ж ее согреет листьев зелень?

И так у ней во сне кружится голова,  
Как будто вновь ее колючий поднял стебель,  
И млеет соловей в томленьях волшебства,  
И месяц замерцал: как знать, в душе ль, на небе ль?

Но я не соловей! И я тебе верну  
Блаженную луну и пламя вечной жизни, —  
Я к телу твоему, к шипам твоим прильну:  
— Не медли, кровь моя, — скорей на землю брызни!

1948

### 193. ДЕВУШКА С КОСАМИ

Она прошла вперед — сразила наповал,  
Откинув голову, тревожная, прямая,  
А волосы ее неслись, как пенный вал,  
Шипя и шелестя и плечи заливая.

Нет, не идет — летит, стремится в вышину,  
И разметался шарф, подхвачен вихрем бодрым, —  
Затеял с ветром он веселую войну,  
А косы, хохоча, спускаются по бедрам

И ноги стройные захватывают в плен,  
Сияньем оттенив прожилки нежной кожи.  
Им, косам, хочется прильнуть к теплу колен  
И успокоиться на их душистом ложе.

Вдруг ветер разметал одну и вверх занес,  
Всё затопила блажь русоволосой выюги,  
Но дернулось плечо — и вот волна волос  
Метнулась на спину, отпрянула в испуге!

Как гребень солнечный прическу увенчал!  
Как щебень захрустел! Вот так, вот так, наверно,  
По тропкам ледяным в краю отвесных скал  
Стремительно летит трепещущая серна!

Она ушла в пожар бульваров городских,  
Туда, где на ветру сгорает листьев груды,  
И я ее лица глазами не настиг,  
Но щедро награжден одним мгновеньем чуда!

1948

#### 194. ШУМ КРАДЕТСЯ С ГОР

Прислушайся к ветра угрюмому вою,  
К порывам рыданий, сводящим с ума:  
То горы рыдают, покрытые тьмою,  
Иль плачет сама непроглядная тьма?

Спроси у горы: отчего она плачет?  
Не по сердцу, верно, холодный закат?  
А ветер-затейник с ветвями судачит,  
И ветви в ответ ему смутно гудят.

А может быть, там заблудился прохожий,  
Которому с ветром бороться невмочь?  
Рыданьями горный покой потревожен,  
Ползет по вершинам студеной ночь.

1948

#### 195

Корова траву прошлогоднюю ела,  
Увявшие стебли ей в глотку не шли,  
И вдаль неподвижно корова глядела:  
Зеленое дерево было вдали.

Вот странно! Как дерево может колотиться?  
Корова не видела иголок досель.  
Чуть тронута ветром, в пыльце-позолотце,  
Едва шевелилась колючая ель.

Корова застыла. Не дерево, что ли?  
Есть зелень... И запах... Так в чем же тут суть?  
И, хвост высоко задирая от боли,  
Решилась рогами злодейку боднуть.

Ствол дерева тихо толкнула сначала,  
Весьма поразилась — и слух напрягла,  
И лоб меж рогами почесывать стала  
О шероховатую кожу ствола.

Вздыхнула потом без особенной скорби:  
«Ну хоть почешусь! Хоть пустяк, да возьму!»  
Пастух склонился к заплатам торбе,  
Пощупал — а хватит ли хлеба ему?

1948

## 196. ГОСТЕПРИИМНАЯ ПТИЦА

### 1

Ни листопад, ни холода  
Ее в дремоте не застали, —  
Она сама пришла сюда  
Приветствовать приход печали.

К земле подсолнечник припал,  
О чем-то пчелы зажуужжали.  
Распутье. Разошлась тропа...  
Как распознать лицо печали?

Даров осенних пестроту  
Повсюду нивы разбросали,  
Вздыхает ветер на лету, —  
Не это ли приход печали?

Сухой листвой увенчан луг,  
И кущи улетают в дали.  
Глядит пернатая вокруг:  
Каков же облик у печали?

Печаль? Она промчалась вдаль,  
Она в моей душе гнездится.

Взгляни! Ведь я и есть печаль,  
Моя приветливая птица!

Листва опавшая — по грудь,  
Как будто стружек настрогали,  
Шагает птица, держит путь  
Навстречу собственной печали...

2

Быть может, это холода,  
Леса и землю обнажая,  
Лишили бедную гнезда,  
И бродит птица, всем чужая? ..

Быть может, долгий ливень лил  
И, как листву, срывая перья,  
Ее, как ветку, оголил,  
И не в чем щегольнуть теперь ей? ..

Быть может, острою косою  
Ее подстерегала осень?  
Пусть цвет ее теперь другой,  
Другие перья птица носит. . .

Но тот же голос, тот же взор  
И крыл раскинутых величье!  
Багряный головной убор  
Над гордой головою птичьей. . .

И хвост, как в августе, широк,  
Лишь перья золотыми стали. . .  
Проходит птица вдоль дорог  
Навстречу собственной печали. . .

8

Минуя шумные кусты,  
Их осмотреть она стремится.  
Меня, должно быть, ищешь ты,  
Моя приветливая птица?



В осенних днях усталость есть,  
Но нет ни капельки печали.  
Меня ждала ты. Вот я — здесь,  
И мы друг друга повстречали.

Нет в увяданье боли, нет!  
Наступит возрожденье скоро.  
Иду к тебе. За мной вослед  
Идут леса, поля и горы.

Иду к тебе издалека,  
Ты мне нужна, как почва зернам.  
Ты будешь славиться века,  
Радужна ты, как мир просторный.

Мой путь — по далям золотым,  
Как струны арф, они звучали.  
Я стану отзвуком твоим,  
Но нет во мне твоей печали.

1948

### 197. ПРОГУЛКА

Прогулку по Страстной случайно вспомнил я —  
Примчалась стрекоза и на плечо мне села;  
Я улыбнулся ей: «Откуда залетела,  
Нежданная моя, внезапная моя?»

В небесной синеве, глубокой, полутемной,  
Спешит звезда к звезде — разжиться огоньком...  
С лучистой спутницей по площади огромной  
Я, как с невестою, иду вдвоем.

Звенящей здравицей встречают нас трамваи...  
«Куда ты полетишь, нежданная, ничья?  
Куда направишь путь, летать не уставая,  
Мгновенная моя, внезапная моя?»

Заворожённые, не чувствуем, как поздно.  
Стихают улицы, и небо всё темней.

Чуть слышным шелестом бумаги папиросной  
Трепещут крылышки нечаянной моей.

Она взвивается к немолкнущей капелле  
Крылатых гусяров: «Туда! За мной! В полет!  
Там соловьи давно вечерний сбор пропели.  
Там одного тебя недостает!»

1948

### 198. ОСЕНЬ

Там листья не шуршат в таинственной тревоге,  
А, скрючившись, легли и дремлют на ветру,  
Но вот один со сна поплелся по дороге,  
Как золотая мышь — искать свою нору.

И сад не сторожат — пусть входит кто захочет,  
Там вихри, холод, дождь, секущий и косой,  
И — никого. Печаль одна здесь слезы точит,  
Но вдруг жужжанье слух улавливает мой.

Пчела спешит пешком по рыхлому песочку,  
Тяжелым обручем пчелиный сжат живот,  
И так она ползет через пень и через кочку  
И судорожно вдруг на голову встает,

И крылышки свои вдруг задирает криво,  
Как зонтик сломанный, они теперь торчат,  
И смерть уже слышна в жужжанье торопливом. . .  
На осень тишина переезжает в сад.

1948

### 199. НЕЖДАННЫЙ ПУТЬ

Как мог я толковать с вокзальной стеной,  
Когда лазурный бант меня почти сконфузил?  
Глядеть на строгий перст, на палец жестяной,  
Когда меня сдавил голубоглазый узел?

Лазурный пышный бант на русой голове  
Нырлял, мелькал и цвел над толчеей платформы.

Так синий василек не спрячется в траве:  
К неожиданному пути приковываем взор мы!

Мне этот путь сужден, как утро всех дорог!  
Как утренний перрон, как солнце над травой!  
И вновь к глазам прильнул блеск обнаженных ног  
И трепет голубой над русой головою!

1948

## 200. САМОЗАБВЕНИЕ

Так как же не любить, отдав себя всего,  
Как отдает себя любое существо,  
Когда к волне морской, что к молотилке злак,  
Луч солнечный припал! Не загореться как,  
Когда трещат сверчки запечные всю ночь,  
А поутру бренчат цикады во всю мочь,  
Когда, как медь, звенит под ветром хрупкий лист  
И надрывается кузнечик-цимбалист,  
Когда гудит, как гром, живая зелень трав,  
И стебель говорит, как флейта заиграв,  
И травяной оркестр устал и изнемог,  
И кое-кто уже готов свалиться с ног,  
И, хоть кукушки нет у синевы морской,  
Сдается — и она кукует день-деньской!  
Пусть соловьи отсель за тридевять земель,  
Напомнит нам о них ручья ночного трель,  
И каждый из певцов хрипит и глотку рвет,  
И каждый забежать пытается вперед!  
Чтоб весь простор земной, чтоб целый мир вокруг  
Запомнил золотой непреходящий звук!  
Мир полон до краев, звук льется через край:  
Хлынь, гомон голубой, звучи, не умирай!  
И море синее вливается во тьму  
И дремлет: счастье снов является ему,  
И голос всё нежней, желанней и ясней,  
В нем зреет глубина еще невнятных дней.  
Так как же не любить, отдав себя всего,  
Как отдает себя любое существо!

1948

## 201. МУЗА

Раньше, позже ли было всё это?  
Сновиденье несет, как волна.  
Мама вместе со мной до рассвета,  
Словно в детстве, со мною она. . .

Помню, как просыпалась, не зная,  
Сплю, дышу ль я в ночной тишине,  
Подбегала к постельке босая  
И, дрожа, наклонялась ко мне. . .

Материнские теплые руки  
Нежат ласкою сердце мое,  
И я слушаю милые звуки —  
Колыбельную песню ее.

Только песню догнать я не в силах,  
Мамин взор как туманом укрыт,  
Но в напевах далеких и милых  
Радость детства, как прежде, звучит.

Буря воеет порою ночью,  
Непостижную злобой полна. . .  
Мама! . . Мама, как прежде, со мною,  
Словно в детстве, со мною она!

1948

## 202. РОСА

Взгляни, как поутру украшен голый сад  
Росой мерцающей. Как в час восхода солнца  
Кристаллы хрупкие на веточках висят —  
Осколки, капельки, пылинки, волоконца!

Рассвет не устает алмазы шлифовать,  
Дробить, соединять их веткой золотою.  
В траве и на небе такая благодать,  
И щедрая земля исходит добротою.

Увенчанный росой, смеется каждый куст,  
И паш рассветный сад уже сплошная небыль:  
Он блещет и горит, как сотни тысяч люстр,  
Как мириады ламп, опущенные с неба.

Рассветный сад сравню с холодным хрусталем:  
Он полон до краев, он запотел, как ваза,  
Морозных огоньков не сосчитаешь в нем, —  
Он в этот ранний час наряднее алмаза.

К хрустальным капелькам приникни поутру,  
Они на каждый шаг ответят звоном новым,  
И там, где листьев медь шуршала на ветру,  
Теперь любой алмаз рассветом отшлифован.

1948

### 203. ЭХО

Немало летних дней промчалось здесь моих  
Подобно журавлям в осеннем поднебесье.  
Мне кажется, я слышу голос их  
То в ветра посвистах, то в волн призывной песне.

Что, если крикнуть им? Услышу ли ответ?  
И вот уже «ау!» летит стремглав к высотам!  
Исчезнувшие! . . Вот и это лето вслед  
Минувшим, как журавль, готовится к отлету! . .

Как бы ладоней всплеск иль моря шумный вал  
Вдруг породили отклик семикратный. . .  
Он мне знаком! Я эхо то узнал!  
Оно мое! Мое! Не смолк я безвозвратно!

Его б узнал и ты! Как на воде круги,  
Всё рос и множился гул эха над долиной.  
Здесь я уже провел немало дней других,  
Давно промчавшихся станицей журавлиной.

1948



## 206. БЛУЖДАЮ, КАК В ЛЕСУ

Э. Л.

Уже не в первый раз заката полосу  
Провел угасший день по тверди небосвода.  
Я всё еще в тебе блуждаю, как в лесу:  
Всё перепутано. Ни выхода, ни входа.

Стук сердца твоего в груди своей несую  
Прозрачным родником, журчанием бесследным.  
Я всё еще в тебе блуждаю, как в лесу,  
Я всё еще в тебе брожу, как в заповедном.

Шагаю медленней. . . А травы пьют росу,  
А тени ворожат, чтоб мне с пути не сбиться!  
Я всё еще в тебе блуждаю, как в лесу,  
Я всё еще брожу, рискуя заблудиться.

Я, от ревнивых глаз укрыв твою красу,  
Сам преградил тропу к тебе в просторном мире.  
Я всё еще в тебе блуждаю, как в лесу,  
С минутой каждою мои шаги всё шире!

Окутал мрак ночной заката полосу,  
Вновь звезды и луна скитальца увенчали.  
Я всё еще в тебе блуждаю, как в лесу,  
Чтоб к сердцу протоптать тропинку, как вначале.

1948

## 207. ТВОЯ СЛЕЗА

Э. Л.

Твой взор меня смиряет и гнетет  
И голову мою к земле склоняет,  
Когда тоскою искривлён твой рот  
И дрожь слезы в твоих глазах мерцает.

Слеза, набухнув, блещет, и она  
Вот-вот прольется через край, крупнея,  
Но там не я — вина отражена,  
Молчит слеза, таить печаль умея.

Она не падает с твоих ресниц,  
Но остается между век дрожащей.  
В ней мир выходит из своих границ,  
А в глубине растет зрачок блестящий.

1948

## 208. У РЕКИ

Бегут они стремглав, расплескивая воду,  
Визжа, и хохоча, и путая шаги,  
И, на берег взбежав, дробь отбивают с ходу,  
От холода дрожа, прекрасны и наги.

На пляску их, смеясь, глядит волна речная,  
Вбирает их следы податливый песок,  
У каждой над косою блестит, не просыхая,  
Кувшинок водяных русалочий венок.

Обсохнув в тот же миг под жгучими лучами,  
На мокрую траву бросаются ничком,  
И, медленно струясь, журча под их ступнями,  
Щекочет их волна знобящим холодком!

Сейчас они совсем девчонки-невелички,  
Подняв головки вверх, опустят их опять.  
Девчонки дружно в такт взметнут свои косички,  
Ногами брызги в такт им весело взбивать.

Иль реку вздумали попрiderжать ногами,  
Чтоб не ушла она, была поближе к ним? ..  
Взрывается их смех, звенит над берегами,  
Пугая сонных птиц по заводям речным.

Девичий звонкий смех куда реки свежее...  
Тонуть в его волнах, вновь обновляясь в них...  
На целом свете нет мне их роднее —  
Смешливых, загорелых, молодых!

1948



## 209. НА РАССВЕТЕ

Рассвет. Предутренняя тишь.  
Покой, блаженно-усыпленный.  
О чем, цикада, ты стучишь  
Над морем в кузнице зеленой?

А море шорохом парчи  
Заводит с ветром разговоры:  
«То колокольцы иль ручьи?»  
— «То вечный снег покинул горы!»

Отлепетало — и молчок!  
И вот уже на всех наречьях  
С травой беседует сверчок  
И заколдованный кузнечик.

Как стол, накрыт простор морской  
Созвездий гаснущих затишьем.  
Я с ним, я пью его покой,  
Мы с ним одним рассветом дышим.

1948

## 210. ЗИМА ИДЕТ

Залетный вихрь по иглам бьет,  
Вздыхают елки-недотроги:  
«Идет зима! Зима идет!  
Зима в пути! Зима в дороге!»

Как знать, успеет ли домой  
Вернуться человек проезжий,  
К вершинам, скованным зимой,  
Заснувшим спячкою медвежьей?

Уже в тиши янтарных смол  
Вихрь суматошливый запрыгал  
И за стволом ощерил ствол  
Десятки тысяч острых игол!

Нарушен трав мертвецкий сон,  
Зашевелился листьев ворох,

И ветер, прущий на рожон,  
В осенних мечется просторах.

Деревья голые молчат,  
Лишь ветер корчится от злости  
Да лихорадочно стучат  
Ветвей обглоданные кости!

Вихрь пролетел сквозь бурелом  
По квинтам плача и тревоги, —  
Осенний шорох за окном:  
«Зима идет! Зима в дороге!»

1948

211

Еще не выцвела багряная канва,  
А свет уже померк, уже не в полной силе.  
Вечернею росой унижена трава,  
И венчики свои давно цветы смежили.

Цель далека еще. Я всё еще в пути.  
И сумерки от плеч растут, с крылами схожи.  
Как знать, успею ли я вовремя дойти?  
Глаза смежает ночь, — я их смежаю тоже.

Не за покоем я шагаю в эту ночь,  
Ведь мне во мгле ночной не обрести покоя!  
Весну я не донес. Уходит лето прочь,  
Мне на прощание не помахав рукою.

Я бремя дней влеку, я цели не достиг:  
Сбивает ветер с ног, угрюмо завывая.  
Цветы, оплачьте боль всех горестей моих,  
Поймите, что нужна мне теплота живая!

Ужель остановлюсь и я на полпути,  
Как скорбная Рахиль, для горестных рыданий?  
Багрянца прежнего мне больше не найти,  
Последний робкий свет мерцает всё туманней.

1948

## 212. НАЛИВАЙ ПОЛНЕЙ!

Поднимались мы по круче  
Выше птицы, выше тучи,  
Нами высь побеждена, —  
Наливай полней вина.  
Так подыдем же бокалы,  
Чтоб желанье явью стало!

Уводила песня в дали,  
Мы пучину побеждали,  
Опускаясь глубже дна, —  
Так налей полней вина,  
Чтоб народной мощи реки  
Не иссякли бы вовеки!

Лето кончилось нежданно,  
Наступила осень рано,  
И зима прийти должна, —  
Наливай полней вина!  
Мы бокал подыдем пенный  
За цветенье нашей смены.

Мы седем! Ну и что же!  
Нами век наш славно прожит,  
Отдан родине сполна, —  
Так налей еще вина!  
Пусть, завидуя по праву,  
Помнят внуки нашу славу!

Сколько жить на свете белом  
До печального предела,  
Сколько нам гореть дано! ..  
Наливай в бокал вино!  
Запрокинем к звездам лица —  
Пусть заветное свершится!

*Декабрь 1948 — январь 1949*

# ПОЭМЫ



## 213. ВОЛЫНЬ

### 1

Разлеглись поля в просторах, —  
Чтоб не сглазить, нет конца им, —  
Разлеглись по-человечьи,  
Лица кверху обратя.  
Шелковистый слышен шорох —  
Это, ветром пробуждаем,  
Колос на своем наречье  
Что-то шепчет, как дитя.

А кругом шумят дубравы,  
Войском зеленоголовым  
Выстроились — хоть стволыны  
До единой сосчитай!  
Ждут, по-юношески бравы,  
Чтоб приказом или зовом  
Некий богатырь былинный  
Прогремел из края в край. . .

Вдаль, за счастьем для округи,  
Реки тянутся беззвучно,  
Что ни встретят по дороге —  
Норовят увлечь вперед,  
И вослед любой речуге  
Вереницей неотлучной  
Берега ползут, отлоги,  
Направляя водный ход.

Понавалены хатенки,  
 Что котомки, в отдаленье,  
 И кумятся с грудой груди,  
 Лежа в травах и пыли,  
 От больших дорог в сторонке,  
 В мире и благоволенье,  
 Будто бы невесть откуда  
 Их на ярмарку снесли.

Будто помелом чудесным  
 Кто-то, ревностью пылая,  
 Из просторов отдаленных  
 Всех сюда посмёл их вдруг, —  
 И пошли в соседстве тесном  
 Коротать года в том крае  
 Сонмы сёл одноименных,  
 Городков и весей круг.

Уточек на речку шибко  
 Гонят девочки-резвухи;  
 Мчатся полем что есть духу —  
 Их любимая игра.  
 Небеса глядят с улыбкой  
 На мальцов из деревушки, —  
 Одному вlepили плюху  
 У крестьянского двора.

У местечка у любого  
 Встретишь древнюю ограду  
 С валом, с вышками для стражи,  
 С пустырями в их кольце,  
 И придут на память снова  
 Битвы, что столетья сряду  
 Здесь кипели: приступ вражий,  
 Дым и пламя в крепостце...

Человек колодец роет,  
 А соседи трутся сзади

И на труд его часами  
Смотрят, потеряв покой.  
Если ж вдруг он кость отроет,  
Затрубят во всем посаде,  
Что скелет, мол, найден в яме,  
Найден клад бог весть какой...

Он, усилия удвоя,  
На монету вдруг наткнется,  
И, блюдя обычай старый,  
Спрячет он ее, — и вот  
Вольной птицей полевою  
По просторам весть несется, —  
Из села в село мажары  
Весть развозят круглый год...

Путь наезжен — без надсада  
В нем звучат колес напевы,  
И коням не ошибиться,  
Без вожжей идя в пути.  
Встретятся возы — и надо  
Одному свернуть в посевы.  
Знают кони — там пшеница,  
Не решаются идти...

Кони вдаль плетутся вяло,  
Клонит возчика дремота,  
Пассажир щекочет щеки  
Стебельком ему слегка.  
«Спишь?» — «Избави бог! Нимало!  
Просто так — припомнил что-то...»  
Небеса добры, глубоки,  
Дружелюбны облака...

4

Тянет петь в дорогах края  
Вольно и звонкоголосо,  
Петь о том, что нет желаний,  
Был бы только окоем,  
Только шла б, не отдыхая,  
Вдаль телега и колеса



Пели в хлебном океане  
О бездумном, о своем.

И поют, поют дороги,  
Братски льнущие друг к дружке  
И оплетшие поселки,  
Как веревочная сеть.  
День и ночь их топчут ноги,  
День и ночь на деревушки  
Прут возы, и щебень колкий  
Не перестает хрустеть...

Едешь волею-неволей,  
У дорог в плену везде ты...  
Рожь стоит там, тень отбросив,  
Ребятишки ль гонят скот?  
Нет, подводы средь раздолий  
Без числа растут с рассвета,  
И пасутся средь колосьев  
Их колеса — чуть восход.

И тоскуешь по подводе  
В утро светло-голубое,  
Тянет ехать до заката  
Под колесный стук и гром...  
Вслед за солнцем в синем своде,  
Вслед за облачной гурьбою  
Ехать — и, прибыв куда-то,  
Расплатиться серебром.

5

У корчмы, в тени укрытой,  
С лошадей снимают шорки,  
И к сараю, где криница,  
Их ведут на водопой.  
У криницы ждет корыто.  
Вот уходят вниз ведерки,  
Вытащив их, пьет возница,  
Загорелый и рябой.

Жадно пьет, жарой измаян...  
И к студеным ведрам кони  
Тянут губы в легкой дрожи.  
Посвистит им молодец,  
Крикнет: «Овсеца, хозяин! . .  
Рыжий, не спеши, не гонят,  
Для тебя достану тоже!» —  
Да и сплюнет под конец.

Повалаявшись по бурьяну,  
Лошаденки в путь готовы.  
Скручивает он сигарку:  
«Затянусь-ка напослед.  
Упряжь ли в порядке, гляну,  
И пошли стучать подковы,  
Лишь на рыжего я гаркну,  
И — версты в помине нет. . .»

6

Искони живется славно  
Края баловню — Горыни.  
То в полях средь разнотравья,  
То в лесах, где глушь черна,  
Берега обходит плавно,  
Вся как кубок, полный синей,  
Свежей' влаги, — хоть за здравье  
Осуши ее до дна.

Гонит волны в хлипкой пене  
Из дубравы и в дубраву,  
В зной и стужу цвет меняя  
Расторопных струй своих.  
Шепчут боры: «Из владений  
Наших что тебе по нраву?  
Выбирай, Горынь родная,  
Лучшее бери из них!

Травы здесь дерев ярчее,  
И как шелк песок прибрежный,  
Тень прохладю богата. . .

Босиком к тебе в жарынь  
Изо всей округи жнѣи  
С шутками и с песней нежной  
От рассвета до заката  
Всѣ идут, идут, Горынь!»

Виснут над Горынью боры,  
Всюду их разноголосье,  
Солнце сучьями тугими  
Заслоняют что есть сил.  
И в волынские просторы  
Всѣ летят, летят колосья  
В посвисте ветров, какими  
Бог Волянъ благословил. . .

Морщится Горынь — чего-то  
Ей желается; к ней вести  
Мчатся с юга. . . Взоры жмуря,  
В даль безвестную плывет. . .  
Всю Горынь берет дремота,  
Ей тепло и знобко вместе.  
Прошумит в вершинах буря,  
И яснее небосвод. . .

7

День проездив, перед зорькой  
Станут на дворе трактирном,  
Лошаденок тихомолком  
Распрягут, осмотрят кладь,  
Вытянут по рюмке горькой,  
Пирогом закусят жирным  
И уже не знают толком,  
Что еще им предпринять.

Что в трактире за духмяны!  
Там в ломтях на стойке студень.  
Мягкий, земляной, щербатый  
Глиною посыпан пол.  
С четвертью корчмарь румяный  
Вертится среди посуды, —

Там и чувствуешь себя ты,  
Будто бы в свой дом пришел.

Убраны коржи со стойки, —  
Сбыту нет им, зачерствелым,  
Пряник заперт в шкаф старинный...  
«Ну, честной проезжий люд,  
Хватим-ка еще настойки!  
Что слышать на свете белом?»  
Отвечают с важной миной:  
«Что? Живут да хлеб жуют...»

8

Люди в каждом городишке  
Взад-вперед снуют жучками  
Или же толкуются, стоя  
В переулочках кривых.  
Кто-нибудь, поймав вестишки  
В суетне, в немолчном гаме,  
Мчится, как дитя большое,  
Высыпать соседям их.

Там, о времени не зная,  
Закусить чем свет садятся,  
Смерклось — спать идут, ведь надо  
Встать с коровою как раз.  
Знают лишь от века в крае,  
Как молитвенник и святцы:  
Если с поля гонят стадо,  
Стало быть, уж поздний час...

Вот по улочкам поселка  
Поспешает, вам неведом,  
Человек, — в нем столько прыти! —  
Заработком увлечен,  
Мчится он, жужжит, как пчелка...  
Если же пуститься следом  
И спросить: «Куда бежите?» —  
Толком не ответит он...

Да и знать ему нет нужды!  
Что́ имеет он, безвестный,  
И чего бы несомненно  
Он хотел в своем дому?  
Он, вопросов этих чуждый,  
Скажет: есть, мол, царь небесный, —  
Значит, о судьбе вселенной  
Печься только лишь ему!..

9

Вот и сумерки настали.  
От возов и от скотины  
Пыль над шляхом: всё стремится  
В нетерпенье ко дворам.  
На дверях — замков медали,  
Все завалинки — из глины,  
Хорошо на них сидится  
В тихий час, по вечерам.

Едут люди с сенокоса  
Посреди ржаного моря.  
Едут — и на всю округу  
Песню грусти тянут в лад.  
Девушка, откинув косы,  
Начинает; парень, вторя,  
За руки берет подругу, —  
Оба опускают взгляд.

Запевающей деревне  
Отзывается вторая;  
Две другие поневоле  
Пристают; звучна, проста  
Песнь — и что ни миг душевней,  
И, в раздумие впадая,  
Всё внимает ей, доколе  
Не стусится темнота.

Вот зажглись среди равнины  
Огоньки — их взор не зорок!  
Будто бы во тьме чего-то  
Ищут ревностно, без слов.

Вот погасли — до едина —  
Керосин, как видно, дорог!  
Знать, домишкам спать охота, —  
Спите, спите, добрых снов!

10

Подъезжая под местечки,  
Видишь кладбище с оградой,  
Двор корчемный чуть подале  
И аптеку заодно.  
Через рвы лежат дощечки,  
Коз найдете, если надо,  
Молотилку пожелали —  
Поезжайте на гумно.

С каждую корчмою здешней  
Дружит вывеска из жести,  
Зелень крыши, и собаки,  
Словно львы, и двор, и сад.  
Зреют раньше в нем черешни,  
Чем в других садах предместий,  
На заборах (помни всякий!)  
Гвозди понабиты в ряд.

Но до них какое дело!  
Ветви, спелый плод склоняя,  
Тычутся в глаза листвою, —  
Лезть да рвать — излишний труд!  
Нагрузил карманы смело  
И подался. . . Мать честная,  
Ведь плодов родится вдвое  
В лето будущее тут.

На ступенях и в сторонке,  
Ложку ткнув за голенище,  
Ожиданием измаян,  
Разный кучится народ.  
Этот мнет письмо в шапчонке,  
Тот со скуки в рюмку свищет, —  
Дверь корчмы когда ж хозяин,  
Смилостивясь, отопрет?

В день субботнего гулянья  
Куст сирени молит жарко:  
«Парни, девушки, с собою  
Прихватите и меня!»  
И, почтя его желанье,  
Гроздь за гроздью рвут гурьбою.  
Тщетно злобствует корчмарка,  
«Жуликов» в окне браня.

А в саду: черешни, дули,  
Слива рядом с крутоскулым  
Яблоком окраски алой, —  
Что захочется, бери!  
На поляне виден улей,  
Схожий с деревушкой малой;  
Пальцем ткни — и грозным гулом  
Рой ответит изнутри.

Вишни, тонкие, как трости,  
Сплошняком стоят обычно;  
Словно индюки, красиво  
Надуваются плоды.  
Явятся в субботу гости —  
И, радушной став на диво,  
Их корчмарка самолично  
Потчует на все лады.

II

День горит от зноя злого.  
Небеса, как губка, сухи.  
Щекоча их, в мутной сини  
Тучка вялая ползет.  
«Боже, как кусают мухи,  
Сладу с ними никакого!  
Сколько развелось их ныне!» —  
Слышны стоны что ни год.

Отобедав, нужно малость  
Подремать, — ведь нет спасенья

От свирепых мух, от жара, —  
О, как в полдень он тяжел!  
Трупом площадь распласталась,  
Рты раскрыты, храп, сопенье...  
И — на страже у товара —  
Дружно вьется пара пчел.

Городишко впал в истому.  
Пусты лавки — нет почина...  
Мимо них снуют часами  
Вихри пыльные одни.  
Крамарь поболтать к другому  
Ходит; на ступеньки чинно  
Сядут — и клюют носами  
В жидкой и сухой тени.

Снится им умалишенный:  
В полушубке нараспашку  
Одиноко по майдану  
Он проходит вдалеке.  
Знойным солнцем обожженный,  
Он, как лист, жует рубашку,  
Он шатается, как спьяну,  
Стиснув камень в кулаке.

От мясной — он к бакалее:  
Нюхает сухие кадки;  
Задержавшись на пороге,  
Из бутылки масло в рот  
Льет, дрожа, как в лихорадке.  
Крамарь — палкою в злодея,  
Угодил он прямо в ноги —  
Прочь спешит, хромая, тот.

Как велит обычай старый,  
Торг в четверг идет горячий,  
В понедельник в лавках бойко  
Что ни есть распродают.  
Так сменяются базары,  
И, друг другу вновь удачи



Пожелав, густой настойкой  
Чокаются там и тут.

Нагружают воз за возом  
Всякой всячиной занятой  
И пускаются из дому.  
Вот уж на пути большом  
Городок один к другому  
Медленным ползет обозом,  
Чтобы, заваль сбыв, обратно  
Воротиться с барышом.

Но в особенном почете  
В том краю благословенном  
Конский рынок — за чертою  
Сельской или городской.  
Маклер с тростью на отлете,  
В лапсердаке неизменном,  
Вея блеклой бородою,  
Там толчется день-деньской.

Набежит на рынок свора  
Забияк — вокруг сначала  
Рыщет, разводя руками,  
А потом, среди людей  
Матерого сцапав вора  
И осыпав тумаками,  
Вопиет, что опознала  
Выкраденных лошадей.

Кони ржут и брызжут пеной,  
Свищет кнут — в галоп короткий  
Их пускают — ветер-кони!  
Вот уж торг заводят там  
Немцы — каждый в балахоне  
И с подстриженной бородкой.  
Вот, сойдясь в цене, степенно  
Ударяют по рукам.

В зубы поглядят пыливо  
Лошадям — и прочь с базара:

Спрыснуть сделку, рассчитаться  
Завернут в шинок тотчас.  
«Зверь — вот этот, с красной гривой!  
Пегому как раз он пара. . .»  
Вот народ — в шинке, в прохладце,  
Глянь, идут и скамьи в пляс.

Обтирая лоб и скулы,  
Содовую пьет без счета,  
Пьет — и жаждою томится  
Продавец. Прищуря взор,  
Фыркает: «Тепла водица!»  
Пьет сосед, весь мокр от пота,  
Прочь отходят балагулы,  
Кончив дельный разговор.

12

В путь тряпичники с мешками  
Выступают на рассвете.  
Тощи, полуголы, босы,  
Палки выставя вперед,  
Осторожными шажками  
Ходят женщины и дети, —  
Ворошат они отбросы,  
Каждый что-нибудь найдет.

И мешкам пихают в зевы  
Всякий хлам рукой проворной,  
И мешки, раздувшись важно,  
Множатся года и дни;  
Без распашки и посева  
Так вот и растя упорно,  
Ближней фабрикой бумажной  
Бредят, грузные, они.

Станет вдруг молва глухая  
Всем тряпичникам известна, —  
Смотришь, скопом сухопарым  
Устремляются сюда:

Пыль клубя, возы с товаром  
Тянутся в степи окрестной, —  
Словно тучи, распухая,  
Их чернеет череда.

В гости из большого мира  
Приезжает днем счастливым  
Коробейник: он с набором  
Колец, брошек без числа.  
Блещет на колечке дивом  
Синий уголек сапфира,  
И любя девичьим взорам  
Брошка — медная пчела.

И обступят понемножку  
Коробейника в местечке  
Девушки из всей округи;  
К пальцам толстым наугад  
Примерять начнут колечки.  
С хламом побегут прислуги:  
Тряпку дашь — получишь брошку,  
Обменяться каждый рад.

13

Доверху полны подвалы.  
Громоздятся на подводах  
Горы овощей и хмеля —  
С урожаем повезло!  
День приходит запоздалый  
И — торопится на отдых;  
Пробежит еще неделя,  
И — развеется тепло.

Ищут в поределых травах  
Место теплое утрами  
Ребятишки на пригорке, —  
Грустно солнце светит им.  
В кучи сметены ветрами  
Листья... Бедняки, собрав их,

Растирают, курят — горький  
И душистый вьется дым.

Освежил рассвет крылечки  
И на крыши сбросил иней.  
Камышом, листвою прелой  
Пахнет в воздухе сыром.  
Нет купальщиков на речке,  
Лишь кассира встретишь ныне:  
Он купаться ходит смело  
До морозов — день за днем.

Впрочем, утверждает каждый,  
Что детина тот могучий  
Тронулся, избави боже...  
Прачки — слух идет в селе —  
Видели его однажды:  
На заре, в мороз трескучий  
Лез он в прорубь без одежды —  
Было это в феврале.

К вечеру, глядишь, по стеклам  
Дождь стучит, косою и колкий;  
Свесясь, как мотки шпагата,  
Тучи низятся к земле.  
И под небосводом блеклым  
Ловят, ловят их проселки  
И проезжих тороват  
Оделяют в мокрой мгле.

Дождь три дня над деревенькой —  
В ней сухой не сыщешь кочки.  
В узких улочках вдоль прясел  
Бурный катится поток.  
Выставляет кадки, бочки,  
Чтоб намокли хорошенько,  
Всякий, кто еще не квасил,  
Не солил на зимний срок.

В липкой жижице на мили  
Потонул простор и хмуρο

Возвещает: за ворота  
Носу показать не смей!  
Так вот лето проводили,  
В осень въехав, как в болото,  
Этот — неизменной фурой,  
Тот — подводюю своей.

14

Осень — с грязью непроезжей!  
За морозцем — слякоть снова.  
Но — бессильные потуги:  
Одолеть зима должна!  
Вот приходит первоснежье,  
Кроя голизну округи,  
Словно платом из льняного,  
Стираного полотна.

Санний путь пролег в просторе —  
Так теперь езда другая;  
Лошадей лишь тронь — и сани  
Заскользят, средь белизны.  
Бодрствуют пути в тумане,  
Будто снег оберегая;  
Сани мчатся в снежном море,  
Как под парусом челны.

Что с того, что стужей небо,  
Долгой и крутой, богато.  
За певучим самоваром  
Нет ни скуки, ни тоски:  
Учатся считать ребята,  
И выигрывают с жаром  
Козок, слепленных из хлеба,  
Друг у друга старики.

15

Есть в краях свои повсюду  
Поджигатели и воры.  
Гицель, кем-то подстрекаем,  
Наезжает что ни год.  
Вот уж бабьи разговоры:

Мол, опять шалят под гаем:  
Что ни год честному люду  
Досаждают пришлый сброд.

Гицель с будкой обветшалою  
Заявляется, кочуя.  
Средь базара, спину сгорбя,  
Остановится одёр.  
Наутек куда попало  
Мчатся псы, беду почуя;  
Будто в человечьей скорби,  
Молят: спрячь, пусти во двор!

Торжествуют мальчуганы, —  
До ученья ли ватаге?  
Пламенем горят глазенки,  
Молотками бьют сердца.  
Мастерит ловец арканы,  
Детвора наперегонки  
Псам вослед летит в отваге,  
И веселью нет конца!

Судный день для псов бездомных, —  
Не уйти им от расчета:  
«Этот смерть обрящет в муке,  
Выживет на время тот».  
Настигает жертв охота  
Даже в уголках укромных.  
Лишь аптекарь «на поруки»  
Своего щенка берет.

Любопытствуя, в окошки  
Утром ранним кинут взгляды:  
Никого не приневолишь —  
Гицеля простыл и след!  
Что ж? Пускай журуются кошки!  
Вот так парень — хвастовство лишь!  
Псы же сами, думать надо,  
Сдохнут через пару лет.

Лишь вдали, где тын понурый,  
Шесть худых собак недобро

Оскаляются в канаве,  
Обретя судьбу свою.  
Лапы вместе, сняты шкуры;  
Спят они, нагие ребра  
Солнцу знойному подставя, —  
Спят и снятся воронью.

16

Лекаря имеет всякий  
Городок, и адвоката,  
И доносчика. . . Чуть ветер  
Вздует пламя где-то вдруг,  
Побежит со звяком ведер  
Рой соседей, кинув хаты,  
И стекутся вмиг зеваки,  
И сомкнут гудящий круг.

Погибают до единой  
Лавки. . . И от дома к дому  
Ходит, за грехи наказан,  
Погорелец в злой тоске.  
На ухо один другому  
Шепчет — дескать, видел раз он,  
Как поблизости детина  
Рыскал с банкою в руке.

«Лишь к зиме набили клетки,  
Как послал господь невзгоду —  
Будь всеведущ, как пророки,  
Отвратить беду сумей!»  
Этот — как опущен в воду,  
Стиснут рот, в морщинах щеки,  
Вон из кожи лезут дети,  
Утешая матерей.

Полон город женским воем,  
Грудь царапает иная,  
Черная пришла суббота —  
Не смолкают плач и стон.

«Цыц! Мы лавки вновь построим!» —  
Причитанья прерывая,  
Вдруг выкрикивает кто-то,  
Выкрикнул — и сам смущен.

Вот неделя, вот другая,  
И Бердичев, франт чванливый,  
Заявляется с кредитом:  
«Слово честное — залог!»  
Он, товар хваля, твердит им:  
«Нужно брать, не рассуждая,  
Соглашайтесь — и счастливой  
Ярмарки пусть даст вам бог!»

Только минул день субботний,  
Смотришь, ввозят доски, бревна;  
Начинают строить рьяно;  
Спор заводят меж собой,  
Лая друг на друга, словно  
Шавки из-за подворотни:  
Место посреди майдана  
Хочет захватить любой.

У проселка посвободней.  
По примеру городскому,  
Скоро весь завален тесом  
Он, как грудой мертвых тел.  
«Дал бы место хоть колесам, —  
Говорит сосед другому. —  
Дом возводишь, а сегодня  
Погреб строить захотел!»

Ссорятся, приходят к миру:  
Вновь продажа, купля снова;  
Крышу хочется повыше, —  
Ставь на долгие года!  
Выстроены по ранжиру,  
Свежей краской блещут крыши:  
Глянь, к пожару вновь готова  
Стройных лавок череда.



Не пришла однажды с луга  
 Лошадь с доброю уздечкой;  
 Как-то две коровы к сроку  
 Не вернулись в хлев. И вот  
 Высыпало всё местечко,  
 Взволновалась вся округа, —  
 Поутру идут к «пророку»:  
 Он лишь, дескать, их найдет.

Годы средь поселков местных  
 Он кружил, как бесноватый, —  
 То ль возница, то ль в погоне  
 За наживою делец.  
 С юности он завсегда  
 Пестрых ярмарок окрестных;  
 Все ему знакомы кони  
 В крае из конца в конец.

Он в хибарке одноногой  
 Проживает на погосте. . .  
 Дни проводит за Гемарой  
 И дела вершит старик.  
 Худ он — кожа лишь да кости,  
 Заикается немного,  
 Но любую — жулик старый —  
 Разрешит загадку вмиг.

Люд он встретит на пороге  
 С видом грустным, но достойным:  
 «Что-нибудь стряслось, сыночки?  
 Подозренье на меня?  
 Все обследую дороги!»  
 Можно быть вполне спокойным:  
 Слова его до точки  
 Сбудутся — того же дня.

Но когда малы утраты —  
 Самовар, часы стенные, —  
 То к нему ходить бесплодно,  
 Крест на них поставь тотчас.

«Что тебе еще угодно?» —  
Спросит он, к стене прижатый.  
«Ты замашки брось дурные», —  
Скажет он, прищуря глаз.

Если ж не велит он, нужно  
Слушаться его. . . Из дома  
Исчезая беспричинно,  
Он к вечерне — тут как тут.  
«Дока этот старичина  
В лошадях», — толкуют дружно.  
«Как букварь, ему знакомо  
Это дело», — бает люд.

Пасха — в белом он наряде;  
Молится усердно богу;  
Бодрствуя, всю ночь Агаду  
Он читает. . . Верой сыт,  
Лишь мацу неделю сряду  
Он вкушает понемногу. . .  
Льнут к его окошку, глядя,  
Как молитву он творит.

18

Вот средь улицы, на тачке,  
Ящик: две на нем бутылки  
Ярко-красного сиропа;  
День-деньской сидит вдова  
На припеке, в вихрях пыли.  
Улица — в полдневной спячке,  
Нет ни голоса, ни топа,  
И хмелеет голова.

Напоказ — в коробке чайной  
Жареный миндаль, ириски. . .  
Там всегда найдешь их, глянув, —  
Цвель на них давно легла.  
Грязная водица в миске  
Для промывия стаканов,  
Кружится клиент случайный —  
Захудалая пчела.

Разложив, как на базаре,  
Скудный свой товар, почина  
Ждет старуха, ковыряя  
Пальцами в ушах... Полна  
Круглая ее корзина  
Всяких семечек до края;  
Продает, сама поджаря,  
Их стаканами она.

Но с водонапорной будки,  
Сверху куполообразной,  
Издали доходит спорый,  
Бодрый, неумный гуд.  
Днями и ночами (шутки!)  
Не стоит ни мига праздно.  
Слышно, золотые горы  
Там без устали гребут!

Кто же в силах с ней сравниться...  
«И в субботу — вот проклятье! —  
Отпускает людям воду», —  
Слышен вдовый шепот злой.  
«Чтоб добра вовек не знать ей,  
Боже, чтоб ей развалиться!  
Но — несчастьям нет к ней ходу,  
Хоть о стенку головой!»

19

Дни за днями, словно миги,  
Пролетают бесполезно.  
От поездки ошалелый,  
Вновь еврей в своем дому.  
Вот приходит «китель белый»,  
Предлагает он любезно  
Расписаться в толстой книге  
И дает листок ему.

Он в карман листка не прячет,  
Он — к соседу: «Вам понятно?»  
Трепеща, супруга вскоре  
В дом во всю вбегает прыть,

На щеках алеют пятна...  
То — повестка! Должен, значит,  
Быть свидетелем он. Горе!  
Что он станет говорить?

Но — зовут — идет на зов он,  
Ведь шутить нельзя с властями!  
Руки за спину, рысцою  
В суд спешит он, страх тая.  
Возвращается, взволнован  
Садом, разными цветами  
И ограды высотой —  
Здорово живет судья!

«Я б, признаться откровенно,  
Продал этот двор обширный,  
Поживился б золотыми, —  
Только бы господь помог.  
Любо торг вести с такими —  
Глядь, урвешь кусочек жирный, —  
Здесь же скачешь ежедневно,  
А в итоге — лишь плевок!»

20

Ждет весна, когда сменить ей  
Зиму, полную упорства.  
Медленно отходит лето  
У проулков на руках.  
Осень, в желтое одета,  
Лист дерет рукою черствой,  
Но светло ее прибытье,  
Рады гостье в городках.

Время так проходит тихо,  
Как для пчел в степной долине.  
Встав с зарей, ушел из дому —  
И пропал среди пустырей.  
Кровь согрелась — разве лиха  
Не хватает молодому!  
Что? Со скарбом воз? — С Волыни  
Собирается еврей.

И, во все концы открыты,  
Ежатся во мгле проселки,  
Лежа с тропами в обнимку  
Под сырым ее холстом. . .  
И стучат, стучат копыта,  
И леса склоняют челки,  
Глядя, как бежит сквозь дымку  
В мир бескрайний путь с путем.

*1918*

*Екатеринослав*

## 214. ЧАТЫРДАГ

### 1

Дороги всех широт меня к тебе вели,  
И вижу я — твой плащ весь в облачных заплатах.  
Отшельник каменный в щетине чащ косматых,  
Каких ты ждешь вестей из дальних стран земли?

Тебя благословил, как сына, свод небесный,  
Ты бурями крещен и солнечной тоской.  
Зачем бугристый лоб ты устремляешь в бездны?  
Считаешь ли светил неисчислимый рой?

Скажи, что ты узрел в огромной звездной дали?  
Скажи мне, что прочел на голубой скрижали?  
Ты солнцем опьянен, о звездочет и маг!

Спешу к тебе, забыв порывы и желанья,  
Твой лик мечтателен, твой торс как изваянье,  
Твоею тишиной улыюсь я, Чатырдаг!..

### 2

Дана Алушта в дар тебе, о властелин!  
У ног твоих страна, расцвеченная ярко,  
Вся в виноградниках и в зелени долин.  
Откажешься ли ты от этого подарка?

Макушкой бритою вдали блеснит мечеть,  
Гвоздями домиков утыканы отроги,  
В мечети той мулла, скрестив кривые ноги,  
Визгливо силится свои молитвы петь.

Иду к тебе сквозь мир зеленый, беспокойный,  
Где овцы на лугах, где кипарисы стройны.  
Ты спишь? Не слышишь ты мой осторожный шаг?..

Теснятся хижины пред гордым великаном,  
Крадется черный лес взлохмаченным цыганом.  
Твоей тревогою дышу я, Чатырдаг!..

3

Куда в рассветный час свой отблеск море денет?  
Кому подарит луч, раздробленный волной?  
К тебе, о Чатырдаг, как лань, бежит прибой  
И пеной золотой далекий берег пенит.

Кому в закатный час ты ослепляешь взор,  
Олень, украшенный сверкающей короной?  
Ты блещешь предо мной, встав из морского лона,  
Соленой грудью волн тебя вскормил простор.

По-братски делишь ты с лазурными волнами  
Всё золото лучей, всё солнечное пламя  
И огненных овец на склонах, на волнах.

Рассветные лучи резвятся, как ягнята.  
Шар солнца над водой встает, а в час заката  
Заходит за твоей спиной, о Чатырдаг!..

4

На россыпи камней, шлифованных волной,  
Купаются в лучах коричневые спины,  
Как будто с крутизны комочки влажной глины  
На берегу морском рассыпаны тобой.

Колени, голени мелькают в пене белой,  
Песок и серый ил на шеях, на боках,  
Как будто к твоему подножью, Чатырдаг,  
Погибших выбросил прибой осатанелый.

Стальной кольчугою вздымается волна,  
Стеклянным колесом прокатится она  
И станет ливнем брызг и белоснежной пеной.

Я в центре хаоса, в бушующих волнах,  
Как будто в этот бой меня — мечту вселенной —  
Ты бросил с высоты, безмолвный Чатырдаг...

5

Шеренги черных волн ползут, как цепи рот,  
Ползут, прикрытые броней мрака черной.  
«В атаку!» — ветер взвыл охрипшей медью горна,  
И грозные войска бросаются вперед...

Полки седых вояк, густых бород отряды,  
Рты искорежены, блестит зубов оскал.  
Вздымаясь, катятся хрустальных гор громады  
И рушатся, дробясь о грудь прибрежных скал.

А ты, как ночи дух, чернеешь в царстве мрака,  
Твой рот окаменел, ты нем, ты глух, однако  
Улавливаешь вдруг далекий гул атак,

От века ни пред кем ты не сгибал колени,  
Не видишь сверху ты гремящих волн паденье,  
Но издали врага ты чуешь, Чатырдаг!

6

Стихия в клочья рвет свой голубой наряд,  
Лохмотья сбросила и прыгает с разбега,  
Роняет пену с губ, совсем как хлопья снега,  
И гонит к берегу стада седых ягнят...



Ты видишь, Чатырдаг, китов безумных стаи,  
И львы крылатые режут у ног твоих.  
Здесь море, боевой короною блистая,  
Возводит крепости и разрушает их...

Его дыхание, как сто ветров, могуче,  
Разверзло пропасти, нагромоздило кручи,  
Швыряет на берег большие валуны;

Бездомных каравелл вдали белеют снасти,  
Восставшие валы их снова рвут на части,  
Не ищет пристани мятежный дух волны...

7

Растратило свой пыл разгневанное море,  
Уснуло, откипев; седой простор затих,  
Он держит тишину в объятьях голубых,  
И нежность светится в его лазурном взоре...

И чайки, словно пух, парят над синевой,  
У каждой в клюве нить сверкает золотая,  
Тугой клубок лучей распутывает стая,  
Он издали похож на остров огневой...

Большой баталии раскаты отзвучали,  
Безмолвьем скованы темнеющие дали,  
Лишь изредка волны вздымается кулак;

Заката зыбкий мост морская гладь качает,  
Но мира эта хлябь ни с кем не заключает,  
И гулу вечных битв ты вторишь, Чатырдаг...

8

О море Черное, в безмолвии ночном  
Лежишь, приковано к земле цепями штиля;  
Утесы над тобой испуганно застыли,  
Дороги сходятся, даль осенив крестом...

Лучи седой луны в твоём трепещут взоре,  
Как пальцы призрака, ползут из темноты;  
Объятья черные раскрыло миру ты,  
Никто не вырвется из рук твоих, о море...

Шеренги скал немых глядят в глаза судьбы,  
Их лысины блестят, в чернильных пятнах лбы.  
Которую из них пожрет пучина прежде?..

И мнятся вопли скал... Здесь места нет надежде.  
Дельфины быстрые стремятся ввысь взлететь,  
А скалы замерли, страшатся мрак задеть...

9

Стоишь ты, Чатырдаг, высок и горделив,  
Как складки мантии, твои спадают склоны,  
И взгорья свитою коленопреклоненной  
Покорно держат шлейф, у ног твоих застыв...

Лежат перед тобой косматые долины,  
Ползут к твоим ногам дороги, как ужи,  
Навытяжку стоит вдали Екатерина,  
Хоть птичье молоко подаст — лишь прикажи...

Бросают волны соль тебе в глаза, но, скован,  
Стоишь недвижно ты... Неужто заколдован?  
Или с рожденья слеп и видишь только мрак?..

Слепец, тебе в глаза смеется даль морская,  
Твои рабы молчат, глядят в простор, не зная,  
Что ты утратил здесь, что ищешь, Чатырдаг.

10

К тебе, о Чатырдаг, крадутся облака,  
Их черным бархатом твое чело увито,  
Ползут к твоей груди, касаются гранита,  
Твоим страданием обмыты их бока...

Мелькают облака, как птиц полночных крылья,  
Как соглядатаи, они ползут с высот;  
Их перья черные твой голый торс покрыли, —  
Уходит туча прочь, а новая ползет.

И ты растешь, растешь, одетый в покрывало,  
Уже стираются все грани, все начала,  
Ты, словно перьями утыканный, распух.

Ты в оперенье скал сидишь, как филин старый,  
О каменный чабан, мертвы твои отары, —  
К тебе ползет из бездн могильный тяжкий дух. . .

11

Ключи поют хвалу тебе, о Чатырдаг,  
На виноградниках они журчат, в садах,  
Руками влажными твое лаская тело:

«Пришли мы напоить твой мир, твои сады,  
Где гибкая лоза от жажды помертвела;  
Нас каждый персик ждет, к нам тянутся несмело  
Все стебельки твои, все грядки, все плоды. . .

Босые девушки, как лани молодые,  
Омоют в сумерки свои тела нагие,  
Руками смуглыми любимых обовьют».

В ночных садах — покой, дневной закончен труд.  
Ты спишь, и родники не нарушают дрему,  
Прибою внемлешь ты, далекому, глухому. . .

12

И к виноградникам крадутся родники —  
Тобой плененные серебряные девы,  
Касаясь лунных струн, поют свои напевы,  
Целуя тонкие побеги и ростки. . .

И струи, прыгая, играют на кимвалах,  
Стремится каждая к растению своему,  
Рассказывая быль о тех подземных залах,  
В твоём, о Чатырдаг, таинственном доме.

В твоей груди сокрыт пьянящий чудо-камень,  
И он недостижим, он под семью замками.  
Но пленницы твои крадутся наугад,

И, усыпив тебя своим певучим звоном,  
Живящей влагою бегут к долинам сонным,  
Где бледны персики, где зелен виноград. . .

18

Тебе, о Чатырдаг, высь соткала повязку,  
Священную чалму из девственных снегов,  
И седина твоих заснеженных висков  
Рассказывает нам времен далеких сказку. . .

Дробится яркий луч на белизне твоей,  
Здесь ветры сходятся над каменистым склоном,  
Им этот мир знаком с его начальных дней,  
И торс твой закален дыханьем их студеным. . .

Безмолвный Чатырдаг, над головой твоей  
Те ветры празднуют вселенной юбилей  
И чашу всех тревог за вечность поднимают,

Беседуют о том, как первый луч возник,  
О том, как родился из моря материк,  
И каждый из ветров о чем-то вспоминает. . .

14

И вот свои войска остановило море,  
Отряды грозных волн сковало немотой,  
Смолою черною им залил рты покой, —  
И слышно в тишине: о прошлом ветры спорят. . .

Нам ветры говорят, как пахнет плоть долин,  
Как пламя, затвердев, грядою горной стало.  
Здесь каждая скала торчит куском металла —  
Ползучей зеленью обвитый исполин. . .

А море, как всегда, лежит котлом бездонным,  
И, как всегда, кипит под солнцем раскаленным,  
И, обнажив клыки, на штурм земли идет;

Ни с кем не знается оно, глядит угрюмо,  
Не хочет никому свои доверить думы,  
Лишь пенистым волнам — хребтам бегущих вод. . .

15

На лбу твоём видны соленых брызг следы,  
Они — как оспины на коже виноградной:  
Седой простор морской — твой недруг беспощадный  
Грозит, о Чатырдаг, убить твои сады.

На вотчину твою, прозрачный шлейф раскинув,  
Жестокий свой налет свершает сарапча,  
Тебя сжигает жар полдневного луча,  
И вгрызлись ящери под ногти исполину. . .

Размотанный тюрбан на голове твоей,  
И виноградники на рубище полей  
Пришиты стежками, как свежие заплаты;

Побеги гибкие испепеляет враг,  
Твои рабы молчат, как будто виноваты,  
Как будто им грозит твой суд, о Чатырдаг! . .

16

**ИЗ АЛУШТЫ В ГУРЗУФ**

1

Как вехи на пути — массивы цепи горной,  
Толпится стадо гор кудрявой барантой,  
Спускаясь к берегу, бредет на водопой,  
А в воду не идет — страшится глуби черной.

Но как сюда попал гранитный носорог? —  
Он пьет, припав к воде, и ноздри раздувает,  
Посеребрен луной его округлый бок,  
Одетый мглой Гурзуф с его хребта свисает.

Тропинки вдаль ведут, шагает пешеход,  
И юный кипарис, недвижимый, полусонный,  
Целует облако в голубизне бездонной;

Фасады белые бегут за поворот, —  
Их кто-то разбросал на всем пути далеком,  
Чтоб снова не попасть в Алушту ненароком. . .

2

Но позади Гурзуф — уже в семи верстах,  
Навстречу нам — хребты, зеленой чащи полог  
И цифры черные на верстовых столбах,  
Шесть верст проехать нам — и Ялта: путь  
недолг. . .

Еще две-три версты — и кончился подъем,  
Теперь, дружок, держись — покатимся с откоса;  
Повозка дребезжит, внизу гремят колеса,  
И оглушает нас порожних ведер гром. . .

И снова поворот. Шарахаются кони.  
Навстречу вынырнул шальной автомобиль,  
Он мимо пролетел, подняв завесой пыль,

И прячем лица мы за пыльный тент, в ладони,  
Дорожной пыли шлейф взметнулся и повис.  
И вновь берем подъем, и вновь съезжаем вниз.

17

СИМЕНЗ

Тиха морская даль, одета грустью сизой,  
У ног утесов спит стальная гладь воды;  
Ей снятся груды лун и скал седых ряды,  
Прикрывшие собой молчанье Симеиза. . .

Как замки, над водой утесов строй навис,  
Русалки здесь живут, а там — жильё дракона;  
И ночью чудится, как из морского лона  
Тайком на бережок выходит Симеиз. . .

Устало море, спит, а полночь голубая  
Над ним склоняется, как нянька, обнимая,  
И чутко слушает немую глубину. . .

Но, сбросив лунный сон, ворчун очнулся старый  
И просит, засверкав, чтоб ночи темной чары  
Вернули Симеиз в подводную страну. . .

18

#### КУРВАН-БАЙРАМ

На берег сумрачный, ворча, волна плеснула —  
Вот так бросается к телеге волкодав.  
Сняв бубенцы с коней и четки в руки взяв,  
Татары шепчутся: «Письмо из Истамбула! . .»

Ждет отдых лошадей, спят тропы по горам,  
Забравшись в огород, стоит овца уныло, —  
Она бы все кусты, все травы расспросила:  
Не завтра ли в селе справляется байрам? . .

Ползет в долины ночь, и синий сумрак плотен,  
Он кутает сады, вершины гор и крыши;  
Тоскливый плач муллы взлетел над тишиной. . .

А волны всё ворчат, как псы из подворотен,  
Прижались домики к подножьям гор, как мыши,  
И чутко слушают, что шепчет мрак ночной. . .

19

Мне солнце до крови подошвы обожгло,  
И захлестнул меня густых колосьев пламень.  
Дневной истомою глаза заволокло,  
И тело всё блестит, как под волною камень.

Чешуйки на щеках. Целуется со мной  
Песок. Я весь горю. Я говорю с камнями.  
О плечи молнией дробится луч дневной,  
Он шею мне оплел злачеными ремнями.

В ресницах блещет луч. Я пеною омыт.  
Мне снится: надо мной вселенная простерла  
Орлицы гнутый клюв — Ай-Петри гордый щит.

Нет, я от солнца пьян, я солнцем сыт по горло,  
О плечи молнией дробится луч дневной.  
Болтаю сам с собой. . .

20

С трудом я сбросил ночь. . . И день во весь размах  
Раскрылся предо мной от скал до окоема, —  
За мною по пятам он шел, в его зубах  
Желтела длинная, хрустящая солома.

Он всё с меня сорвал, и я остался гол,  
Он в плоть мою вонзил соломы острой пламя,  
За мною по камням по раскаленным шел  
И окружал меня, касаясь губ губами.

Он обхватил меня железною рукой,  
Опутал ноги мне, перехватив дыханье.  
Мой лоб отяжелел, и пот со лба — рекой. . .

Под скалами вода, и сини полыханье —  
Внизу и предо мной, и весь я в голубом.  
Я сбросил ночь с трудом. . .

21

О берег тычется слепой верблюду — бурун,  
Он хочет здесь прилечь, он здесь задремлет вскоре.  
Ты к тайной вёчере уже готово, море,  
И голубых гостей ты ждешь с наземных лун.



Как у тебя светло, в субботнем блеске, в пене!  
С короной звезд к тебе склонился небосклон.  
Но лодки мечутся, как жаб двуногих тени,  
И серых далей холст весь кровью окроплен.

Благослови хребты. Их головы припали  
К чернеющей воде, покой прибрежный пьют.  
И трет свой мшистый бок о берега верблюдов.

Безмолвье прервано. Вновь посветлели дали.  
Ты что-то говоришь гостям с наземных лун.  
О берег тычется слепой верблюд — бурун.

22

Кто путь вам преградил, о горы, кто в скитанье  
На вас навьючил груз просторов и тоски?  
Вам давит небосвод на плечи и виски,  
Мечты гранитные, скалистые страданья!..

Увязли вы, как рать, попавшая в пески,  
Как опухоли вы — на теле мирозданья.  
Что слаще для людей, что выше, чем желанье  
Проникнуть в недра гор — пусть кручи высоки!

Но в час, когда плывут созвездья над землей,  
Уже не слышите вы наш призыв немой, —  
В просторах он летит, но к вам дойдет едва ли...

Вы — каменная боль, гранитные мечты.  
Не скажут никому теснин глубоких рты  
О том, кто преградил вам путь к бескрайней дали.

23

Ты сотней челюстей грызешь материки,  
Грохочут сотни гроз на голубой равнине,  
В бесчисленных когтях ты держишь гор твердыни,  
Обглоданы тобой утесов костяки... .

В завесу вечных тайн вонзаешь ты клыки,  
Ты тянешь сотни лап к заоблачной пустыне,  
Чтоб жажду утолить, упиться далью синей,  
Чтоб сердце охладить, чьи муки нележки.

О море, в бездне ты рычишь осатанело,  
Ты хочешь выпрыгнуть, но непослушно тело, —  
Кто в глубину тебя толкнул с прибрежных круч?

Тебе бросает высь кровавый шар светила,  
Чтоб снова небесам ты солнце возвратило,  
Но к сердцу твоему, как трос, привязан луч...

24

Всё отдано тебе! Всё — в этих берегах!  
Но дух твой закален, все блага отвергает.  
Волна, как носорог, на отмель выбегает,  
И ветры прочь летят, их гонит в горы страх.

Все земли — клавиши, а ты — нутро органа,  
Как щебень, брошен в мир протяжный твой хорал;  
Простор твой, как меха, он дышит беспрестанно,  
То исторгает звук, то снова звук вобрал...

Твоя душа — из брызг, из пены — покрывало,  
Твое дыханье — снег, а тело — мрак провала!  
Повсюду гибель ждет! Повсюду — глубина!

Скажи, какая страсть тебя волнует, море?  
Скажи, какая боль в тебе, какое горе?  
Скажи, какой тоской твоя душа полна?..

25

Извивы молнии, как пляска маяков,  
Поверхность черных вод огнем изрешетило,  
Как будто брызнуло осколками светило,  
Клинками пламени просторы распоров...

И волны вздыбились, бои и беды множа,  
Синеют пасти мук в соленом вихре брызг.  
Несите, ветры, весть о том, что божье ложе  
Топтали ноги толп и разодрали вдрызг! . .

Присели берега, дрожат утесы в страхе,  
И крестят молнии далеких гор папах,  
А волны скалятся, и зубы их блестя.

Ты, море, — шумный пир, как саранча — перуны!  
Багровой брагою запенились буруны,  
Пьют брагу молнии, как пьют безумцы яд. . .

26

У черных пристаней на белой пене вод  
Баркасы прыгают, как на снегу вороны;  
В венке морской травы под рокот похоронный  
Плывет на спинах волн погибший мореход.

Жилье — как нетопырь. Его хранят иконы,  
Но в окнах ураган о гибели поет;  
Лучина грустный свет на стол дощатый льет,  
Рыбачку юную пугает мрак оконный.

На пляже свалены топчанов костяки,  
Весы — как черепа, дырявы их виски,  
Ложатся на весы свист ветра, гул прибоя. . .

Волна в седом венке — как ложе гробовое.  
Гадалка старая рыбачке ворожит,  
И карта каждая, как молния, разит. . .

27

Уснуло сердце вод. Во мгле твои седины,  
Волна ползет, скуля, как виноватый пес,  
И лижет галечный береговой откос.  
О море, скорбь твоя темней твоей пучины.

Ты днем громило дно, песок прибрежных кос,  
Ты било в берега, как в лопасти турбины;  
И прыгали валы, вздымались, выгнув спины,  
Похожие на рой крутящихся колес.

Как бешеный верблюд в погоне за подругой,  
Волна гнала волну — и лезли друг на друга,  
Вздымала их горбы нахлынувшая страсть.

А ныне ты лежишь, как содранная шкура,  
Ты дремлешь в сумерках, пустынно и понуро,  
И суша кулаком твою заткнула пасть...

28

Сядятя ужинать. Уходят на покой  
И морю говорят: «Спокойной ночи, море!»  
Но море морщит лоб — раздумье в синем взоре,  
И лодки на песок выносятся волной...

Ладони чешуей покрыты, ноги — тиной.  
Спят лодки килем вверх, как стадо черепах.  
Закатный дождь лучей повис, как паутина,  
И отсвет розовый на пенистых гребнях.

А море всё дрожит раскинутой паневой;  
В нем — неба синева, и солнца круг багровый  
Приложен пластырем к больному сердцу вод.

Закончив ужинать, артель рыбацья встала.  
Усталость сброшена — ее как не бывало, —  
Стекла с тяжелых плеч, как брызги волн, как пот...

29

Уже ночной улов увозят на возах,  
В корзинах слитки рыб — им не уйти из плена;  
Хватают воздух рты, в глазах застывший страх,  
А в жабрах трепетных сопит морская пена...

Устали рыбаки, бредут безмолвно вслед,  
Иной перевернет в корзине рыбе тело;  
Опасность позади, тревога улетела,  
На лица рыбаков зеленый лег рассвет.

Как на похоронах, плетется конь уныло,  
На морде — чешуя, и ноздри залепила,  
Чихает бедный конь, дробинки слез текут.

Рыбачьи невода колышутся на кровле,  
Просохнув на ветру, висят до новой ловли.  
Кричит возница: «Н-но!» — и лихо свищет кнут...

89

Огромной рыбою на берег выполз бот,  
Облеплен чешуей, он под лучами блещет,  
Над ним задумчиво широкий парус плещет,  
Как струйки рыбьих слез, вода с бортов течет...

А лодка на спине лежит у свай причала,  
Похожая на сельдь со вскрытым животом,  
Уловом, как икрой, набит он до отвала;  
Попали рыбы в сеть, не ведая о том...

А люди паруса, как фартуки, свернули,  
На влажной гальке сеть пустую растянули  
И стягивают с ног сырые сапоги,

Глядят в немой простор, как будто ищут что-то,  
И, мокрым рукавом стирая капли пота,  
Соленый черный хлеб ломают рыбаки...

81

Шерстистый горб горы густой травой порос,  
Телята прыгают, резвясь на косогоре;  
Следя за их игрой, лежит в немом дозоре  
Четвероногий страж — большой косматый пес...

Он лапы вытянул, блаженно зубы скалит:  
— Резвитесь, милые! В запасе день у вас. —  
Как зелен этот мир, он весь лучами залит,  
И радостно звучит овчарки хрипый бас. . .

Привольно здесь телкám, их не кусают мухи,  
Щекочет солнце пса, совсем как стебель в ухе,  
И пес пытается зубами луч поймать;

Он высунул язык, залаял через силу,  
Стреноженную прочь он отогнал кобылу  
И, глядя на телят, улегся в тень опять.

82

Висящее белье читает ветерок,  
Как строчки белые на голубой скрижали;  
И светлых бликов ряд, сверкая, как медали,  
На грудь сырой земли воскресным утром лег.

Белы, как простыни, у моря хаты встали,  
Как будто выстиран и сохнет хуторок:  
Он скован, как баркас, канатами дорог,  
Щетинясь веслами, он жадно смотрит в дали. . .

На вышке белый флаг, привязанный к шесту,  
Похож на аиста и рвется в высоту;

А ветер дочитал все строчки на скрижали,  
Он травы и листву целует на лету  
И норовит сорвать блестящие медали. . .

83

У вьющейся тропы, как две сутулых ивы,  
Босой старик рыбак с подругою седой,  
Они свой хлеб жуют под чахлою листвою,  
Их ноги высохли и, словно корни, кривы. . .

У старца голова — в известке седины,  
А белой бородой играет ветер ярый;  
Как сморщенный мешок, лицо рыбачки старой,  
А руки, как земля, корявы и черны. . .

В ушах у старика еще волна грохочет,  
Он всё еще плывет с уловом к берегам,  
А бабке чудится еще базарный гам,  
Ее рука дрожит — за что-то взяться хочет. . .

31

По склону горному спускаюсь к темным долам —  
Покинув день, иду к полночной тишине,  
Внимают ветви чащ моим шагам тяжелым,  
И серебро луны в дороге светит мне.

Шаги считая, путь уводит в ночь сырую,  
Костяшками камней, как счетами, стучит;  
Тебе, о тишина, немой напев дарую,  
Который, может быть, вовек не прозвучит.

Еще я вижу склон и лозы в гроздьях спелых,  
На виноградниках крестьянок загорелых, —  
Как дети к матери, к ним тянется лоза.

Садовник думает о ветках оголенных,  
А я гляжу в твои зовущие глаза, —  
Не слышишь ли и ты моих шагов бессонных? . .

35

Прохожий, по ночам тебя мой ждет порог,  
Кто б ни был ты, приют найдешь под этой крышей.  
Деревья здесь шуршат, как полевые мыши,  
Мне гладит волосы прохладный ветерок. . .

Я буду ждать. Приди. Под этой кровлей старой  
Я тайну тишины тебе открыть могу;  
Здесь ветер гонится за пенистой отарой,  
Чего же я ищу на этом берегу? . .

С Ай-Петри я принес кувшин подземной влаги,  
Душистых, терпких трав нарвал на Чатырдаге,  
Полуночным костром мой пламенеет рот;

Открыта дверь моя, зайди в мой дом, прохожий,  
Я для тебя покрыл овчиной мягкой ложе,  
Порог мой ждет тебя, случайный пешеход!..

*1919*



## 215. ШАЛОСТЬ

ВЕСНА

1

Все засовы прочь отбросьте,  
Хлыньте к сонному окну:  
Ждите ласковую гостью,  
Синеглазую весну!

Нынче ветви ввысь взметнулись,  
И кипит у самых глаз  
Торжество садов и улиц,  
Пьяных вихрей перепляс!

Ветвь исходит вешним соком,  
Днепр грохочет у дверей,  
Солнце на небе высоком:  
Эй, на улицу скорей!

2

Утираясь рушниками,  
Стужу зимнюю губя,  
Вы, Земля и Небо, — сами  
Не узнаете себя!

Ветви громко затрещали,  
Воздух влагой освежен,  
Лес не ведает печали,  
Голубеет небосклон!

Плачьте вы, гнилые крыши,  
Руки к небу я простер:  
Всех шатров на свете выше  
Неба синего шатер!

8

Листьев нет еще покуда,  
Ветви голые черны,  
Но уже свершилось чудо  
Птичьих щелбатов весны!

Лес угрюмый и лохматый  
Зябнет — стаяли снега;  
В мокрой пуще бородатой  
Вьется птичья мелюзга.

Птица вьется в синей глуби,  
Вся одета синевой:  
С веточкой, с былинкой в клюве,  
С прошлогоднею травой!

Только ласточке не сладко:  
Весть летит во все концы,  
Что в ее лепную хатку  
Вторглись новые жильцы.

4

Ветер сдул отрепья стужи,  
Колет льдистое стекло;  
Шапку натяни потуже,  
Чтобы вихрем не снесло!

Он по зимним бьет заплатам,  
Вешней яростью томим;  
Шапку сбросил — да куда там,  
Не угонишься за ним!

Вновь канавки в дымке синей,  
 Снова в мареве поля,  
 Снова черные трясины,  
 Снова черная земля.

Снова черные трясины,  
 Вновь щербатый лик полей,  
 Снова влажные равнины  
 Угля черного черней.

Над землею — испаренья,  
 Пар над новой тропой:  
 Вешних туч столпотворенье,  
 Спор ветров наперебой!

Тихий крест на перепутье,  
 Рядом — ясень смотрит в синь;  
 Ты к стволу приинки грудью,  
 Отчий дом навек покинь!

Мы с тобой постигнуть сможем  
 Разговор ветвей ночных.  
 Кажут путь они проходим  
 И ушедшим от родных.

Здесь расходятся дороги,  
 Здесь воспрянут зеленыя;  
 Уведи от их тревоги  
 Повзрослевшего меня!

Каждый день к кресту хожу я,  
 Расскажу ему, любя,  
 Про тебя, еще чужую,  
 Про желанную, тебя!

Жду тебя за перепутьем,  
 Где закатные огни;  
 Алый вбрось передник в сугтедь,  
 Руки другу протяни!

Небо меркнет понемногу;  
Распусти своих коров.  
Коль страшит тебя дорога,  
Сам приду под милый кров...

7

С мальчишками я лошадей поил,  
Мутила реку рать полунагая;  
Я с девушками песню заводил,  
Зарю встречал, смеясь и распевая.

Ночною нивой пахнет от меня,  
Во мне живет рассветной песни голос,  
И, золотом цвет кожи оттеня,  
Забрался в мой рукав усатый колос.

И камни я швыряю ввысь — го, го!  
И кажется, весь свет за мной в погоне!  
Зачем я нужен им и для чего?  
Я у реки, я в полевом трезвоне.

С мальчишками я лошадей поил,  
Мутила реку рать полунагая;  
Я с девушками песню заводил,  
Зарю встречал, смеясь и распевая...

8

Качаясь и смеясь, весна бельем развесится,  
Отчаянная грязь под сапогами месится.  
Чего мне у тебя просить, скажи, пожалуйста,  
Мятежная земля, столь щедрая на шалости?  
Мне кажется, что ты впервые мной увидена;  
Блаженствует весна. Совсем теряет стыд она.

А я — совсем дитя. И это детство раннее  
Сменилось, не шутя, отрадой обладания!

В ложбину грязно-черную, спокойные и мирные,  
Коровы с гор спускаются, в грязи их туши жирные,  
А в сердце — радость тихая ложится неожиданно,  
А в сердце то свершается, что никогда не видано!

Поле в марте okayмила  
 Снеговая полоса;  
 Ветер прячется уныло  
 За студеные леса.

У обочин, у обочин  
 Желтой глиной оторочен  
 Чернозем больших дорог.

Слякоть чавкает по-жабьи,  
 На заре разверзлись хляби,  
 Мир просторен и широк!

Пляшет Днепр на солнечной печи,  
 Волны покатались, горячи,  
 Двигается их гневная орда,  
 Яростная длится чехарда!

И одна берет другую в плен,  
 В кружева, в сорочку белых пен,  
 Кружится, смеется, как дитя,  
 Волоконца струй переплетя!

Берег, как песчаная гора,  
 В ласковых объятиях Днепра, —  
 Снова подчиняются сады  
 Ласке подступающей воды!

Лодки на днепровском плесе  
 Словно черные жучки;  
 Снова взмахи тонких весел,  
 И наклоны, и рывки.

Снова волны в белой пене,  
 В легкой пене кружевной, —  
 По мерцающим ступеням  
 Хорошо скользить весной!

Всё шагает ночь слепая  
 В праздных шорохах дорог;  
 Что нашел ты, здесь порхая,  
 Влажный вешний ветерок?

Ветер, я светло и смело  
 На луга твои дохну!  
 Нет, трава не придела  
 Обнаженную весну.

Я овса просыпал короб  
 На прогалины твои!  
 Надо мной рассветный ворох  
 Утра-золотошвей!

Ветер, ветер, взвейся, светел,  
 Круг печали заверши:  
 От ночей остался пепел  
 В росных россыпях души!

Если встретишь утром ранним  
 Ты красивую мою, —  
 Молви, что искать свиданья  
 Я обет себе даю!

Обещал тебя искать я  
 И нигде не находить;  
 Голубыми облаками  
 К золотой заре поплыть!

Если бог оденет ливнем  
 Пробужденные луга, —  
 Я узнаю, вправду ль милой  
 Удадь сердца дорога!

Устыдившись, убегу я,  
 Долю скромную избрав...  
 Ах, глаза твои чернее,  
 Чем земля до вешних трав!

И в земле разбухнет семя,  
Лес оденется листвою,  
И когда придешь, скажу я:  
«Нет, отныне я не твой...»

14

Дважды был сегодня здесь я  
И еще приду сюда;  
Вьется ветер в поднебесье,  
В колеях журчит вода.

Луч весенний с бою добыт,  
Поле голо как ладонь,  
Громыкнул тележный обод,  
Жарок солнечный огонь!

Я стою на черноземе,  
В колеях речная муть.  
Растопивший снега комья  
Мне пускай укажет путь!

Дважды был сегодня здесь я  
И еще приду сюда;  
Вьется ветер в поднебесье,  
В колеях журчит вода.

15

Вновь бежит ко мне водица,  
Вновь спешат навстречу мне  
Все успевшие родиться  
В ближней, в дальней стороне

Ручейки, ручьи и реки, —  
Точно был большой пожар,  
Точно стаявший навеки  
Снег — водою прибежал!

Вы, ручьи, видать, омыли  
Ненаглядную мою:  
С вашей влагою в бутылки  
Запляшу и запою!

Вновь земля напропалую  
 Мылит голову седую, —  
 Кони смотрят из-за шор,  
 Мыши пьются из нор!

И уже весна окрепла,  
 Где сосулек бахрома?  
 Понеслась, как черт из пекла,  
 Вся замызгана, зима!

Ты выходишь ей навстречу,  
 Холода в земле зарыв,  
 А в конюшне, недалече,  
 Пар валит от мокрых грив!

Вихри злятся друг на друга,  
 В плоть земную влюблены,  
 И летят к нам письма с юга,  
 От разбуженной весны!

Бугорок чернеет хитрый,  
 Стал лазорев окоем;  
 Воду черпают макитрой  
 Где втроем, а где вдвоем!

Спорить рыхлый снег не вправе:  
 Блекнет, мокнет, тает он:  
 Он, как серый волк в облаве,  
 Обречен и окружен!

Он ушел в ручьи и в лужи,  
 Рухнул в балку за лесок;  
 Каждый миг от сердца стужи  
 Отсекается кусок!



В слякоти до половины,  
Колыхаясь на ветру,  
Как утопленницы — льдины  
Проплывают по Днепру.

Их влечет ко дну течение,  
Но песок их вновь отверг,  
Ветра алчного влечение  
Их подтягивает вверх!

На реке большой и голой,  
В клочьях вешней кутерьмы,  
Льда осколок невеселый —  
Как плевков в лицо зимы!

#### ЛЕТО

##### 1

Колосья воспрянули —  
В нарядах из золота,  
Колышутся молодо,  
Танцуют, румяные.

С ветрами уклончиво  
И ласково шепчутся,  
Меж травами мечется  
Семья колокольчиков.

Монетками круглыми,  
Ладошками смуглыми,  
Сестрички ли, братья ли,  
Любви не растратили!

А в почве таимые  
Волосики ясные  
Полнее, прекраснее  
Коровьего вымени.

С напевами-звонами  
Колосья колышутся.  
День в золоте движется  
Над нивами сонными.

Накормлены солнышком,  
Светилом-кормилицей,  
В рост ринуться селятся  
Червонные зернышки.

И вербочки дарят им,  
Торопятся — тратятся,  
Платочки и платица,  
И шапочки с гарусом.

К ним тучки с дождинками,  
Землица к ним с влагою,  
К ним ветры с отвагою,  
К ним ночи с росинками.

Вот соками за ночь их  
Напóлнили вескими:  
Колосья чудеснее  
Сверкающих бабочек.

Загадкою тайною  
Спят зерна безгневные,  
И дремлет напевная  
Земля урожайная.

2

Тучка, вольная дикарка,  
Налетела — в небс стала;  
Струйка — так, что небу жарко,  
Всю округу прочесала!

Со спины, со щек и с шеи  
Капли катятся шальные,  
От дождинок я пьянею:  
Хороши дожди ночные!

Мне и холодно, и знойно,  
Вихрь меня ласкает дробный,  
И легко идти с сумой мне:  
Теплый воздух тело обнял.

Разбежитесь, тучи-хмари,  
Войском двигайтесь летучим —  
Я руками в небе шарю,  
Тучей я взвиваюсь к тучам!

8

Степь в золоте лежит меж раздорожий,  
Над ней закатный мечется костер;  
Дождем омыт, и весел, и тревожен  
Неисходимый ласковый простор.

Ей видятся во сне стада коровьи,  
И косяки стреноженных коней,  
И девушки с простою их любовью,  
Бредущие в пыли степных путей.

Пастушка загорелая явилась,  
Свистит в два пальца и подруг зовет,  
У ней сейчас овечка заблудилась,  
Но, может быть, еще сама придет.

Чудесным зацелованы загаром  
Лицо и руки, кожа стройных ног;  
Ей платье вихрь приподнял в танце яром,  
Цветной подол — как полевой цветок.

Кнутом взмахнула, головой тряхнула  
И затянула песню, весела, —  
Друзей, подруг в края степного гула  
Своим напевом властно повела.

Что ж — на плечи суму (в ней всё, конечно,  
Ее добро), в руках ременный кнут;  
И к ней со всех сторон бегут овечки,  
На звуки песен издали бегут.

Нагая степь во сне длинней и шире,  
Задумчивости горестной полна, —  
Ее друзья — в другом, шумливом мире,  
А для нее приходит тишина.

Всё кажется — скрипят сухие доски:  
Сняв и сложив свой пестрый балаган,  
Сидит в своей несмазанной повозке  
Бродяга неприкаянный — цыган.

4

Мы в садах привольно дышим, —  
Грязь лежит между стволами,  
Только россыпь алых вишен  
Кличет — дразнит огоньками. . .

Подтолкну — захочешь, нет ли!  
Дотянись, моя отрада, —  
Лестницы, гвоздей и петли  
Нам для этого не надо.

Ну, карабкайся, срывая,  
Сосчитаем вишни вместе,  
Мякоть сочную впивая,  
Мы разделим их по чести!

5

И нива пир устроила великий,  
Колосьями крутыми шевеля;  
Со всех сторон несутся счастья крики,  
Со всех сторон ко мне бегут поля.

Рассветы бледнолицые, стыдливы,  
Встают над золотым простором нивы,  
Ко мне ползут и льнут наперебой,

Разбросаны по тверди голубой.  
И травы и цветы — из аксамита,  
И ветерки порхают деловито,

Срывают бусинки из-под ресниц,  
И держат эту радость наготове,  
И отдают пахучей летней нови.

Когда ж приходит солнце, то цветы,  
И травы и цветы на нить большую  
Нанизывают россыпь луговую;  
И то, что сердцем искренним согрето,  
Они спешат надеть на шею лета.

А в поле у накрытого стола  
Медовые листочки зазвенели!  
Играют мотыльки в степном пределе,  
Вонзаются в живую синь тепла!

Полны деревья песнями надежды  
И обновляют свежие одежды,  
И где-то у дорог стволы кривые  
Под бременем листвы сгибают выи  
И шепчутся, смешны и разодеты,  
Слагая песню молодому лету!

И музыканты всюду и везде:  
Таланты самой благородной школы, —  
На жарких струнах пляшут в высоте,  
Поют, кружатся золотые пчелы, —  
Начало лета — тема их сонат!

И туча барабанит во сто крат  
Сильней — в хмельном столпотворенье  
грома...

И в звездных лентах млеют небеса,  
И радуга нам заглянуть в глаза  
Спешит... и старость лету незнакома!

Гордясь волшебной юностью своей,  
Несет нам лето множество затей, —  
Ах, молодость, она дороже клада, —  
И нищий счастлив, словно богатей,  
Такому лету радоваться надо!

Ах, летний полдень! Юный ювелир!  
Ах, перстни! Ожерелья из кораллов!  
Его подарков ждет широкий мир,  
Лицо от счастья жарко запылало!

Ах, лето! Эта бездна серебра,  
И золото в зрачках речного плеса,  
И солнце на траве, и в травах косы,  
И свежих трав шуршащая игра!  
Гудит под солнцем пробужденный пчельник,  
Лучи звончее струн виолончельных.

И лето, сбросив ветошь, на траву  
Легло — нагое: и об этом чуде  
Мы помним и во сне и наяву.  
Мы помним, как дрожат устало груди,  
Как жаркие соски раскалены,  
Неутоленной жаждою полны!

Оно, корону лесу подарив,  
Раздаривает щедрое дыханье,  
Свой день, свое тепло и колыханье,  
И новых кладов золотой прилив,  
И новых нитей яркое мельканье!

Колесный обод в небе покатав,  
Оно малюет ленту звездных высей. . .  
Вспорхнули ветерки, потом повисли,  
И радость пляшет в заводях реки.

Кружится  
Голова шального света, —  
Справляем праздник молодости лета!

6

Вихри вьются над сиренью,  
Вой ветров суров и густ,  
И, внимая их боренью,  
Весь дрожит поникший куст.

Вот один наехал сзади,  
Вот другой — он ввысь рванул,  
Бьются оба, славы ради,  
Неуемен вихрей гул.

Бедный куст им колет очи —  
Вихрям в зареве любви,  
И кричит им что есть мочи:  
«Ветки высохли мои!»

7

Голоса пастушьи слышу,  
То не ты ли, дорогая?  
Но в полях безлюдье дышит,  
Нас с тобою избегая.

Ждать тебя уже недолго:  
Женщин вижу я румяных,  
Ветошью прикрыты волглой  
Горлышки молочных банок.

А куда ж исчезло стадо?  
Выгон в сумеречной гуще,  
Лес кругом — чернее ада,  
Непроглядней дикой пуши.

Ночь ползет. Темнеет воздух.  
Где ж замешкалась ты, право?  
Где ж ты — ведь уже так поздно,  
Где плутаешь ты лукаво?

Где твое ночное стадо?  
Погляжу из-под руки я,  
Но куда глядеть мне надо,  
Вихри спрашивать какие?..

8

Может быть, не здесь примяты  
Травы? И искать не надо?  
Может быть, уже куда-то  
Увела ты это стадо?

Здесь ли горечь трав полынных?  
Или скошена под корень?  
Здесь вечерний ветер схлынул,  
День ушел к закатным зорям.

Может быть, другой дорогой  
Гонишь ты свою скотину?  
Ночь дождит слепой тревогой,  
Листьев шум в душе покину.

Ночь спускается на доли,  
Омрачились чудо-дали,  
Спят трясины, дремлют села,  
Очи луж яснее стали. . .

Окроплен росой слепую,  
Я не сплю — ничто усталость.  
Где же ты? У водопоя?  
Иль овцы недосчиталась? . .

9

Я в сорочке белоснежной,  
Причесавшись лихо как-то,  
Развеселый и мятежный,  
Босиком пойду по тракту:

Кто меня в селе красивей,  
Ну-ка — пусть его поищут!  
Очи словно пламень синий,  
И железные ножищи!

Пусть медведь из леса выйдет.  
С ним померяюсь я силой!  
Милую хочу увидеть,  
Подарить косынку милой.

Поясок крученный — тонкий,  
Ворот с синею каймою;  
Я тебя, моя девчонка,  
Уведу в поля с собою!



С каждым часом день бесплотней,  
Солнце стало давней басней, —  
Знаю чудных песен сотни,  
И одна другой прекрасней!

Сыплю сено под копыта  
Твоего ночного стада;  
На устах моих забыта  
Песня — мука и отрада.

За мной несутся злые псы,  
Орут прохожие, злорадно-боязливы,  
И из-за пазухи — как в лавке на весы —  
Посыпались отчаянные сливы!

Я эти сливы с дерева смахнул.  
Такие сливы — не для швали всякой, —  
Глухой крестьянин псом меня пугнул,  
Но мы друзья с кудлатою собакой!

Глухой мужик живет там. Богатей.  
Всё задевает душу скупердя!  
Он вороватых подстерег парней  
И рожи им соломой натирает.

Мой брыль сорвал он тоже прошлый год.  
Я с дерева летел, ломая ветки,  
По псиной морде хлобыстнул — и вот  
Несусь по переулочкам, как ветер. . .

За мной несутся злые псы,  
Орут прохожие, злорадно-боязливы,  
И из-за пазухи, как в лавке на весы,  
Всё сыплются отчаянные сливы!

## ОСЕНЬ

### 1

Дремлет степь, и вместе с нею  
Полегли колосья немо, —  
Ветер, ветер, тихо вея,  
Укачай поля и небо!

Каждый колос — колокол, светел,  
Спит он, усыплен раздольем.  
Никому топтать их, ветер,  
Мы с тобою не позволим!

Пусть колосья снятся полю,  
Знобкий холод, росный вечер,  
Песни девичьи на воле,  
Сновидений тихих речи.

### 2

Сад уснул, мертво и немо.  
Изморось ползет по стеклам.  
Бабочка окаменела  
На цветке сухом и блеклом.

Ветерок заснуть не может:  
Тронув крылышки невольно,  
Венчик высохший тревожит,  
Но цветку уже не больно.

Да из странствий бесконечных  
Принесла пчелу усталость, —  
И она, потрогав венчик,  
Пожужжала и умчалась.

### 3

Лист багряный, рыжий, медный  
Не удержится в лазури, —  
Вихрь из дремы заповедной  
Мчит листву в угоды бури.

Влажный вихрь листву скирдует,  
Как ему не надоело!  
Непоседа веет-дует,  
А листва-то помертвела. . .

4

Река в огне, и в золоте камыш.  
Камыш всё тише шепчет, глуше. . .  
И ветрен вечер, и тягуча тишь,  
И падают с деревьев груши.

Кипит кулеш у тихого костра,  
Столпились лодки у осины,  
И плещет рыба, и река пестра,  
И спят амбары, рты разинув.

Лежат крестьяне на снопах ржаных —  
На мягкой полевой постели.  
Домой ползут возы; увязнув в них,  
На небо грабли загляделись.

5

Собачий хриплый лай и грузный скрип ворот,  
Да и груженный воз поскрипывает осью;  
Не поднимая глаз, мужик с земли берет  
Упавшие колосья.

Высокая скирда посередине двора  
Тоскует по второй — пшеничное богатство!  
Мужик наморщил лоб — вечерять уж пора!  
Но вот хозяина позвали домочадцы.

Пшеницы у него полно — отличный хлеб!  
И в поле у него еще несжатой много!  
А на току вдали — легко взлетает цеп.  
Хозяин смотрит вдаль внимательно и строго.

Он лошадей распряг — они к воде идут.  
Он чмокает, свистит, — не справиться с шальнойю!  
Он вяжет лошадей — им не уйти от пут,  
С конями сын его отправится в ночное!

Спит закат, а даль румяна.  
 Речка высохла, мелка.  
 Плоский берег словно рана,  
 Подзажившая слегка!

Обнажило солнце мелн.  
 Речка — желтая черта.  
 Так вот дышит еле-еле  
 Щель старушечьего рта.

Здесь журавль лягушек ловит,  
 Полускрыт густой травой,  
 И не скучно лишь корове  
 Над речушкой неживой!

На плетень горшки надели,  
 Вся деревня спит, сыта.  
 Петушины дуэли,  
 Шелест желтого листа!

Вихрей синие оравы.  
 Ствол и ветви в отрубях.  
 И еще не сникли травы,  
 Небосвод листвою пропах.

Полдень, словно козье вымя,  
 Весь раздулся и разбух,  
 И над грушами гнилыми  
 Вьется рой осенних мух.

Тучки нынче целый день  
 Хороводы затевают,  
 Растопыренный плетень  
 Нам дорогу преграждает.

И скулит бездомный пес.  
Лай унылый, стон протяжный.  
Ветер дремлющий понес  
По дороге лист бумажный. . .

9

Ревет бугай. Осенний меркнет день.  
По улице бредет рогатый дурень,  
Рогами уцепился за плетень  
И заревел под стать осенним бурям.

Вновь слышится мушиный сиплый звон:  
Как бьются мухи о прозрачность стекол!  
Им велено тянуть стеклянный стон,  
Пока по ставням дождик не зацокал.

10

Дремлет лес, в лазурь вонзаясь,  
Дремлют листья на весу,  
И, должно быть, серый заяц  
В дальнем прыгает лесу.

Паутинок тонких прелесть!  
Замерцала высота!  
Облетевших листьев прелость  
Греет рыжего кота.

Воздух дымкой отуманен,  
Спят деревья в холодке,  
Где-то тащится крестьянин  
С добрым посохом в руке.

Осень спит на ближних пожнях,  
Дремлют крылья ветряка,  
Только скрип возов порожних  
Слышится издалека.

Мне ль страшны твои набег?  
Выйду, свежий наст потрогав:  
У меня коньки-норвеги,  
Ты с ключами от сугробов.

Не грози мне снегопадом,  
Исполин седоголовый, —  
На Днепре, со старым рядом,  
Я каток расчищу новый.

Подставляешь ты мне ножку,  
Верховод ветров колючих, —  
Пусть ушибся я немножко,  
Подскочу и вырву ключик!

Разотри мне щеки, стужа,  
Истопчу твою порошу.  
Подпоясавшись потуже,  
Колким снегом в рожу брошу!

Запустил в тебя снежком я,  
Их слепить могу я сотню,  
Я скатал такие комья,  
Что не влезут в подворотню!

Эй, за дело! Нам не зябко!  
Пару углей мне хотя бы,  
Да еще достать бы шапку  
Для дородной снежной бабы.

Мы из белой снежной пыли  
Развеселою гурьбою

Круглую башку слепили,  
Дым взметнули над трубою.

Поглядите выше, выше:  
Кровли вон куда взлетели!  
Все в снегу, пышнеют крыши,  
Как подушки на постели!

Не уйдем от этой туши,  
Не свернем мы с полдороги,  
А прилепим нос и уши,  
Присобачим руки-ноги!

Да еще на лбу две складки  
Нужно сделать осторожно:  
Ну, как будто всё в порядке,  
И подуть на пальцы можно!

8

Вихри дуют в хвост и в гриву,  
Пляшут спереди и сзади,  
И привольны, и гулливы,  
Разбрелись по снежной глади!

Разыскали дыры, щели,  
Ямки в почве плодородной,  
В них упрятать захотели  
Белый клад зимы холодной.

Здесь сорвали ставни с петель,  
Там завесою трепещут, —  
В черных трубах воет ветер,  
По сугробам вихри хлещут.

Ветром злобным и упрямым  
Ночь наполнена до края, —  
По сугробам и по ямам  
Вился он, в снегу плутая.

Ночь, окутанную пряжей,  
Тормошат густые тени, —  
Снег летит, как пух лебяжий,  
Вихри рушатся в смятенье.

Вихри выются снежным полем,  
Пляшут сотнями булавок,  
Бьются медью колоколен,  
Спят в сугробах седоглавых.

Бубенцы бренчат на шее  
Ветра вечного, ночного,  
Что, дичая и шалея,  
В дальний путь пустился снова!

Как девчонки расцветают,  
Как согрет румянцем город!  
На губах снежинки тают,  
Заползают и за ворот.

Нынче с вихрем плохи шутки,  
Снегопад не знает правил:  
Вейтесь, белые минутки,  
Я вам голову подставил!

Вьюги, вьюги налетели,  
Их увидел я воочью, —  
Женихом слепой метели  
Стану я сегодня ночью!

Вихрь, оставь свои кочевья,  
И тебе полезен роздых:  
Что за кровли и деревья  
Разрослись в снегах морозных?



Босоногие планеты,  
Лунных тучек деревеньки, —  
Выходи, тепло одетый,  
И снежком меня задень-ка!

Острый вихрь поземку режет,  
Вновь его узнаю спесь я:  
Это что за конькобежец  
Не теряет равновесья?

Ветер, стужа и поземка,  
Я ваш верный запевала!  
Чьих ладоней снега кромка  
Никогда не обжигала?

7

Кто боится скрипа наста,  
Кто страшится простудиться,  
Пусть выходит часто-часто  
На мороз румянолицый!

Пляшут белые метели,  
Снежный вихрь по птицам тужит...  
Что за страны, в самом деле,  
Где никто не знает стужи?

Грей ладошки, если зябок,  
С ветром спорь на льдистой сини!  
Что за край, где все без шапок,  
Где морозов нет в помине?!

Выходил уж на мороз ты?  
Шлепнулся? .. Ну, это к росту!  
Что за люди, что за души  
Берегут от ветра уши!

С листьями жести, сорванными с крыши,  
 С кристаллами игольчатого льда,  
 С той ночью, что над нами мглу колышет,  
 С плотинами, где снегом спит вода,

Метель сбивает чалых и буланых,  
 И тьма ползет из-под полозьев санных...

Ах, поле, поле, ты — глухой козел,  
 С озябшим сердцем, с вьюжной хворью давней!  
 От хуторов, от позабытых сел  
 До вьюгами запорошённых плавней  
 Кружатся вихри в смертной нагоде,  
 В мерцанье искрометной канители, —  
 И на твоём обвисшем животе  
 Сама метель — и пасынки метели;  
 Они сугробы гложут, лижут лед,  
 Вниз головой ныряют в дымоход!..

И вот они уже в селе, где хаты  
 Пищат в снегу, как белые мышата,  
 Боками трутся, трутся о плетни,  
 Давно должны бы  
 Околеть они...

И вихри дуют в сердце, как в лукошко;  
 Как будто привязали к кошке кошку,  
 Как избиваемых слепых котят,  
 Связав хвостами,  
 Их волочит вьюга;  
 По перепутьям страха и испуга,  
 Пугая лошадей, летит пурга  
 Коровам выворачивать рога...

— Милый друг, бровей не хмура,  
 Стихотворца не кляни:  
 Протяни навстречу буре  
 Руки белые твои!

Снегом устланы дороги,  
Это всё не сон, а явь.  
Выходи — и на пороге  
Горе горькое оставь!

Снег повил твои оплечья,  
В долах белят полотно,  
Я дарю тебе овечье  
Белоснежное руно.

Выше веток оробелых,  
Светлолик и седовлас,  
Бог стрижет баранов белых,  
Посыпает шерстью нас!

И над нашим ветхим кровом  
Синий полдень ледяной  
Натуго перебинтован  
Телеграфною струной.

Вдоль моих путей и тропок  
Снеговая суетня,  
Беспокойный снежный хлопок  
Вьется в сердце у меня!

Белых роз не пожалею  
Ни во сне, ни наяву,  
И тебя — ты всех милее —  
Белоснежную, сорву! . .

10

Разведчики на снежный тракт  
Пришли — пришла сорочья стая, —  
Следы их лапок на полях;  
Озябли, непогодь листая.

Вновь жаркий дых мужицких уст,  
И где-то громко кличет кочет, —  
День пробудился — гол и пуст —  
Иль только пробудиться хочет,

И на душе моей легко  
От густо выпавшего снега:  
Легли сугробы высоко,  
Пушистый снег не сдержит бега.

11

Белый вихрь на черных углях,  
На стекле в метельной шали:  
Десять заповедей смуглых  
Появилось на скрижали.

Взводам вихрей тонкошеих  
И деревьев по окружающим  
За городом стать в траншеях  
С инструментами, с оружием.

Змей-река идет на приступ,  
А голов у змея тыща,  
Алчный блеск в глазах огнистых,  
«Днепр» речного змея кличут.

У него на брюхе — когти,  
Из ноздрей шибает пламя, —  
Заслоним ему дороги,  
Перекроем путь ветрами!

Ты скользи, скользи, тревога, —  
Сталь с железом в заговоре:  
Где сплелось метелиц много,  
Будет пляска в снежном море!

Топоры звенят и пилы,  
Крепко стиснутые клещи, —  
Глухо бейте в лед, зубила,  
Колокольцы, бейте резче!

Вьюгу молотом ужалим,  
Пусть приходят сотни кузниц,  
Сотни горнов, наковален:  
Нет, мы змея не отпустим!

Прикуем язык мы к нёбу, —  
Тыща вихрей в сердце змея,  
В сердце змея зреет злоба,  
Душит, в сердце пламенея!

Мир степной — всё смертью скован,  
Вихри, вейтесь вновь и снова!  
По раздольям по Днепровым  
Гул встает со дна речного!

Вихрь, несись, — мы степь расстелем,  
Ведьмы в поле дышат хмелем,  
Мы потом тебя наделим  
Зельем сонным и метельным!

В некий час предрассветный  
«Доброй ночи!» — крикнуть силюсь...  
Молот — шкворень — звон ответный:  
Берега соединились!..

12

Белыми колосьями высь полна,  
Воздух в хлопьях, в мерцающих зернах!  
Пляс мотыльков у стекол окна,  
Желтые пчелы играют на горнах!

Снежную лентой прорезана высь,  
Полдень пронизан хлопьями белыми;  
Камни и плиты, ликуя, слились,  
Пьяный шагает походкой несмелою!

Белые тени жниц и жнецов,  
Белых серпов и колосьев клич,  
Белые призраки белых костров,  
Девушки, всех вас хочу я настичь!

Жизнь моя в этом краю зажжена,  
В этих снегах и сугробах узорных.  
Пляс мотыльков у стекол окна,  
Желтые пчелы играют на горнах!

В пляске гиганты слились-спаровались,  
 Россыпи снега, дикий галдеж,  
 Разбушевавшихся вихрей вальсы,  
 Разгоряченных морозная дрожь.

Крики — и по снегу льдистые лодки,  
 Дикие жребии — раз, два и три!  
 Воют, сзывая студеные сходки:  
 Ну-ка, неизвестных в осаду бери!

Дерево плачет всё глуше и глуше,  
 К ставням, к окну и к холму наклонясь;  
 Домик лежит освежеванной тушей,  
 Вихри кружатся, гудя и смеясь.

Стены, ворота — в руках снегопада,  
 Голые руки за пазуху сунь, —  
 Вихри — как снежная синь и отрада,  
 Песни — как рыбы в сетях на весу!

Видят они меня зрением снега,  
 Тщатся завихрить, огреть по плечу, —  
 Только по насту, без тропок, с разбега  
 Я, как сорока-воровка, лечу!

Хлопя в корзинках колышутся полных,  
 Двигутся вихри (с тяжким трудом —  
 Вихри — иду) — завтра вспенится холмик:  
 Будет в снегах мой мерцающий дом...

Мечутся вихри у стен и флюгарок,  
 Реют в ветвях оголенных берез, —  
 Там, надо мною, у кровель хибарок,  
 Кто-то вам, вихри, ребенка принес.

Вот мое сердце, и вот мои губы,  
 Рот мой поющий с пьяной душой, —  
 Сердце хмелеет от жажды сугубой,  
 Я как разбойник с дороги большой!

Далей вливаю я разноголосье,  
Голубизну бесконечного дня, —  
Я превращен в голубые колосья,  
Снежные бури, возьмите меня!

В пляске гиганты слились-спаровались,  
Россыпи снега, дикий галдеж,  
Разбушевавшихся вихрей вальсы,  
Разгоряченных морозная дрожь!

14

Тысячекрылая буря,  
Чрево мое раскромсай!  
Башнями в выси и хмури,  
Белый дворец мой, вырастай!

Рухнула тяжесть строений,  
Крепок гончарный круг;  
Руки в трепещущей пене,  
Вихри вздымают пух.

Высь предо мною пала, —  
Снова я весь,  
Снова я здесь,  
Я снова здесь.

Вихрь — в огне, в дыханье жарком,  
Он на шее белым шарфом, —  
Эй, пожар, я снова жив,  
Забелели ветви ив, —  
Вихрь, — ты мне раскроешь веки,  
Вихрь — мерцанье снежной деки, —  
Лей в сугробы из ведра,  
Сыпь, что спереди, что сзади,  
В белой кузне, в снежной глади,  
Ковалі-то — мастера!  
Город в хлопьях, в хлопьях весь.  
— Град и весь,  
Я снова здесь! . .

Ах, метели колыханье,  
Для тебя ль мое дыханье?

Тыщу раз средь бела дня  
Обними собой меня!

Белый снег, секунды в белом,  
Даль белеет в мире целом, —  
Режь меня, верни мне боль,  
Путь сыскать мне не позволь, —  
Поутру я, в хлопьях весь,  
Повторю: — Я снова здесь,  
Снова здесь! . .

15

Едут сани, сани, сани  
По сугробам, по ухабам, —  
Иль не видите вы сами:  
Лед ваш полоз искарябал!

На катке в середине — прорубь,  
А под ней гудит протока, —  
Сани, ваш противен норов,  
Что ж вы портите каток нам?

Эй, ребята-конькобежцы,  
Эти сани прочь гоните, —  
Лед полозьями не режьте,  
Прочь вы, сани, уходите!

16

Налегла на окна стужа,  
И пошли по стеклам травы,  
Подымаются и кружат,  
Серебристо-раскудрявы.

Пауки на паутине,  
Белый рой букашек легких,  
Сани в стуже, мы в теплыни,  
Тихий скрип в полях далеких.

Все поля полны печали,  
Долы хлопьями набиты,



Вейся-лейся вместе с нами,  
Ветер, снежным утром взвитый!

Не устал ты, ветер, виться  
И срывать цветы снежинок:  
Я хочу с тобой кружиться  
В пеленах неудержимых!

1919

*Екатеринослав*

## 216. ПОСЛЕДНИЙ

### 1

Ни крыши, ни стола. Кровать моя жестка мне.  
Над изголовьем свеч родные не зажгли.  
Я на твоём пути лежу щербатым камнем,  
Смерть! Растопчи меня. Перешагни в пыли.

Нет в очаге золы. Оторван дым от крыши.  
Стенаньям траурным быть надо мной не след.  
Одни горбы торчат всё круче и всё выше.  
Приди! Возьми! Конец. Над нами неба нет.

Горбат со всех сторон. Четырекратно сгорблен.  
Так выпирает стыд из тела моего.  
Так пухнет опухоль неизлечимой скорби.  
Так сохнет мех с вином. Всё гибнет. Всё — мертво.

Кто чёрный катафалк мне к ночи приготовит?  
Где погребальных кляч в упряжку я найду?  
Смогу ли променять мой ветхий могэндовэд  
На пятикрылую военную звезду?

Отдай мне жадный рот, желание родиться,  
Свежо и слепо жить, без смысла, без конца!  
Личинки в падали жиреют и плодятся,  
И правнуки ко мне не повернут лица.

Дай мне топор, кирку, мотыгу дай простую!  
Не богохульник я, не книжник, не пророк.

Мне на смех грамоту всучили и пустую  
Котомку странничью связали поперек.

Как мельничным крылам — безветренные тучи,  
Как пересошим ртам — холодная вода,  
Дай мне оленем быть, плясать на острой круче  
И падать в бездну дай, не ведая куда...

2

Становища пустынь, пергаментные строки,  
Черновики распутий, письменность путей.  
Мир не причалившим в столь медленные сроки  
Скрижалям, выветренным, словно пыль костей!

Ты помнишь пастухов тобой избранных племя?  
Ты на песке пустынь растил их чахлый хлеб.  
Но нет как нет вестей. Приди! Настало время.  
Прошли века с тех пор. Остыл мой гулкий склеп.

Собака тощая грызет в ущелье гетто  
Кость непотребную, и щелкают клыки.  
Мне нужен гневный нож, а не гиена эта,  
Не гнусная труха, забитая в мешки.

3

Не рослым всадником, не храбрым фантазером  
Крылатый нищий встал на горный кряж времен.  
Он памятных Голгоф не обошел дозором,  
Един под множеством загадочных имен.

Крылатый нищий встал во фраке и с моноклем,  
Коллекционер вещей и выдумщик систем,  
Ведущий звездам счет, — горят или поблекли.  
Его прибежище — шифскарта. А затем

От вавилонских рек до пристаней Европы,  
От Сирии до рвов московского Кремля —  
Лишь телеграфных струн щемящий гуд и ропот  
Цыганит арфами Давидова псалма.

Прикована к ногам, седая гибнет ярость,  
И в пальцах скрюченных мерцает горсть монет.  
Всё прочее в дыму небесном потерялось.  
Приди! Возьми! Конец. Над нами неба нет.

Обглоданная кость — не бог весть что за блюдо.  
Сосредоточенный, он мрачен, как декабрь.  
И кормит мысль его, как кормит горб верблюда,  
И сплывает взор, как свечи канделябр.

Вот краденый мешок по улицам влачит он.  
Причалить некуда — ни крыши, ни стола.  
— Ты видел прадеда? Он до доски прочитан,  
До астмы выдохся и пережжен дотла.

4

Вот он прикинулся старьевщиком Севильи,  
С лицом заржавленным, как ржав табачный лист.  
В Америке его агенты гнезда свили,  
И в Турции его бордели завелись.

Вот в черной гондоле везет он кладь золотую,  
Считает свой баланс, и в дряблых пальцах зуд.  
И вся Венеция, сгнивая и танцуя,  
Швыряет серебро его процентных ссуд.

Заплатан и потерт его столетний бархат.  
Как сроки векселей, бесчувственны глаза.  
Так выдыхается отродье патриархов,  
Отгромыхавшая синайская гроза.

Ждет нож. И ждут весы. Тоскует плесень морга.  
Фунт мяса — правый суд. Истец неумолим.  
О, нищенская рвань кладбищенского торга!  
Но выжжено на лбах твоих — «Иерусалим».

Ты это Шейлоку, Венеция, позволишь:  
Фунт мяса — и конец. Он сам вонзает нож.  
О, лжец обманутый, мой прадед! Фунт всего лишь!  
В тысячелетиях потерянная ложка...

И камень двинулся и катится под ноги,  
Дается в руки сам. Но будь хоть сто камней, —  
Мне бросить не в кого. Я здесь один в дороге.  
И камень брошенный опять летит ко мне.

5

Так и пойдут они, орава попрошаек,  
Кривляясь и хрипя о барыше плохом,  
Взывая к небесам, божбу и торг мешая,  
Неся горящий зуд чесоток и трахом.

Как иступленно выть в кладбищенском ненастье,  
Как под полой вести торговлю на гроши —  
Всем: водкой, женщинами, пурпуром династий, —  
Всё, всё им ведомо под струпьями парши.

Вот в царственных чалмах, мехах, золотых кафтанах  
Кордова мудрая, пять родников легенд,  
Звезда теологов и спорщиков гортанных.  
Кто скажет, на какой толкучке их агент?

Вот он сидит, мудрец, туберкулезом скрючен,  
Впился в газетный лист — космат, рыжебород,  
К осенней сырости и нищете приучен,  
Кто этот Агасфер — богач или банкрот?

6

— Дом богоматери, какой ты грусти полон?  
О чем колокола мечтают, замолчав?  
Химерам скрюченным, двуполым и бесполым,  
Какие оргии мерещатся в ночах?

Но вот под сводами — торгош всемирный, янки.  
Он в роговых очках. Он страстный антиквар.  
Он думает о том, не взять ли в содержанки  
Твою историю. Он оценил товар.

Он так почтителен к твоим великолепьям,  
К разлету этих дуг и ромбам симметрий.  
Он смотрит, как болван, на известковый пепел,  
Листает Библию и час, и два, и три.

Не сбросить ли химер с твоих рогатых вышек?  
Пусть прахом красота собора полетит.  
Десяток этажей надстроить, чтобы вышел  
Бетонный небоскреб, его отель «Сплендид».

Но нет, стервятнику над мертвецом не взвиться!  
— Гей, Квазимодо, бей в свои колокола!  
— Химеры древние, воспряньте в огневице,  
Чтоб на святыню тень позора не легла!

Ты ведь влюблен, звонарь, и благороден.  
Качни-ка бронзовые языки!  
С тобою говорят сто тысяч мертвых родин  
Тысячелетьями безвыходной тоски.

Во рту моем дремучий гул жаргонов,  
Наследие невозвратимых рас,  
И пыль, и жажда дальних перегонов,  
Проделанных в последний раз.

7

Летает над падалью черная птица,  
Угрюмая, злая, столетняя птица.

— Стой, ворон! Куда ты сквозь темень и осень?  
— «Птенцы мои плачут, стервятины просят.

Осенние ночи без корма не сладки».  
— Ну что же, слетайтесь, живите в достатке!

Слетелось крикливое черное вече.  
И ворон к птенцам обращается с речью:

«Поля опустели. Куда нам податься?  
Не худо бы тут на зимовье остаться!

Отраднo усопшим и доли не знавшим  
Им карканье наше над садом опавшим.

Отраднo им грезить, травой зарастая».  
— Плодись, размножайся, столетняя стая!

Мерцает грустно камень Галилеи.  
 Далеких гор тосклив и синь узор.  
 На этих долах, бледный, как лилея,  
 Бродил ягненком странный фантазер.

Стоит закат в оранжевом пыланье.  
 Стоит вверху простоволосый серп.  
 Кто там несет овечку на закланье,  
 Босой и обреченный на ущерб?

Весь Назарет сияньем опоясан,  
 А плат пространств всё шире и серей.  
 Спустилась ночь. Мне все-таки неясно,  
 Зачем вознесся в небо Назарей?

Наймусь поденно чабаном к верблюду,  
 Кочевником пройду, как бедуин.  
 Семь лучших жен и нож кривой добуду  
 И пальму посажу среди долин.

Пристану ли к певучим караванам,  
 Спрошу у них, где отыскать мне путь...  
 — Спи, голова Синая! Я незванным  
 Пришел к тебе. Не слушай и забудь.

И черный брат в лицо мне смотрит дико  
 И отвечает: «Я здесь, как и ты,  
 Чабан наемный, гость, а не владыка,  
 Поденщик этой ветхой нищеты».

И он меня утопит в Мертвом море,  
 И я спрошу руками, как немой:  
 «Ответь мне, бедуин, какое горе  
 Несло меня? Зачем я шел домой?»

Ой вы ноги бестолковые мои,  
Зря я гнал вас от зари и до зари.

Чью раскрытую горящую дверь  
Миновать на белом свете мне теперь?

В чьем окошке огонечек мне моргал?  
Там хозяина я в доме не видал.

Там, как кошка у дверного косяка,  
Нежилая спит нахлебница — тоска.

В окна выбитые ломится закат.  
Хоть войди он — не услышат: крепко спят.

Ой вы ноги бестолковые мои,  
Зря я гнал вас от зари и до зари.

Был Млечный Путь белее молока.  
По пригородам кошки завизжали.  
Тьмы мертвецов сошлись издалека  
Вернуть Синаю ветхие скрижали.

Дымятся рты. Клубится шерсть бород.  
— Вставай, базар! Сочтите, горожане,  
Во что вам обошлось из рода в род  
Всех ваших заповедей содержанье.

Как хартия, обуглен их жаргон.  
На головах зола и прах созвездий.  
— Прощай, Синай! Последний перегон —  
И звездный прах дымится на разъезде.

1924  
Париж



## 217. БРАТЬЯ

*Памяти моей сестры Голды*

### ГЛАВА 1

Коль пойдут расспросы, коль зачнутся речи,  
За корчмой — местечко, видишь, недалече.

Коль зачнутся речи, коль пойдут расспросы, —  
Вон шляхи в просторах, где прямы, где косы.

Вдаль четыре торных тянутся пути:  
Два — чтоб заявиться, два — чтобы уйти.

Вон бадью колышет старая криница:  
Может быть, заметят? Может, пригодится?

Кто ж былое вызовет? Может, вновь, воспрянув,  
Атаманы грозные встанут из курганов?

Вдаль по тем дорогам за годами годы  
Мчались верхоконные, шли там пешеходы.

Фуры да мажары по грязи и пыли  
Взад-вперед в просторах годы колесили.

Шли, разбойным свистом кроя большаки,  
Синие жупаны, черные шлыки. . .

И по всем проселкам, солнцем осиянным,  
В кожихах шагали бодро партизаны.

На большое пиршество, полные печали,  
Верстами и милями степи пробежали.

Тучные, раздольные земли Украины,  
Кубками заздравными подняты раины.

Клинья кукурузы, лоск их золотистый,  
Клетчатые плахты, ленты и монисты.

На пороге хаты ужин в час заката,  
В чугунах и мисках — борщ да саламата.

На большое пиршество, полные печали,  
Верстами и милями степи пробежали. . .

Темень. Вьюга в очи тычется, слепая,  
И по грудь в сугробах тонет конь, ступая. . .

Только бандуристы где-то в чистом поле  
Плачут-заливаются: «Долюшка-недоля!»

Плачут с ними дали, стонут с ними вьюги,  
Конский топ несется из округ в округи.

Из столицы Питера и первопрестольной  
Слышится безумолчно гомон колокольный.

Дали, языками медными ворочая,  
День и ночь гласят: «И прочая, и прочая. . .»

Набекрень фуражка, рожица кривая,  
Слово высочайшее — с края и до края.

Ветхая шинелишка, выцветший лампас, —  
В армию приказано первый братъ запас.

Пусть орлы сермяжные двинутся, радея  
О царе, о вере, матушке Расее!

Где молебном надобно пособить престолу,  
Где — плетями, где — петлей приструнить  
крамолу.

Сундучки и чайники, и с утра до ночи  
По стране: «Последний нынешний денечек».

Пили в воскресенье, в понедельник встали  
Да с утра пустились в пасмурные дали

Лечь костями на где-то ждущих большаках,  
И тоскуют крохи в вещевых мешках.

Хлеб не сжат, не вспаханы с осени поля,  
Глохнет сорняками русская земля.

Множатся в просторах кости восковые,  
Топчет скот их, словно травы луговые.

Плещется над селами яростное зарево,  
Снова по округам слово государево.

Снова государев слышится приказ:  
«Лошадей представить в армию тотчас!»

Где молебном надобно пособить престолу,  
Где — плетью, где — петлей приструнить  
крамолу.

Нет парней по селам, — словно вихрь умчал их, —  
И призвать приказано стариков и малых.

Почему б не взять Менахема, портного?  
Наскоро мешок он сшил себе — готово!

Хватит всем окопов! Почему под знамя  
Не призвать портного заодно с сынами?

Пашни кровью залиты, кроет их свинец,  
По стране восстанья из конца в конец.

Из столицы Питера и первопрестольной  
Слышится безумолчно гомон колокольный.

Ходит, проникая в уголки глухие:  
«Милостию божией, царь вся России. . .»

Дали выкликают, зенками ворочая:  
«Вешать и пороть, и прочая, и прочая. . .»

Где молебном надобно пособить престолу,  
Где—плетьми, где—петлей приструнить крамолу.

Вдаль четыре торных тянутся пути:  
Два — чтоб заявиться, два — чтобы уйти.

Шли в колесном гrome пешие да конные,  
Курени Хмельницкого, Гонтовы загоны. . .

Шли австрийцы пленные, пленные германцы.  
Чубы развевая, мчались атаманцы. . .

Хата жметя к хате сумрачно, понуро —  
Проходил Махно и проходил Петлюра. . .

Где-то кони фыркают и маячат пики:  
Уходил Махно и приходил Деникин. . .

Мчались, проходили, яростны и грубы, —  
Жалами — чуприны, канчуками — чубы. . .

Шли с распятем в шуйце и с плетьми в деснице,  
Проползали слухи черной вереницей. . .

То ль шляхи поведают или троп извилины:  
Где-то холм обветренный, где-то крест могильный.

Ветру ли тоскою не томиться в поле:  
Здесь дотла пожгли, там насмерть заporоли.

Звоны колокольные, что гудят уныло, —  
Мук ли недостало, крови не хватило?

Вот встают в просторах ветряки, криницы, —  
Но куда податься, но куда пуститься?

Шли не на базары, не на торг неслись там, —  
Рыскали, блуждая, по тропам петлистым.

Души понатешились досыта отравой —  
Яствами свинцовыми, брагою кровавой.

Уходили, жаждой мести обуянны,  
С шашкой и обрезом сёла в партизаны. . .

Слава и почтенье вам, вшивые, корявые, —  
Пляски исступленные, жесткие расправы. . .

Кряжем протянитесь по степи раздольной  
До столицы Питера, до первопрестольной.

Бороды дремучие, кожухи бараньи,  
По Руси орлиной — смуты да восстанья.

И на суд-расправу по степным раздолам  
Разлеталась конница с гиканьем веселым.

По лачугам рыскали. Бабы и старухи,  
Голося, ломали высохшие руки.

«Ой, не бей, родной, — вымаливали, воя. —  
Махонький да хворый, и всего лишь двос».

И в степях пустынных — там, где троп извилины,  
Тихо спят курганы и кресты могильные.

И, бродя тропами, матери и вдовы  
Требуют, пытаются у ветров суровых. . .

Горько плакал ветер. Сумрачные дали  
Без конца землей могильной заклинали:

«Коли не хватает, коли недостача,  
То немало сел поблизости маячит».

У портновской хаты — ржанье лошадей:  
«Шей, Менахем, френчи, шаровары шей!»

Где утюг да ножницы? Где ж теперь сыны —  
Шлойме-Бер с Азрилом? Что ж их нет с войны?

Сгинул Шлойме-Бер, ни слуха об Азриле —  
Дымные обоих дали поглотили.

В степь четыре торных врезаны пути:  
Два — чтоб заявиться, два — чтобы уйти.

Круто степь удобрили кости и вино —  
Проходил Петлюра, проходил Махно. . .

Где-то кони фыркают и маячат пики  
Уходил Махно и приходил Деникин. . .

Зыблется повешенный в поле над криницей. . .  
Может, заприметят? Может, пригодится?

И, взвалив на плечи, понесли сурово  
Тракты и местечки сыновья портного.

## ГЛАВА 2

Ноги затекли от долгого сиденья,  
Не в ладу с иглой обкусанная нитка. . .  
В добрый час, латальщики! Слава и почтение  
Вам от сердца полного, сметливые, прыткие. . .

Руки на грудях, корявые, как сучья,  
За работой песни до изнеможенья. . .  
Исполать вам, бороды, смятые и скрученные,  
В добрый час, латальщики! Слава и почтение!

Тяжкие у полночи неподвижны веки,  
За окошком вихри выюжные гудят. . .  
Старые манто, худые кацавейки,  
Будто бы младенцы, к тощим льнут грудям.

Жженым пахнет мехом, шерстью пригоревшей,  
И печется в жарком уюге картошка.  
Хочется горячего — с вечера не евши,  
Отогреться хочется средь трудов немножко.

Пальцы до нитя наперстками заласканы,  
Нить во рту, под сердцем чтобы не посасывало,  
Фраки, вицмундиры с шелковыми лацканами,  
Брюки помпадуровы с красными лампасами,

Да горбы, да к старости торба за плечами.  
И дорога дальняя — полем иль полешком.  
Взоры воспаленные тянутся ночами  
К звездам замороженным — золотым мережкам.

На скамье Менахем ежится, сутулится,  
За окном метелица, холодище, ветер.  
Ночку отработают с песнями, в поту лица,  
И глядишь — готова шуба на рассвете...

Шуба для реб Шпильбарга, для владельца гуты,  
Да еще в придачу шапка из обрезков.  
В добрый час, латальщики, хмурые, согнутые,  
Шуба выйдет славная, — Шпильбарг  
не побрезгует...

Меж селом и кладбищем ветлы, леденя,  
Мечутся порывисто и на долю сетуют...  
Реб Рахмилу нравится шуба подлиннее,  
Спину гнуть Менахем любит до рассвета.

Если б от усталости не ломило в темени,  
Если б хлеба вдосталь и густого чая,  
Пусть хоть век метелица да без края темень,  
Перелицевали бы Ровно на Почаев.

Двух сынов родил, как праотец Иаков,  
Бойкие, ретивые и ума палата, —  
На скамейке скрипка лоснится от лака,  
Голуби на крыше — белыми заплатами...

Как приходит поп дородный на примерку,  
В комнатке всё меркнет, и, помедлив мало,  
Говорит Менахем, щелкнув табакеркой:  
«Ну, Азрил, сыграй-ка, чтоб за ребра взяло!»

И на стуле поп заерзает, растаяв:  
«Аки царь Давид возрадовал десницей. . .  
Ну, придешь на свадьбу к нам играть в Почаев,  
Попадья на жито, брат, не покусится! . . .»

А напротив Эстер, горбясь и вздыхая,  
Утюжок остывший силится раздуть.  
Ей кричит Менахем: «Шубу, дорогая,  
Для Рахмила выгладить нужно, не забудь!»

На дворе светает. . . В комнате убогой  
Тени по углам лежат наискосок;  
Горячится Эстер: «Хватит. . . Ради бога,  
Оторвись, Менахем, подремли часок».

Тянется Менахем, пальцами елозит  
По стене и, мельком глянув на сугробы,  
Молвит: «Вкусно пахнет на дворе морозец,  
Свеженького хлебца с воблой хорошо бы. . .»

Уж подходит март, а всё еще со страхом  
Ждут зимы — со стужами, с вьюгами, как встарь;  
Нынче — високосный. . . «Помнится, Менахем,  
Ветры, снегопад пророчит календарь».

Над скамьей Азрил согнулся в три погибели,  
На утюг плечами навалясь, застыл  
Взорами в простор, приглаженный  
и выбеленный, —  
И чадят и курятся, пригорев, холсты. . .

Как дырявый саван, кровля снеговая,  
Что худые ребра, ветхие стропилины;  
Гнутся под ветрами, к господу взывая,  
Вороньем исклеваны, хляпки и бессильны.

Где-то кровь заката в небе проступила,  
Тучи — как вагоны на глухом разъезде,  
И блуждают взоры смутные Азрила,  
Дали расшивая золотом созвездий.



За поселком — шлях, сугробистый, пустынный,  
Над поселком — ветер тучи снега взвил...  
Пóтом увлажняя сукна и холстины,  
Утюгом тяжелым звякает Азрил.

И как переполнится сладостной надеждой,  
И как заведет, не ведая о чем:  
«Пашешь ты и землю, шьешь ты и одежды», —  
Голову тяжелую свесит на плечо...

«Кровли стонут под пургой,  
Стены тонкие дрожат,  
Шьешь и пашешь день-деньской,  
Мой народ, но чем богат?»

Мчатся ветры вперегон,  
Бьет набат во тьме ночей:  
„Дин-дон, дин-дон —  
Кандалы свои разбей!“

В третий раз — петуший крик,  
Даль — расплавленная медь.  
Только где твой стол накрыт,  
Где, скажи, твой мощный меч?

Новый день встает, горя,  
День надежд и день забот.  
Где твой праздничный наряд,  
Что тебя за жребий ждет?

Мчатся ветры вперегон,  
Бьет набат во тьме ночей:  
„Дин-дон, дин-дон —  
Кандалы свои разбей!“

В тонких пальцах гнев гудит,  
Рвутся к стеклам и дверям.  
Усталъ смертная в груди.  
Что ты есть — ответствуй сам!

На стропилах — лед и снег,  
На ресницах — бремя мглы,  
Счастье выковал для всех,  
Для себя же — кандалы. . .

День тебя великий ждет,  
Путь борьбы перед тобой,  
Труженик, гляди вперед,  
Мощь борца в себе открой!

Мчатся ветры вперегон,  
Бьет набат во тьме ночей:  
„Дин-дон, дин-дон —  
Кандалы свои разбей!“»

А когда за стеклами сумерки, помешкав,  
Входят и садятся, грустные, у ног,  
Говорит Менахем с ласковой усмешкой:  
«Что ты там засеял, что пахал, сынок?

Что косил? . . . Какая песенка чудная. . .»  
И отводит взор Менахем от иглы,  
И, на сына глядя, мямлит, вспоминая:  
«Ну, а что за меч, а что за кандалы?»

Настежь дверь открыв прогнувшую, косую,  
Ситцевый платок влетает, как забота;  
И, с недоумением на ночь указуя,  
Пальцы словно ищут в сумраке чего-то.

«Почему так долго Шлойме-Бера нет, —  
Спрашивают пальцы небо опустелое,  
Пальцы удивляются, — дня пропал и след,  
И уже давненько гута прогудела. . .»

И внезапно — хрусты, тяжелы и круты,  
С улицы, затопленной холодом и тьмой:  
Отработав смену, с отдаленной гуты  
Это возвращается Шлойме-Бер домой.

Голова его — над кровлями из драни,  
Отзвуки шагов разносятся, как зовы,  
И, уже нарезаны, ждут его тарани,  
И, вскипая, пенится кофе желудевый.

Он приходит в дом, дыша морозной мглою,  
И светлей становится вмиг во всех углах,  
И Менахем трет о козырек иглою:  
«Ну, а ты слышал, сынок, о кандалах?»

Скинет куртку Шлойме, сапожищи стянет,  
Улыбнется матери радостно, тепло...  
В кухонку стремглав — и ломтики тараней  
Захрустят во рту, как битое стекло.

И Менахем вслед посмотрит, выжидая,  
Задрожат в глазах лукавые огни,  
И опять взметнется борода рудая:  
«Может быть, расскажешь что-нибудь о них...»

Звезды вылупляются, шустры, веселы,  
Захохочет Шлойме: «Ну и кандалы...»

На мраке на бархатном — звездный венец,  
Запел выдувальщик: «Ты с нами, отец!»

И зов Шлойме-Бера к звездам воспарил,  
Не слышен Менахем, не слышен Азрил...

И голос обетом в ночи прозвучал:  
«Погибель тиранам и смерть палачам!»

И взоры горят, и пылают уста,  
И песня восстанья струится, чиста...

И ликует Эстер... Гордость и любовь  
Светятся во взорах. Слушает сынов она,  
Слушает и шепчет: «Счастье вновь и вновь  
Пусть вам, ненаглядные, будет уготовано!»

На версту тянулись за местечком ямы,  
Зыбился настой дубового корья.  
Свитки кож Рахмил подсчитывал упрямо  
И открыл, что ямы все полны в края.

Не зевал Рахмил — и с каждым днем острее  
Рыскал жадным взором, как матерый волк;  
Всюду по углам шушукались евреи,  
На базаре гул раскатистый не молк.

«Поднялся дворец двухъярусный, с колоннами,  
Новая труба на гуте задымила...»  
Хмурые, с телами, голодом дубленными,  
Спины гнут в труде кожевники Рахмила.

Гнут их день и ночь, от устали шалея,  
Руки, до локтей ободранные, ржавы,  
Едкий пот — ручьями по щекам и шеям,  
Бороды — что засухой выжженные травы.

Старые кожевники, надрывая силы,  
Бьются, хлопоча, неделю за неделей:  
На предплечьях пъявками набухают жилы,  
Спины загорбатились и окаменели.

Не зевал Рахмил: где надобны уздечки,  
Где подсумки надобны, где фляжек не хватило.  
И шептался люд в округе и местечке:  
«Угомону нет на Шпильбарга Рахмила...»

Проживал реб Шпильбарг от людей вдали,  
Рядом с почтальоном, с мировым судьейю.  
Заливались лаем злобным кобели  
За калиткой новой, крепко запертою.

Трепетом в прохожих — лай сторожевой,  
Из-за подворотен воркотня глухая.  
Но Менахем-Герш, бывало, крикнет: «Свой!» —  
И, обнюхав гостя, тотчас затихают.

Лет уже с пятнадцать этак неустанно  
Шьет он для высокой Шпильбарга персоны  
Брюки, сюртуки, пасхальные кафтаны,  
На зиму — тулупы, к лету — балахоны.

Как заказ приносит он, тихий и степенный,  
Молвит Шпильбарг, морщась: «Некогда мне  
с вами!»

И Менахем ждет, оглядывая стены,  
Где — портрет к портрету в золоченой раме.

А потом, взясь, реб Шпильбаргу несмело:  
«Не в Париже ль нынче та, что посреди? ..»  
— «Вечно ты с расспросами, лучше делай дело,  
Праздной болтовнею за нос не води!»

Это не работа, а господня кара,  
Станешь на примерку — тянется года! —  
Молниями гнева блещут окуляры: —  
Рукава опять не годны никуда!»

И отравой в сердце та, что посреди, —  
Топают ногами, щеки покраснели:  
«Почему же — пропадом все вы пропади! —  
У меня висит портрет ее доселе?»

А ведь был жених для дочки на примете,  
И порой меж делом, холодно и чинно,  
Он ронял избраннику: «Что слыхать на свете?  
Ну-с, итак, штудлируем, значит, медицину?»

Даром пекся Шпильбарг, даром жил в надежде,  
Благами своими хвастал по-пустому,  
А в труде кожевники маялись, как прежде,  
И — позор неслыханный! — дочь ушла из дому.

По базару маклер Эйзеп, удрученный,  
День-другой вертелся, как во втулке ось,  
И тянулись бороды изо всех лавчонок:  
«Вам уже, реб Эйзеп, слышать довелось?»

И когда расспросами, обступив, томили:  
«Что, реб Эйзеп, обыск?» — то, маша рукой,  
Огрызался маклер: «Хватит о Рахмиле!  
Знаю, знаю! Слышал! Я ведь не глухой!»

Но к своим кожевникам Эйзеп издали  
Тотчас же примчался, им поведав с жаром:  
«Знаете ли, карточку дочери нашли,  
Привезли реб Шпильбаргу карточку жандармы!

Слушайте, евреи! К Шпильбаргу чуть свет  
Заявились в дом, неожиданны и нечаемы, —  
Дескать, узнаете дочку или нет,  
То не ваше ль чадо, Шпильбарг уважаемый?»

И столы трапезные там для них накрыли,  
Пристав, развалясь, сигарою дымил,  
А Рахмил кругом носился, как на крыльях,  
С приставом по-русски чокался и пил. . .

И, как на сговоре, у него пылали  
Щеки, и, на яства налегая рьяно,  
Пристав запотевший заливался в зале:  
«Жить нам не дают проклятые смутьяны!»

На версту тянулись за местечком ямы,  
Зыбился настой дубового корья.  
Свитки кож Рахмил подсчитывал упрямо  
И открыл, что ямы все полны в края.

Только гута! Что там, говорят, творится!  
Там народ мутит рабочий Шлойме-Бер,  
Но за днями дни Рахмил как в огневице:  
Ведь теперь заботам нет числа и мер.

Ждут его в губернии срочные заказы,  
Строки телеграмм взывают: поскорее!  
И одно тревожит: только б не промазать,  
Каждая минута нынче — лотерея.

Стал являться в дом цирюльник, и Рахмил,  
Удивляя всех, по-новому убрался.  
«Борода — к чему она? По брюхо отрастил!  
Пусть глазам откроются лацканы и галстук!»

Каждую неделю в доме суетня.  
«Где очки? Где зонтик? Прозеваю скорый!  
До свиданья — ждите к пятнице меня». —  
И летят в червонном золоте просторы. . .

«Ну и время: кругом голова идет!  
Даже до субботы задержусь, коль надо!  
Можно ли предвидеть: выехал — и вот  
Новые поставки, новые подряды. . .

А с мерзавцем этим — кажется, на гуте  
Стачку он готовит — разочтусь, даст бог!  
Даром не пройдет ему — с Шпильбаргом не шутят,  
Закую в железо, упеку в острог!»

Но и в Петербурге заварилось что-то:  
Требованья шлюют оттуда без конца,  
Не уснуть Рахмилу — жмут его заботы,  
От газет всю ночь не оторвет лица. . .

И острее взор его, слух его острее,  
И, руками пухлыми по щекам елозя,  
Он с тревогой ловит в шепоте евреев,  
Что уже «почил» самодержавный «в бозе».

Кто такой «почил»? О ком твердит вагон?  
Комом в горле «бозе». . . Не понять ни слова. . .  
С поезда на биржу понесется он, —  
Там ему расскажут обо всем толково.

И опять примчался Эйзеп, задыхаясь,  
Шапка вся в поту, и галстук на затылке. . .  
Вертится, как дзыга, кисть его сухая,  
На висках трепещут тоненькие жилки. . .

«Что из кожи лезть?.. Что толку суетиться?  
День за днем что нужды сохнуть от забот?  
Лотерея — мир, от века он вертится,  
Но вертеть отныне будет им народ!

Так что напоследок должен вам сказать я:  
Вся народу власть принадлежит отныне, —  
Ну, а это значит, дорогие братья,  
Что не будет Шпильбарга больше и в помине!»

#### ГЛАВА 4

Средь прогнивших лачуг, средь лачуг и развалин, и сора,  
Средь облезлых полей и поросших бурьяном кладбищ,  
Средь туманных дорог, над кровавой кривой кругозора  
Заводская труба замахнулась на небо, как бич.  
Замахнулась труба и, недвижна, в сумятице облак,  
Указует на округ, на город, на села бок о бок.

Тянет ржавью и гнилью от мертвых равнин и яруг,  
Пахнет пеплом вокруг, пахнет угольной гарью вокруг  
И ободраным телом — ободранной, тощей страной,  
Но труба высока, но труба — за кирпичной стеною,  
И над входом на вывеске: «Гута», и «Шпильбарг  
Рахмил»,  
И печать «Саламандра» — известны за тысячу миль!

Знойны, ржавы поля и затянуты мглою, как крепом,  
Там, в стекольных осколках, распушшая, бредит земля,  
Не родится там хлеб, там, простор день и ночь пепеля,  
Глухо гута гудит, день и ночь полыхает свирепым,  
Кровососным огнем, иссушает мозги и тела,  
Чтоб к Рахмилу рекой золотая нажива текла.

Где-то хищный, как сабля, наточен о сизые дали  
Кругозор; где-то там, за курганами, — гроханье стали,  
Грузный топот копыт; где-то там, средь равнин и высот,  
Ненасытная смерть разъезжает с кровавой баклагой  
И последнего сына берет, и последнее благо  
Из голодных, ободранных сел и поселков сосет.



Там, в свинцовом дыму, где вороны скликаются стаи,  
Вот уж третью годину на славу пирует война;  
Там за ротою роту швыряют ей в рот, и, хватая,  
День и ночь напролет всё жуёт и глотает она;  
Там гогочет, отплевывая в зыбуны и овраги  
Недожеванные козырьки, голенища и краги.

И дороги — как руки, протянутые в пустоту.  
Но в сумятице туч, на своем неизвестном посту,  
Указуя на округ, на город, на села и веси,  
Заводская труба — за кирпичной оградой — пряма;  
День и ночь в вышине за вестями проносятся вести, —  
Не укрыться от стонов, от воплей, сводящих с ума.

Там поля прогорели, там лавой поля отвердели;  
Там земля прокаженная, как требушина, синя;  
Там на версты вокруг не видать ни травинки, ни пня,  
Там проходят во мгле, как сомнамбулы, дни и недели,  
Мрет скотина, и в городе, за большаком далеко,  
Понастроены Шпильбаргом склады для шкур и для кож.

Он седлает коней, он довольствуется обувью войско;  
Эта обувь — как шелк; в этих седлах — податливость  
воска;

И на всех перекрестках баклаги Рахмила звенят;  
День и ночь в кабинете, суровый, нахмуривши брови,  
Он висит над счетами, и все до единой назад  
Возвращаются, полные золота, полные крови.

Семь стеклянных и семь металлических крыл за спиной  
Распустила сияющая и гудящая гута;  
Вулканический пламень клокочет в утробе печной:  
Он грозитя лачугам, он рвется во тьму, и средь гуда  
И в плавильном жару Шлойме-Бер, закаляясь, хранит  
В сердце бодрость и в мышцах упорство для будущих  
битв.

Обнаженные и запотевшие, в струпьях и в саже,  
По углам, локоть в локоть, уставясь на пламя,  
как стражи,  
Там, во тьме, там, в дыму, разъедающем горло, как яд,  
От зари до зари сухопарые парни стоят;

Выдувалки во ртах, и, сгибая колени, покорно  
Жар и пламя выхватывают из бушующих горнов.

Там багровою глыбой на голову воздух осел;  
День и ночь там сменяются сотни горячечных тел;  
Там — бок о бок — в дыму и в чаду громоздятся,  
как скалы,  
Опаленные пламенем плечи стального закала,  
И, как огненные кулачищи, средь тьмы и жары  
Полыхают, покачиваясь над плечами, шары. . .

И хохочет, дразнясь из горнил, языкастое пламя,  
И хлопочут нагие, с худыми, в истоме телами,  
С воспаленными веками, в струпьях и в саже до пят;  
Запрокинуты головы, плечи, и руки проворны,  
И к пылающим ртам выдувалки приставив, как горны,  
От зари до зари по округе восстанье трубят:  
«Час возмездья грядет! Мятежу распахните ворота!»

А Рахмил — он висит над счетами, как сыч.  
Пухлы руки Рахмила и влажны от пота;  
Лампы золото льют на седые усы,  
На слюнявые губы, что цифрами бредят,  
На страницы под знаками «дебет» и «кредит».

Он, сутулясь, выводит и черкает строки.  
Льется золото, льется багрянец из ламп;  
Как лакеи, стоят, выжидательно-строги,  
Тени в плюшевой мгле, по стенам и углам;  
В доме спят. . . Не до сна лишь хозяину. . . Хмурый,  
Он ушел с головою в баклаги и шкуры.

Выжидательно-строги, стоят в отдаленье  
Средь диванов и кресел навытяжку тени.  
Ждет постель. . . Но смятения не перевозмочь. . .  
Он глядит на часы. . . Продвигается ночь.  
Смотрят стрелки, как будто пытая Рахмила:  
«Дальше двигаться или не тратить усилий?»

Есть другие часы у Рахмила — в гостиной, —  
Словно шкаф. По ночам, когда в доме пустынно,

Их медлительный, длинный, торжественный звон  
Повествует о неизмеримом покое.  
Но теперь — он за горло железной рукою,  
И в жару и в ознобе Рахмил от него...

Звон проходит кругами по темному дому,  
Звон взрывается в доме тишину и истому,  
Наливает упругим гуденьем углы,  
Звон толкается в стекла, исполненный жалоб,  
Подступает к Рахмилу и, выйдя из мглы,  
В мозг вонзается, словно осиное жало...

Он устал... Как стена громоздятся заботы,  
И свинцовый туман подступает к глазам,  
Но, шальной, он от счета кидается к счету,  
От счетов переходит к газетным столбцам...  
И чеканят часы кропотливо и строго:  
«Всё не так... Всё не то... Не добьешься итога...»

И сдаётся Рахмилу: вдоль вымерших улиц  
Что-то грозное с громом стремится к нему.  
Под конвоем теней, над счетами сутулясь,  
Он, встревоженный, стынет в табачном дыму;  
Смотрит пристально дверь броненосного шкафа,  
Как сдувает золу с папиросы он на пол...

Не укрыться Рахмилу от взоров пытливых,  
Он не в силах избыть нарастающий страх;  
Давит плечи сюртук, как чугунный отливоч,  
Что-то грозное с громом несется впотьмах.  
Нету дочери... Пусть пропадает бродяжка...  
И — со счетов, гневливо прищелкнув, костяшка...

Закопченными стеклами в землю уставясь,  
На коленях, уткнувшись в песчаник и гравий,  
Друг на друга лачуги вдоль мертвых застав  
Громоздятся, как с рельсов сошедший состав.  
Вот они поднялись, вот они распрямились  
И густыми цепями идут на Рахмила...

Весь дрожа, он звонит... Задыхаясь, огромен,  
Перепуганный насмерть, влетает лакей...

«Там, на улице, — топот, там — ропот, там — гомон!  
Что же мямлите вы? .. Отвечайте живей! ..»  
— «Всё в порядке... Но стачкой запахло как будто! ..»  
— «Стачка? Бунт? Убирайтесь сию же минуту! ..»

Он опять за счета... Но, безмолвны и глухи,  
Пред глазами, как версты, мелькают счета.  
Расползаются цифры, как трупные мухи,  
Жалят руки, жужжат и трезвонят, что там,  
Там, на гуте, собрание, что это собрание  
Шлойме-Бер, выдувальщик, ведет спозаранья,

Что колонны рабочих поля затопили,  
Что по улицам и переулкам идут  
Заревою повесткой, шаги их как мили.  
Он бросает счета... Он — к окну, он — в бреду.  
Ночь пылает, как печь... Ночь грохочет парадом,  
Дочь в колонне шагает с рабочими рядом...

И во тьме голоса их проходят, крепчая,  
По стеклянному сердцу алмазом... Во тьме  
На дорогах, на улицах поступь чужая...  
Он — один в кабинете своем, как в тюрьме.  
Кровь сгущается золотом в сердце и в жилах,  
Захватило дыханье, и слух заложило...

Голова — ходуном... Голова — словно камень.  
Вот сейчас отрыгнет он из сердца — кусками —  
Воспаленное золото... С улиц, с полей  
Смерть грозитя Рахмилу железной рукою.  
И отпрянул Рахмил от окна и с тоскою  
Заметался, блуждая в полуночной мгле...

«Грабят! Грабят! Вставайте!» — завыл в исступленье.  
По-над улицей пламя... на улице пенье.  
«Дом шатается... слышите?.. рухнет сейчас...» —  
Воеет Шпильбарг, от шкафов к диванам мечась...  
Вст прижался он к шкафу, и дума полезла:  
«Размозжить себе череп об это железо...  
На кого опереться? кого бы заставить?  
Сквозь очки золотые кому подмигнуть,

Чтобы плетью и пулей чумазой ораве  
Был отрезан к свободе единственный путь? . . .»

Скрежеща, увидал в переулках, в проходах  
Он кожевников, дюжих и желтобородых,  
Выдувальщиков тощих, с телами как медь,  
И еще и еще. . . Залилось, зазвенело,  
Захрустело стекло. . . В пламенеющей тьме  
Бьют, крушат беспощадно и остервенело. . .

Он увидел в огне семикрылую гуту,  
Увидал — на коленях, немой и согнутый, —  
Как, из пламени вырвавшись, печь за людьми  
Побежала по улицам. . . как, задыхаясь,  
Громыханьем и заревом ширится хаос  
И ревет и трубит по округе: «Рахми-и-и-л!»

Он совсем обессилел. . . Побитой собакой  
В темный угол забился. . . Не смеядохнуть,  
Дикий взор к небесам обращает из мрака.  
Кровь и деньги ему объявили войну —  
И червонцы как звенья, и, брошенный на пол,  
В каторжанских цепях он лежит подле шкапа.

#### ГЛАВА 5

Тощи, забинтованы, сутки ковыляли,  
Головы трясучие в плечи позапрятав;  
На плечах — больные большаки и дали,  
На плечах — пергаменты пепельных закатов.

А к портнихе старой так и льнут печали —  
Все на плечи сразу: муж и сыновья;  
Огненною бурей беды набежали, —  
Что у ней осталось от ее житья?

Манекен во мраке хохлится, как ворон,  
Утюжок заржавел, лампа закоптела;  
Сгорблена и сморщена, с воспаленным взором,  
Думами терзается Эстер без предела.

Он, ее Менахем, выглядит как нищий, —  
«Как любой из нищих в городке у нас. . .»  
Оскудел их дом, вся жизнь как пепелище,  
И всему виною был второй запас.

«Ведь в такие годы у людей повыше —  
Тот хромает, этот с вывихом плеча,  
Кто горбат, кто глух, кто мучается грыжей,  
Он же — крепок, прям и светел, как свеча.

Светел, как свеча, и весь как бы лучится,  
Волосы нежны, как шерстка у ягнят,  
А когда в сюртук, бывало, облачится —  
Смотришь не заметишь: вылитый магнат.

Сундучок и чайник. . . Дальний путь куда-то.  
Вот его уж нет — оторван, увезен.  
Был портным Менахем, стал теперь солдат он,  
Говорят, воюет с «австрияком» он.

И как началось — «комиссии» да «льготы»,  
Как пошли писать билеты с нумерациями;  
Люди тянут жребий, вынимают что-то, —  
Кто тут, кроме бога, в силах разобраться?

И засуетились крепкие евреи  
По майданам рыночным, в лавках мелочных, —  
Сведуши во всем они, всех они умнее,  
Будто бы война затеяна для них.

Ну, а ты, Менахем, темная заплатка,  
Помни, над тобой — начальство, господа,  
Так напрасно спорить и напрасно плакаться:  
Им газеты по сердцу, ты же пропадай!

От всего портняжества — драные онучи  
Да котомку нажил он. . . Поглядел на стол,  
На верстак на пыльный, шапку нахлобучил  
И пешком к вокзалу дальнему пошел. . .

Одинок и хмур, он вышел на рассвете,  
В стареньком пальто, обвитом бечевой,  
С сундучком и чайником, сквозь туман и ветер,  
К станции побрел дорогой столбовой!

Да еще ворчал: «Ступай, довольно плакать,  
Благосклонен бог к богатым!..» Издали  
С грустью посмотрел, и, сквозь туман и слякоть,  
Сгорбленного, грустного, так и увезли. . .

Увезли, теперь — раздумывай поди-ка,  
Утром просыпаешься — в комнате мертво;  
Мчатся дни и месяцы, и, в тоске великой,  
Первое письмо приходит от него.

Пишет: «Будь хитер и не споткнись на слове  
До того, как сон соседей не возьмет. . .»  
Пишет: «Здесь, в казармах, в городе Тамбове,  
Обучать стрельбе оставили народ.

Город пребольшой — его по гроб запомню,  
Нужно быть приученным к городу такому;  
Хоть давно пригнали — не был еще в нем я,  
Вовсе тут с евреями, Эстер, незнакомы. . .»

Так спешил с отъездом, так захлопотался,  
Так ногами топал и бранился пылко,  
Ну, а вот молитвенник на столе остался,  
Просит он теперь прислать его с посылкой. . .

«Извещаю, Эстер, я пока здоров,  
Служба, Эстер, сносная, и, быть может, стану я  
Скоро на комиссию здешних докторов, —  
Дай бог о тебе услышать то же самое. . .

А Тамбов большой — он чуть ли не с губернию,  
Только из казарм нельзя нам отлучиться,  
Здесь еще поучимся малость мы, наверное,  
Ну, а после нас отправят на позиции.

Все мне говорят, что, если б хорошенько,  
По закону то есть, я писать умел,  
Если б настоящее сочинил прошение,  
Льготу на руках давно бы я имел.

Ротный командир — большущая фигура —  
С порванной штаниной прибыл к нам с попойки.  
«Кто зашить берется?» — спрашивает хмуро.  
Ну, так я зашил ему, примостясь на койке.

«Где же было порвано?» — удивился ротный.  
Я ответил: «Нету, ваше благородие!»  
— «Молодец, видать, работничек добротный, —  
Пальцы, как у дьявола! — не найти в природе!

Ежели стрелять научишься у нас,  
Сможешь в генералы выйти несомненно,  
Вот шинель попробуй-ка в следующий раз, —  
Сделаем авось портным тебя военным».

Пища — ничего... Едят ее евреи, —  
Ну, и я стараюсь вместе с ними в лад.  
Плохо только с песнями — я от них шалею:  
Песни петь с утра до вечера велят...

Зачерпнешь из бака, сводят брюхо корчи,  
Хочешь иль не хочешь, — помолись, глотай!  
Ну, а этих песен ничего нет горше,  
Фараон не так терзал, как Николай...

Ты скажи, откуда у евреев песни?  
Нам лишь проскрипеть, пока темно не станет...  
Дня им не хватает! Спать ложишься — песни,  
Ходишь в баню — песни, с песнями — из бани...

С песнями чуть свет выходим на ученье,  
Распевают песни молодой и старый;  
А молчать попробуй, так за нераденье  
По скулам, по ребрам сыплются удары...



И к чему так песен требовать сурово,  
Разве будут песнями с немцем воевать?  
Увезли из дому старого портного,  
Ну, а он изволь им песни распевать!»

«Пой, Менахем, лишь бы не трогали они...  
Что с тобою станется — ведь поют же сотни!»  
И в ответ Менахем: «Боже сохрани!  
Что я петь могу? Молитву петь субботнюю?»

Так иглу Менахем на ружье сменил,  
Укатил портной Менахем на позиции,  
Я молила бога, чтоб его хранил,  
Чтобы кровь людская перестала литься.

Он лишь сообщил, что в пятницу проедут,  
Чтобы я пришла, увидимся в окно.  
И металась там — тот поезд или этот,  
А потом сказали, что ушел давно...

Долго-долго не было весточки — и вот  
Прибыла открытка; пишет он: «Я слышал,  
Что белобилетников близится черед,  
Я здоров, и вот уже занял Перемышль...»

Ну же и Менахем! Ну же и вояка!  
Лемберг, Перемышль и другое что-то!  
Но кому всё это надобно, однако,  
Всюду плачут, стонут сироты без счета.

Всюду — боже, смилуйся! — тяготы да лихо...»  
День за днем соседки: «Пишет ли Менахем?»  
И в ответ — ни слова старая портниха...  
Но — вozy тяжелые потянулись шляхом...

На возах — увечные: этот слеп, тот глух,  
Третий, как младенец, марлею спеленат.  
Вопли то и дело надрывают слух,  
Плачут дети, бабы причитают, стонут...

Местными, чужими переполнен шлях,  
И на их толпу глядит она со страхом:  
Этот с деревяшкой, тот на костылях,  
Не таким ли к ней вернется и Менахем?

И Менахем прибыл, сгорбленный, худой, —  
Пробудилась к Эстер во всевышнем жалость...  
«Горе, горе мне! Военный мой портной!  
Чем ты раньше был и что с тобою случилось?»

Боже милосердный! Что с твоей рукой?  
Почему так смотришь на меня угрюмо?»  
— «Пустяки... Отрезали... Обойдусь одной...  
Ну, а что там режут — пряники, ты думала?»

— «Горе, горе мне! Военный мой портной!  
Ты как будто меньше, ты как будто ниже,  
Щеки обросли колючей сединой,  
И как будто треть Менахема я вижу!»

И губами он бумажку из-за пазухи  
Силится достать и кашляет, стыдясь...  
«С беленьким билетом отпустили сразу,  
В чистую отставку вышел я сейчас...»

Беленький билет взаправду, но старуха  
День-деньской терзается, думу затая:  
Вот уж сколько времени о сынах ни слуха,  
Говорят, народ бунтуют сыновья...

Сумерки сгущаются в пасмурном просторе  
Скрытую тревогой и тоской своей.  
«Эта революция — горе мое, горе! —  
Мне назад вернула разве сыновей?»

Нет, она в сиянии крылья распустила,  
Подхватив, умчала эта революция  
С милым Шлойме-Бером заодно Азрила,  
Чтобы не могла я пальцем их коснуться...»

И вдвоем в хибарке сумрачной остались.  
За окном бушуют сутки, как прилив.  
Ножницы, иголка, каганец и старость,  
И Менахем сделался хмур и молчалив.

Тощий фитилек один в ночи мерцает,  
Кочет одноглазый щурится во мглу,  
Свесил гребешок, недвижно созерцая,  
Как хозяин ниткой целится в иглу.

Манекен во мраке хохлится, как ворон.  
Пялится на шлях, на желтые поля,  
Весь он запылится и уж весь ободран,  
И утюг ржавеет, в уголке дремля...

#### ГЛАВА 6

На сорок седьмом от рожденья свалился в неслыханной  
кори  
Почаевский поп, и Почаев, предвидя великое горе,  
Приношенья усердно собирал на одежду для плоти  
христовой,  
И подрясник перелицевать вознамерился поп  
у портного...

И в лачуге Менахема Герша витийствует поп  
спозаранья:  
«Попросторней пусти рукава, — и горланит он,  
бешенством пенясь: —  
Голубей сопрягаеши, аки в священном писанье!»  
— «Упаси меня бог, это он, это младший мой сын —  
отщепенец!»

И сидит, и витийствует поп, и уста истекают елеем:  
«Даже вы, богоизбранные, далеко не такие, как встарь! ..»  
Где-то в сад распахнулось окно, и, за шторой  
узорчатой млея,  
Потной тушей лежит попадья и выводит псалом  
на гитаре...

Задыхается поп: «Наважденье; пред взорами —  
 аки завеса!  
 Потому-то пустить рукава постарайся мне, братец,  
 пошире.  
 Служишь будто бы господу богу, и чуешь повсюду лишь  
 беса;  
 Ну, а ваш-то как смотрит раввин на дела, что  
 свершаются в мире?»

Где-то в городе и на селе колокольная встала тревога.  
 Ветры, как одержимые, кличут по звонницам  
 воспламененным:  
 «Нету, батюшка, бога в Расее, нет больше в Расеюшке  
 бога,  
 Золотые угодыя твои — на потребу мятежным знаменам!»

«Во столице во первопрестольной неслыханное  
 учинилось:  
 И простре непогоду, и глад, и недуги господня десница;  
 И крамола восста на земли, и распутство, и скверна,  
 и гнилость, —  
 Даже вашим евреям теперь благочестием  
 не похвалиться!

Да и ты уж, Менахем, не тот: по нужде я с тобою  
 мирюся!  
 И твои сыновья, говорят, одержимы нечистою силой.  
 Как свозили пшеницу на ток, заметил — пропала  
 Маруся.  
 Блиско царствие божье: о нем каждым камнем земля  
 возопила!

Вот, бывало, весной: запашу десятинки под просо,  
 к Успенью  
 На базар отвезет попадья, распродаст — и живем,  
 не жалея:  
 В закромах — и пшеница, и рожь, и ячмень, и овес —  
 загляденье!  
 А теперь — до зерна отберут: ну, а кто? — да, конечно,  
 евреи!





По ночам из окрестных логов, из дубрав, из степей  
одичалых  
К привокзальным поселкам ползут опасенья, тревога,  
тоска...

От зари до зари по стране пролетает в обнимку  
с ветрами:  
«Севастополь! Архангельск! Мятаж!» И, в четыре конца  
вострубя,  
Исступленно гремит: «Петроград! Смольный! Зимний!  
Бои с юнкерами!  
Всем! Всем! Всем!» — и ревком объявляет верховную  
властью — себя!

Куртки кожаные, зипуны, гимнастерки, шинели, бушлаты,  
Миллионы напряженных плеч даль оттесывают,  
как гранит.  
На Париж, на Берлин и на Рим через Вислу, Дунай  
и Карпаты! —  
От полярных до южных морей исступленным призывом  
гремит!

Но в подряснике траурном поп одиноко бредет  
по перронам  
И степные сухие ветра на ходу осеняет крестом:  
«Где тут постный найти пирожок? — про себя причитает  
со стоном. —  
Покручиниться надо за паству заблудшую долгим  
постом!»

Где-то в городе и на селе колокольная встала тревога.  
Ветры, как одержимые, кличут по звонницам  
воспламененным:  
«Нету, батюшка, бога в Расее, нет больше в Расеюшке  
бога,  
Золотые угодыя твои — на потребу мятежным знаменам!»

В переулке дремлет старая криница,  
 Как худой журавль с поджатою ногой.  
 Городишко тесно стиснули границы,  
 Задохнулся тракт, простерт, как труп нагой.

Особняк Рахмила — через весь квартал.  
 Словно идол, он раскрашен, размалеван.  
 До сих пор не знают, сколько он сожрал  
 Хрустких ассигнаций, звона золотого.

Особняк сверкал зеркальным переливом.  
 Рядом с ним лавчонки — одна другой старей.  
 Особняк среди них вознесся горделиво,  
 Как богач Рахмил среди жалких крамарей.

А теперь намок тягучим клеем дом.  
 Чешуей приказов наглухо одет он. . .  
 У подъезда жители толкуют об одном:  
 «Что ж это, реб Эйзеп? Что же значит это?»

Эйзепу в лицо уставясь бородами,  
 Требуют: «Скажи, где правда, где обман?  
 Что тут про войну? Что дальше будет с нами?  
 А насчет земли, — так это для крестьян. . .»

И уходят прочь, и прибавляют шагу.  
 «Ну и слава богу, лишь бы не война. . .»  
 Эйзеп нараспев дочитывал бумагу,  
 Словно возглашал с амвона письмамена.

Дом как будто зыблется, чешуей одетый.  
 Ветры рвут, скребут, сгребают, но опять  
 Шелестят на стенах новые декреты,  
 И не могут ветры с ними совладать.

Вверх стремится дом, вот сдвинулся он с места,  
 В камни лихорадка молотами бьет.  
 И просторно в нем, и все-таки в нем тесно,  
 Он раздался вширь, и ввысь его несет.



Третьим этажом дорос до облаков он.  
Тесно в нем, но нет — совсем свободно в нем!  
Он, как бы броней, приказами окован.  
Особняк Рахмила занял «ИСПОЛКОМ».

На подводах днем крестьяне подъезжают,  
На подводах к ночи едут по домам.  
Кругом голова. . . иль крыши вкруг летают? . .  
Эйзеп не поймет, что делается там.

«Где ж богач Рахмил? Его не видно что-то!  
Разрисован дом, куда ты ни взгляни.  
Что и говорить! Отменная работа!  
Это всё портняги, это всё они!»

А Рахмил скорбит: конец, конец всему:  
И особняку, и гуте семикрылой.  
Маклер, словно воздух, нужен стал ему,  
Входит ночью маклер утешать Рахмила.

Говорит Рахмил: «Садись, будь гостем, Эйзеп.  
Сам не понимаю, как я только жив?  
Если б заболеть, лежать в горячке если б  
Иль к чертям собачьим с ног свалил бы тиф,

Чтобы я оглох, ослеп для всех событий,  
Чтоб навеки сердце замерло в груди. . .»  
Утешает Эйзеп: «С этим не спешите!»  
Утешает Эйзеп: «Это впереди».

Смотрит на Рахмила, а потом на стены. . .  
«С дочкой вроде Серки — жизнь была б не та! . . .»  
У Рахмила гневом набухают вены:  
«Суета всё это, дети, суета. . .»

И ему не спится, — днем и ночью тужит.  
Верит и не верит он молве людской:  
В киевской Чека, по слухам, Серка служит,  
Щеголяет Серка в кожанке мужской.

Вести беспокойные бродят по базарам,  
Страхи, слухи, новости ползут со всех сторон:  
Красный бронепоезд подоспел недаром,  
И не зря у Серки собственный вагон. . .

Душит гнев Рахмила: «Знать хочу я, Эйзеп,  
Рады, что ль, собаки, что растоптан я?  
Если б заболеть, лежать в горячке если б,  
Если бы сыпняк добрался до меня,

Чтобы я оглох, ослеп для всех событий,  
Чтоб навеки сердце замерло в груди! . . .»  
Утешает Эйзеп: «С этим не спешите!»  
Утешает Эйзеп: «Это впереди!»

На базаре мусор бесприютных будней,  
Конского помета, рвани и заплат. . .  
Ветер всё разбойней, город всё безлюдней,  
Ветер по базару мчится наугад.

Всё бы рылся в бочках, в стружках бы, в шпагате б,  
Только нет поживы от голодных дней.  
Здесь одни лишь гнезда для вороньих свадеб,  
Нищета базара, грузный дом пад ней. . .

Челюстью, навывлет раненной, свисает  
Над его подъездом сломанный балкон.  
Скоро сам Рахмил, быть может, не узнает  
Дома своего — так изменился он.

Он давно ль вознесся, отстранив домишки,  
И в простор небес уперся потолком,  
А теперь трепещет красный флаг на вышке,  
Над подъездом светится слово «ИСПОЛКОМ».

Второпях живут. А в чем нехватка — ладно!  
Стекла? И без стекол дом глазастым стал.  
В ребрах, словно мыши, пули рыщут жадно.  
Трижды он горел и трижды не сгорал.

Лишь печные трубы вытянулись выше,  
Черными ноздрями в дом ветра вдыхать.  
Пули в ребрах спят, притихшие, как мыши,  
И шуршит воззванье: «Голосуй за № 5!»

Кто не поджигал и летом и зимою?  
Здесь любая брешь, как рана, глубока. . .  
Снова чистят дом, его скребут и моют,  
Словно он очнулся после сыпняка.

Распахнулась дверь. Шумят, кричат, бегут, и  
К поясу у каждого пристегнут револьвер.  
«Из шлифовочной, — следит Рахмил, — из гуты,  
И главарь у них — разбойник Шлойме-Бер».

Настежь окна. Видны кожаные спины,  
Радостные лица, блеск зубов и глаз.  
Слушает Рахмил, седые брови сдвинув,  
Как один из них читает вслух приказ:

«Пролетариату, армии, крестьянам,  
Гражданам, гражданкам городов и сел. . .»  
Вторит вслух Рахмил в оцепененье пьяном,  
Но очнулся, вздрогнул, дальше отошел. . .

Хочет разобраться и стоит, не дышит.  
Но чего же ждать? Каких еще обид? . .  
Вдруг он громкий голос Шлойме-Бера слышит:  
«Скоро пустим гуту», — бунтовщик кричит.

Как его слова Рахмилу сердце ранят!  
Призраком конца они дрожат в окне.  
«В армию пойдут рабочие, крестьяне,  
Армия опорой будет всей стране. . .»

А Рахмил — в тени. Его и нет как будто.  
Нахлобучил шапку на морщины лба.  
Но за ним следит труба закрытой гуты,  
Видит скорбь Рахмила черная труба.

На базаре мусор безысходных будней,  
Лучших лет Рахмила, — дорогой товар!  
Ветер всё разбойней, город всё безлюдней,  
Разузнать бы ветру, чем богат базар? . .

Тихо дни ползут, беспомощны и хмуры,  
Но звучит вдали победный, вольный гимн. . .  
На базар выходит реб Рахмил понуро:  
«Кто же завладел особняком моим? . .»

Он глядит на дом, тот смотрит на Рахмила,  
А Рахмил чуть жив, и стон в груди комком.  
«Все за № 5!» — воззвание гласило.  
Дом во весь свой рост нарекся «ИСПОЛКОМ».

#### ГЛАВА 8

Таяли сугробы, набухала речка.  
Сонмище крестов с погоста в гости шло.  
Грозною весною спугнуто местечко,  
Здесьним не на радость вешнее тепло.

Крыши в пышном снеге, тяжкие такие.  
Утром снег растопят жаркие лучи,  
И домишки вздрогнут — ветхие, нагие,  
Хочешь — расстреляй, а хочешь — растопчи.

Где-то рвутся шлюзы, где-то лед грохочет,  
Где-то пьяной пеной падает прибор. . .  
Но местечко словно и весны не хочет.  
Темный страх владеет хатою любой.

Дни палиты далью, как вином бутылки,  
В них багровой пробкой — солнца плотный ком;  
Кто сюда придет на лето и навывлет  
Дни, как днища, выбьет крепким кулаком?

Вот спадут морозы, стает снег, — от станций  
Станет путь свободней, и качнется день:  
С пилами, с ломами ринутся повстанцы,  
Вывьются громилы местных деревень.

Мчатся поезда. Толпа бредет с вокзала,  
Как немое скопище ноющих сердец.  
«На пути у нас одним уж меньше стало».  
Рядом прозвучало: «Всем один конец!»

Но в одном домишке — дружное веселье,  
Пусть притихла полночь и кругом ни зги.  
«Поздравляем, братцы! В бой готовы все ли?  
Меткой пули вашей заждались враги!»

Меркнет свет в окошке, догорает печка.  
Распевают гости — много ль жить дано?  
Здесь собрался нынче весь ревком местечка,  
Здесь одна душа, и сердце здесь одно.

Словно полоснуло молнией по коже,  
Шлойме-Бер кричит, раскачиваясь весь:  
«Заседанье здесь последнее, быть может;  
Может быть, когда-нибудь встретимся не здесь!»

Ходит строгий, смотрит в окна поминутно,  
То раскроет ставни, то закроет их.  
Распростерлись версты тяжело и мутно,  
Звездный взор в тумане, как прощанье, тих.

«Надо разделить обязанности, надо  
Подготовить всё: должно к рассвету быть  
Продовольствие для фронтовых отрядов,  
До зари дозоры все распределить!»

Шлойме-Бер умолк, но город гулом полон,  
И несется чей-то исступленный крик.  
Шлойме-Бер умолк, и к ставням подошел он, —  
Показалось — кто-то за окном возник.

Никого. Но сумрак напряженно-гулок.  
Стережет. Шпионит. Выдает. Таит.  
Каждый дом проверен, каждый переулочек —  
Мрак и тишина надгробных плит.

Наступивший день темнеет, еле начат,  
И опять местечко под ночью тьмой. . .  
Крики. Суета. Поют ли, или плачут? . .  
Поезд повернул на путь седьмой.

Уж чего-чего, а горя до отказа!  
Старый паровоз гудит на все лады.  
Горе да обида. . . что ж так много сразу?  
И зачем местечку столько верст беды?

Вы на слом пойдете, улочки, проулки.  
Горе вам, о, горе! Плач на много лет.  
Вздрагивают хаты, слыша грохот гулкий.  
Шлойме-Бер! Азрил! Но их обоих нет.

Ночь — покрывало  
Боли и ран.  
Бродит устало  
Хмурый туман.

В поле унылом  
Темень и жуть.  
Шлойме с Азрилом  
Тронулись в путь.

Что им колючий  
Холод и мрак,  
Острые кручи,  
Скользкий овраг!

Только что в доме  
Были — и нет,  
В смятой соломе  
Виден их след.

Гонят их ветры  
Взмахами крыл.  
Где, Шлойме-Бер, ты?  
Где ты, Азрил?

Стоны, песни, крики, ветер, хохот — вместе.  
Ветхие домишки сотрясает пулемет.  
«Революция!» — кричат. Что знает Эстер?  
Их местечко льдиной по земле несет.

В дом вбежала Эстер, на стены кидалась,  
Окна распахнула — ветер взвыл в избс.  
Руки, словно крик, простерла: «Где ж ты,  
жалость?»  
Сердится Менахем: «Рано выть тебе!»

В окнах дрожь дождя, в полях темно и наго.  
Бешеные всадники носятся окрест:  
«Сыновья твои в большевиках, портняга,  
Ты за их коммуны сядешь под арест».

«Нет у нас детей, моей отведу кровью!  
Милостивцы, сжальтесь, голова моя седа!  
Не хотите ль кушать вы? На доброе здоровье!»  
— «Правды не добыть у подлого жида!»

Твой меньшей известен. Стеклодув патлатый!  
И второй не скроется, — разыщем без труда.  
Ты из шкуры их к моим штанам заплаты  
Сам же и пришьешь, как приведем сюда.

Вышвырнем твой труп собакам на съеденье.  
Ну-ка сотвори-ка знаменье креста! . . .» —  
И в глазах Менахема угасает зренье,  
И в глазах у Эстер — дымкой слепота.

---

. . . Шлойме-Бер тайком увел коня в местечке,  
Вороную лошадь, и летит стрелой.  
За оружием мчится через лес и речку,  
От сиянья глаз его на пути светло.

Тучи всё темнее, а дорога хуже,  
Шлойме-Бер несется, саблею звеня,  
На скаку поводья натягивает туже,  
Шепотом торопит умного коня.

Мчится Шлойме-Бер. Он голос брата слышит.  
Ты один, Азрил, с врагами — грудь на грудь!  
Конь, скачи быстрее! Сердце, бейся тише!  
Как сполохи, крики озаряют путь.

На сосне Азрил. Сочится кровь из раны,  
Но проворны руки и наган горяч.  
Ранен в правый бок, и кровь ползет в карманы.  
Шлойме-Бер всё ближе, мчится, мчится вскачь.

На сосне Азрил. Стреляют снизу трое.  
Исступленный треск простреленных ветвей.  
Шлойме-Бер уж здесь и, меткой пулей кроя,  
Напавал троих. . . «Слезай, слезай, живей!

Это я! Слезай! — И сердце трепетало. —  
Торопись, Азрил, мы скроемся ползком.  
На седьмом пути у нашего вокзала  
Замертво лежит порубанный ревком».

Город окружен. Из центра нет известий.  
Трупы на пути — плечо к плечу, подряд.  
Пристрелил он лошадь, уложил на месте,  
И ушли во тьму, куда глаза глядят.

---

. . . Дни летят неслышно, журавлиной стаей,  
И от белых клювов — красной нитью кровь.  
А давно ли здесь, оружием блистая,  
Бились, отступали, нападали вновь?

Нынче лишь дороги душной пылью дышат,  
Снятся им всё те же тягостные сны:  
Буйный вихрь огня, дымящиеся крыши. . .  
Пыльные дороги сном угнетены.

По дорогам ветры завывают, будят.  
В них кинжалов блеск и молнийных секир.  
Шире вы, дороги! Здесь иное будет!  
Юношам навстречу выступает мир.



Среди желтых мелей Днепр большой синееет,  
И плывут, как бревна, по Днепру евреи.

Позади Чернигов, впереди — пороги.  
Ветер подымает зыбкие дороги.

Ветер опускает голубые тони.  
Волны-гайдамаки, и куда вас гонят?

В колокол ударив, ураганы рыщут,  
Да в крестах рогатых поднялись кладбища. . .

Днепр ревет, вздыхает, тяжелой мути полный.  
Сюртуки и шапки носятся по волнам.

Крашенные ставни, горница худая,  
В тишине живете, горя не встречая!

Кабачки раздеты — двери всюду настезь;  
Черное и злое пронеслось ненастье.

Эй, шинкарь, шинкарка, коржиков горячих!  
Коржиков субботних! Гайдамаки скачут!

На волне качаясь, спят шинкарь с шинкаркой,  
Головой кивают: «Не угодно ль чарку?»

Но во славу божью допиты стаканы.  
Пусто. Тостов нету. Сыты все и пьяны.

И плывут устало, и плывут куда-то,  
Словно на телегах с ярмарок богатых. . .

Спрашивают встречных: «Едете откуда?»  
— «Отовсюду много, слава богу, люда».

И плывет старуха, уносимая волною,  
Не на рынок шумный, а за отходною.

Но раввин смеется. Он без омовенья  
Не толкует текстов, не вступает в пренья.

У жены раввина волосы копною.  
Днепр жену раввина к празднику омоет.

Где-то всё ж суббота. И евреи всё же  
Ждут и не дождутся. . . Упаси нас, боже!

Путь днепровский долог, до ночи далёко:  
Времени довольно вам добраться к сроку.

Не настали будни, и грешно работать.  
И никто не плачет — каждый чтит субботу.

Стеклами слепыми смотрит синагога.  
Правила блюдите — славословьте бога!

Днепр созвездья прячет — не видать созвездий,  
Вести он приносит, из губерний вести. . .

И несет латальщиков синее волненье.  
Праведник и грешник — все без омовенья.

Бороды и пейсы разрослися пышно.  
«О еврейском боге ничего не слышно?»

Божья мать плавучий возглавляет поезд.  
Руки указуют, руки словно повесть:

«С богом разделила приснодева ложе.  
Пухленький был мальчик и толковый тоже!»

Но плывет невеста с остальными вместе —  
Для чего стыдиться остальных невесте?

Жметя, как к заборам, к берегам и мелям.  
Старые законы так ей повелели.

И река кровава. И закат над нею.  
И плывут на Киев взбухшие евреи.

Сходят поднебесья, опершись на воду.  
Все встают в одеждах, рваных от похода.

Банщики, равнины, матери и дети —  
Все встают навстречу поднебесьям этим.

Небеса, ступайте, расскажите богу,  
Что за всё спасибо госпóду премного.

Не на рынок сытый их несет теченье.  
Все без покаянья, все без омовенья.

Свой есть путь у неба. В знойном небе тучи.  
Не вкушать от трупов Иегова нас учит.

. . . . .

У окна портного ржанье лошадей.  
Галифе и френчи шей, Менахем, шей!

Он кроит и гладит — сколько суеты!  
Шлойме-Бер, ты где же, и Азрил, где ты?

Их обоих нету, нету и других,  
Где-то за местечком путь проходит их.

Там четыре тракта, и сошлись дороги:  
Две — для уходящих, две — для тех, кто входит.

И на каждом тракте всё разорено:  
Каждым шел Петлюра, каждым шел Махно.

Бьют не в такт подковы, седла как качели.  
Лишь Махно убрался, белые влетели.

Ехали, держались на седле едва:  
«Гайда вы, евреи, гайда, жидова!»

Над колодцем в небе висельников много.  
Может быть, расспросишь, как, куда дорога?

Кто ж о них расскажет, их помянет кто же?  
К нам большой прибудет атаман, быть может.

---

Пыль подымается из-под копыт,  
Черная стая по шляху летит.

Всадники в город влетают чуть свет.  
«Кто в этом городе? Жителей нет?»

Цокот копыт приглушает туман.  
Сотня бандитов, один — атаман!

Город давно заколочен и мертв.  
Влетел атаман, неприступен и горд.

Приказом, как саблей, блеснул на коне:  
«Живо, точильщиков кликнуть ко мне!»

Площадь базарная в черной пыли.  
Точильщики вышли, на площадь пришли.

Их сосчитал атаман, и потом  
Слово его прогремело кругом:

«Мало точильщиков! Еще, да быстреей!»  
— «В городе есть точильщик еврей».

«Кликнуть еврея!» — кричит атаман.  
Рдеет над гривой багряный жупан.

Точильщик прощается с нищей семьей;  
Заныл и качнулся станок за спиной.

Камень точильный, искрясь, побежал:  
Точит для города синий кинжал.

Вправо и влево снуют лезвия:  
Каждому домику доля своя!

И атаман заскучал по клинкам:  
Время кинжалы пустить по рукам!

Хочешь не хочешь — точи всё равно,  
Свечи зажжем, коль работать темно!

Живо, точильщик, работу гони,  
Должен быть острым кинжал для резни.

Молнию держит точильщик в руке,  
Стонет не слышно еще в городке.

Ох и резня прогремит по дворам!  
Вдребезги — камень! Станок — пополам!

Тьма наклонилась над домом глухим.  
Плачет ребенок. . . Что сделаешь с ним?

Ты придуши его, он замолчит,  
Меньше одним будет в мире обид!

Смотрит ослепший оконный косяк.  
Скачет в карьер запоздалый казак.

Город давно заколочен и мертв,  
Но атаман неприступен и горд.

И атаман приближенным сказал:  
«Ведите еврея проверить кинжал.

Что ж, аль евреев не хватит на всех?»  
(Стынут дома от крылец до застрех.)

Старец, ребенок — не всё ли равно?  
Пробуй кинжал, а кровь как вино!

Жупан атамана тяжел и багрян.  
«На конце — поострее!» — кричит атаман.

«Поди-ка, точильщик, — скрежещет в упор, —  
На тебе испытаю — иль вправду остер?»

Точильщики брызжут на камни слюной,  
Кого-то уже волокут стороной. . .

Согнулся точильщик, и в горло свое  
Слева направо вонзил лезвие.

. . . . .

Где Шлойме-Бер? Где Азрил? Атаман  
Смотрит с коня в повечерний туман.

---

И рванулся в путь-дорогу Шлойме-Бер,  
И пошел по улице с парнями.  
Слышишь? — где-то всадники летят в карьер,  
Вслед за ними по местечкам брызжет пламя.  
И рванулся в путь-дорогу Шлойме-Бер.

И залился птичьим свистом Шлойме-Бер,  
И слетелись парни голубиной стаей;  
Сгоряча к руке метнулся револьвер,  
Над дорогой у местечка вырастай,  
Жег друзей дыханьем жарким Шлойме-Бер.

Лоб нахмурен, шапка сдвинута назад,  
Рыжей кожей подпоясана рубашка,  
Нож за пазухой, где сердце бьется тяжко,  
Пальцы словно из железа, верен взгляд,  
И слова его, как выстрелы, разят.

Над местечком пьяная шатается печаль,  
Трубы плачут и хрипят под небом серым,  
Где-то блещет острых сабель злая сталь,  
Где-то всадники летят стальным карьером,  
Им навстречу Шлойме-Бер выходит в даль.

«Ох, несчастье принесет нам Шлойме-Бер!»  
К небесам евреи плач возносят тихо,  
И стучатся в покосившуюся дверь:  
«Гнев господний накликать твой сын, портниха,  
Обормот и голубятник, Шлойме-Бер!»

Где ж Азрил? Он проникает в тыл к врагам,  
Чтобы выследить пути и тропы боя,

Часто ходит он дорогою степною  
К тем соломенным местечкам, скрытым тьмою,  
И толкует с Шлойме-Бером по ночам.

К Шлойме-Беру пробирается Азрил.  
Ни одна душа о встрече их не знает.  
Полночь встретит, день Азрила провожает.  
И пришел Азрил однажды, сообщил:  
«Приготовьтесь! Нынче ночью час пробил!»

От корчмы и до корчмы дозор впотьмах.  
От деревни до деревни бродит рота.  
Там казаки разбудили древний шлях,  
Там поляки потревожили болото.  
Шлойме-Бер, как птица, мчится при звездах.

Скачут всадники, как вихрь, со всех сторон,  
Скачут всадники по шляху на местечко,  
Каждый всадник буен, весел и хмелен.  
Их встречает бешеная речка,  
Провожает колокольный звон.

Поискрошены на тропах кирпичи,  
Как надгробья, все домишки принагнулись.  
Ветер плачет-надрывается в печи:  
«Мчитесь, всадники, вдоль этих темных улиц,  
Страх несите им, и пламя, и мечи!»

К спящей хижине сквозь ветреную ночь  
Одичалый всадник скачет звонко,  
Рвет, как ветер, старый ставень прочь:  
«Дай сюда, еврей, любимого ребенка,  
подавай сюда единственную дочь!»

Мужики выходят с вилами в руках.  
Дымной полночью дороги ждут в истоме.  
Синий свет сквозит на скользких топорах.  
Горе беженцам, бредущим на Житомир!  
Всю округу душит темный страх.

Но ребята на дороге залегли —  
Кто с винтовкою, кто нож в руке сжимает.  
Шлойме-Бер змеей крадется у земли,  
Ломаным зигзагом подползает —  
И поверженный казак лежит в пыли.

Что ты гнешься, дед, под тяжестью мешка?  
Ты куда? Ночная темень глубока.  
Все бегут, бегут издалека,  
Из местечка, где незримая рука  
Поразила насмерть казака!

«Нам велели оживить его,  
Нам велели заменить его,  
С лошадью, с военным снаряженьем. . .  
Если казака мы не заменим,  
Всех зарубят! Всех, до одного!»

Всё местечко, от юнца до старика,  
Убегает, улюлюкает — и снова  
Крик пронзительный ныряет в облака:  
«Оживи да приведи коня такого!  
Оживи да приведи им казака!»

Синагога, баня, кладбище и лавки  
Захлебнулись, утонули в этой давке.  
Все бегут. Мужья и жены, стар и млад —  
Все бегут, бегут, скользят, летят  
Дымной полночью — куда глаза глядят.

Взорван мост. Плывет щепка вдоль берегов.  
Дым пожара над местечком колобродит.  
Только стены остаются от домов.  
«Говорят, сечевики уже подходят,  
Горе тем, кто на пути сечевиков».

Ворвались передовые, как буран.  
Атаман вослед горнисту бурей мчится,  
А в руке свистит нагайка, шашка злится.  
«Пусть немедленно представят мне девицу», —  
По стенам приказ расклеил атаман.



Тишина, и в мертвом бденье жгут огни  
Удальцы из дикой шайки атамана.  
По местечку рыщут, свищут стаей пьяной,  
По домишкам ищут первенцев они,  
Что сражались на дорогах в эти дни.

Гаснут лампы. Не дает стрельба покоя.  
Вышли матери детей опознавать в метель.  
Мягкий снег кружит с рассвета, землю края,  
И на рынке, под вороний гомон — трое  
Принимают снежную постель.

Трое дремлют — дни и ночи напролет.  
Укрывает их лебяжий снег и лед.  
Стаи воронов совсем осатанели.  
Пусть вороний грай не тронет их постели,  
Конский топот сновидений не прервет!

Окна — вытекшие очи, и разбит,  
Словно череп, каждый дом убогий.  
Шлойме-Бер бежит по бешеной дороге,  
И раввин, без шапки, возле синагоги,  
Будто пьяный на морозе, крепко спит.

Над местечком реет пепел, горше слез.  
И могилы и базары перерыты.  
Лкшъ юродивый блуждает — наг и бос;  
Побоялись пристрелить его бандиты,  
Он обнюхивает воздух, словно пес.

Балки молятся — и стон плывет во мрак,  
Спит криница, как заброшенная печка,  
И заборы скалят зубы на большак:  
«Что за буря здесь разрушила местечко?  
Что за буря погасила здесь очаг?»

#### ГЛАВА 10

В доме реб Рахмила, огонь купая в жире,  
Свечи предсубботные разгораются, треща.  
Сыновьям четыре, дочерям четыре,  
Каждому ребенку особая свеча.

Стол восьмью шандалами запряжен, косматый  
Огонь их грив колеблется, озаряя мглу.  
Робким жеребенком несется к ним девятый,  
Но внезапно гаснет на пути к столу.

Девятый был из меди — изогнутый, — хоть спрячь  
его.  
Свеча в нем гасла раньше, чем в остальных восьми,  
То шандал за Бенчика, за ребенка младшего,  
Отпрыска недужного Рахмиловой семьи.

На восьмые сутки взяли из-под полога,  
Вырвали ребенка, куда-то унесли.  
Ныла мать и плакала, горевала долго,  
И дрожал за пологом материнский всхлип.

Люди в день обрезанья в городе судачили:  
Мальчик обескровлен, молитвам вопреки.  
И такие уши у него прозрачные,  
И такие ноги, будто стебельки.

Борода Рахмила как жирная квитанция  
На товар, что всюду развозят поезда.  
«Восемь добрых отпрысков у меня останется,  
А девятый с браком — это не беда».

Разве всё упомнишь в сутолоке лавок, —  
Мельница, подряды, гута и завод,  
И больной ребенок ко всему вдобавок.  
Это разве ножки? Что это — живот?

А жена пристала: «Это ж наказание!  
Почему такой ребенок? Почему?»  
Осерчал Рахмил: «Так что же? Обрезанья  
Я не должен делать сыну моему?»

Будет жить иль нет, зачем гадать должны мы?  
Если будет — будет! Если нет — так нет!  
И последыш жалкий, Бенчик нелюбимый,  
Обойденный всеми, рос тринадцать лет.

Был он божьей карой дому реб Рахмила,  
Не имел он места у семейного стола.  
Серка с ним возилась, по пятам ходила  
До тех пор, пока из дома не ушла.

Рос он на задворках, и глухою ночью  
Ненависть посеял в нем родимый дом.  
Но любил он Серку, и, тоскуя, молча  
Дал зарок он дому отомстить потом.

А когда по праздникам к Рахмилу наезжали  
Дочери, невестки, внуки и зятя,  
Бенчика и Серку никогда не звали  
В зал, где обжиралась жадная семья.

Полюбили Бенчика солдаты-постояльцы.  
Бенчик на посылках — чуть забрезжит свет.  
Восковые уши, тоненькие пальцы,  
Как-никак, а прожили уж тринадцать лет.

Солдатские запевки летают, словно вороны,  
Шныряет вокруг местечка бандитская орда.  
Глядит угрюмо Бенчик на все четыре стороны  
И уходит из дому неведомо куда.

Порошей слово «проше» запорошило город,  
Для штабных Рахмил отвел второй этаж;  
Он бродит возле дома, как соучастник гордый:  
«Во что же превратили бандиты город наш!»

Рахмил в ладу с начальством. О мельницах, о коже,  
О гуте и о «красных» толкует нараспев.  
«Он у поляков свой! На что это похоже?» —  
Евреи местечковые твердят оторопев.

Вещают кого-нибудь — местечко всё в движенье.  
Плач стоит в домишках. . . Из последних сил  
Бегут к Рахмилу матери вымаливать спасенье.  
«Хватит с нас бандитов!» — отвечает Рахмил.

В доме у него беснуется орава,  
Пьянствуют поручики вокруг стола большого.  
Евреи говорят: собирается в Варшаву,  
У него там связи. . . разбогатеет снова: . .

Льются в дом ликерные и водочные реки,  
Пьянствуют поручики, веселятся спьяна,  
А Рахмил над рюмкой подымает веки:  
«Шампанское на славу! Заграница — проше пана!»

Дзыгой маклер вертится, услужливый донельзя,  
Почему-то страх всегда его томил, —  
И сейчас тревожно раздумывает Эйзеп:  
«Рахмил с панами снюхался. Забылся реб Рахмил».

Поделено местечко поляками и красными,  
Поровну расчерчены проселки и пути.  
И мечтает Бенчик: дорогами опасными  
Он подастся в Киев, чтоб Серку там найти.

Бенчик размышляет: за телегой следом,  
Не видимый никем, пройдет сквозь ночь и тьму.  
Слышит он — бандиты шныряют в крае этом.  
Может быть, до Серки не добрести ему?

Он идет полями. Храпят шальные кони.  
Прорваны фронты. Граница дребезжит.  
Он глядит назад. Не слышно ли погони?  
Нужно падать — падает, пора бежать — бежит. . .

Где-то здесь измученные беженцы шагали,  
Может быть, бедняге дальше не пройти.  
Ветер поднимает на дорогах вой шакалий.  
Все пути скорезены, смешались все пути.

Раздумывает Бенчик: «Куда теперь пойти мне?  
Направо иль налево? Вперед или назад?  
Все пути-дороги не имеют имени,  
Все пути-дороги опасности таят. . .»

Высохла гортань. Кто знает, где граница?  
Воют паровозы, свистят со всех сторон.  
Вот стоит домишко, рядом с ним криница.  
Душит жажда Бенчика, но боится он.

Он побрел на свист, согнув худые плечи.  
«Этот поезд, может быть, до Киева дойдет.  
Свистнул бы еще раз — мне сразу б стало легче. . .»  
Где-то псы залаяли, размычался скот.

И помчался Бенчик, вскидывая ноги,  
Псы сторожевые вслед за ним скользят.  
Бенчик задыхается, не узнает дороги:  
Куда ему податься? Вперед или назад?

«Стой!» — он вдруг услышал. И всадник на дороге —  
Орел над козырьком: «Ты кто? Откуда? Стой!»  
— «Домой бегу». — «За мною! — приказывает  
строгий,  
Спросонья сиплый голос. — Есть сахарин с тобой?»

Всадник соскочил с коня стрелы быстрее  
И полой шинели зацепил седло.  
«Карманы выворачивай! Путешествуют евреи!  
Ну, иди живей, тебе сегодня повезло».

И Бенчик вдаль пошел. И переходит поле.  
Идет красноармеец ему наперерез.  
Застегивает брюки и говорит: «Отколе?  
Да ты уж не шпион ли? Ты как сюда пролез?»

Покури! Не брезгуй советскую махоркой!  
Табак варшавский лучше? — И парня обыскал.  
На языке у Бенчика тревоги привкус горький. —  
В штабе всё расскажешь. Иди! Чего ты стал?»

Зашумели сосны. Ветер клонит рощи.  
Речка серебрится, что кинжал колючий.  
С красноармйцем рядом шагает Бенчик тощий.  
«Нравятся Советы? Иль у поляков лучше?»

У портного траур. В доме не осталось  
Никого. Лачуга подавилась верстаком.  
Старуха мать блуждает. Ее томит усталость.  
В заплатанных окошках мелькает день за днем.

## ГЛАВА 11

Как будто рваных чемоданов груда,  
Домишки жались жалкою толпой, —  
Быть может, кто-нибудь их унесет отсюда,  
Быть может, кто-нибудь их увезет с собой.

Шла битва. Отступленья и атаки.  
Что говорить — горячие деньки!  
Здесь были немцы, были здесь казаки,  
Легионеры и большевики.

А нынче тихо всё. Спешить не надо.  
Лишь ветер свищет, ливень бьет взхлест.  
Прижались к рынку ржавую оградой  
Еврейское кладбище и погост.

Домишки — рваных чемоданов груда,  
А крайний — он не лучше, чем любой,  
Всё ждет, что кто-нибудь его возьмет отсюда,  
Быть может, сжалится и заберет с собой.

Там ходики хрипят, не прерывая счета,  
И дремлет, от тоски окаменев,  
С подсвечниками в головах, суббота  
И слушает сквозь сон молитвенный напев.

В углу сидит старушка; скорбным взором  
По выцветшей стене скользя,  
Прислушивается: часы замолкнут скоро,  
И до звезды их заводить нельзя.

Она склоняется над книгой старой,  
Окружена вечерней тишиной.  
«Три ангела пришли, чтоб лоно Сарры  
Благословить, и чаши ни одной

Не тронули, — но чаши опустели. . .»  
А сыновей любимых нет и нет!  
Она сидит всю ночь, не подходя к постели,  
И взгляд скользит с портрета на портрет.

«Нет утешения моей печали.  
Азрил и Шлойме-Бер, родные сыновья!  
Вам степи дальние могилой стали.  
О, если бы за вас могла погибнуть я!»

Она глядит на ветхие страницы —  
Быть может, хоть они помогут чем-нибудь.  
И слезы увлажняют ей ресницы,  
И вновь пред ней печальный долгий путь. . .

Азрилу, старшему, сравнялось восемнадцать.  
Портняжил. А досуг со скрипкою делил.  
Бывало, скажешь: «Толку не дождаться.  
Кто за игру заплатит, мой Азрил? . . .»

В субботу вечером начнет, бывало,  
Играет до рассвета — сам не свой;  
К окну портного шел народ усталый,  
И каждый умолкал, качая головой.

В звучанье скрипки — гордость и отвага,  
Рыдает буря, светится заря. . .  
«Как он играет, Азриель-портняга!  
А шьет! Он мог бы шить на самого царя!»

Меньшой же, Шлойме-Бер, лишь с голубями  
знался,  
Не склонен был к шитью, учиться не желал.  
Однажды в детстве он на небо зазевался  
И на рогах коровьих побывал.

Тогда к стеклозаводчику на гуту  
Отвел его отец. Как жарко было там!  
Вернувшись к ночи, сын через минуту  
По лестнице взбирался к голубям.

Как звезды белые, они кружат над крышей. . .  
Кто приготовит голубям обед?  
Пусть бог услышит вас, летите выше.  
Азрила нет, и Шлойме-Бера нет.

И голубятня стала хмурой, черной.  
В невымытых чашечках — сухой помет.  
Лишь ветер голубям порой забросит зерна,  
Лишь дождь порой водицы им нальет.

Стенайте, голуби, ведь Шлойме-Бера нету,  
Пшеничных зерен некому достать!  
Как в детстве, на небо он загляделся где-то,  
И пуля в грудь впилась, и мальчику не встать. . .

Бывало, ссорятся они между собою:  
Так было с малых лет у них заведено.  
Азрил кричит одно, а Шлойме-Бер другое,  
Один из комнаты, другой ему в окно.

Чуть солнышко взойдет и крикнет первый кочет,  
Взберется Шлойме-Бер на крышу с чердака,  
С водой и зернами средь голубей хлопочет,  
И сыплется известка с потолка.

«Сойдешь ты с крыши? Нет? Ты слышишь, или уши  
Пометом заложил, иль одурел совсем?  
Вот я тебя! — кричал Азрил. — Послушай!» —  
И свадьбу голубей подглядывал меж тем.

Но вот куда-то записались вместе,  
Забыты голуби, и замолчал смычок.  
Днем на маневры ходят, ночью песни  
Вполголоса поют, и жарче пламень щек.

Все ночи шепчутся, а днем уходят снова,  
Чтоб запоздно прийти. Так — несколько недель.  
«Товарищ Шлойме-Бер», — один зовет другого,  
И тот ему в ответ: «Товарищ Азриель!»



Но сердится Азрил и топает ногою:  
«Товарищ Шлойме-Бер, ты не гляди в окно!  
Поешь ты про одно, а смотришь на другое.  
Тебе что голуби, что песня — всё равно!»

И Шлойме-Бер, переменясь мгновенно,  
Петь со слезами начинает вновь:  
«Клянемся звездами отдать борьбе священной  
И нашу молодость и нашу кровь!»

И вот они ушли. Она ли позабудет!  
«Мы утром будем здесь», — ей каждый говорил.  
Мерещилось всю ночь: ее зовут и будят.  
«О дети, дети! Шлойме-Бер! Азрил!

Далёко? Близко? Где? Какой их пыткой мучат?»  
Навстречу им она пойдет с утра.  
Там, у Днепра, Махно стоит в лесу дремучем,  
Тринадцать насмерть спят на берегу Днепра. . .

Всю ночь над лесом зарево пылало,  
А ночь была черна, и ветер лют.  
Далёко? Близко? Где? Она не знала.  
Но, может быть, под утро и придут?

Луг окровавленный. Он за лесами спрятан.  
А здесь так мирно смотрят со стены  
Азрил и Шлойме-Бер, — они, как прежде, рядом,  
Но крепом снимки их обрамлены.

«Азрил, мой первенец, в ночь х́ануки, зимою  
Ты родился. Мороз трещал в щелях сеней.  
Верстак закрыли белой простынею. . .  
Дитя сопит в жару, и тельце всё синей.

Я застонала: «Господи мой боже,  
Менахем-Герш! Скорей! Дитя умрет!»  
Склонился над тобой отец и тоже  
Вдруг застонал, зажав рукою рот.

В сенях всю ночь кроили и строчили,  
А он один стоял в избе  
И плакал так, что кровь стонала в каждой жиле,  
И восемнадцать лет он выплакал тебе.

Лишь восемнадцать лет, чтоб ты портняжил с детства  
И чтоб на скрипке в праздники играл,  
И в тяжкий год войны, когда пришел конец твой,  
Портретом, в траур обрамленным, стал.

А Шлойме-Бер, меньшей! Поклясться я готова,  
Что Шлойме-Бер — так это Шлойме-Бер!  
Любой бы маме сорванца такого. . .  
Азрил. . . ну, этот был смирнее не в пример!

Я Шлойме родила в страдании великом,  
Вот-вот дыханье кончится в груди.  
Он родился и жизнь восславил звонким криком,  
Такой большой — хоть в хедер отведи.

Из хедера домой не возвращался прямо,  
Нет, боже упаси! Как бурю гоним,  
По крышам, чердакам, через заборы, ямы, —  
Мальчишки с палками и прутьями за ним. . .

Он голубей любил. . . И все, кто видел, скажут,  
Что голубки к нему, бывало, так и льнут.  
А если голубей и любят даже,  
Так что плохого тут?»

Нерадостен Азрил в обвитой крепом раме.  
В субботний зимний день на эту нищету  
Глядит он неподвижными глазами. . .  
Заплакала, и стол поплыл как в пустоту.

«Созвали бедняков к обеду в день счастливый,  
Тут халы, и вино, и множество всего. . .  
В семь лет он скрипку смастерил на диво  
Из щепок, вóлоса и кто поймет — чего.

Но после мне сказал Менахем: «Слушай!  
Учить мальчишку время подошло,  
Играть на скрипке — значит бить баклуши.  
Скрипач! Ну разве это ремесло!»

А я в ответ: „Так что ж? Пусть будет делом занят!  
Учи его шитью, не трать лишних слов.  
Еще один еврей портнягой станет,  
Лишь только был бы мальчик жив-здоров!“»

Окутал мрак пушистой шерстью крыши.  
Как тяжело о прошлом вспоминать!  
Весь город говорил: «Менахемша, ты слышишь?  
Твоим Азрилом все гордиться будут, мать!»

В окне полночный мрак, но ей теперь до сна ли?  
И бродит ветер там, где прежде шел народ.  
Все говорили, все как будто знали:  
«Своею смертью Шлойме не умрет».

Вернулись голуби. Во тьме летать нельзя им.  
Вернулись ворковать до света за окном.  
«Вам грустно, голубки? Вас позабыл хозяин?  
Из ночи в ночь тоскуете о нем. . .

Я рамку черную повешу в голубятне,  
Пусть ненаглядный сын хоть раз побудет там.  
С ним, голуби мои, покойней и отрадней,  
И будет слаще миловаться вам».

Она окошко трет и видит звезды. Поздно, —  
Как холодно в избе и как темно.  
Пора к соседу ей все с той же просьбой слезной:  
«Так напишите мне, сосед, письмо к Махно».

«Наш батюшка Махно! Всё хуже здесь и хуже!  
Я бедная вдова, не более того.  
В Понинку ехал муж. И вот убили мужа.  
Где Шлойме-Бер? Где труп Азрила моего?»

О, сжался! Жизнь моя могильной тьмой одета,  
Верни, кормилец наш, верни моих детей,  
И всемогущий бог пошлет за это  
Удачу и тебе, и армии твоей.

Наш батюшка Махно! Жить не на что — нужда  
ведь!

Молюсь я за тебя и за солдат твоих.  
Не стало здесь портных, чтобы заплаты ставить.  
Ведь ты за бедняков, так пожалей же их!

И пишет, батюшка, тебе, уж не взыщи ты,  
Вдова Менахема горючею слезой.  
Скажи мне — у кого искать защиты?  
Ни Шлойме, ни Азрила нет со мной.

Даю тебе обет, клонясь в поклоне долгом.  
Пусть бедный дар тебя не оскорбит, —  
То шаль субботняя, вся затканная шелком,  
Она от свадьбы здесь в шкафу висит.

За то, что ты был добр и ласков с нами,  
Азрил, мой мальчик, золотым шитьем,  
Руками золотыми сшил бы знамя,  
Мы лучших голубей тебе пошлем!

Иль это грех, что Шлойме я корила:  
«Забавы детские забыть пора», —  
И всё пугала моего Азрила:  
«Сынок, чем кончится твоя игра?»

Я умоляла их, я убеждала, —  
Всё без толку, не слышат, а потом  
Добыли по винтовке, и не стало  
Былых забав, и опустел мой дом.

«Мы поутру вернемся! . . .» Нет их, нету!  
И длится ночь, как пытка свыше мер.  
Азрил, Азрил, откликнись, где ты?  
Откликнись, Шлойме-Бер!

Пускай за вас я умерла бы дважды! . .  
Субботы скорбные, как нищенки, бедны. . .  
Я выхожу навстречу вечер каждый. . .  
И лишь портреты смотрят со стены. . .»

Вино не куплено. Не вымыт пол и двери.  
Не чищены подсвечники. . . Всю медь  
Забрали из местечка, и теперь ей  
В боях кровавых пулями свистеть.

Все радости оплел паук зловещей тканью.  
Где лица девичьи, что рдели ярче роз,  
И радость предсубботного купанья,  
И влажность свежезаплетенных кос!

И где же, где вы, гости дорогие!  
Одна, совсем одна.  
Субботы тащатся убогие, больные.  
Нет ни священных свѣч, ни красного вина.

Эх, чубарики-чубчики! Уж те ль субботы, те ли!  
И не обмазан пол, и лампы скучный свет.  
И ангелы в наш дом не прилетели,  
И песнопений нет, и танцев нет.

Субботы тащатся, шурша листьями  
В пергаментных старушечьих руках. . .  
Вот над Иосифом ее слезы блистанье,  
Над проданным — ее тоска и страх.

Субботы сгорбились, бедны, убоги.  
Церквей вечерний благовест их бьет. . .  
В молитвеннике — лишь тоска о боге.  
По горестным строкам усталый взор бредет.

И повесть древнюю страницы ей вещают:  
«Во гневе бог ему предстал сквозь сон и темь. . .  
Семь колосков пустых — семь полных поглощают,  
И тощих семь коров глотают тучных семь. . .»

Тощают синагоги — к былому нет возврата, —  
И за субботним кормом к ним птицы не летят.  
А сколько маклеров съезжались тут когда-то:  
Тот присмотреть зятка, а этот — взять подряд.

Уныло стонет телеграфный провод,  
Всё не отгонит лютую напасть. . .  
А по субботам здесь под каждым кровом  
С вином и песней веселились всласть! . .

Старуха ищет звезд, прильнув к разбитой раме, —  
Вечерняя молитва далека,  
А сумерки уже воркуют голубями  
Над избами, где прижилась тоска.

Согрет молитвенник старушечьим дыханьем. . .  
«И в земли новые отправились они,  
Лишь воцарился голод в Ханаане,  
Ушли пустынею, — и ночи шли и дни. . .»

Праматери гостят в ее убогом доме —  
Ревекка, Лия, Сарра и Рахиль.  
Они отозвались на скорбный зов, но в сонме  
Небесных жительниц больней земная быль.

Их из молитвенника вызвала слезами —  
Отведать нищенских субботних блюд. . .  
Прочтенные листы назад ложатся сами,  
И тени, как рыданья, к ней плывут.

Вот вспыхнула звезда, и полон дом видений,  
И движутся они, как под водой на дне.  
Сквозь слезы чудится, что подплывают тени  
К портретам траурным на сумрачной стене.

Безжизненные высохшие руки  
С немую ласкою протягивают к ним.  
Всех Эстер вызвала слезами кровной муки,  
Чтоб в рамках траурных не тосковать двоим.

Уж в окна будни просятся, недужа,  
К странице нить луны пришила руку ей.  
Портниха Эстер молится за мужа,  
Портниха Эстер просит за детей!

Раскрыт беззубый рот. Очки заплыли влагой,  
Ночь, ночь снижается. Заря всплывет в крови.  
«О боже, сотвори Азрилу благо!  
О боже, милость Шлойме-Беру прояви!»

## ГЛАВА 12

Ни конца, ни краю красным эшелонам.  
Песня рвется в небо, ветры перекрыть...  
Может быть, проедете местечком Полонным?  
К домику с крылечком повернете, может быть?

Шаткие вагоны тянутся к границе,  
Суждено солдатам многое узнать.  
Может, окна мутные увидеть им случится  
И в одном из окон — плачущую мать?

Постучитесь в окна, здесь вам будут рады.  
Кто б ни постучался, заходите в дом.  
Передайте маме, что грустить не надо.  
Сыновьям неплохо в братстве боевом.

Хмурится местечко, распростясь с уютом,  
Горбятся евреи в тесноте хибар.  
Может быть, узнаете, что строчат и шьют там?  
Может быть, увидите нищенский базар?

Козы на крылечках. Домики, тоскуя,  
Тускло смотрят окнами, и крыши всё черней.  
Может, голубятню увидите кривую?  
Может, поглядите на стаи голубей?

Постучитесь там, в местечке Полонном,  
В тусклое оконце за кривым плетнем.  
Мы вам шлем привет свой с красным эшелонам,  
Шаткое крылечко, голубятня, дом!

Пусть для вас найдется ласковое слово,  
Пусть отрадно станет хоть кому-нибудь!  
Мы, красноармейцы, сыновья портного,  
Шлойме-Бер с Азрилом, к фронту держим путь.

Тлеют тихо дни, сгорают ночи тихо. . .  
Столько было будней и субботних дней! . .  
Если повстречается Менахемша-портника,  
Что же вы ей скажете, что спросите у ней?

Вы скажите ей: «Ты ждешь, теряя веру,  
Мама драгоценная, — ты ждешь сынов своих».  
В пламени «Потемкин» снится Шлойме-Беру,  
Крейсеры, Одесса, рокот волн морских.

Красные лампасы, золотые канты,  
Мутные глаза, сулящие беду. . .  
«Азриель, ты видишь, — вот она, Антанта.  
Запишусь в матросы, — в плаванье уйду».

Зашумели дни, как волны говорливы,  
Затрубили ветры в свой призывный рог. . .  
Милый облик матери. . . взгляд ее тоскливый. . .  
Смотрит мать печально в пустоту дорог.

«И послала ангелов божия десница. . .»  
Мама драгоценная, ангелов забудь!  
В пламени «Потемкин» Шлойме-Беру снится,  
Крейсеры, колышась, приглашают в путь.

На фуражках звезды, а на небе зори.  
Юношам нейдет от избытка сил.  
Мчится Шлойме-Бер на побережье моря,  
Перейти границу пробует Азрил.

На фуражках звезды. Стан ремнями стянут.  
Дерзкие мечты покоя не дают. . .  
Скоро Шлойме-Бером все гордиться станут,  
Про Азрила скоро песню запоют.



Не уймет Азрил отвагу молодую.  
Трудные дороги вдаль его манят.  
«Слушай, Шлойме-Бер, границу перейду я.  
Я уйду в подполье, понимаешь, брат?»

Тянутся границы — наши и чужие,  
Сотни перепутий, тысячи могил!  
«Руку, Шлойме-Бер! Нас ждут пути большие».  
— «Насмерть будем биться, я клянусь, Азрил!»

Как полны вокзалы сутолоки, гама!  
Поезда отходят. День уныло сер.  
«Мама! Ты одна, ты истомилась, мама!  
Пишем мы тебе, Азрил и Шлойме-Бер.

Мама, ты прочтешь и, верно, будешь рада.  
Мы не разлучались, недругов разя,  
Но пришла пора, и нам проститься надо,  
Остаться вместе нам уже нельзя.

Много мы видали, по фронтам скитаясь.  
С нами — наш товарищ. В жаркие часы  
Мы не расставались. Мама, он китаец,  
Настоящий, мама, только без косы!

Трижды мир тебе. Чтоб всё удачно было.  
С боевым приветом шлет тебе поклон  
Сын твой Шлойме-Бер. Даю перо Азрилу. . .  
Он солдат, но в тактике мало смыслит он».

«Нежнопочитаемой, драгоценной маме  
Я с любовью шлю привет сыновний мой.  
Обещаю, мама: свидишься ты с нами.  
Скоро, скоро мы воротимся домой!

Фронт, конечно, фронт, и тыл, конечно, сила!  
Нам, бойцам, Буденный ясно рассказал,  
Что подмоги ждут из вражеского тыла  
И контрреволюция, и подлый капитал!

А китаец наш и вправду из Китая.  
Нас ведет на бой одна и та же цель.  
Будь здорова, счастлива, мама дорогая,  
Как желает этого сын твой Азриель».

Полночь по границам. И озноб по коже.  
Чуть горят коптилки. Разбрелись пути.  
Что прошелестело: лист или прохожий?  
Как фитиль, дыханье круче прикрути!

«Кто здесь проходил? Ведь проходил,  
не снится?» —

Щупая патроны, мечется дозор.  
То Азрил-портной прополз через границу,  
Пробираясь в Польшу, крался, словно вор.

... На полях стада, и ветерок веселый,  
По лесам порхая, будит сонный лист.  
Мирные крестьяне, хутора и села,  
К вам пришел Азрил, боец и коммунист.

Небо посветлело, и на зорьке ранней  
Шли с водой крестьянки, ведрами звеня.  
И Азрил, ликуя, перевел дыханье:  
«Плеском полных ведер встретили меня!»

### ГЛАВА 13

Угрюмые сороки! Голодные вороны!  
Не клюйте наше сердце! Не клюйте нам глаза!..  
Рыдают крыши ржавые со стоном похоронным.  
Лачуги ниже сгорбились, покорные слезам.

Уныние в местечках. Печалью дышат дали.  
Там на крылечках девушки тоскующие ждут.  
«Мы ждали их в субботу, мы в пятницу их ждали!  
Но женихи и братья из Варшавы не идут!»

Одни отцы печальные в субботний день приходят.  
Идут они с вокзалов, за телегами влачась.  
И треплются их бороды, как пыльные лохмотья.  
Идут они задумчивые, что-то бормоча:

«В Павиаке... за решетками... там женихи и братья...  
Там брат считает месяцы, считает дни жених...  
По пальцам счет ведут они, сквозь стоны и проклятья...  
А может, их пытаются... А может, нет в живых?»

Вот там столица душная, отравленная мезью,  
Где столько мрачных входов, где смерти тень снует,  
Где кровь трубопроводами струится из предместий,  
Где Бельведер, захлебываясь, жадно кровь сосет.

Вот Цитадель! Мокотов! Вот Арсенала стены!  
На горизонте города — кладбище и костел!  
Так выбирай же, выбирай себе могилу, пленный:  
Туда, сквозь горе и года, твой тяжкий путь прошел!

Туда, сквозь горе черное, сквозь холод стен унылых,  
Туда, сквозь дни, затиснутые в сумрачный гранит...  
Стоят многоэтажные, тяжелые могилы.  
Орел великопольский за добычей к ним летит.

У каменных ворот с утра до поздней ночи  
Толпятся скорбно матери и в слякоть и в мороз.  
Кто хлеб сюда принес, слезами горя смоченный,  
А кто одни лишь слезы в переднике принес.

О мать! Прости, родимая, за вечные тревоги,  
Прости за преждевременную седину волос,  
Прости за то, что выросли курганы у дороги,  
За дрожь твою на холоде, за горечь этих слез...

...Идет Азрил по улицам! Растерянный, встревоженный,  
Как по канату скользкому, идет он по земле,  
Идет и озирается, и вырваться не может:  
Петля уже накинута! Он мечется во мгле!

По Виленской, по Ковельской, по Венской  
и по Пражской  
Бежит Азрил измученный, пред ним трамвай звенит.  
В глазах зигзаги прыгают. И он бежит с опаской...  
Мелькают дрожжи... И трамвай... И всё ему грозит...

А по ночам варшавские вокзалы дышат паром.  
В плакатах, в расписаниях гремит огромный зал.  
Глаза полны бессонницей, усталостью, угаром.  
И так вся жизнь проносится — с вокзала на вокзал...

Жара. Как лава, движутся все к выходам и входам.  
И всяк себя ощупывает, волнуясь и сопя:  
Как бы в вокзальной сутолоке не согнуть мимоходом,  
Не обмануться как-нибудь, не потерять себя.

А в третьем классе душно. Туман от испарений.  
Там с самого рассвета все заняты места!  
И головы, как яблоки, висят... Сплелись колени...  
Поделены и отдых, и тепло, и теснота...

Кого ж он ждет, состав? Уж тихо на перронах,  
И в грустном утешении уходят по домам.  
И только старичок всё клянчит по вагонам:  
«Подайте, христиане, на ченстоховский храм».

Взрывают ночь свистки...  
Мелькают огоньки, —  
Они, как звезды, падают во мглу неутомимо  
И вдоль путей проносятся над пологами дыма...

Кому-то путь далекий, кому-то ехать мало...  
Счастливого пути. Храпите до зари...  
От светлого, просторного варшавского вокзала  
В местечки захудалые отправился Азрил.

Как хорошо в вагоне, где капельки покоя,  
Как будто бы росинки, у сонных век дрожат!  
На полустанках мухи жужжат голодным роем:  
«Вечерняя газета!» — «Папиросы!» — «Лимонад!»

Скамьи, узлы и бороды. В окне мелькают будочки.  
Летят навстречу станции. Равнины вспять бегут.  
От всех голов протянуты невидимые удочки, —  
Как рыбки золотые, сновидения клюют.

Бездумно — хорошо. Далекая дорога!  
Усталость липнет медом, и ночь гудком кричит...  
Приятно, что изгнанников тут собралось так много,  
Что едут вместе все они, укутавшись в ночи.

Как сладостны опасность, тревога, ожиданье.  
Как сладостна дорога из дальних-дальних мест!  
Пути пересекаются, как длинные рыданья.  
Пути через пути. И остановка. И разъезд.

И вот он приезжает куда-то ранним утром.  
На улицах пустынно. Суббота. И огни.  
В болоте тихо плещется задумчивая утка.  
Разгуливают вороны. Субботние. Свои.

Аптека. Кузница. Сарай пожарного обоза.  
«Привет тебе, кузнец! Дорогу б указал!»  
За кровлями кривыми замаячила береза,  
И парни полусонные промчались на вокзал.

Навстречу им — заборики, крылечки и окошки.  
Лачуги, точно козы, рассыпаны кругом.  
Унылые коровы, телята, куры, кошки.  
Крестьянка у колодца с наполненным ведром.

Привет, местечко бедное, болотами залитое!  
Привет, дороги нищие, — свидетели судьбы!  
Пустые ведра полнятся субботними молитвами.  
Услада гнезд насиженных выходит из трубы...

Азрил проходит улицей, проходит рощей темной,  
И «ато-эход» слышится ему и там и тут.  
Пред ним раскрыта улица, как фолиант огромный,  
И ветер перелистывает крыши, как Талмуд.

От Польши до Литвы и от Литвы до Украины  
Реками расползлись местечки тут и там.  
Шинки везде открыты, и дух несется винный,  
И ставни раскрываются бушующим ветрам.

Забор. И объявление, где буквы все сутулятся.  
Под ливнями оплывшие, как пьяные они.  
Печальная корова на невеселой улице  
Стоит пред объявлением и думает над ним.

А девушки-ткачихи с упругими телами  
Толкаются у окон, глядят по сторонам,  
Взволнованные, шепчутся, чуть шевеля губами:  
«Оратор. Из Варшавы... Наконец-то к нам!»

Домишко на окраине, как будто зуб единый  
Во рту старухи сгорбленной, на óтшибе стоит.  
В окне мелькают головы, в окне мелькают спины,  
И по субботам песенным он сговоры таит.

Давно живет Нехама в том домике согбенном.  
Была когда-то бундовкой, и в тягостных ночах  
Нехама песни пела «о морях соленых»,  
О Польше, о России, о Литве и о слезах.

Она ткала и пела... Любила лес и поле,  
И ссыльных провожала песнею своей  
В неведомую каторгу, на вечную неволю,  
Оплакивала горько повешенных друзей.

А год за годом падает, как будто колос скошенный.  
Семь лет она в тюрьме была, двенадцать лет ткала.  
На первомайских сходках избита, наземь брошена,  
Она опять вставала. И пела вновь. И шла.

И вот ее погнали по городам и весям.  
И нет уже Нехамы. И в доме грусть и мгла.  
Но долго, долго отзвук ее печальных песен  
В том домике носился и плакал по углам.

«Прости-прощай, Нехама! Ты с нами в этих звуках!  
От жизни ты, бесстрашная, не убегала прочь,  
Но горе, горе матери, что выносила в муках  
Для ссылки и для каторги единственную дочь».

На острове далеком она сидит, томится.  
На дальнем Сахалине, на острове-тюрьме.  
Никто не знает, где он... А год за годом мчится,  
И дьяволы здесь «Клятву» поют в полночной тьме.

Но та зима блеснула. Но та весна явилась.  
И с ней так много светлых, раскрытых, бодрых дней.  
И вот опять Нехамма в местечко возвратилась,  
И лента трепетала пламенем на ней...

Народу послужила. Послужила честно, —  
Каторгой и песней, горем и борьбой.  
И клялась повсюду звездами небесными,  
Но одну — земную — принесла с собой.

Спешит она в Варшаву и входит в шумный город.  
Бежит она, волнуется, в лицо ей ветер бьет...  
А по сердцу стучит неугомонный молот,  
И гневные слова ей опаляют рот.

Тревожными ночами сквозь цепкие заставы  
К ее убогой хижине торопится народ;  
Ее Азрил спокойно проводит из Варшавы,  
А сам снует по кресам дни и ночи напролет.

Он приезжает в город. Толкается в предместьях,  
Работает, портняжит, мелькает тут и там...  
Но почему же долго он не сидит на месте?  
Но почему по разным он мечется местам?

То вдруг среди дороги он завернет с опаской  
К Нехамме в тесный домик, в нависнувшую тьму.  
Так хорошо Азрилу, — здесь материнской лаской  
Всё дышит, хоть не знает и сам он почему.

Глядит он на ткачиху, высокую, худую,  
Чей голос сипловатый повелителен и хмур,  
И чудится Азрилу, что голос ветром дует,  
Степной, прохладный ветер всё чудится ему.

Высокая, остриженная. Щеки сухощавы.  
Но горячо пылает ее упрямый рот.  
«Азрил, я так скучаю по друзьям и по Варшаве.  
Я съезжу, коль работа меня не захлестнет».

И хорошо Азрилу. Он рядом с ней шагает.  
— Сказать ли? Нет, не скажет! Пусть кроется  
в груди,  
Пусть будет так, как было! Пусть ничего не знает!  
Идет Азрил, волнуется и на нее глядит...

«Нет, нет, сейчас не время! Сейчас дороже крови  
Летящая минута! Сейчас не смеет смерть  
Сердца баюкать робкой, незрелую любовью,  
Когда другой любовью мы жить должны теперь!»

За городом вздымается разрушенная башня.  
Там, говорят евреи, жилище всех чертей.  
Собрание шло в том месте, таинственном  
и страшном.  
Азрил с Нехамой были там среди множества людей.

«Потише расходитесь... по одному... ни слова!  
Идите осторожней, оружие крепко сжав!  
Приехал из Варшавы один товарищ новый,  
Он прислан комитетом. Товарищ Владислав».

И всё уже условлено. Припрятано. Зарыто.  
Нехама знает тайные проходы и пути.  
Но чувствует Нехама, что здесь опасность скрыта  
И что от Владислава нельзя ей отойти.

Рыдают крыши ржавые со стоном похоронным,  
И от лачуг доносятся глухие голоса:  
«Угрюмые сороки! Голодные вороны!  
Не клюйте наше сердце! Не клюйте нам глаза!»

#### ГЛАВА 14

Лепятся местечки около Варшавы,  
В них живут евреи, выводками кур;  
Там отцы печальны под хламидой ржавой,  
Там рассвет в лохмотьях холоден и хмур.



Под своим крылом там нищета-наседка  
Худосочные высиживает дни.  
Вылупятся лишь, и ждет уже их клетка:  
На базар! Под нож торопятся они.

Суется будни, гомонят, и всё же,  
Как проклятье, тяжек местечковый мрак, —  
Вырастут сыны дубильщиками кожи,  
На хлеба свои их примет Павиак.

А пока что парни тащатся на клячах...  
Шепчутся о чем-то, зябнут на ветру,  
Кутают тайком, в солому что-то прячут, —  
Ведь Азрил в Варшаве ждет их поутру.

Тащатся туда местечки, как бывало, —  
К суете базарной в долгожданный плен.  
Уткам, индюкам опасность привязала  
Ярлыки на лапки с указанием цен.

На возах полно — там гусаки и куры,  
Дочери и жены, как в печи хлеба.  
По шляхам ползут возы, подводы, фуры.  
Что влечет их в дали — не сама ль судьба?

Хорошо торговцам ехать на рассвете  
И под легкий шелест ветерка дремать,  
Под бока — перины, веет теплый ветер, —  
Рай, а не поездка, просто благодать.

Жены их кряхтят, побрякивают утки...  
Рай, а не поездка, что и говорить.  
Дай бог обернуться, выручить за сутки,  
А пока хотя б сигарку закурить.

Память о несчастьях крадется к ним сзади,  
Отогнуть ее они не могут прочь.  
Старший сын в чахотке, а другой в Ист-Сайде,  
Третий — в Павиаке, на панели дочь...

И жужжат и жалят мысли, словно осы,  
И нельзя никак их отогнать, пока  
Шлях не перемелет ветхие колеса,  
Не потянет в путь обратный старика...

В край обетованный прямо чрез заставу  
Путь ведет в корчму, увязшую в грязи, —  
Заспанные, тянутся всю ночь в Варшаву  
Живностью кишмя кишасщие возы...

В город надо им. Продать бы побыстрее  
Всё, что припасли насесты и амбар.  
Птичники-евреи, мужики-евреи  
Затемно поспели в город на базар.

Дремлют, точно птицы, думают, гадают;  
Синева еще не распустила крыл.  
Тенью возникая, тенью пропадая,  
Улицей, проулками скользит Азрил.

«Эй, сынок, не скажешь: долго ль до рассвета?» —  
Падает с телеги сиплый окрик вниз.  
Глянул удивленно: «Чей же голос это?»  
Не видать хозяев, не видать возниц...

И Азрил смеется: «Человек иль кочет  
Говорит со мною? Время? Третий час...»  
И хрипит спросонья птичник и бормочет:  
«Третий только! Нет ли закурить у вас?»

Опустел мгновенно коробок грошовый...  
А вокруг теснятся, гомонят, орут:  
«Я просил вас первый, я!» — «Нет я!» — «Да что  
вы?..» —  
Спорят. Бородами ржавыми трясут.

«Гуси иль евреи тут, помилуй боже?..»  
Папиросы тычут в шапки, в рукава,  
Как бы ни хотелось закурить, но всё же  
Прочитать молитву надобно сперва.

И течет, течет молитва в час рассвета,  
Талесы сверкают тусклым серебром.  
Распростерлись рынки свитками завета,  
И зудят ладони перед барышом.

«Будет всё счастливым и благословенным,  
Оборотень-ангел невзначай придет,  
На прилавки нищих и на их безмены  
Ливнем долгожданным злотые прольет».

При почине тихий шелест заговоров.  
И зудят ладони — к барышу, ей-ей.  
Кошельки подальше от нескромных взоров,  
Оборотень-ангел, приходи скорей! . .

Нет, не на базары по шляхам знакомым  
Тянутся подводы и возы скрипят,  
Наспех снялись с места птичники всем домом,  
Наспех прихватили жен, детей, телят. . .

Двигутся евреи, счета нет подводам,  
Кто на клячах едет, кто бредет пешком,  
По шляхам знакомым тянутся походом,  
Тянутся с извечным нищенским мешком.

Тут не до подушек, тут не до пеленок.  
Вырваться, бежать бы, только поспевай.  
Тот уже счастливец, кто успел спросонок  
Талес прихватить да хлеба каравай. . .

Встретил их Азрил: «Откуда вы, евреи?  
Что вам так спешить, ведь ночь еще темна?»  
— «Из дому, сыночек, надо нам скорее,  
Не сегодня-завтра будет там война.»

Из дому, сыночек, помоги нам, боже.  
Из местечек ближних: ведь не ровен час,  
В них большевики захватят власть, — и что же,  
Ты ответь, попробуй, ждет тогда всех нас?»

И, покуда воз не скрылся в отдаленье,  
Смотрят на Азрила жгучие глаза,  
Полные вопроса, полные сомненья, —  
Полная укора светит бирюза. . .

Древние дороги дымами повиты,  
Пьют евреи горечь едких папирос:  
«Были плохи немцы. А большевики-то?  
Мы тебе, сыночек, задали б вопрос. . .»

От крутой махорки горло жжет и ноет,  
Сколько в каждом вздохе скорби и тоски:  
«Ну, дела — делами, ну, война — войною,  
Но скажи: чего хотят большевики?»

Девушка в телеге поднялась с перины,  
Тормошит Азрила: «Пану нужен гусь?  
Мы в цене сойдемся. . . Только для почина,  
Не найдете лучшей птицы, вам клянусь».

Оси заскрипели на возу и брусья,  
Словно перед ним лежал крутой подъем.  
В руки взял Азрил откормленного гуся  
И нашел записку под его крылом.

Долго по ладоням били что есть силы,  
Трижды расходились, спорили опять,  
И шепнуть успела девушка Азрилу:  
«Будем склад с оружием завтра разгружать».

Светятся глаза их зорко и влюбленно,  
Славой и тревогой даль озарена,  
Сыплется с деревьев легкий пух зеленый,  
И весна надеждой радостной пьяна.

Как в горячке все, кляня свои невзгоды,  
Мечутся, кричат, а день уже остыл.  
К вечеру уже с оружием подводы  
На шляху знакомом разыскал Азрил.

Проданы все гуси; посланы куда-то,  
Всадники несутся в разные концы,  
И пока проулками крадутся ребята,  
Торгом и наживой заняты отцы.

Улицы мелькают, домики крелятся,  
Всадникам в дороге не передохнуть.  
Град стучит картечью, грому не уняться,  
И гостеприимен и печален путь.

Крытые брезентом, тянутся ночами,  
Тянутся подводы, и, заслышав гуд,  
Люди в селах смотрят жадными очами,  
Ждут возов столичных, под Варшавой ждут.

По лесу подводы катят, громыхая.  
Кто-то им навстречу выбегает там...  
Их зовет страна, зарницей полыхая,  
Озаряя путь повстанцам и войскам.

#### ГЛАВА 15

Велика и просторна страна: степь — за степью,  
за далями — дали,  
Косогоры, долины, луга для ветров и для добрых коней;  
Велика и просторна страна: для пшеницы, для крови,  
для стали  
И для свалок достанет песков, чернозема, суглинка,  
камней.

Как за пазухой нищенский хлеб — моховины, тайга,  
суходолы,  
В затуманенном рокоте рек — вековой, безнадёжный  
укор;  
И, как ветви ракии, на ногах обветшалые плачут  
постолы,  
И сутулятся плечи страны, отягченные торбами гор...

На Днепре, на Дону, на Двине, на Урале, на Волге,  
на Каме,  
От полярных до южных морей, от полярных до южных  
пустынь,  
Племена и народы рабов наугад волокут большаками  
Изобилья великой страны в непогоду, в жару  
и в стынь.

Беспризорные залежи руд на Дону, на Байкале, на Лене,  
Нет покоя тому, кто в труде, кто в пустынных песках  
отыскал  
Эти взоры, буравов острей, и, сквозь мерзлый хаос  
наслоений,  
Этих волчьих клыков золотой и пронзительно-белый  
оскал.

Семь старинных поместий в обед, и четырнадцать  
пропито в ужин,  
Бастионы напряженных спин под конвоем кнутов  
и недужин,  
Но встают — от границ до границ — к небесам, что  
синеют мертво.  
«Вырвать с корнем леса — и метнуть в Саваофа  
и в храмы его».

Густошерстные овцы в обмен на цветущее женское тело,  
Кутежи от зари до зари — по трактирам в дурманном  
дыму,  
Всё пропито: поместья, дома и стада, всё к чертям  
полетело,  
И — айда — на позор, в кандалы и в тюрьму.

На Днепре, на Дону, на Двине, на Урале, на Волге,  
на Каме  
Бурлаки — в кандалах, в бечевах — горемычные, тянут  
плечами  
Изобилья великой страны, и в жару, в непогоду  
и в стынь  
«Эй, дубинушка, ухнем», — гремит от полярных  
до южных пустынь.

Завсегдатаи вольных стихий, мускулистые, с кожей  
бурой,  
Якоря на локтях, на грудях — молодцами матросы  
глядят:  
Голошенье сирен и свистков от Архангельска  
до Сингапура,  
Широко распахнулись в морях Севастополь, Одесса,  
Кронштадт.

Уходили колодниками бунтари в азиатские степи,  
Под конвоем тянулись в ночи на Челябину и на Сахалин;  
Уходили на гордость, на скорбь, и, качаясь, пудовые цепи  
Перезванивали на ногах, как воззванья, средь камней  
и глин.

Уходили в медвежьих снегах, в ледяные, в дремучие дали,  
По дорогам, как искры во тьму, молодые года рассыпали,  
Чтоб, раскатами взрывов гремя, от заводов, от слобод  
и сёл  
К содрогающимся небесам вулканический пламень  
взошел.

Негодую, по дымным степям в кругозор, докрасна  
раскаленный,  
От заводов, от слобод и сёл потекли штурмовые колонны;  
По вселенной — громовый призыв прокатился военной  
трубой:  
«Пролетарии, час наступил — все в последний,  
решительный бой!»

Запылали в четыре конца бастионы довольства и лени,  
Под ударами яростных толп раскололись ворота веков —  
И открылся в грядущее вход для семидесяти поколений,  
Для семидесяти областей, для семидесяти языков.

И ушел на коне Шлойме-Бер в огневые российские дали,  
Голубиную радость глубоко в груди притая.  
Где поповский рысак вороной и Маруся не перебивали!  
Воздыхает и крестится поп; над гитарой поет попадьа.

Жалостен хриплый бас  
За шторю голубой:

«Скоро наступит спас,  
Пой, ласточка, пой!»

Нынче прямёнько не выстоишь,  
Время настало тугое,  
Словно, к примеру, нечистое,  
Словно, к примеру, такое. . .

Бывало, с приветом с монаршим  
Приходит солдат на постой,  
Пред батюшкой, как перед старшим,  
Вытягивается верстой. . .

А нынче, взлохмачены, дики,  
Врываются и голосят:  
«Даешь, попадья, для Деникина  
Молочных своих поросят! . .»

Крестясь, на колени упала:  
«Солдатики, бог вам прости!  
Хотела немного сала  
На праздник святой припасти!»

Молила, смятеньем объята:  
«Пречистая мать, порадей!»  
Но глаз не сводили солдаты  
С крутых попадьиных грудей. . .

В укромном углу сеновала  
Сопит попадья, развалясь:  
«На праздник немного с. . . сала  
Хотела сберечь про запас!

Не тискайте! Боязно, братцы!  
Исусе! Пречистая мать!»  
Измаяли — не отдышаться,  
Измызгали — глаз не поднять!

Полдневной истомой пьяна,  
Уставясь в простор голубой,  
Бренчит попадья у окна:  
«Пой, ласточка, пой!»





Тяжкий, братья, жребий  
Господом указан —  
Семь годов бесхлебья,  
Семь годов проказы. . .

Но, — гласит пречистая  
Почаевская мать, —  
Вышли православные  
Антихриста сражать».

По тревожным степям чередой эшелоны солдат  
и матросов,  
Оглушенные сутки лежат, растянувшись вдоль рельс  
и откосов;  
Бронепоезд бежит, среди бугров дымовую тропу  
распластав,  
А навстречу, покачиваясь, волочится тифозный состав.

У вокзального колокола бородач в полушубке горланит:  
«Балта — Знаменка — Бобринская», — но, как прежде,  
пристанут едва ль.  
И проносится мимо вокзал, — эшелонам у станций угла  
нет.  
Голоса, эшелоны летят — сквозняком в ошалелую даль.

Бородач в полушубке, в лаптях — на перроне Тверского  
вокзала  
Оселяет вагоны крестом, одичалые крестит пути:  
«В Питер съездите, братцы мои, там на всех будто  
хлеба достало.  
Там, родимые, легкую смерть еще будто бы можно найти».

Бородач в полушубке, в лаптях — у пустого и ржавого  
бака,  
Изможденный, с испугом в глазах и цвелою краюхой  
в руке,  
День-деньской вдоль платформ и путей он бездомно  
бродит собакой,  
День-деньской озирает простор — не маячит ли дым  
вдалеке.



«Приходите, варяги, скорей воеводствовать в нашей  
стране,  
Велика и обильна страна, но порядка в ней исстари  
нет».

Разбушуется в храме святом во хмелю матерой казачина,  
Горько плачет, срывает с груди боевые кресты и медали:  
«А за что государю, скажи, от жидов распроклятых —  
кончина,  
А за что они, ироды, господа бога, Христа затерзали...»

В черной темени банды громил меж собою добычу  
поделят:  
Бриллианты — Марусе сполна, и белье — на обмен  
по округам.  
После справят пируху с вином и еврея зарежут  
в постели.  
Ноги — псам, а за пару сапог — тут же — с бомбами  
друг против друга.

Затесалась Маруся меж них — шла бурьяны полоть  
молодица  
На забытых тропах, по курганам в степи одичалой;  
Повстречала солдат, посулили: «Будешь, девонька,  
вольною птицей».  
И — к солдатам пристала...

В патронташах, в мешках у солдат — полотно и шелков  
до отказа;  
По карманам — брелоки, часы, нитки жемчуга, серьги,  
алмазы...  
И медово-густые и терпкие дни проходят хмельной  
вереницей,  
На звезде червленеет один, на погонах — другой  
золотится.

От зари до зари по стране — громыханье железа и стали,  
Половодьем папах и сапог полевые затоплены дали;

Под гармонику — пляски в полях, под гармонику —  
песенный гам.  
Гогот, уханье, гиканье, свист разливаются по городам.

Оголенный простор — впереди, оголенный простор —  
за плечами,  
От родных очагов далеко, веселы месяца и пестры;  
Кочевые, походные дни и глухими, как чащи, ночами  
Под дождем обложным на ветру развевающиеся костры.

От родных очагов далеко, по степям, в потасенных  
дубровах,  
Вдоль путей, где на тысячу миль — ни гудка, ни свистка,  
ни души,  
Под гармонику, в черных ночах, у костров золотых  
и багровых  
Краковяки, камаринские и горячечные чардаши.

«Стой! К оружию! Кто-то идет! Гей, ребята, попа  
захватили!»  
— «Ну и что ж — выводите в расход! Долгополым —  
туда и дорога!»  
Но сивуху подносят попу, чтоб молитвы его восходили  
Дрожжевою опарой в лазурь — к милосердному богу...

Лей в горлянку  
Мед да пиво!  
Сыпь, тальянка,  
В хвост и в гриву...

Смертным хмелем  
Веет в лица.  
'Дуй, Емеля,  
Навалися!

Чуют ноздри —  
Тянет кровью:  
Рано ль, поздно ль, —  
А изловят.

Скрутят, вздернут —  
Похрипи  
Ночью черной  
Во степи.

Гей, наддай-ка,  
Пыль взвивая,  
Молодайка  
Огневая!

Гайда, люди,  
Жарь, не труся,  
Пляшут груди  
У Маруси...

Бомба, шашка  
И наган —  
Вот так Машка —  
Атаман...

Воют глотки,  
Гик да топ,  
Посередке  
Пляшет поп.

Пляшет попик  
Тяжело —  
Кабы девку  
Принесло.

Жарь, не труся,  
Гик да топ,  
На Марусю  
Лезет поп...

Машет рясой,  
Ножкой — топ.  
Катавася!  
Гоп! Гоп!

Ветры кличут  
В черных долах —  
Прытче, прытче,  
Долгополый!

В гулкой дрожи  
Свод небесный —  
Лезет в рожи  
Крест наперсный.

Дуй вприсядку  
Веселей-ка!  
Доля — дура,  
Жизнь — копейка!

Рано ль, поздно ль,  
Там иль тут, —  
Пуля в рожу,  
И — капут.

Рюмка водки,  
Девка, песня,  
Ну, а после —  
Всё равно.

Коль Деникин  
Не повесит,  
Разменяет  
Сам Махно!

У вокзального колокола бородач в полушубке горланит:  
«Шепетовка — Славута — Луцк». — Но, как прежде,  
пристанут едва ль.  
И проносится мимо вокзал, — эшелонам у станций угла  
нет.  
Голоса, эшелоны летят — сквозняком в ошалелую даль.

Пролетают посты, пробегают рысцою перроны,  
Размыкаются скрепы дорог, и маячат мосты-коромысла,  
Сквозь холмы и раздолы составы летят исступленно  
Утолить свою жажду у вод распластавшейся Вислы.

По всей стране пронесит Висла воды,  
С разбегу бьет в мосты и берега,  
Дымят над Вислой черные заводы,  
Туманы оседают на луга.

На вольный Данциг гонит Вислу ветром,  
И, снега и воды глотнувши всласть,  
Несется Висла и весной и летом,  
За золотые поручни держась.

По берегам раскиданы лачуги,  
Кривые крыши их как паруса,  
А в неводы, как в ржавые кольчуги,  
В час утренний въедается роса.

Усеян берег островами лодок,  
Подобен он кладбищу черепах,  
Приюта не находит в непогоду  
Под крышею дырявою рыбак.

Работы сорок лет, войны четыре,  
Жена в могиле, невод весь зацвел,  
По локоть руку на кровавом пире  
Ему двуглавый выклевал орел.

И у кого же в сумрачные зори  
Спросить реке — у ветра, у песка,  
Кто ей расскажет о солдатском горе,  
Зачем снедает Войцеха тоска?

Иль клев плохой? Иль рыбы в Висле мало?  
Иль мало места? Берег разве мал?  
Иль парус старый время истрепало?  
Иль невод плохо Войцех залатал?

Стемнело. Снова облака нависли,  
И ждет рыбак, когда ж придет улов,  
Когда наделит матка боска Вислу  
Тяжелой рыбой для чужих столов.



А волны тихо поплавам играют, —  
Так день за днем, сегодня как вчера.  
Старик усы сердито вытирает:  
Не набралось и четверти ведра.

«Опять приносишь в картузе вонючем  
Рыбешку нам, — ярится господин. —  
У нашей Вислы просишь рыбы лучшей,  
А дружит с коммунистами твой сын!»

Покорно Войцех сгорбился в поклоне,  
Висит рукав с обрубленной рукой;  
Четыре года от самой Сморгони  
До Збруча длился за отчизну бой.

Ночами одиночества и выюги  
Он слезы льет, безмолвен и суров. . .  
Живет над Вислой в нищенской лачуге  
Безрукий Войцех, старый рыболов.

Всю Польшу он прошел от боя к бою,  
За ним могилой сгорбились пески,  
Домой вернулся и принес с собою  
Медали две и полторы руки. . .

Какое горе гложет рыболова,  
Обрубком ноет в пасмурной ночи?  
Попался сын на тайной сходке снова,  
Позорит Ян его солдатский чин.

Он говорит отверженному сыну:  
«Ступай, проклятый, поклонись волнам!  
А канешь в Вислу, носом врывшись в тину, —  
Ясновельможным угодишь панам. . .»

Но Янек знает Вислу лучше старых,  
С полвека здесь проживших рыбарей,  
Мечтал он часто, веслами ударив,  
Разделаться с панамы поскорей.

Пусть наши угнетатели жестоки,  
Пускай конца их притеснениям нет,  
Но есть друзья, и подступают сроки,  
И знает он, что близится рассвет.

Что мог придумать он, в ночи блуждая,  
Готовясь встретить преданных друзей?  
Нависли звезды, над рекой сверкая,  
Рыбачьи звезды, блески для сетей.

Сказал Азрил: «Сегодня в ночь хочу я  
По тихой Висле покатать ребят».  
Но Войцех знает, старый Войцех чует:  
«Устроить сходку тайную хотят!»

Пришла Нехама, вот и все на месте,  
Поодиночке — крадучись — тайком. . .  
Высокою гордятся волны честью,  
Оберегая молодой ревком,

И тихо плещут, вслушиваясь в речи;  
Луна покрыла Вислу чешуей.  
Вот чья-то лодка им плывет навстречу,  
И чайкой реет песня над водой,

И просит Вислу дать улов богатый,  
Попутный ветер — ветхим парусам.  
Друзья, услышав песен перекаты,  
Плывут навстречу дальним голосам.

Сверкают волны, опьяняясь вестью  
О новой Польше. . . Все сердца горят.  
Сказаньем о Москве горят созвездья,  
С Москвой далекой звезды говорят.

И сквозь просветы туч вдруг видят звезды,  
Что там внизу, вздымаясь над водой,  
Челнок, как птица, пересекает воздух,  
Сливаясь с серебристой звездой.

Над Вислой веет тишина ночная,  
И паруса напружена дуга.  
И, путников полночных узнавая,  
Им шлют благословенье берега.

Распахнут ворот, и душа открыта,  
Распахнут мир, и настезь небеса;  
Следами лодок синева изрыта.  
Сердца трепещут, словно паруса.

Но вот опасность омрачила дали  
Внезапным всплеском, и во весь свой рост  
В тревоге паруса затрепетали  
От волн холодных до горящих звезд.

Погоней тайной обернулась буря.  
Чью лодку гонят ветер и вода?  
Взглянул Азрил и приказал, нахмурясь,  
В утробу Вислы бросить невода.

А в лодке всё заранее готово:  
Кто может знать, где встретишься с бедой?  
«Мы в непогоду вышли за уловом,  
Мы рыбаки и тянем невод свой».

Но тьма заколдовала все напасти,  
И путники, беде наперекор,  
Обратно повернули, тянут снасти, --  
И вот уж пристань различает взор.

Рассвет играет на речном просторе,  
Лачуга тусклым щурится бельмом,  
С друзьями Янек распрощался вскоре  
И в дом вернулся, в свой постылый дом.

Чьи это тени у лачуги нишей,  
Кто прячется на берегу реки?  
Голодный Янек хлеба в доме ищет —  
Его встречают злобные штыки.

Солдатам Войцех поклонился в пояс:  
«Вот он, проклятый, мне его не жаль.  
В тюрьму его!.. Тогда я успокоюсь.  
Позорит, подлый, польскую медаль».

И молча Янек сдался им без боя.  
Уже веревки за спиной скрипят,  
И он идет и слышит за собою  
Шаги тяжеловесные солдат.

. . .

Домой вернулся Янек невеселым,  
Чуть усмехнулся, на крылечко сел.  
«Я из костела, тато, из костела!» —  
Поднялся Войцех, сплюнул, засопел. . .

«Ну как, не оборвалась леска, тато?»  
— «Пришел назад, так берегись, байстриук!»  
Смеется Янек: «Я панов богатых  
Переловлю, как разжиревших щук».

И вздулись жилы старика от гнева,  
Перекосилось в ярости лицо;  
Плюет он, топчет сапогами невод,  
Дрожит под ним дощатое крыльцо.

«Проваливай, паршивый отщепенец,  
Иль бросим тело вшивое твое  
Сомам голодным, так чтоб волны, вспенясь,  
Угнали в море кости и тряпье. . .»

«К чему, отец, закидываешь сети  
И дно речное шупаешь багром?  
Кто ж отнимает все уловы эти?  
Зачем ты нищ и валится твой дом?»

Ярится Войцех: «Кем ты околдован?  
Разгневай бога, докажи ему,  
Что ложный жребий людям уготован,  
Что зря он вверг нас в нищету и тьму. . .»

По всей стране пронесит Висла воды,  
С разбегу бьет в мосты и берега,  
Дымят над Вислой черные заводы,  
Туманы оседают на луга.

На вольный Данциг гонит Вислу ветром.  
Заглатывая копоть, муть и грязь,  
Несется Висла и весной и летом,  
За золотые поручни держась.

По берегам раскиданы лачуги,  
Кривые крыши их как паруса,  
А в неводы, как в ржавые кольчуги,  
Въедается холодная роса.

Уходят люди в город, на заводы,  
Кряхтят и пашут свой надел земли,  
Бросают сеть в неласковые воды,  
По нищей Польше тянутся в пыли.

Покрыла Польшу ночи тень густая,  
Повсюду тьма, все двери на засов.  
И, кровью перепрелой набухая,  
Сочится время с городских часов.

Так с хриплым воем, тяжелы и ржавы,  
Ворота грозный разевают зев,  
Витрины ослепительной Варшавы  
Полночных ткацких обступает гнев.

И каждый миг иглою колет тело,  
Вот вспыхнет день, как фосфор, как смола.  
Ткачи поют и ткут, — пора приспела  
Накинуть сеть на хищного орла.

Сухие пальцы быстры и проворны;  
К оружию, судьбе наперекор!  
Устали эти люди, но упорно  
К Москве далекой устремляют взор.

Юнцы и старцы, вскормленные злобой,  
На лицах отсвет тусклого свинца!  
Текут колонны на маевку, чтобы  
Ворваться громом в тишину двorca.

Знамена ввысь взлетают, как ракеты,  
Шумят и плещут, в небе засверкав,  
Они зовут и требуют к ответу  
И наземь низвергаются стремглав.

Уже краснеют площади от крови;  
Стихает битва, кровью жертв пьяна.  
И поднят Первомай, как тост багровый  
Лачуг, глаза продравших ото сна.

Безмолвно к Висле шествуют колонны,  
Знамена рдеют в небе голубом.  
Ткачи идут, упрямы, непреклонны,  
Крестить свой праздник кровью и огнем.

Мост через Вислу взорван, и, вздымаясь,  
Он смерчем рухнул, сгинул под водой.  
Хлебнула Висла свежей крови Мая,  
Хлебнула крови Мая молодой.

Растекся день средь пламени и крика,  
И вот опарой всходит слово: «Месть!»  
Ребята Смочей, юноши из Дикой,  
Сыны Воловьей вырастают здесь.

Они ушли, исчезли после бури,  
В норе укрылись, вырытой в земле,  
Но вновь они подымутся в лазури,  
Раздуют искру, тлевшую в золе.

В глухих шагах — угроза и отвага.  
Вот грянул выстрел! Вновь сияет цель.  
И воет камнем вымершая Прага,  
В ответ ей камнем стонет Цитадель.

Распятый Ішеязд силился рвануться  
На Новолипки и на Арсенал;  
Под шагом тысяч в громе революций  
Торцами город вновь затрепетал.

На площадь из проулков отдаленных  
Стремятся в битву бунтари, но враг  
Их давит, косит, бьет их исступленно,  
Ввергает за решетки в Павиак.

Но юность вновь вздымает стяг свободы,  
Созвездьями сердца в ночи горят,  
А фонари в тумане непогоды,  
Как виселицы, вытянулись в ряд.

Распятый вечер. На закате сером  
Он закрепляет дружбу двух химер,  
Царит огнями сейм над Бельведером.  
На сейм глядит смущенный Бельведер.

А там, во мгле настороженной кроясь,  
Их щупает прожектор голубой;  
В огне, в дыму несется бронепоезд,  
Гремя над миром звездною трубой.

#### ГЛАВА 17

Мелководный Случ едва течет в истоме,  
Легкий мост качается, как зыбка, над волной,  
По большой дороге из Киева в Житомир  
Бродит бронепоезд, грозный и шальной.

Нет ему границ во всем подлунном мире,  
Небеса и землю он зовет на бой,  
Он кричит степям: «Давай дорогу шире!  
Я ищу соперников! Выходи любой!»

На шее бронепоезда, подобно клочьям гривы,  
Полыхает знамя бешеным костром,  
От него угрозы, от него призывы,  
Как из туч грозбых — молнии и гром.

Споря с ветром, флаг взмывается упрямый,  
Небеса буравит, тешится игрой,  
И на нем слова, как боевые шрамы,  
Выжжены: «. . ни бог, ни царь и не герой!»

Очумели степи, страх окутал дали,  
Бронзовые рощи согнуты в дугу,  
И по всей округе, в пламени и стали,  
Красный бронепоезд кличет на бегу.

Он зовет и мечет всё сильней, свирепей,  
Языки огня, как лезвия зарниц,  
Сказами боев исчерченные степи  
Двинутся, горбатые, к извилинам границ.

Степи захлебнулись жаждою просторов,  
Им невоготу стальная пелена,  
В яминах, изрытые по границам черным,  
Стонут степи вольные — родная сторона!

Спутались просторы, и каждая частица  
Рвется и приказывает сталью броневой;  
Мчится бронепоезд, как ночная птица,  
Долам и просторам возвещая бой. . .

Штаб одет в свинец, покрыт стальной кирасой,  
Дымами боев сзывает он в поход,  
А вагон соседний завешен тканью красной,  
Там сидит совет — все ночи напролет.

Раненый китаец, скуластый, загорелый.  
На стене — винтовки, за столом — матрос.  
Тройка и армейцы, закаленные, как стрелы, —  
Шлойме-Бер со взводом; дым от папирос.

На столе, как скатерти, трехверстки края,  
Телеграф и радио дышат в стороне. . .  
Комендант их слушает, на посту стгорая;  
Если вдох — границе, выдох — всей стране.



За очками веки вздулись от бессонницы.  
В зеркалах очков — трехверстки всей земли...  
Серка смотрит вдаль... Заря ли то иль солнце  
Красными кораллами небо оплели?

А в конце состава, в набитом льдом вагоне,  
Груды провианта хранит железный кров,  
И пригнулись к полу, в предчувствии агоний,  
Меченые лбы испуганных быков...

Не дожидаться утра, не видать рассвета.  
Штаб наполнен жаждой, багряной, как заря,  
Пылает бронепоезд зеленою кометой,  
Он в дороге празднует Седьмое ноября.

Весела команда. Степь в росе медвяной.  
И вино, струею пенящейся взмыв,  
Разлилось, как радость... К столу привел барана  
Лебедев — пастух из дальней Костромы.

Стол, как челн, качается, и песни словно пламя.  
Серка во главе. Вскипают смех и гул.  
На снаряжном ящике матрос Труба руками  
Легкие баяна до отказа растянул.

Песням бронепоезда внимает ширь степная,  
На вагоны падает звезд осенний звон...  
Бронепоезд дышит — гармоника стальная,  
С востока и до запада растянут ветром он...

Эй, матрос! Камаринского! Сыпь, да веселее!  
Шлойме-Бер встряхнулся — и ну один плясать.  
От рукоплесканий Шлойме-Бер хмелеет,  
На мгновенье замер — и пошел опять!

Он Серку окликает: «Товарищ Серафима!»  
Глаза его горят, расстегнут пыльный френч,  
И, разыскав в толпе глаза своей любимой,  
Он громко просит слова и начинает речь:

«Товарищи, полгода мы мечемся, как тучи.  
Нас ждет победа завтра... Я плохо говорю...

Наутро снова бой... Начну я снова лучше:  
Товарищи по поезду! Друзья по Октябрю!»

Он поднимает голову и протирает руки:  
«Сегодня... день всемирный... товарищи... готовы!»  
И вдруг тревожный звон, и вдруг глухие звуки:  
Боевое радио! Радио с фронтов!

Радиосигналы с продовольственного поезда:  
«Слушай, бронепоезд, — горит сигнал во мгле, —  
Пришлите человека, пока еще не поздно,  
Восстанье усмирить в Почаеве-селе!

Убиты два товарища. Скорее шлите кадры».   
Радио в ответ, в ответ слова, как град;  
Звонок — и коммунистов тасуют, словно карты,  
И ржавая машинка строчит уже мандат:

«РСФСР.  
Штаб ЭН.  
Реввоенсовет.  
Номер.  
Дата.  
Бронепоезд имени Владимира Ленина.  
*Мандат.*

Предъявитель сего  
Терентий Труба  
Уполномочен  
Восстановить порядок  
В селе Почаеве,  
Что на Волыни,  
Разоружить повстанческий отряд.  
Всем учреждениям  
Гражданским и военным  
Просьба:

Оказывать содействие товарищу Трубе  
В его борьбе  
С наемниками капитала,  
Во всех его мероприятиях,  
Направленных к разгрому белых банд».   
Печать и подпись: «Комендант».

Все пути свободны, горизонт в тумане,  
И в одну минуту взнуздан паровоз,  
И в село Почаево усмирять восстанье  
Двинулся на поезде Труба-матрос.

Он дышит синим пламенем, он дышит вольной  
славой,

А ночь, как шапка черная, курчавится на нем.  
Летят огни-приказы, поток огней кровавый,  
Густеет влажный воздух, наполненный огнем.

Радио из Киева! Радио с границы!  
Из Москвы далекой! Радио с фронтов!  
Падают слова, и каждое дымится:  
Завтра наступление. План готов.

Бронепоезд ждет. Снаряды наготове.  
Он пахнет порохом, он рвет небесный свод.  
Радио о хлебе! Радио о крови!  
И ночь лучами солнца свои одежды рвет.

Напряжены антенны, воздух накаляется.  
Радио из штаба — ночи нет конца!  
«Выслать человека для борьбы со спекуляцией,  
Выслать на границу крепкого бойца».

Разрывая дали потоком слов крылатым,  
Радио — обратно! Радио — туда!  
Шлойме-Бер, снабженный боевым мандатом,  
Покидает поезд, уходит без следа.

И армейцы рыщут над округой мгливой,  
Раскатами взрываясь над чернотой земли.  
Тревога. Снова звук в ночи неистов.  
Хмурые армейцы кого-то привели.

Дремлет Случ, стянул его туман, как пояс.  
Легкий мост вздымается, как зыбка, над волной,  
И трубой проклевывает красный бронепоезд  
Розовые стенки скорлупы дневной.

Жарко и накурено... В глубине вагона  
Серка и армейцы. Тени их черны.  
«Где здесь комендант? Мы привели шпиона.  
Привели... оттуда... с вражьей стороны».

Ночь проходит в призрачных покровах,  
Пленник покачнулся, падает во тьму.  
Смерть глядит в глаза из черных дул винтовок,  
Свет и дым скрестились и летят к нему.

«Все бегут из городов, в пути бегущих грабят,  
Мне б дойти до Киева, там военный штаб,  
А сестра в Чека, в красноармейском штабе,  
Может, в армию она меня взяла б...»

Комендант молчит, но всё же постепенно  
Подозренье тает. Серка смотрит вдаль.  
Вот заря легла, как скошенное сено,  
Вот река синее, как литая сталь.

Мелководный Случ едва течет в истоме,  
Стройный мост качается, как зыбка, над волной.  
По большой дороге из Киева в Житомир  
Бродит бронепоезд, грозный и шальной.

Крупная роса на травах заблистала,  
Горизонт дымится в розоватой мгле.  
Серка встрепенулась: «Бенчик!» — прошептала  
И девятый вспомнила подсвечник на столе.

Смотрит Бенчик, словно что-то потерял он.  
Слышит свое имя, как радостную весть.  
Не узнал сестру в шинели полинялой,  
Вытянулся «смирно» и промолвил: «Есть».

Вот глаза Рахмила сверкнули перед нею,  
Руки Серки зябнут в рукавах больших.  
Как он вырос, Бенчик... Худенькая шея,  
Уши восковые... Она узнала их.

И пред нею снова — пригород, местечко,  
Гребля и прозрачная водяная пыль.  
И встает пред Серкой мельница над речкой,  
И подходит к речке отец ее, Рахмил.

Маклер с накладными. Петербург. Почтовый.  
Мать, сестра, невестки, тяжелый чад суббот,  
Сумерки, бродившие у дверей, как вдовы,  
И прозрачный Бенчик перед ней встает.

Вспомнила — в местечке судили да рядили,  
Хором обсуждали каждый Серки шаг,  
Сплетники шептались: «Серка, дочь Рахмила,  
Заодно с народом и Рахмилу — враг».

Утро... пыль... Извозчик на лошадок тощих  
Нехотя покрикивает... Вдаль шоссе течет.  
«Долгожданный гость, — ей говорит извозчик, —  
Вашего приезда всё местечко ждет.

Как же, Серка-сердце? На праздники к папаше? —  
Вожжи отпускает извозчик, говоря: —  
Как вы поживаете? Как успехи ваши?  
Что вы, Серка, скажете теперь насчет царя?»

Вот и переулки — захолустной станции  
Скука и безлюдье, зарево зари.  
Ослепляя взоры, даль пред Серкой тянется,  
Еле слышно Бенчику Серка говорит:

«Покажи мне ноги. Подойди, послушай,  
Ты, пожалуй, сможешь пригодиться нам».  
И горят у Бенчика восковые уши,  
По-солдатски руки держит он по швам.

И к армейцам Серка: «Ступайте-ка обратно! —  
И, кивнув на Бенчика, что мялся у дверей: —  
За него ручаюсь, это младший брат мой,  
Дать ему винтовку и шинель скорей».

Парни загорелые на границе вражьей  
Стерегут отары, охраняют скот,  
С виду пастухи — они всегда на страже,  
Службу связи каждый на плечах несет.

Убежит овца, пастух бежит за нею  
Прямо на границу, в ближнее село.  
Вмиг нашел пропажу — сердцу веселее,  
Донесенье важное за пазуху легло.

То товарищ Лебедев с друзьями боевыми  
Послан на границу из дальней Костромы;  
Ночью к бронепоезду тропинками глухими  
Тащат продовольствие под заслоном тьмы.

Тут трава высокая, нетронутое сено,  
Сосны раскаленные уперлись в небосвод.  
Над красноармейцами тает день, как пена,  
Над отарой Лебедев песенку поет:

«Треплет артиллерия  
Травку подле речек.  
Упаси ты, господи,  
Всех моих овечек!

Пастушок в крапивушку  
Убегает, свистнув.  
Упаси ты, господи,  
Нас от коммунистов.

Соколовский, батюшка,  
Армия в походе,  
Упаси ты, господи,  
Ваше благородье!

Ой, заглохла травушка  
Подле крутояров.  
Упаси ты, господи,  
Нас от комиссаров!

Истоптали чеботы  
Травку подле речек.  
Упаси ты, господи,  
Всех моих овечек!»

Запеваает Лебедев, и лежит открыта  
Степь — овечья колыбель, просторы широки.  
«Слушай, ты, пастух, — ему кричат бандиты, —  
Далеко ль отсюда стоят большевики?»

Отвечает Лебедев: «Слава богу, братцы,  
Нечисть эта сгинула, точно от огня.  
Уж как стали красные за скотину браться,  
Вот что от скотины осталось у меня».

Делятся бандиты махоркой золотистой,  
Подарили медную кружку для воды.  
«Братья христиане, бейте коммунистов,  
подавай вам, боже, силы на труды.

Не ходите, братцы! Там ямы понарыты», —  
Провожает Лебедев пришельцев удалых.  
От него уходят буйные бандиты,  
Тьма их окружает и глотает их.

Вырастают травы, вьется шерсть овечья,  
Лебедев по-прежнему своих овец пасет,  
С нужными людьми ведет спокойно речи,  
Вражескому войску он подводит счет.

Бронепоезд ждет, остановился где-то,  
Важных донесений ждет штабной вагон;  
Все готовы к бою. . . Скоро ль до рассвета?  
И рассвет багряный хлещет в небосклон.

Что же люди Лебедева медлят по дороге?  
Почему же Лебедев не приходит сам?  
С далью бронепоезд говорит в тревоге,  
И в тревоге сумрак бродит по степям.

Угасает ночь, но ждут еще известий.  
Не приходит Лебедев. Ветерок свистит.  
И стоят армейцы у дверей все вместе,  
Ждет округа знака. Вся округа спит.

Степь в жупане медном просит о покое,  
Обмирают дали в мареве глухом;  
Грянул бронепоезд упряжью стальнойю,  
И бичи орудий хлещут окоем.

Нет ему границ во всем подлунном мире,  
Небеса и землю он зовет на бой.  
Он кричит степям: «Давай дорогу шире!  
Я ищу соперников! Выходи любой!»

. . .

Кони ржут у водопоя, травы льнут к подковам,  
Там повешен Лебедев на суку сосновом.

Спит округа, ждет сигнала, дышит дымным чадом.  
И повешена овца с Лебедевым рядом.

На одном суку висит Лебедев над речкой,  
На другом суку висит белая овечка.

И уже известно в штабе — Лебедева взяли,  
Пастуха к хвосту коня крепко привязали.

По коню по вороному стеганули с маху.  
Тут метнуло Лебедева, понесло по шляху.

С ревом к избам ринулась рыжая корова,  
В окна глянули крестьяне — двери на засовы.

Сняли с Лебедева кожу, выкололи очи:  
«Говори же, всё равно не доживешь до ночи!»

Коммуниста Лебедева не пугает речь их:  
«Знаю только песни я про моих овечек. . .»



Треплет артиллерия травку подле речек:  
«Упаси ты, господи, всех моих овечек. . .»

Настежь все пути — прямые и кривые,  
Над широкой степью вьется ветерок,  
И уходят парни, уходят боевые,  
Чтоб измерить дали вдоль и поперек.

Матрос и голубятник летят, как две ракеты,  
Смело ветру встречному подставляют грудь.  
И, бросая в небо огневые свету,  
Бронепоезд их благословляет в путь.

#### ГЛАВА 18

Навстречу успехам, навстречу боям  
Летит бронепоезд по гулким путям.

Решаются судьбы в жестокой борьбе.  
Успеть надо в пору матросу Трубе.

Туманятся дали в просторе степном,  
И мчался, скакал бы матрос напролом.

Летят полустанки навстречу ему,  
И стонут местечки и села в дыму.

Свисток у вокзала. . . Перрона навес  
Наохлился тенью, растаял, исчез.

Решается в диких яругах судьба,  
И дьяволом мчится всё дальше Труба.

Чуб в копоти, в оспинах копоти нос,  
Оскалил веселые зубы матрос.

И жарко и сладко от скачки такой,  
Он выстрелом пробует воздух тугой. . .

Свист пули ворвался в дремотную тишь  
Полей, перелесков, соломенных крыш.

Разнес его ветер по балкам глухим...  
Летит паровоз по просторам степным,

Ревет, и сопит, и мешает свой дых  
С развеянным лепетом лент озорных.

Несется по гулким путям паровоз,  
Бросая с размаху пары под откос.

Всё ближе он к цели... Под скрежет и стон,  
На вздохе последнем, последний уклон

Берет бронепоезд, штурмуя вокзал.  
Прибыл Труба, прилетел, прискакал.

Так, дымом и воем округу застлав,  
Карает и требует корма состав:

Давно заждались провианта фронты,  
Голодных вагонов распахнуты рты...

«Хлеб армии нужен, хлеб — городам!» —  
Воззванья летят по глухим деревням.

Оклеены ими заборы, столбы,  
И люди читают приказы Трубы...

Так, дымом и воем округу застлав,  
Карает и требует корма состав...



От вокзальной сутолоки неизменно  
В рубище плакатов прибывают дни,  
К покоробленным и шелудивым стенам  
Прилипают бурой шелухой они.

Тощие и призрачные дни, как тени,  
Мешанину слов, пригорбься, волокут,  
Пережеванные комья объявлений  
Вязкою слюною по стене текут.

Буквами слезятся вывески кривые,  
Лавки и лачуги, сжатые тоской;  
Что еврею нужно в эти дни шальные,  
И кому он нужен в заверти такой?

Некуда податься нищему еврею,  
Не дает пощады грозная пора.  
Лишь, ветрам внимая, ворожат деревья,  
И колышут их зловещие ветра.

Вдаль шагает Эйзеп. Горе его гложет.  
С кем бы поделиться горечью утрат?  
Говорить ему со стенами, быть может?  
Пусть уж лучше сами стены говорят!

Ведь они теперь премудростью объелись;  
Хартия за хартией на них гниют.  
В темень закровом горящим взором целясь,  
Прилетел сюда из далей продмаршрут.

Вывез бы мужик мешок муки на рынок  
Иль хотя б картошкой оживил базар,  
Выменял ее на пестроту косынок,  
Взял бы пиджачок, хоть он потерт и стар.

Что крестьянам деньги? Денег у них вдоволь,  
Стены пообклеили ими мужики,  
Но нагрязнул поезд — огненный, бедовый,  
Тут не до картошки, тут не до муки.

Снова лихорадит от вестей округу,  
Дополна набиты ими поезда.  
Слухами евреи потчуют друг друга:  
«Слышали, нагрязнул Шлойме-Бер! Беда!»

Истощал базар, — он в шелухе и рвани,  
Вымело давно рундук за рундуком. . .  
Третьим этажом поднявшись в рештованье,  
Как в венце терновом, вырос Исполком. . .

И сошлись евреи, трепетные души,  
Не дают невзгоды разогнуть им плеч,  
Но глаза вникают и внимают уши:  
Это Шлойме-Бер с балкона держит речь.

Словно ждут они, что в гнев грозном рухнут  
Камни, и тогда им не сберечь костей:  
«Фронт и города в тифу голодном пухнут,  
Шелухою кормят матери детей...»

Спекулянты — вот рассадники заразы,  
С нею я покончу раз и навсегда,  
На размен одних отправить бы, и сразу  
У других охота пропадет тогда».

И всю ночь шаги за окнами считали,  
И всю ночь копыта цокали в пыли,  
В страхе на молитве утренней шептали:  
«Кажется, Рахмила тоже увезли...»

Лихорадкой страшной всё местечко било,  
И травинкой гнулся Эйзеп, говоря:  
«Слышите, евреи, нет уже Рахмила!  
И его туда же, так же, как царя...»

Искрами летят от паровоза звезды,  
Жабрами сухими дышит порожняк, —  
Хлеб вбирает ими, как глотают воздух,  
И на фронт с добычей мчится вновь сквозь  
мрак.

А крестьяне ропщут, топорами спорят,  
Бабы по задворкам голоса навзрыд.  
По округе слухи загуляли вскоре:  
«Большевик в селе Почаеве убит».

И вздыхает Эйзеп: «Всюду роют ямы,  
В них мешки с пшеницей и овсом гниют.  
Мужички упрямы, с голодухи сами  
Перемрут, но хлеба красным не дадут.

Власть не дремлет тоже, — как ты с ней  
ни бейся,

Гонит продмаршруты, гонит поезда,  
А придет к тому, — пророчествует Эйзеп, —  
Что на нас, евреев, свалится беда.

Мне б смаклеровать хоть за зиму ту малость,  
Что лежит во мраке сотен закровов, —  
Детям бы хватило, внукам бы осталось  
И еще на три местечка маклеров».

Бороду корежит, как сухие листья:  
«Для евреев нынче только два пути:  
Или лечь в могилу, или в коммунисты, —  
Маклерскою палкой хлеба не найти».

И гудком тревожным надвое расколот  
Каждый полустанок, станция, разъезд,  
Черною ноздрей обнюхивая села,  
Рыщет бронепоезд, ищет хлеб окрест.

А дойдет в село или в местечко слава,  
Слава о Трубе, тревожа, как набат, —  
Всё пустеет, словно ветер клонит травы,  
На дверях засовы крепкие скрипят.

Перерезал алый шрам губу матроса,  
Волосок присох к петлистому рубцу.  
Полыхнет Труба огнем из глаз раскосых —  
Кажется, что нож прошелся по лицу.

Бронепоезд, степи опоясав свистом,  
Вдаль стремится, грозный, как сама судьба.  
А на паровозе рядом с машинистом  
Восседает важно комендант Труба.

Он на полустанках спрыгивает наземь,  
Пробует ногой: тверда ль еще земля?  
Он глазами даль окидывает разом,  
Впитывает взором мгlistые поля.

Всё смекнув, он крикнет машинисту: «Слушай,  
Пусть Гаврила твой водицы тут попьет!»  
Вытащит наган, ремень затянет туже  
И затем в деревню продотряд ведет. . .

Кем припрятан хлеб, он мигом разузнает,  
Ведь ему во всем опорой голытьба.  
Сходку созовет матрос и начинает:  
«Слово получает большевик Труба!»

На боку наган поправив деловито,  
Он стоит, руками опершись о стол:  
«Братья бедняки и граждане бандиты  
Из деревни этой и окрестных сёл!

Требую сперва, чтоб все вы, без разбора,  
Встали и почтили, молча, всем селом  
Память продармейца нашего, который  
Кулачьем закопан в яму был живьем.

Во-вторых, должны по-честному вы сами  
Всех, кто в том замешан, мне назвать тотчас,  
Чтобы я, Труба, вот этими руками  
Эту сволочь тут же расстрелял при вас.

В-третьих, предлагаю именем закона  
Выполнить немедля продрозверстку и  
Вообще явиться собственной персоной  
К поезду проставить подписи свои. . .»

И на каждой сходке долго, иступленно  
Спорили, клялись, крича до хрипоты.  
А во тьме ночной голодные вагоны,  
Лязгая зубами, раскрывали рты.

Где-то дали ждут — широкие, степные,  
Где-то на фронтах решается судьба.  
«Села и поля! Далекое, родные!» —  
Яростно орет озлобленный Труба.

И вздыхает Эйзеп: «Всюду роют ямы,  
Прячут в них зерном набитые мешки.  
Пусть там всё сгниет, пусть будут пухнуть сами  
С голоду... Видать, упрямы мужички».

Истощал базар. На площади широкой  
Пусто без народа, скучно без возов.  
А матрос повсюду, грозный и жестокий:  
«Провиант для фронта, хлеб для городов».

И кричит Труба: «Товарищи и братья!..»  
Над губою шрам, как колос спелой ржи.  
Но скрипят ворота, шепчутся проклятья,  
В голенищах преют потные ножи.

В деревнях — обрезы, топоры и косы,  
Косы и обрезы, косы, топоры.  
Дни сыты по горло страхом и угрозой,  
Хмелем и разбоем грозовой поры.

Тащатся обозы по степи, размытой  
Ливнями и кровью, страхом и грозой.  
Хлеб в одной телеге, на другой — убитый,  
На одной — обрезы, вилы — на другой.

И ревет и воет паровоз, как прежде,  
А в степях обозов вьется борозда.  
Смерть в одной телеге, а в другой — надежда,  
На одной — убитый, на другой — скирда.

Паровоз ревет. Недолгий кончен роздых,  
Жабрами сухими дышит порожняк, —  
Хлеб вбирает ими, как глотают воздух,  
И на фронт с добычей мчится он сквозь мрак.

С палкой бродит Эйзеп по шляхам и весям,  
Истощал базар, не слышен скрип возов.  
Что ж ты ищешь, маклер, что ты ищешь, Эйзеп?  
Буре и грозе не надо маклеров.

Но сошелся путь его с путем матроса,  
Шапку Эйзеп снял, седую морща бровь.  
А матрос был полон гневом и угрозой,  
По щекам матроса колосилась кровь.

«Подойди сюда! — Труба к нему рванулся. —  
Глотку распахни, и два шага назад».  
Жаворонком вздрогнул Эйзеп, покачнулся,  
И поплыли к небу мертвые глаза. . .

Падал он ничком, а скрюченные пальцы  
Ухватиться всё ж пытались за дымок.  
Сплюнув, палку в руку ткнул матрос скитальцу  
И ушел в густое марево дорог.

Со своею вечной маклерскою палкой  
Падалью ты, Эйзеп, на шляху лежи.  
Что ж, когда для фронта людям хлеба жалко  
И в ходу обрезы, вилы да ножи.

Под дождями тело маклера размякло,  
От колес по шапке протянулся шов. . .  
Что поделать, Эйзеп, что поделать, маклер, —  
В бурю и грозу не нужно маклеров.

#### ГЛАВА 19

Под звездным пологом, чужим, неверным,  
Средь чуждых улиц, в чуждой стороне,  
Мечтал Азрил — сюда прискачет первым  
Брат Шлойме-Бер на взмыленном коне.

На Прагу, Пшеязд, Ратушу прольются  
Каскады разноцветного огня.  
Решетки черных тюрем раздадутся,  
Со стоном упадут к ногам коня.

Не смеркнет счастье днями и ночами.  
Скрываться больше незачем впотьмах,  
Тайком встречаться с верными друзьями, —  
Они шагают с песней на устах.



Мечтал Азрил, он жаждал этой славы  
Под чуждым небом, в чуждой стороне:  
Примчится первым всадником в Варшаву  
Брат Шлойме-Бер на взмыленном коне.

И реять будут в воздухе знамена  
И к облакам вздыматься, словно дым;  
Азрил друзей окликнет поименно,  
И подбежит он, окрыленный, к ним.

Ура кавалеристу Шлойме-Беру!  
Его давно в лачугах ветхих ждут.  
Ура красноармейцу Шлойме-Беру!  
Вот он, Муранов, вот Налевки тут.

Вот башни тюрем, где людей пытали,  
А здесь таилась скорбь в ночной тени...  
Пьянящими виденьями сквозь дали  
К Азрилу светлые слетались дни:

Границ извилистые частоколы  
Разметены ликующей толпой.  
И вот уже, водой сверкая полой,  
Несется Висла раннею весной.

Вот волны, росчерком витым играя,  
Сплелись в слова, — и смысл их осиян.  
Азрил от блеска изнемог, читая:  
«Вставайте, пролетарии всех стран!»

И небо блещет этими словами,  
И, в бронь снегов закованы до пят,  
Читают их горящими очами  
Вершины Татров и хребты Карпат.

Раскрепощенные грохочут воды,  
И птицы, набирая высоту,  
Крылатой звонкой песнею свободы  
Приветствуют друг друга на лету.

И к Пражскому мосту из диких чащ Славуты,  
Сквозь топи Пинских гибельных болот  
Прорвалась через рубежи и пути  
Лавина грозных, беспощадных рот.

От Иртыша, от богатырши Волги,  
От Каспия, — свободны и смуглы, —  
Летят полки, поход свершая долгий,  
Путями ветра, ласточки, стрелы.

И над полями скорбными, пустыми,  
Где нищенкой склонялась низко рожь,  
Идут войска и исчезают в дыме.  
«Даешь Варшаву, брат, даешь!»

О чем еще теперь мечтать Азрилу,  
На что еще теперь глядеть ему:  
Орудия гремят, и озарила  
Зарница выстрела ночную тьму.

А синева становится всё больше,  
И, как знамена, развернулись дни,  
Вот в сонные местечки нищей Польши  
Ворвались ночью всадники. . . Они!

Химерами нахмурились костелы,  
Косится на хатенки магистрат!  
Но по дорогам с песнею веселой  
Войска победоносные спешат.

Кто в юности отару пас чужую,  
Кто пядь земли века сохой взрыхлял,  
Кто в тундре ставил юрту кочевую,  
Кто всю Сибирь в оковах прошагал,

Кто топором врезался в чашу леса,  
Кто уголь добывал из недр земли,  
Кто плавил сталь, вынянчивал железо,  
Кто закалялся в огненной пыли, —

Теперь в поход лавиной устремились,  
И перед ними, славя их приход,  
Хребты и реки молча расступились,  
И путь открыт им лишь один: вперед!

Дороги нет — спрашивать не станут:  
По буеракам и в лесах густых  
Рассыплются цепями и затянут  
Все сухожилия путей немых.

Под звездным пологом, чужим, неверным,  
Средь чуждых улиц, в чуждой стороне  
Мечтал Азрил: в огне прискачет первым  
В Варшаву брат на взмыленном коне.

В местечках под Варшавой позабытых  
Еврей нищенский приют нашли,  
Отцы о бедах помнят пережитых,  
Готовят дети шею для петли...

Всё ж старики торгуют понемногу,  
Но горе поселяется в дому,  
Тогда отцы постятся, молят бога  
Отвесьте подале красную чуму,

Скрипучие молитвы воздымают.  
Закат в огне... И продолжать невмочь.  
И нищие местечки обнимает,  
Разматываясь черным свитком, ночь.

Развеял вихрь пути и перепутья,  
Сорвал с петель ворота городов.  
И кто ж теперь посмеет встретить грудью  
Раздолье ураганов и ветров?

Местечки, села — всё пришло в движенье,  
Кипит прифронтовая полоса;  
И, ощущая новых сил брожение,  
Бушуют сходки, как весной леса.

Крестьяне крестятся, идя на мессу,  
Хлева и гумна заговор не спас:  
«О, помогите, матка боска, Езус!  
От князя тьмы обороните нас!»

Лбы осеняют мелкими крестами,  
Брань и заклятья обжигают рты:  
«Идут антихристы. Что будет с нами?  
О Езус, на кого нас бросил ты?

Разделят землю — нам ее не надо,  
В святых костелах разведут огни,  
Дождей не будет, хлеб покосит градом,  
Соблазны сеять к нам придут они».

Вновь крестятся и шепчут виновато,  
Но с каждым днем дыхание молвы  
Всё явственней: «Каков надел на брата?  
Бог против вас, и против бога вы!»

Но отвечают им поля и дали:  
«Поющей сталью набухает зной,  
И в радугах и зорях небывалый  
Восходит день над вами, над страной».

И слышат трубный гуд поля и доли,  
И возвещает лес, и стонет рожь,  
И рек разлив звенит водою полой:  
«Даешь Варшаву, брат, даешь!»

#### ГЛАВА 20

Воды Каспия крутые  
И развалистые степи  
Всё еще за честь и славу  
Спорят бурно меж собой.  
В даях — гул, в дорогах — трепет,  
Тропы вытянули выи,  
Трое суток — на расправу,  
Трое суток — на разбой.

Ночь пустынная, глухая  
В горле гавани засела,  
Вся исхлестанная стужей,  
Стонет, молит: «Пощади».  
«Э-э-эй, откель шагаешь?  
Аль оглох? Постой-ка, друже!  
Чей, и по какому делу?  
Что слышать на площади?»

Листья валяются, срываясь,  
Будто косит их зараза.  
Сумрак черный, волохатый  
На кварталы приналег.  
Дома ждут — жена, ребята,  
Только, видно, путь заказан;  
Ветер — в очи. . . Мостовая  
Ускользает из-под ног. . .

Полночь. . . Пусто и зловеще.  
В сучьях непогодь крутится.  
Хлопнул выстрел — где-то сбоку, —  
Что за каторга пошла?  
Вот покрытый сеткой трещин  
Наш домишко, — слава богу.  
Стынет морось на ресницах,  
Лезет в грудь гнилая мгла. . .

Вот — ворота разомкнулись,  
Всюду — страждущие взоры,  
Всюду жмутся, всюду слышишь:  
«Ободняло б поскорей!»  
Дождь слоняется вдоль улиц,  
Оступается о крыши,  
Ветры возятся, как воры,  
У оконниц и дверей.

За углом, среди подворий,  
С покупателем не ладя,  
Баба над пшеничной сайкой  
Яростно вопит во тьму:  
«Не возьму «керенок», дядя,

Хоть нагайкой пришпандорь и  
Всю торговлю разбросай хоть,  
Окаянных — не возьму!»

«Н-ну, тогда — держись, зануда!  
Марш на кладбище — живее!»  
За волосы тротуаром  
Тащит, — сабля наголо...  
«Родный! Нешто я жалею,  
Весь товар бери задаром».  
Гей, гражданка тень, откуда?  
Что, скажи, произошло?

Бесконечна ночь... конца нет  
Опасеньям и тревогам.  
Головами никнут зданья  
В безнадежности немой.  
Чу! Опять бегут, горланят.  
Пустяки, — ступайте с богом.  
Кто-то плюнул: «До свиданья,  
Будь что будет, я домой».

Из гостиницы «Пальмира»  
Две папахи показались.  
Он — от выпивки неистов,  
Разрумянилась она.  
Хриплый смех... крутой развалец...  
«Обожаю анархистов».  
Моросит... Пустынно... Сиро...  
Тьма — огромна и грузна...

Кровь по жилам загудела  
Бесноватыми струями.  
Он склоняется к подруге:  
«Накуплю тебе духов!»  
Скорбно хохлятся лачуги.  
Глухо, как в могильной яме.  
Сколько листьев охладелых  
За ночь свалится с дерев!

Всё нежнее, лучезарней  
Взор девичий за туманом,

В пальцах — плитка шоколада,  
Ест, молчание храня;  
Зажигаются у парня  
Семь колец на безымянном:  
«Говори, какое надо?»  
— «Сам бы выбрал для меня!»

Вдоль по скверам одичалым  
Бродят, женщину торгуя,  
Двое в английских шинелях,  
Средь кустарников и пней. . .  
Свищет вьюга над кварталом,  
Трупы листьев на панелях.  
«Брось, поищем-ка другую.  
Больно гонора у ней».

Ледяной, горбатой грудой  
Громоздится мостовая.  
Воют ржавыми нутрами  
Телеграфные столбы.  
Листья валяются, срываясь.  
Глухо, как в могильной яме.  
Гей, гражданка тень, откуда?  
Что слышать насчет судьбы?

Ледяной, горбатой грудой  
Громоздится мостовая.  
Ей мерещится спросонок  
Дикой конницы набег.  
Но — молчанье. Но повсюду  
Тьма гнездится гробовая.  
«Айда — к нам. Всего, миленок,  
Нужно восемь человек.

Пара — спереди, две — сзади,  
Следом — парочка на случай.  
По столбам и по заборам  
За ночь вывесим приказ».   
Свищет ветер. . . Сучья хором  
Вторят в темени дремучей:  
«Э-э-эй, не знаешь, дядя,  
Кто хозяином у нас?

Только что одних не стало,  
Новых ждем в тоске великой...  
Чай, добыли полвселенной  
Крови, пота и костей...»  
Мостовые спят устало,  
По-над ними сумрак тленный...  
«Стой-ка, дядя, погоди-ка:  
Нет ли свеженьких вестей?»

. . . . .

А в ущельях первозданных,  
Где кругом — сырые скалы,  
День и ночь — в глухом тумане,  
В потаенной тьме пещер —  
Горсть упрямых, неустанных:  
Там — собранья спозарана,  
Там Труба, матрос удалый,  
Парни, Серка, Шлойме-Бер.

В каждой сумрачной пещере  
Слышен шепот приглушенный.  
Пролетают дни, недели,  
Пролетают месяца.  
И — сплетеньями артерий —  
Вдаль — подъемы и уклоны.  
Видит Шлойме — в самом деле  
Недалёко до конца.

Пчелами снуют ребята  
В ульях — в сумрачных пещерах,  
Глаз ночами не смыкая,  
Гнутся дружною гурьбой.  
В сердце — ненависть глухая,  
В сердце — радостная вера,  
Сердце бодростью богато,  
И трубит, и рвется в бой.



Тихо идут коммунары во мгле,  
Головы — в тучах, шаги — по земле.

Скалы их двинули в этот поход.  
Мир повечерний навстречу идет.

Море глядит из-под крепа во тьму,  
Как зеркала в опустелом дому.

День не приходит Одессе помочь:  
Ночь над Одессой, и в гавани ночь.

Млечные реки текут в высоту,  
Легкие звезды поют на лету.

В городе звоны стоят на углах,  
Ветры запутались в колоколах,

Колокола, словно цепи, звенят,  
Юноши двинулись по двое в ряд.

Верен их шаг, а в глазах тишина,  
Смерть их целует и нежит волна.

Что же на этих дорогах ночных  
Стало последним желанием их?

Дым папиросный над красным огнем,  
Только б затяжку — и дело с концом.

Пена на парня, а тот — на волну,  
Черное море их держит в плену.

Брызжет любовь закипающих вод.  
Где ж успокоенный берег цветет?

Кровью и пламенем отягчена,  
Загустевает морская волна.

Всё же идут коммунары во мгле,  
Головы — в тучах, шаги — по земле.

Скалы их двинули в новый поход.  
Мир повечерний навстречу идет.

На маяке, где созвездья горят,  
Ночь собирает подпольный отряд.

Смерти на лицах суровых печать.  
«Что же нас держит? Пора начинать!»

И, подготовленные ко всему,  
Люди внимательно смотрят во тьму.

«Хватит надолго ли морю меня?» —  
Так Шлойме-Бер дожидается дня.

Серка застегивает воротник.  
«Мир бесконечен, высок и велик! ..»

Сплюнул Труба, улыбаясь глядит:  
Волны бегут на угрюмый гранит.

«Что же, в порту мы разделим людей.  
Этих — туда, а других — полевей».

Море глядит из-под крепа во тьму,  
Как зеркала в опустелом дому.

Плоскость над плоскостью наклонена.  
Черную плаху выносит волна.

Черная плаха, глухая баржа...  
Пот, как роса... Или ночь так свежа?

Снял бескозырку Труба: «Ну так что ж?  
Если баржа — хоть на море умрешь!»

А Шлойме-Бер суетится: «Идем.  
Пуля в затылок — и в море лицом!»

Серка закуривает на ветру.  
«Светлая ночь. Коль придется — умру».

Группа готова. В молчанье ночном  
Возглас: «Да здравствует воля! Идем!»

Горы. А Серка по тайным путям  
Со Шлойме-Бером скитается там.

Падает навзничь ночной небосвод,  
И Шлойме-Бер суетится и ждет.

Хочет сказать ей, а ей невдомек;  
Жжет его сердце загар ее щек.

Звезды над морем ныряют во мрак.  
«Холодно, Серка. Надень мой пиджак».

Рот его жжет лихорадочный зной,  
Крылья испуга свистят за спиной.

Плечи согнулись, глаза как в дыму,  
Голубем Серка прижалась к нему.

И, замирая, сбивается шаг,  
Наземь летит, расстилаясь, пиджак.

Рот Шлойме-Бера — костистый такой,  
И виноватый такой, и сухой.

Мятой запахло и жаркой росой.  
«Пусть будет смерть, я умру пред тобой!»

Полночь темна, но белеет рука,  
Призрак вздымается под облака,

Холоден горный уступ и высок.  
Бьет Шлойме-Бера сверкающий ток.

Лоб костяной запотел под рукой.  
«Серка, ты слышишь ли, ветер какой?»

Смотрит в холодную даль Шлойме-Бер,  
Лебедев пел: «Артиллер... артиллер...»

Серка дыханием будит его:  
«Нет, Шлойме-Бер, здесь ведь нет никого.

Сколько убили уже — и еще  
Пламенем нас обожгут горячо.

Это буржуй на базаре своем  
Мертвых считает, как рубль за рублем».

Жесткой ладонью глаза он прикрыл:  
«Лебедев... Лебедь... И ты, мой Азрил!»

Вспомнил о брате Азриле сейчас.  
«Вот он, ты видишь, стоит возле нас!»

Жжет его лоб проступающий пот.  
«Серка, то класс против класса идет!»

Полночь над ними летает легко.  
Как они близко и как далеко!

Кто-то уже нависает над ним,  
Тело сжигает дыханьем своим.

«Вспомнил я гуту... Тогда при огне  
Был я с другими... Припомнилось мне...

К нам твой отец на гуту пришел,  
Был его взгляд, словно жернов, тяжел».

Над Шлойме-Бером взлетает туман.  
«Был твой отец, — понимаешь? — тиран».

Серка его обвивает рукой:  
«Что же ты вспомнил о нем, дорогой?»

Камень небес перед взором застыл.  
Смотрит сквозь Серкины очи Рахмил.

Как же рукою коснуться ее?  
Сумрак над Серкою — как забытье.

Страх пламенеющий свиток развил.  
Смотрит сквозь Серкины очи Рахмил.

Вот его веки и рот восковой,  
И Шлойме-Бер заслонился рукой.

Ночь раскрывает багряный оскал.  
«Я ведь... отца твоего... расстрелял»...

. . . . .

Горы пластаются, небо деля.  
Море! Где море? Земля! Где земля?

. . . . .

Влажные, вольные ветры скользят,  
Слушают, бродят — вперед и назад. . .



Озорные штормы треплют каждый атом,  
В каменный брекватер пену мечет норд,  
Чудится «Потемкин» дремлющим ребятам,  
Крейсера на рейде и одесский порт.

Море затопило глиняные склоны,  
Вспыхивают мачты в фосфоре небес,  
Прячется отряд, но город раскаленный  
Всея громадой двинулся им наперерез.

В шахматных квадратах, ровная, сухая,  
Якорною цепью увенчав себя,  
Рыжая Одесса вышла, громохая,  
Дым винтообразный из ноздрей клубя.

Всем морям Одесса подает в тумане  
Зычные сигналы. Кажется, вот-вот  
Вспыхнет, как «Потемкин», пламенем восстаний  
И под красным флагом в море уплывет.

Запахи сластей одесских надоели,  
Шепталá, изюм, орехи, миндали. . .  
Грузно проплывали долгие недели,  
Грузно пароходы по волнам ползли.

Турки из Стамбула, персы из Багдада  
Приводили к ней тяжелые суда,  
Сотни пароходов, как большое стадо,  
С блянием толпились в гавани всегда.

Меченый невольник, бедный и богатый,  
Смуглые индусы с кольцами в ноздрях,  
Негры и китайцы, принцы и пираты,  
Женщины, плененные в тропических морях. . .

Город, словно руки, распростер широко  
Гавань и причалы, и, взметая прах,  
Потекло в Одессу воинство Востока,  
В золоте и перлах, в шелковых плащах.

Кто за эти ночи не платил сторицей?  
Кто не пил в «Гамбринусе» лучший кубок свой?  
Вся Одесса пахла любовью и корицей,  
Апельсиновой цедрой, бронзовой халвой.

Тэковые яхты, паруса развеяв,  
Шли через экватор в розовую тьму,  
На себе влача бессонных богатеев,  
Лотерейных девушек, опиум, чуму.

Но зубастый скрежет искрометной выюги,  
Но осенних ветров злобная когорта  
Оторвали якорь, гладкий и упругий,  
От Одессы-города, от Одессы-порта.

Распустив свой вымпел на осеннем бризе,  
Пусть сама Одесса — исполинский пароход —  
Волны созовет — певучие дивизии,  
К дальним горизонтам в море поплывет.

Пусть по всем морям призыв ее промчится,  
Словно гневный рев архангельской трубы:  
«Вставайте, угнетенные! Ломайте все границы,  
Вставайте, пролетарии, скитальцы и рабы!»

Дыханье — как знамена, знамена — словно крылья,  
Весна подобна битве за вольность без границ,  
Но в голубых морях плывут еще флотилии,  
Флотилии пиратов, флотилии убийц.

Плывут в стальной броне и флагах полинялых;  
Вот крейсер — гильотина, вот танкер — эшафот.  
Раскинулась пред ними страна декретов алых,  
Великая равнина над зыбью серых вод.

Суда стремятся к порту и вязнут в жирных водах,  
Над звездами заносят лезвие ножа,  
Но в трюмах крейсеров, на ржавых пароходах,  
Гнездятся буреветники глухого мятежа.

Прорвалась братва — и громче всех девизов  
Голос ураганов ширится, грозя.  
Каждый юнга — буря, каждый юнга — вызов.  
Солдаты и матросы! Рабочие! Друзья!

А покуда улицы гимнами расколоты,  
Пьяные качаются, вспухшие от голода,  
С крестными знаменьями чокаются чары:  
«Черные гусары! Черные гусары!»

С черными гусарами, с белыми казаками  
Британцы и французы ведут торговый спор,  
Делятся добычей, грызут кусочек лакомый,  
Бунтарям готовят карающий топор.

Их связал обряд религии единой,  
Вот баланс подводят, каждый сыт и рад:  
На «приход» — гнилые французские сардины,  
И в «расход» — бойцы одесских баррикад.

«Будут все довольны! Хватит всем валютцы,  
Шинелей и какао! Патронов не жалеи!  
Мы уж с божьей помощью эту революцию  
Выбросим за борт с английских кораблей!»

Но летит без промаха ветер над волнами,  
Раскаленный ветер завывает вновь.  
Видно, не погасло потемкинское пламя,  
В жилах у матросов не остыла кровь.

В глухих каменоломнях, в турецких катакомбах  
Сердца горят, как факелы, прорывая мрак.  
Восстание готово взорваться, словно бомба,  
Готово засиять, как портовой маяк.

Первыми шагами последние пороги  
Бойцы переступают, — сладок каждый день им!  
Они светлы от счастья, от радостной тревоги,  
То ли перед смертью, то ль перед рождением...

Целует их опасность, рукою гладит ласковой,  
У каждого оружие и яды подолой...  
Кто чистит офицеру сапог скрипучий, лаковый,  
Кто в портовых задворках торгует шепталой.

Кто в пиджачке лакея, кто в форме офицерской,  
Кто продает газеты, а кто вострит ножи.  
Дешевенькие крестики в лотке разносит Серка,  
А там восстанья бродят и зреют мятежи.

Подходит покупатель и говорит, зевая:  
«Промышляешь крестиками? На сегодня хватит!  
Отправляйся в штаб со мною, дорогая:  
Там тебе за крестики и звездочки заплатят!»

К морю полтора ста ступеней пригнулись,  
Каменным поклоном падая к ногам.  
Пленных коммунаров с захмелевших улиц  
Толпами сгоняли под казачий гам.



Веки накалились. На лицах ответ строгий  
Сдержанных улыбок. За плечами — дали.  
Уличный булыжник бойцам целует ноги,  
Над головами смертников звезды заблестали.

Но притихла гавань, гавань — как могила,  
Словно склеп огромный, ждет баржа во мгле.  
Смерть свой черный якорь в воду опустила,  
Словно крест надгробный всей живой земле.

Море ошетинилось — палаческие лодки  
Зудят подобно оспинам... куда уйти от них?  
Словно рыба кость, застряла баржа в глотке.  
Негде морю спрятаться от убийц ночных.

Море волосатой шкурою покрылось,  
Море мертвым зудом чешут челноки.  
Как ему покинуть гробовую гнилость?  
Где ему оставить глубь своей тоски?

А средь волн тяжелых и от крови ржавых,  
Словно ворон черный, плещется баржа;  
Коммунаров-смертников в рубищах кровавых  
Лодки ей привозят, палачам служа.

Темными ночами уплывают лодки.  
Тяжела дорога, труден каждый шаг,  
Им слепит глаза торжественный и четкий  
Красный светоч мести — портовой маяк!

Серку и матросов увозят в лодке черной.  
Песня обнимается с пучиной голубой,  
И слова той песни, как небеса, просторны:  
«Это есть...

...последний...

...и решительный бой...»

Пред порогом смертным на мгновение встали,  
Радостью и грустью песня зазвучала.  
Уплывают к смерти, в золотые дали,  
Словно начинают жизнь опять сначала...

Рыба жует бескозырку на дне.  
Вязнут шаланды в кровавой волне.

Воды, раздайтесь! Раздайся, волна!  
Рыба пошла на добычу со дна.

Рыба к барже на обед поплыла.  
Тонут в волнах молодые тела.

Голову в серый мешок, а потом  
Выстрел в затылок — и в море лицом.

Смертники молкнут — шаг их притих,  
Мучит желанье последнее их:

Дым папиросный над красным огнем,  
Только б затяжку — и дело с концом!

Черное море стучит в небосвод,  
Смерть на обед похоронный зовет.

Хватит для всех, — продолжается суд,  
Рыбы, не ссорьтесь. Матроса ведут!

Жирные волны снуют за кормой.  
Рыбина лижет баржу под водой.

Близко у берега встала баржа:  
Страх и тревога — ее сторожа.

Смерть воздвигает ее, как редут.  
К трапу закрытые лодки гребут.

Рыба жует бескозырку на дне.  
Вязнут шаланды в кровавой волне.

Парни прощаются: «Будь же здоров.  
Легкого рейса! Попутных ветров!»

Каждый готовится, выйдет — и ждет.  
«Серка, иди же, пришел твой черед».

Серка целует друзей молодых,  
Серка глядит, улыбаясь, на них.

Лестница... Палуба... Напрочь мешок.  
Море еще повидать хоть разок!

Вздригнула, бросилась вниз головой  
Вслед за гребенкой своей костяной.

Стонут шаланды на море ночном.  
Пламя качается над маяком.

Брызжет с баржи, непрерывен и дик,  
Красный огонь, как кровавый язык.

К штабу веселому тянется он.  
Город багровым огнем озарен.

«Сладко, как богу, в Одессе моей!  
Только конфетку соси поскорей!»

«Липнет мой рот, есаул, от конфет.  
Места ль на лодке для смертника нет?»

Рыбы играют в морской глубине,  
В сонных струях, точно в красном вине.

Мертвый ложится на лоно зыбей...  
«Сладко, как богу, в Одессе моей!»

Рыба жует бескозырку на дне.  
Вязнут шаланды в кровавой волне.

## ГЛАВА 22

Шапка вся в репьях, испятнана, пестра,  
На плечах — шинель, пропахшая карболкой.  
Мчатся по степи рассветные ветра,  
Обдавая щеки изморозью колкой.

Маузер григорьевский, английская обувь,  
Блещет на околыше красная звезда.  
По-над степью, в блеске облачных сугробов,  
Новый день встает, прозрачный, как вода.

Как шинель солдатская, дали спозаранья  
Сумрачно сереют в золотом огне.  
Где-то грузный топот, яростное ржанье, —  
С грустью Шлойме-Бер подумал о коне.

Чей-то хриплый голос кличет издали;  
Рдеет новый день за облачным барьером;  
И внезапно, блеском утренним залит,  
Возникает Бенчик перед Шлойме-Бером. . .

До ушей винтовка. . . и сутул и худ,  
В трепаных обмотках, в шапке волохатой, —  
Он в степной простор, где слышен смутный гуд,  
Напряженно смотрит, словно соглядатай.

И как шалый — к Бенчику мигом Шлойме-Бер:  
«Бенчик! Что, и ты уж сделался солдатом?  
Бенчик, Бенчик! Серки нет уже теперь,  
Пал Труба удалый, и бог весть что с братом!

Мне б коня добыть с копытами, как медь,  
С гривой огневой, с печальными очами,  
Из конца в конец просторы облететь,  
Отдыха не знать ни днями, ни ночами. . .»

Снова дали кличут, снова ждут, томясь.  
Время ль мешкать нам? Стремительны и яры,  
Ветром опьяняясь, радостью кормясь,  
Прут по бездорожьям с песней коммунары.

Смотрит Шлойме-Бер на Бенчика в упор,  
Щурится и молвит с ласковой усмешкой:  
«Где же ты скитался, Бенчик, до сих пор?  
Что слышал? Что видывал? Говори не мешкая!»

Радостно зажглись у Бенчика глаза,  
Выпрямился Бенчик, тощий, изможденный:  
«Был я в пулеметном. . . Шли мы, как гроза,  
Брали города, нас в бой водил Буденный!

Как, бывало, нам Буденного приказ  
Прогремит в дали, открытой напоказ,

Сердце забушует силою хмельной,  
Бурные заплещут крылья за спиной!

Как приказ Буденного, объявляя бой,  
По степям задымленным прогремит трубой,

На коней, под пули — жизнь не дорога,  
Ринуться готов — хоть к черту на рога!

Как приказ послышится, люди в тот же миг  
Взнуздывают горы, реки, крутояры. . .»  
С песней день и ночь по трактам напрямик  
Пешие и конные валят коммунары. . .

Барские усадьбы. . . Вырезные кровли,  
Псы у подворотен — старые, чубарые.  
В парках пахнет гарью, в клумбах — лужи крови,  
Курятся конюшни, хлевы и амбары. . .

По усадьбам кони с Дона и Кавказа  
Бродят без призора, брошенные барами.  
Тут и появился Шлойме-Бер с наказом  
Осмотреть и выбрать лошадей для армии.

Шлойме — впереди, а вслед за ним китаец.  
И бок о бок Бенчик, сумрачен и строг,  
И бескрайний мир лежит вокруг, блистая  
Ясностью просторов, далее и дорог. . .

Бронзовый, прямой, лишеньями испытан,  
Шествует китаец, в сердце торжество,  
И на Шлойме-Бера с нежностью глядит он, —  
Ни на шаг отстать не хочет от него.

Лошади что надо, сытые, горячие,  
Первобытной мощью груди налиты. . .  
Лошадям рукою губы отворачивая,  
Шлойме-Бер глядит им пристально во рты.

Их по шеям треплет и по крупам дюжим,  
И в раздумье молвит, взором дали меря:  
«Хватит вам, красавцы, господам  
прислуживать,  
Выслужите службу красной кавалерии».

Пламенная, бурная русская страна.  
Кожаными седлами конница бедна.  
Кони так и рвутся в поле поутру,  
Огненные гривы реют на ветру.

В думах и заботах Шлойме-Бер увяз.  
По степным просторам катится приказ:

«Сёла и поселки! Выходи дружней.  
Холщовые седла выткем для коней».

Каганцы и масло, и лучины есть.  
Трубы объявляют: «За работу сесть».

День и ночь станочки громыхают в лад,  
В селах за работу сели стар и млад.

Кожаными седлами конница бедна,  
Холщовые седла мастерит страна.

Воют веретена, свищут челноки,  
Красной кавалерии ткутся чепраки.

Шлойме-Бер, заботам близится конец,  
Писаным красавцем будешь на коне.

Бабы, зубоскалить и зевать не смей,  
Красной кавалерии седла поскорей.

Разалелись щеки, косы горячи,  
Взоры как зарницы в грозовой ночи.

Пламенная, бурная русская земля,  
Кони так и рвутся поутру в поля.

Холщовые седла были в срок даны,  
В путь-дорогу к Висле, к берегам Двины.

...В сёлах и в поселках суета с утра,  
По дорогам — песни, жалостные, сирые,  
Вышли из хибарок оседлать ветра  
Чуваши, татары, калмыки, башкиры.

Гей, дорожный ветер! Сосны, синева.  
Солнечные дали, вольной песней рвитесь!  
Из села в село разносится молва —  
Двинулась в поход башкирская дивизия.

Смуглые, раскосые — среди полей полки.  
Конские копыта бьют, как молотки.

Желтые равнины, голубая высь,  
Ух, как завернули, ух, как понеслись!

Гроыхает бубном каменистый брод,  
А не видно брода — бух в водоворот!

За полями — в зареве — мечутся снопы,  
Гривы развеваются, пыль из-под копыт.

Мимо, мимо, мимо — хаты, колокольни.  
Эй, скажите, путники, близко ль, далеко ли?

Звездами швыряются крепкие подковы,  
Средь песков штандарты плещутся багровые.

Смуглые, раскосые катятся полки,  
Бубенцами брякают сбоку котелки.

Гей, Погон Погонович, лысый черт Деникин,  
Английские френчи и донские пики!

За полями — в зареве — мечутся снопы,  
Гривы развеваются, пыль из-под копыт.

Взмыленные морды у лихих коней,  
Грозовые лица у лихих парней.

Мимо полустанков, погорелых жатв,  
Мимо рельс разобранных, что кругом лежат,

По ночным поселкам, селам, городам  
Тучами несутся конники к фронтам.

Гей, лихие конники, что же замолчали?  
Оглушите песнями заревые дали!

Чубы — набекрень, и песни — ай да ну:  
«Едет ён на сером, да-а на коню».

Курятся равнины — ранние, глухие:  
«А штаны на ё-ом ликсандри-че-ские».

Позади обозные фуры громяхают:  
«А рубашка на ём — кумачо-вень-кая».

Мокрыми курганами пахнет горизонт.  
«Шапка на ём — да как ряжён, да посажён».

За полями желтое зарево встает.  
Двинулась дивизия шагом на восход.

Гей, лихие конники, что же замолчали?  
Оглушите песнями пламенные дали!

Желтые равнины, голубая высь.  
Красной кавалерии, враг, берегись!

#### ГЛАВА 23

За шальными ночами — шальные утра,  
Сумасшедшая скачка под свист и «ура»,

По кровавым равнинам, среди рытвин и ям,  
По буграм, по камням, по кочкам и пням,



И в часовенках истово крестится край,  
Огнекрылой грозой надвигается Гай.

По лавчонкам вороний срывается грай,  
На губах и в глазах — «что за Гай, что за Гай?»

Вихревые бригады сквозь грохот и гром  
Налетают, обходят пешком и верхом. . .

Эх, Буденный, братишка! Сквозь пушечный чад  
Боевые приказы, как трубы, звучат.

Бесноватая даль, огневой небосвод,  
Боевая команда — в атаку вперед.

То равнинами — в лоб, то обходом, сквозь гай,  
На Варшаву ведет кавалерию Гай.

Завывают фанфары сквозь пламя и дым,  
И за городом город ложится пред ним.

И проносятся дали в багровой пыли,  
Не хватает дорог, не хватает земли,

Пролетают поля под дождем из свинца,  
Позабылось начало, не видно конца.

И Буденного речь в канонадном дыму:  
«Революция, братцы, по миру всему».

И под гул, и под гомон, под храп скакуна,  
Под «ура» и «да здравствует, братцы, она»,

То равнинами — в лоб, то обходом, сквозь гай,  
На Варшаву ведет кавалерию Гай.

По кремнистым дорогам, лугами, полями,  
Громяхая, на запад проходят полки.  
На Варшаву поход. И знамена как пламя,  
И высоким сияньем лучатся штыки.

И уже за мостом, в зелени лугов,  
Искрятся, блестят клинки большевиков. . .

Улицы — в ознобе. . . Выбились из сил.  
На мосту на Пражском большевик Азрил. . .

И хрипят костелы. . . а мосты кругом  
Возвещают: в Праге — боевой ревком.

Гомонит местечко, вставшее от сна,  
Улицы крылатыми крыты кумачами. . .  
По майдану пыльному, радостью пьяна,  
Носится Нехама в сутолке и гаме.

Стены в городке пылают от воззваний,  
Стены и заборы — в гордых пентаграммах, —  
И тогда впервой на утреннем майдане,  
Обратясь к народу, молвила Нехама:

«Слушайте, рабочие, слушайте, крестьяне,  
Слушайте внимательно, братья бедняки!»  
И насторожились люди на майдане, —  
Взоры что буравы, бороды — клинки.

Птицей огнекрылой падал над толпою  
Голос полноречивый и взвивался вновь:  
«Так за чье довольство ополчались к бою,  
На войне германской проливали кровь?»

Из патронных ящичков сложена, стояла  
В ярком кумаче трибуна посреди,  
И матрос, мотая шапкой полинялой,  
Воскличал: «Братва, поближе подходи!»

Пенится майдан. От края и до края  
Бороды бушуют, ржавые, косматые,  
И гремит Нехама, взорами сверкая:  
«Час настал, рабочие, пахари, солдаты!

Братья, прочь войну, затеянную барами!  
За Советы встанем! Наше дело свято!  
Слава коммунарам, слава Красной Армии,  
Армии свободного пролетариата!»

По кривым лавчонкам, жалобно вздыхая,  
Торгаши шушукались. . . Женщины упрямо  
Припадали к окнам: «Наша иль чужая?»  
— «Да какая наша? Это ведь Нехама!»

Выбилась из сил Нехама, хлопоча,  
Из груди рвалось дыхание со стоном,  
И гудела кровь, густа и горяча,  
Жилы распирая в беге напряженном.

Тишина глухая. . . Предрассветный час,  
Хохлятся домишки в темени безлунной. . .  
В лавках шепот: «Им недолго быть у нас,  
День-другой — и снимется чертова коммуна».

Вот наутро в лавках окна заколочены,  
По углам хозяева в страхе прикорнули,  
И внезапно — залп! Разорвана на клочья  
Тишина пустынная тупиков и улиц. . .

Ночь угрюмой тьмой местечко облегла,  
Ночь набатной бурей буйно бушевала,  
Гром катился, молния мрак кромешный жгла,  
И тряслись евреи, спрятавшись в подвалы.

Голосит местечко, взятое в тиски,  
Льется кровь на улицах, узких и витых;  
На деревьях в ряд висят большевики,  
Пачками у стен расстреливают их.

По следам Нехамы рыщут волчьей стаей,  
Нынче от расправы не укрыться ей. . .  
Старенькую мать Нехамы истязают:  
«Дочь куда девалась — говори скорей!»

В постолах дырявых, в платьице убогом,  
С клеткою в руках сквозь вражие заставы  
Птичницей Нехама по пустым дорогам  
Побрела чуть свет в далекую Варшаву.

В трепете местечко... Топот исступленный  
Слышен по степям от края и до края;  
Где-то канонадные бесятся циклоны,  
Где-то дали рушатся, тяжко громоухая.

Как тела утоплые, изо тьмы подвальной  
Вынырнув, мелькают там и тут евреи...  
На крыльце раввин сутулится, печальный,  
И платок в руке иссохшей багровеет.

Выступают пешие поступью упругой,  
И за эскадроном мчится эскадрон.  
Говорят, взглянув на ветхую лачугу:  
«Вот он, большевистский на крыльце шпион!»

И к раввину шесть жолнеров ворвалось:  
«Говори, святой, ты где запрятал знамя?  
Есть глаза и уши, ты таиться брось!  
Старая собака, следуй-ка за нами!»

Поглядел старик задумчиво и строго,  
Шамесу легонько помахал рукой:  
«Поскорей, Элише, собери в дорогу,  
Час настал великий, кличут на покой...»

И прошли, разутые, в синеву равнин  
Мимо синагоги, мимо рундуков  
Шамес реб Элише и старик раввин  
Под конвоем польских сабель и штыков.

Вяло, обессиленно дали распластались,  
Белым дымом курятся полосы дорог.  
«Подойди, Элише, и закутай в талес,  
И скорей платком укрой священный рог!»

Зеленеют пятна роц и луговин,  
И над ними — небо, вечно молодое.  
И в раздумье тихом поглядел раввин,  
Поглядел, как ивы никнут над водою.

Полям травянистым вечер в лица дышит,  
Мягкой теплотою повеваает высь:  
«Дуй, Элише, в рог! До сумерек, Элише,  
Скорбью об ушедшем равви не томись!»

И донес, как эхо, налетевший ветер:  
«Дуй, Элише, в рог и слез не проливай.  
Как глагол мессии, пусть он на рассвете  
Облетит всю землю, мчась из края в край!»

#### ГЛАВА 21

Туманом затянут, как очи слепого плевой,  
Весь в черных нарывах, в пыланье горячечно-алом,  
Намокшей дерюгой накрылся рассвет полевой.  
Не видно небес, что дырявым висят одеялом,  
Не видно, как версты и мили, среди тощих отав,  
Колесами щупает перегруженный состав.

Озябшее утро. Запухшие, ржавые дали.  
В четыре конца разметалась больная страна.  
Там горла дорог — воспаленные; вдоль  
магистралаи —

Лохмотья паров, как всклокоченная седина. . .  
Там поезд распухший, потея, пыхтя от усилий,  
Ползет и грызет заскорузлые версты и мили.

Проклятьем просторов со стрелки на стрелку  
гоним,  
Назад, громыхая, ползет рассеченной змеею. . .  
Качаясь, ползет он по насыпям; плача и воя,  
Ползет; семафоры повсюду закрыты пред ним;  
В распухшую степь, среди кочкарников, щегня  
и пыли,  
Ползет он, грызя заскорузлые версты и мили.

Сорок вагонов — беспамятства, жара и вшей,  
Сорок вагонов — удуший, тошнот и агоний,  
Сорок вагонов — блевотины, крови, зловоний,  
Больше нет мест для горячечных тел и вещей,  
Но, богоматерью (к сердцу дитя прижимая),  
Стынет старуха на буфере глухонемая. . .

Стонет, хрипит паровоз. Из больного нутра  
Пламя и гарь вырываются траурным шквалом.  
На гору — путь, и в студеном тумане с утра,  
Как в забытьи, он ползет над бездонным провалом,  
И застывает, вползая на круть,  
Как в Реомюре, под мышкой покойника, ртуть.

Чешется небо — худая, облезлая туша,  
Тянет оттуда карболкой и нашатырем. . .  
Звезды, как черная оспа, горят над бугром,  
Где надрывается, где рукоплещет кликуша,  
Оповещающая просторы, которые клонит ко сну:  
«В собственном поезде тиф объезжает страну!»

Люди в шинелях плетутся к составу толпою,  
В спинах — покорность, в глазах — беспокойство  
тупое,  
С ближних вокзалов бредут с ордерами на смерть.  
«Братцы, полно! Так полно, что блохе не пробраться!  
Братцы! Нет мест! Потерпите до вечера, братцы!  
Может, кого уберет сердобольная смерть?»

Сгорбленные, спотыкаясь, плетутся шинели.  
Руки как гири. . . Подглазья и рты посинели,  
С ног, что набрякли, не скинуть тяжелых сапог,  
Остолбененье в глазах, воспаленных и впалых. . .  
«Братцы, кончайтесь пока где-нибудь на вокзалах,  
После в теплушках просторнее станет, даст бог!»

А где-то в тумане пустынной равниной к востоку  
Больной партизан на понуром плетется коне.  
Бряцает шоссе и, как сабля, болтается сбоку,  
Молчат облака над буграми в горячечном сне.  
И сеется полдень из мелкого сизого сита  
На ржавую землю, на зелень, что сухью убита.

Невмочь партизану, он чувствует жажду и жар,  
Всё тянутся к тучам его заскорузлые губы,  
Но воздух недвижим, кустарники сухи и грубы.  
Гудит голова и, раздутая жаром, как шар,  
От плеч отделяется. . . Душно ему и тоскливо.  
И фыркает конь, запаленный, со слипшейся гривой.

Всё тише ступает — и по́долгу, морду задрав,  
На всадника смотрит большим перекошенным оком.  
Но глух партизан, как бугор средь обугленных трав,  
Как шлях, как дубняк, с косогора сползающий боком.  
Он рвет гимнастерку, царапает горло в тоске, —  
Хоть лужа какая блеснула бы невдалеке!

Он сходит с коня и, тревогой, как совестью, мучим,  
Бредет, задыхаясь, по черно-багровым, зыбучим  
Волнам огневицы, и тащится конь, одинокий,  
А рядом, как тень, ковыляет распухший китаец, —  
Плетутся втроем, в безымянном просторе скитаясь,  
И где-то за тучами стонет тревожный свисток.

Конца нет пути. Возникает состав на откосе,  
Как фата-моргана, от них ускользает состав.  
Невмочь партизану... Он падает навзничь, отстав,  
И плачет, и просит кого-то китаец, гундося:  
«Товарищи, йодом помазали б спину ему!»  
И, под руку взяв, осторожно уводит во тьму.

Лучами сигналов топорщится полночь глухая,  
В беспамятстве полночь лежит вдоль платформ и постов.  
К запáсным путям паровоз проползает, вздыхая:  
«Товарищи, не напирайте! Достанет местов!  
Товарищи, в очередь! Всех заберем — без остатка.  
Гробы заготовлены. Скоро начнется посадка».

Уж двенадцатый день партизана пытается недуг,  
Уж двенадцатая на безумного полночь насела;  
Он куда-то летит, сквозь сумятицу ромбов и дуг,  
И начесами синими татуировано тело.  
И мотает его, и мутит, и морочит хаос,  
И коричневой сыпью целует горячка взасос.

Уж двенадцатый день он куда-то несется сквозь пламя,  
Он в бездонные шахты срывается вниз головой;  
На ногах — кандалы; в изголовье — почетный конвой;  
И ломает озноб, и стегает озноб шомполами.  
И мотает его, и мутит, и морочит хаос,  
И коричневой сыпью целует горячка взасос.

Уж двенадцать ночей... Раздается откуда-то сверху  
Повелительное: «Шлойме-Бер! Выходи на поверку!»  
И встает, и плетется, не видя ни зги, партизан,  
Спотыкаются ноги, в ушах — голошенье набата.  
И ломает озноб, и, чудовищным жаром объято,  
Расседается тело, как перекаленный казан.

И лежит партизан, под кургузой шинелишкой скрючась.  
Уж двенадцать ночей... Значит, нынче решается участь.  
Кто-то держит его, кто-то силится вырвать из рук.  
Воспаленные горы грохочут, вздымаясь вокруг,  
Воспаленные рощи сбегаются, кланяясь в пояс.  
Это снова уносит его огневой бронепоезд.

Запылен, раскален, в лошадином поту,  
Бронепоезд, как шалый, несется вперед,  
Он хватает село за селом — на лету,  
Он за городом город с налету берет.  
Бронепоезд! В поту, запылен, раскален,  
Он летит на подъем, он летит под уклон...

Бронепоезд, как серп, закруглен и остер,  
Он качающийся пожинает простор,  
И снопами летят за верстою верста  
И за милею миля под острым углом.  
Духота, темнота, духота, темнота,  
На подъем, под уклон, на подъем, под уклон...

Кавалерия! С гулом железных подков,  
Со штандартами грив, с голошеньем рожков.  
Бронепоезд — в галоп! И, как серп, закруглен,  
На Варшаву — подъем, на Варшаву — уклон!  
Вырываются Дубно и Ковель на холм,  
Запоздалые, гонятся Люблин и Холм.

Боевая команда — в атаку, вперед!  
Буревые фанфары гремят и ревут.  
Сумасшедший состав, как барьеры, берет  
За верстою — версту, за редутом — редут.  
Где ж Варшава? Проехали? Сбились? Сюда!  
Дайте карту! Скорее. Фанфарная даль!



На краю горизонта маячит комбат,  
Без сапог, без фуражки, в рубашке до пят,  
Он поет, как шальной, — на подъем, под уклон,  
Он кивает распухшей от ран головой,  
И уносит его канонадный циклон  
За холмы, за леса, в лазарет тыловой.

И летит бронепоезд, как серп закруглен,  
На подъем, под уклон, на подъем, под уклон.  
За верстою — верста, за постами — посты,  
За горою — гора, за мостами — мосты.  
Буревые фанфары ревут над путем:  
На Варшаву! — Даешь на Варшаву — подъем!

Уж двенадцать ночей. . . Раздается откуда-то сверху  
Повелительное: «Шлойме-Бер! Выходи на поверку!»  
И встает, и плетется, не видя ни зги, партизан,  
Спотыкаются ноги, в ушах — голошенье набата,  
И ломает озноб, и, чудовищным жаром объято,  
Расседается тело, как перекаленный казан.

Распухшее небо. Разорванные облака,  
Пылая, на нем вытяжными лежат пластырями,  
Как ветошь, висят над обугленными пустырями.  
Озябшее утро зевает и чешет бока  
О стены теплушек, ворочает спину коровью  
И пялится в окна глазами, налитыми кровью.

Лихорадка и бред, ковыляя, обходят состав,  
Лихорадка и бред из вагона в вагон воровато  
Пробираются, груды шинелей и тел разметав;  
Лихорадка и бред на ходу причащаются ватой,  
Йодоформом, карболкой, эфиром, сводящим с ума,  
И, позевывая, густошерстая чешется тьма.

Озябшее утро с налитыми кровью белками  
Ко всем пригляделось, и всех опознало оно.  
Когда б доползти до окошка, пробить кулаками  
Стекло, за которым прохлада крепка, как вино!  
И сбросил шинель Шлойме-Бер, и, став на карачки,  
С проклятьем нырнул в океанские волны горячки.

То крестом, то спиралью — вперед и назад —  
Вдоль бормочущих нар санитары скользят,  
Пролетают во мглу, вылетают из мглы,  
Суетятся, хлопочут, легки и белы.  
Это — белые! Белые, путь разобрав,  
Задержали состав, захватили состав!

И вскочил Шлойме-Бер и, дыша тяжело,  
Завопил, надрываясь, на весь эшелон:  
«Берегись! Я еще при нагане своем!  
Шлойме-Бера в бою нехватишь живьем!»  
Раскаленную руку приставил ко лбу,  
И раскатистый выстрел решает судьбу.

И помчался к окну, воспаленный, шальной,  
Прошибить кулаками стекло, и опять  
Завопил, задыхаясь: «Как смеете спать!  
На коней! Неприятель... прорыв... за спиной!  
Обошли! Потеснили стрелковую цепь!  
Нажимают на фланг! Мы в железном кольце!

Нажимают на фланг! Перерезали путь!  
Подымайтесь!» — гудит раскаленная муть,  
И мотает хаос, и морочит хаос,  
И — на койку свалился, всклокочен и бос.  
Уж тринадцать ночей... Пробуждается он  
И, сквозь облако радости, видит — вагон.

. . . . .

Он как в шлюпке лежит, и сквозь грустные окна к нему  
Подступают, покачиваясь, просветленные дали.  
Вот бы встать да пойти по равнине, вдоль рельсовой  
стали,  
Наблюдая, как голуби реют в лазурном дыму,  
Как подводы пылят, и справляться у девок веселых —  
Что за шлях, и далеко ль деревня, село иль поселок?

Побрести не спеша по межам, вдоль цветущих овсов,  
Большаками шагать, вдоль оврагов, бугров и лесов,  
Узнавать: «Сколько времени?» — у проезжающих мимо...  
Наконец, утомившись, прилечь на валу где-нибудь.

Развалиться в траве — и в просторе необозримом,  
Отдыхая, разглядывать людный проселочный путь.

Видно, станция рядом, а может — село недалёко.  
А внизу по лугам убегает луками река,  
И спуститься к реке, меж зеленых оград лозняка,  
И, прильнув поцелуем к воде, осененной осокой,  
До потери сознания глотать голубую струю,  
В золотистом песке утопая, на самом краю...

Хорошо, хорошо! И бок о бок лежащий китаец  
Дружелюбной рукой запотевшее гладит плечо.  
«Я поправлюсь, не правда ли? Мы повоюем еще!  
Где же конь мой? Что с ним? Позабыл я любимого,  
каюсь!»

Хорошо Шлойме-Беру. Болезнь — как чудовищный сон,  
Обо всем вспоминает, всему улыбается он...

Необъятные дали раскинулись пред Шлойме-Бером,  
Золотою соломой устлала дорогу заря.  
Исхудалый, обросший, но прежней отвагой горя,  
Шлойме-Бер по равнине в дивизию мчится карьером...  
За неделей — неделя, и бодрый, окрепший вдвойне,  
Шлойме-Бер — он опять на любимом своем скакуне.

## ГЛАВА 25

Ветер по шляхам исхоженным ярится,  
Пахнет ночь смолой и свежее корой,  
Девушка тяжелые корзины с птицей  
Принесла в Варшаву позднее порой.

Улица Франциска, а за ней другая,  
Пшеезд и Налевки, — людно, не зевай, —  
Где-то в переулках слышен звон трамвая,  
Чей-то крик истошный и вороний грай.

Парк Крашинского пришлось пройти Нехаме,  
Взор ее усталый на скамью упал,  
Ветер, как гадалка, быстрыми руками  
На траве колоду листьев разметал.

Отдохнуть бы ей, а ветер рвет и мечет,  
Девушке судьбу на листьях ворожа,  
И пошла она судьбе своей навстречу  
К дому, где ночные спали сторожа.

«Кто бы в этот час отыскивал портного?  
Вот заказчик поздний появился вдруг! . . .»  
Удивлен Азрил, Нехаму встретив снова,  
Рад у ней корзины снять с усталых рук.

В комнате машинка, кройка, манекены;  
Тени, затаясь, уютятся подле стен;  
Запахи ромашек, поля, ветра, сена  
Принесла Нехама в этот душный плен.

Пахнет от нее покосом, сладкой мятой,  
Лютики, ромашка в комнате цветут.  
«Здесь, Азрил, под квочкой спрятаны гранаты».  
— «Скинь кожух, Нехама, оставайся тут».

Жар томит Азрила, и светло Азрилу,  
Юношу дурманит свежий аромат;  
Словно веет ветер дальний, легкокрылый.  
Утро. Проступают контуры громад. . .

Тени выползают, избегая слежки;  
День для них тревогой новою встает.  
Шмыгают лотки, и катятся тележки,  
У казарм кто квас, кто воду продает.

С кем поговорить, с кем обменяться взглядом  
Надо ненароком. Дел у всех полно. . .  
Кто вернется в дом, стоящий с парком рядом,  
А кому с тюрьмой знакомство суждено.

Допоздна Азрил кружит ночью птицей,  
С улицы на площадь, снова на вокзал.  
Ночь предать готова, ночь меняет лица. . .  
Хоть бы друг бок о бок с ним во тьме шагал.

Как же он устал! А там на перекрестке  
Девушка, дрожа от холода, стоит.  
«Ты куда, красавчик? Нет ли папироски?» —  
Вслед ему она несмело говорит.

Словно день забрезжил из-под шали рваной,  
Тело розоватым пламенем зажглось.  
«Посидим немного, — дрогнул голос пьяный, —  
Холодно и скучно одному небось?»

Сели на скамью. Он хрусткую баранку  
Вынул из кармана: «Ешь, ты голодна».  
Девушка взяла: «Мне надо спозаранку  
Накормить ребенка. Я ведь не одна.

Посидим. . . Уже недолго до рассвета, —  
Кашляет недужно, рот прикрыв рукой.  
И смеется вновь: — Ты ладный, разодетый!  
Ласковый, видать. . . Откуда ты такой?

Хоть моя каморка больно неказиста,  
Хочешь — так и быть, пойдем, милоч, туда?»  
Вдруг Азрил застыл: в аллее парка мгlistой  
Шорохи, шаги. . . «Ужели ждет беда?!»

Но уже вблизи мелькают чьи-то тени.  
То друзья. Им надо свидеться тайком.  
Фуры и возы грохочут в отдаленье.  
«Девушка, скажи, далёко ли твой дом?

Хочешь, познакомлю с добрыми друзьями,  
Подработать сможешь несколько монет?»  
Рассмеялась звонко, повела плечами:  
«Дурачок мой, проше, отчего же нет».

Вот Винцент с людьми из своего района;  
Янек им о чем-то тихо говорит.  
После долгой ночи, трудной и бессонной,  
Много дел друзьям на завтра предстоит.

В комнате тепло, и тает вмиг усталость.  
Отломил ломоть Азрил от калача:  
«Тут спокойно, тихо. Посидим здесь малость.  
Может быть, паненка нам согреет чай».

Кто-то достает бутылку торопливо,  
По столу баранки катятся вперед.  
«Ох, какие парни, молоды, красивы».  
Девушка пьянеет, плачет, снова пьет.

Каждого пригреет, каждого погладит,  
Волосы потреплет нежною рукой  
И опять на миг с Азрилом рядом сядет:  
«Так ответь, красавчик, кто же ты такой?»

«Девушка, ты дремлешь, вижу, ты устала,  
Что нас ждать? Ты лучше ляг и отдохни».  
Не под силу, бедной, сдернуть одеяло,  
Руки непослушны, — пьяные они.

И в углу, где матка боска вдаль глядела  
Скорбными глазами, полными тоски,  
На постели смутно розовеет тело;  
Сонной не поднять, не протянуть руки. . .

«Пусть поспит. Никто услышать нас не может».  
Мигом все гурьбой сгрудились у стола.  
Пьяные виденья девушку тревожат,  
Наяву вершатся славные дела. . .

Крепко держат зори их в своих объятьях,  
В каждом сердце слиты смелость и любовь;  
И священный долг не может миновать их,  
В каждом сердце слиты ярость и любовь.

Так в ту ночь над этим ложем многогрешным  
В зареве рассвета близилась гроза.  
Светлый луч сраженья с мраком вел крошечным,  
И горели ясным пламенем глаза. . .

Девушка лежала, словно расцветая,  
Вожделеньем грудь вздымалась у нее.  
Где ж блудницы тело? Где заря святая? —  
Здесь союз влюбленных в смерть и бытие.

Поднялся Азрил, поправив одеяло,  
Девушку прикрыл и предложил свой план:  
«Жди, Нехама, тут, Винцент — у Арсенала,  
Я отправлюсь в Прагу, как приказ мне дан.

Ты у Павиака будешь наготове,  
Янек с остальными держит связь пока, —  
И огонь и сила в каждом тихом слове, —  
В Ратушу послать нам надо смельчака...»

Всем Азрил открыл пути прямые к цели,  
Каждому его дорогу указав.  
День вползал в каморку, день сочился в щели  
И лучом впивался в сонные глаза.

Дальние шаги... Уже невнятные речи...  
Тихий плач ребенка... Где-то гаснет свет...  
В сердце муть тревоги, в сердце радость  
встречи...  
«Где Азрил, где Янек?.. Никого уж нет!»

## ГЛАВА 20

Осень приближается. Дни за днями тают.  
Ночи всё длиннее. Небо распалая,  
Солнце красноблужным палачом блистает,  
И под ним, как плаха, зрелая земля.

Осень приближается. Слово медь литая,  
Наземь опадает ржавая листва.  
Вот весна вернется — вырастет другая,  
Снова повторится всё, как и сперва.

С листопадом этим, бронзовым и сонным,  
Падают сердца, и колокольным звоном  
Гулкое паденье отдает в ушах.





Дует-задувает ветер легкокрылый  
И приветы издали письмами несет.  
Всё растут товарищи около Азрилы,  
Ну, а с ними вместе и Азрил растёт!

Хорошо подземными, тайными путями  
С парнями отважными рваться ввысь и вширь.  
Разорвать бы землю этими плечами,  
Этими руками расковать бы мир!

Из глубин глухое слышно громоханье.  
Все идут навстречу. Все идут к нему.  
Слышен чей-то топот, слышен шум дыханья,  
Чьи-то песни звонкие ворвались во тьму.

Невдомек Азрилу, радостью объятому,  
Что его по этим вздыбленным путям  
Кто-то настигает. Притворяясь братом,  
Смерть за ним упорно ходит по пятам.

Выщипаны листья — золотые перья.  
Выщипаны с кровью, с кожей — с черенков.  
«Среди нас, товарищи, есть предатель, верно,  
Гибель среди наших кроется рядов!»

Золотисты тропы. Золотисты стены.  
Золотится лета пламенный покос.  
Громко крови требуя, золото осеннее  
На руках Азрилы пурпуром зажглось.

Некуда Азрилу от раздумий деться,  
Руки его осень стынью холодит,  
Руки его ясные светятся по-детски,  
Но ему убийство руки освятит.

Лето миновало. Теплый отблеск лета  
Всё дрожит в Азриле, угасая в нем.  
Медом и печалью пахнут дали где-то,  
И утраты горечь разлита кругом.

Рассветает поздно. Дни встают уныло,  
Всходят и сгорают на ночных кострах.  
В эти дни Нехама встретила Азрила  
На косматой Вислы загнанных волнах.

Тело ее налито, словно плод осенний,  
Сладостный, желанный груз ее томил.  
Требуют ответа два сердцебиенья:  
«Как же с Владиславом наконец, Азрил?»

Мы ему всё время доверяли сослепу,  
Чем же это кончится? И чего мы ждем?  
С каждым его шагом непреложной поступью  
Смерть подходит ближе, дышится с трудом».

Запоздалой осени дни встают суровые,  
Дни глухие курятся дымной чередой,  
Дни восходят где-то и сгорают снова,  
С ними и Нехама плач возносит свой.

«Я люблю тебя, Азрил!  
Тихую любовь свою давно коплю я.  
Я люблю тебя, Азрил!  
Плоть моя несет твою любовь большую.

Не отдам любовь я смерти в руки черные,  
Не отдам дитя мое гибели слепой,  
Я с ней буду драться, не склонюсь покорно,  
И посмотрим, кто из нас выиграет бой».

Притворяясь братом, смерть за ним — в погоню!  
Он ее товарищем Владиславом звал.  
Осень так кровава! Нет ветров спокойных,  
Корабли не знают, где их ждет причал.

Дерева раздеты донага. Немало  
Выточила осень копий для себя.  
Пусть Азрил прикончит смерть свою сначала,  
Дальше — будь что будет, что несет судьба.

Опадают листья. Наземь, словно листья,  
Падают товарищи, слова не сказав.  
Воют ураганы. Ветровые свисты.  
«Что же так любезен с нами Владислав?»

Колоколен клекот. Грустными раскатами  
Звон цепей Азрила медленно томил.  
«Среди нас, товарищи, бродит провокатор», —  
Осенью на сходке заявил Азрил.

От тоски шалеют парни. И украдкой  
Ласковые вихри пряди шевелят.  
Будь топор каленым, будь веревка гладкой!  
Ох же они двинут! Ох и налетят!

Ночи пролетают, тайно пламенея,  
Синева всё меньше в каждом новом дне.  
Чем для окружающих Владислав милее,  
Тем Азрил задумчивей, тише и бледней.

Тихо листья падают — желтые и ржавые,  
Но и под опавшими зреет бурь накал.  
Золотом набиты карманы Владислава,  
И Азрил уж где-то сам на след напал.

Ох же и взиграет ураган мятежный!  
Всё сочтется лета золотая кровь.  
Все шаги отточены, все шаги прослежены,  
Ветровые вести шлют со всех концов.

Вот они, порезы. Рана вот сквозная.  
Оперенье лета с кожей рвут живьем.  
Владислав спокоен. Он еще не знает,  
Что давно справляется смерть уже о нем.

Бешеные ветры воют и бормочут,  
И Азрил сегодня не пришел домой.  
Тайное собрание было в парке ночью,  
И решили что-то в тишине немой.

Был дождливый вечер. Днем дождило тоже.  
Все уж в полном сборе. Здесь же Владислав.  
«Тайного предателя нужно уничтожить!» —  
Так решили твердо, проголосовав.

Владислав порывисто вскакивает с места:  
«Кажется, я знаю, кто это такой!  
Дайте мне, товарищи, насладиться местью,  
Кровь ему пушу я собственной рукой!»

И Азрил ответил: «Ладно, Владислав!  
Послужи товарищам, гадину убрав.  
А теперь отсюда мы уйдем, и там  
Я тебе оружие и патронов дам».

И осенней ночью, тихой и погожей,  
Шли они бок о бок, думой налиты.  
Вдруг Азрил роняет: «Владислав, кого же,  
Владислав, кого ж подозреваешь ты?»

И глядит упорно. Тот отводит взоры.  
Чует он. Бойтся. Улицей пустой  
Шли они осенней ночью, словно воры,  
Наглухо окутаны плотной темнотой.

До висков от сердца — провода как будто.  
Браунинг за пазухой обжигает кожу.  
Кто идет навстречу? Ворота... закуты...  
И Азрил вторично: «Владислав, кого же?»

Владиславу чудится: петли, точно кобры,  
Стягивают шеи. И в ответ — молчит.  
Он шаги считает; как тяжелый обруч,  
Каждый шаг мелькает, катится в ночи.

Скрежеты трамваев. Провод вспыхнул мокрый.  
Фонари над городом просверлили даль.  
А дворы безмолвны. Стены в грязной охре...  
И в руке Азрила вдруг сверкнула сталь.

«Вот тебе, — грохочет, — полная расплата!  
Пулю в лоб и в сердце — гром до немоты.  
Так игру кончает каждый провокатор,  
Владислав, а этот провокатор — ты!»

Два огня. Два выстрела. Стон глухой и влажный.  
Красный кашель в темень. Молния. Свинец.  
Город покачнулся вправо, влево. Страшный  
Свист и столкновение. . . Скрыться б наконец!

Улицы, всплывая, в лихорадке гложнут.  
Стиснули Азрилу. Он стяхнул беду. . .  
Снова что-то за руки, за ноги. . . Не охнуть!  
«Я вернусь, Нехама! Я к утру приду!»

Лето миновало. Осень вдаль умчалась.  
Золота дорожного отпылал стожар.  
Дни настали черные, полные печали.  
Кто тогда встречал их? Кто их провожал?

Дни — сплошные сумерки. И ночей чернила  
Стены одиночки заливают тьмой.  
Но светло и радостно ожидать Азрилу, —  
Он не опоздает, он рванется в бой!

Где-то там над Библией мать склонилась ночью,  
Желтизна осенняя на листьях застыла.  
Выплаканы очи  
Скорбные. . .  
«И было:

О пощаде братьев умолял Иосиф,  
Но в сырую яму бросили его. . .»

Дни пришли унылые, сумерки набросив,  
Небо и не тронута теплой синевой. . .

## ГЛАВА 27

Рвется вой, как пламя, из вокзальных пастей,  
А мосты застыли сталью крепких крыл. . .  
Мили шли к Азрилу, взбухшие ненастьем,  
И пришел на гибель в Павиак Азрил.

Огоньки ли окон, маяков глаза ли? . .  
Ветер бьет о стены, как могучий шквал.  
Палачи всю ночь Азрила истязали,  
Но в ответ на пытки он лишь зубы сжал.

Мясо отдирают от костей, и кости,  
Кости размыкают заживо с душой.  
Но стучится ветер. . . Не к Азрилу ль в гости?  
Не ему ль несет он силу и покой?

Молнии трепещут, пред глазами полыхая. . .  
«Отвечай, коммуна, выдавай своих!»  
Но молчит Азрил, и ночь молчит глухая,  
И тюремный гул над камерой затих.

Свечкой тает узник в глухоте неволи.  
Руки всё прозрачней, щеки всё бледней.  
Подоспел бы ветер, вольный ветер с поля,  
Свеял с плеч усталость этих горьких дней!

Где-то степь в цвету. . . Над нею ветры свищут,  
Из костелов рвется вопль колоколов.  
Днем Азрил в застенке отвергает пищу,  
Насыщаясь ночью звоном кандалов.

В камерах темно, лишь, свет мгновенно вырыв,  
Дверь зевнет и вновь смыкает злой оскал.  
Вечером вошли двенадцать конвоиров,  
Узника ведут в судебный зал.

Слово обвинения не острее ль сабли?  
За Азрилом зорко следят со всех сторон:  
Не сдался ли втайне? Сердцем не ослаб ли?  
Но о тех, что в зале, забывает он. . .

Видит он в окне — то правда или небыль? —  
Всадники к нему летят во весь карьер,  
Пики указуют в облачное небо.  
Нет, не брат его! О нет, не Шлойме-Бер! . .

Шелушится вечер, шелушатся речи:  
Чудится — не струпья ль счесывают псы?

Нет нигде подмоги, брат его далече,  
Есть лишь голова — цветок под взмах косы.

И опять судья впился в него зрачками.  
«Помни, жизнь иль смерть — решает твой ответ!  
В том, что ты убийца, — повинись пред нами.  
Может, и помилуем. . .» Но ответа нет.

И глядит Азрил, не видя, в стекла окон.  
Чудится Азрилу: где-то бьет набат,  
Улицы листаются в шелесте далеком. . .  
«Брат мой, Шлойме-Бер! Ты опоздал, мой брат!

Брат мой, Шлойме-Бер! Крепки мои оковы.  
Все тут ждут тебя, предсмертно ждут, как я. . .»  
— «Суд верховный спрашивает снова», —  
Обращается к Азрилу вновь судья.

Вдаль глядит Азрил, но всадники промчались,  
Светлой грустью он одет как бы броней.  
Тихо говорит, о брате лишь печалась:  
«Пусть палач и будет палачом, но не судьей».

«Отвечай, пока петлей не сдавим горло!  
Слышишь, я тебя предостеречь хочу. . .»  
Но Азрил взглянул презрительно и гордо:  
«От петли не скрыться палачу!»

Окна для него — огромными очками,  
Но весь мир сквозь них таким далеким стал.  
Говорит Азрил, как будто мечет камни:  
«Здесь казнить вас будет красный трибунал!»

Шорох, шепот, смех. Слова всплывают звоном.  
Поднялся судья и оглашает приговор:  
«Смерть через повешенье, именем закона!»  
— «Слава Революции!» — ответ звучит в упор.

Взоры судей, скрещиваясь, блещут приговором,  
Шелестят страницы, и штыки блестят.  
Весело беседуется саблям и шпорам,  
Чинно совершается судебный обряд.

«Может, о помилованье просишь? Ты ведь молод.  
Осужденный вправе прошение принести».  
Но в словах ответа дышит смертный холод:  
«Тот просить не станет, кто готов на месть!»

Ночь спустилась. Ветры перепиливают что-то.  
Кажется: нет стен. Стекла сквозной пролет.  
Некому Азрила отогреть заботой,  
И рыдать сюда Нехама не придет.

Ветхой чешуей ссыпаются мгновенья,  
Голубями брата в облака летят.  
Странно так! Спросить бы, правда иль виденье:  
Вместо темных стен — лишь стекол светлый ряд.

Пусть бы кто-нибудь их пальцами потрогал!  
Пусть бы кто-нибудь ладони наложил.  
Почему-то стены вдруг прозрачней стекол!  
Если б Шлойме-Бер, как прежде, рядом был!..

О, тогда Азрил весь мир вручил ему бы —  
Всё, что прячет он в душевной глубине...  
«Брат мой Шлойме-Бер, — чуть слышно шепчут  
губы, —  
Прискачи, примчись, спеши, спеши ко мне!»

И еще ему о чем-то надо вспомнить,  
Но забыл, забыл, совсем забыл, о чем?..  
Как же с жизнью быть? Она ведь всё огромней!  
Словно он всем миром перед смертью облечен.

Сердце сотрясают громкие удары.  
Сколько остается часов или минут?..  
К виселице с песнями шагают коммунары,  
Коммунары к виселице с песнями идут.

Надо что-то вспомнить... День зарею смыло,  
Белые дороги под ноги влечет.  
Что ему тогда Нехама говорила?  
«Тот, кто пересилит, тот и обретет».



Не впервые ль песни камера узнала?  
Целой ночью песен он качнул тюрьму.  
Песню эту прежде мать его певала.  
Только песня эта нынче ни к чему.

Мама! Мы с тобой друг друга не отыщем,  
Неждемся, мама, радостного дня.  
Чудится мне дальний звон над пепелищем.  
Мне уж не вернуться. . . Ты не жди меня!

Обступают песни. Вьются снегом белым:  
«Спой другую после, а меня сперва!»  
Эту песню прежде за работой пел он,  
Спеть бы песню эту, да забыл слова!

Бодрствует Азрил. Конвой не дремлет тоже.  
Песни обжигают гневом и огнем.  
Он забыл слова, он вспомнить их не может. . .  
Убывает ночь. Заря грустит о нем.

А была ль заря когда-нибудь чудесней!  
Как ему светло! Как вольно дышит грудь!  
Весь он наполняется затаенной песней,  
И восторг ему указывает путь.

Утро пробудилось. Вот оно — начало!  
Дали полны солнца. Мир и благодать.  
Встал портной Азрил: все швы уже стачал он  
И уходит в небо, чтоб работу сдать.

Красная заря. . . И он ведь шил когда-то  
Красные знамена. . . Ветры льнут к ногам.  
Впереди — Азрил, а позади — солдаты,  
Виселица близится. . . Сколько солнца там!

Утро дышит свежестью, тишиною гулкой.  
Словно руки матери — объятия дорог.  
И шаги легки, как будто на прогулке!  
И за ворот вспархивает свежий ветерок!

Мир идет к нему и радуется встрече.  
Углогато-черные крыши позади.  
Небо всё синее. Горизонт всё резче.  
От рассветной свежести так легко в груди.

Провода дрожат, как будто рой пчелиный.  
Чьи слова по ним невидимо бегут? ..  
Смертник на дороге повстречал раввина,  
Старая сорока тут как тут.

«Прах ты есть, и в прах отыдеш. . . Как верный,  
Свой последний час в раскаянии встретить,  
Сердце облегчи от всяческого скверны,  
Чтоб как подобает еврею умереть».

Но сверкнул Азрил очами, словно солнцем,  
Весь наполнен песней. . . «Уходи, раввин!  
Уходи, продажный. Получай червонцы,  
А дорогу в небо я найду один».

Жизнь уже уносится к вольным птичьим стаям.  
В небе — песня жаворонка, крыльев резкий  
взмах. . .

Сабли наголо у конвоиров, но в глаза им  
Бьет рассвет, и виселица зыблется в слезах.

«Ты! Пока не поздно! Ведь спастись ты можешь!  
Говори, коммуна! Вынем из петли! . . .»  
Сборками высоты опадают в дрожи. . .  
«Кровь моя, убийцам ноги опали!»

. . . Только легкий взлет. . . А день всё еще светел.  
Кажется, Нехама там к нему идет.  
Голосом ее кричит горячий ветер:  
«Тот, кто переможет, тот и обретет!»

Не туман сверкнул огнем,  
Не стада пылят коровьи —  
То в закате золотом  
Затонуло Приднепровье.

Не закат в лучах багровых —  
Кровь сквозит в волнах Днепра.  
Бьется пленницей в оковах  
Висла, дальняя сестра.

Ночь течет по черным крышам,  
Стены крашены бело,  
В час вечернего затишья  
Днепр мятется тяжело.

Вопрошает без ответа,  
В горькой горечи утрат:  
«Брат мой, Шлойме-Бер! О, где ты?  
Ты придешь сюда, мой брат?»

Волны плещут гулким звоном:  
«Братья, сестры по судьбе, —  
Не рыдайте о казненном:  
Лучших смерть берет себе».

Виселиц угрюмых стая  
Горизонт клюёт кривой.  
Ветер шепчет, пролетая:  
«Мчится брат любимый твой!»

#### ГЛАВА 28

Не туман сверкнул огнем,  
Не стада пылят коровьи —  
То в закате золотом  
Затонуло Приднепровье.

Разбежались вдалеке  
Пуговки лачуг убогих.  
Моют головы в реке  
Запыленные дороги.

И домам — невмоготу.  
Тонут, стонут — нет ответа!  
Два махновца на плоту!  
Два махновца! Эстафета!

Кони дышат горячо:  
Запоздали к водопою.  
Сапоги через плечо,  
Прет мужик степной тропою.

Степи стелются кругом.  
Ах, как хочется студеным  
Обмахнуться ветерком,  
Пресной влагой напоенным!

Слушает простор степной,  
Как поток ревет ревучий.  
«Як умру», — гудит прибой.  
«Поховайте», — льется в кручи.

То не аист, день держа  
В клюве, бьет крылами воздух —  
Загораются дрожа  
На плотах речные звезды.

То не гиря на весах —  
На плоту плывет известье.  
Доплывет ли? В небесах  
Нынче вспыхнет ли созвездье?

Семенами деревень  
Весь усыпан берег древний,  
В Днепр глядится новый день.  
Благодать, а не деревни!

Пусто в избах и мертво.  
Мужики в путях далече!  
Провожают ли кого?  
Или с кем-то жаждут встречи? . .

Два махновца вдоль реки.  
Гул махновской эстафеты:  
«Близятся большевики!  
Близко на Днепре Советы!»

. . . . .

Об руку, уста в уста —  
Лес, и Днепр, и шлях открытый,  
Благодатные места!  
Но кругом. . . кругом бандиты!

На волне взметнется плот —  
И покой волны пугает.  
Даль мягка. . . Но, словно плод,  
Зреет гнев и набухает.

Под косою ложится день,  
В синий бархат ночь одета.  
Сходки нищих деревень  
Затянулись до рассвета.

«Выйдем все! Пора начать! —  
Мужики в ночи гудели. —  
Что ни день — беда опять:  
По семь батек на неделю!

Здесь — казак, а там — поляк,  
Слева — банды, справа — тоже.  
Жгли живьем и на полях  
Резали, а дальше что же?

Только пыль столбами ввысь.  
Где быки, коровы, певни?  
Пустота в хлевах! Прошлись,  
Как метлою, по деревне!

Переспали с дочерьми,  
Жинок мяли возле тына,  
Спали, — ладно, черт возьми,  
А скотина где, скотина?»

День ложится под косою,  
В синий бархат ночь одета.  
Сходку кончили с росой,  
Затянули до рассвета.

«На плотах ли, на судах,  
Надо выступать скорее!»  
Опустели города,  
Разбегаются евреи.

А бывало, с ближних мест  
Понаедут за добычей, —  
Кто их не знавал окрест? —  
Промышляют шкурой бычьей,

Кто — щетиной, кто — пенькой.  
Заработают с лихвою!  
Нынче на селе покой.  
Поросли следы травюю.

На лугах — зеленый мех.  
А бывало, сквозь туманы  
Тащится игольный цех  
Шить тулупы, шить жупаны.

И с крыльца да на крыльцо,  
И, не выпрямляя спины,  
Где лицуют пальтецо,  
Где — пиджак из парусины.

Низенькие потолки.  
Мельница шумит за бродом.  
Угощают мужики  
Молоком, сметаной, медом!

И Менахем, стар и сух,  
Тащится от хаты к хате.  
Как бы перешить кожух!  
Как бы переделать платье!

То ль картошки, то ль зерна,  
Хватит стариковской доле. . .  
«Гершко, почему ж война?  
Трудно сговориться, что ли?»

Что война для старика,  
Если он любил, как небо,  
Ковш сырого молока  
И кусок ржаного хлеба!

«Гершко, как теперь житье?»  
— «Как житье? Да золотое:  
Всё на золото! Шитье. . .  
Вот шитье — совсем плохое!»

«Гершко, кто ж убил царя?»  
— «Ох, кричат недаром сёла —  
Ваши всё. . . кричат не зря. . .  
Грех, Менахем, грех тяжелый.

Страшный грех. Не побороть  
Ни раскаяньем, ни прахом.  
Не помилует господь!»  
Вслушивается Менахем.

На душу тоска легла.  
Тихо бьется дрожь наперстка,  
Рыбкою скользит игла  
По просторам синевёрстным!

Облака в степном краю  
Тянутся над пыльным шляхом.  
Жизнь свою, иглу свою  
Первым отдал здесь Менахем.

Что он мог еще сюда  
Темным привезти поселкам?  
Выстроченные года,  
Выпяченную иголку. . .

«Гершко, — говорят, — чужак,  
Чарку б выпил в кои веки!»  
Выпил. Вдруг — меж глаз кулак.  
Грохнул — и заснул. Навеки. . .

«Ишь, паршивый пес, издох! —  
Слышен чей-то голос ровный. —  
Всё же грех. Накажет бог.  
Этот что? Сыны виновны!»

Всю неделю нагишом  
Пролежал в степной яруге.  
Бабы шли своим путем  
И крестились в испуге.

Что ж он мог еще сюда  
Темным привезти поселкам?  
Выстроченные года,  
Выпяченную иголку.

#### ГЛАВА 29

Штабы на судах. Гудя и громыхая,  
Прут валы багровые — за грядой гряда,  
Спозаранья в дали без конца, без края  
Отбывают двое удалых навсегда.

Не ветра соленые, свистнувши бичами,  
Хлещут виноградники вдоль по крутизне —  
Под родное, порохом пахнущее знамя  
Шлойме-Бер вернулся на своем коне.

Не лихие штормы голову согнули  
В схватках Шлойме-Беру. . . Даль всё необъятней,  
И, над ней вздымаясь в канонадном гуле,  
Перекоп маячит милой голубятней. . .

Над прибоем буйным цепь сторожевая,  
Скалы протянулись, полные тревоги,  
Сутки телеграммами в гавань прибывают,  
С жадностью читают их ржавые отроги.

. . . . .



Знай, виноградники в полыханье алом,  
Знай, в багряном маке каждый буерак, —  
Над волнами, вдоль по выщербленным скалам,  
Конники башкирские стали на бивак.

Полдни в смуглом золоте дремлют над горами,  
Смуглым дымом реют в тверди голубой,  
Гавань лебедиными блещет крейсерами,  
И рокочет медью радостный прибор.

Ночи над равнинами свежие и звонкие,  
И средь виноградников сладостен приют. . .  
Снится Шлойме-Беру пламенный «Потемкин»,  
Снится: из Одессы бунтари плывут. . .

Сакли плоскокрышие. . . В прорезях оконных  
Цепкий плющ. . . Поодаль — кипарисов свечи. . .  
И когда протопают пара верхоконных —  
Следом рев коровий, бляенье овечье. . .

Стонет степь от волн Днестра до Черноморья,  
От Волынских пущ до Таврии песчаной  
Посвистом разбойным кличутся нагорья,  
Дали потрясаемы грохотом тачанок. . .

Стынут кручи горные, средь туманов кроясь,  
И мерцают скаты снегом голубиным.  
Застегнется Шлойме, туго стянет пояс  
И пойдет упорно к пасмурным вершинам.

Сморщены и желты щеки у китайца,  
А глаза раскосые огненны и зорки,  
И когда казацкие чубы вспоминаются,  
Прут от гнева ребра из-под гимнастерки.

И вопят суставы, яростью сведенные,  
И покоем сердце в тишине томится.  
Доблестью не раз прославленный буденновец,  
Весь он крепко пахнет чаем и корицей. . .

Был он коробейником: он дорог немало  
Исходил, разбитыми туфлями стуча,  
Сгорбленный, по рынкам он бродил, бывало,  
На плечах — тюки, где шелк и чесуча.

Дремлют виноградники. . . Холоден и сер  
Сумрак над равнинами с края и до края. . .  
И китайцу ласково шепчет Шлойме-Бер:  
«А скажи-ка, водятся голуби в Китае?»

И глухие вздохи, жалобные стоны  
Слышатся в безмолвии дремлющих степей,  
И в ответ китаец шепчет удивленно:  
«Правда, что Буденный любит голубей?»

Стынут кручи горные, в сумраке сутулясь,  
Поздние созвездья в темени горят. . .  
«Коль бойца настигнет вражеская пуля,  
Эстафету голуби принесут в отряд.

Добрый корм. . . насесты. . . тут и смотришь в оба!  
Голубь это голубь! Ты вот, например,  
Голубей сначала разводить попробуй —  
И полюбишь их», — так учит Шлойме-Бер.

Горные гряды в предутренних туманах,  
Вот ракетой солнце над землей взвилось,  
И лучами-пиками в отвесах багряных  
Протыкает, жаркое, конников насквозь.

Тишина рассветная. . . Клубами по скалам  
Дым пороховой сползает, пресмыкаясь,  
Схватка боевая только отпылала,  
И корицей пахнувший задремал китаец.

Конная дивизия среди камней пластается,  
Бродят над вершинами облачные стаи, —  
Верно, сокровенная дума у китайца:  
Водятся ли голуби там, в родном Китае?

Детство в смутной памяти брезжит, как в тумане.  
Вечер. Дом родительский темен и уныл.  
Горы отвечают тяжким стоном раненых,  
Желтый ноготь месяца горы зацепил.

Вот он, дом родительский, — пусть он обветшалый.  
Что там? Призрак матери меж туманных скал.  
«Я тебе рубашку, родный, залатала,  
Чай, давненько ты рубашки не менял. . .»

Сгорбленная, хилая, в темени слепой  
Кружит ясным голубем, озирая кручи.  
«Путь еще лежит далекий пред тобой,  
Так возьми, сынок, отцовские онучи. . .»

За тропой тропа средь щебня и средь пыли  
Тянется, точась о каменные скалы;  
Кто-то здесь кого-то должен пересилить,  
Притаясь, безмолвствуют кручи и провалы. . .

---

И еще и еще вдоль задымленных круч  
Вырастают гряды человеческих тел. . .  
За редутом редут, за пределом предел. . .  
И взлетают сквозь хаос грохочущих туч  
Штурмовые колонны под трубную медь,  
Чтобы Крымом родным навсегда завладеть.

Уж двенадцатый день, уж двенадцать ночей  
С каждым часом упорней и горячей  
Бой на острых уступах насупленных гор.  
За пределом предел, за редутом редут,  
Подымаются цепи, ложатся, идут,  
Пулеметами скашиваемы в упор.

Приколол Шлойме-Бер своего скакуна. . .  
Ну и был же скакун! Не скакун, а стрела!  
За редутом — редут, за стеною — стена. . .  
«Нет, не поздно еще, чтоб подмога пришла!» —  
Задыхаясь, выкрикивает Шлойме-Бер,  
И — вперед и вперед сквозь гранитный барьер. . .

Весь изодран осколками шлем боевой,  
Нарастает и ширится гром грозовой,  
То, штандарты развив, на рысях, вперегон,  
За лихим эскадроном летит эскадрон,  
По щербатым уступам — с утра до утра  
Сумасшедшая скачка под свист и «ура!».

«Торопитесь, товарищи!» — возглас вдали. . .  
За стеною — стена, за редутом — редут,  
Бьют в упор пулеметы, орудья ревут.  
Горизонты исчезли в дыму и в пыли,  
Взят последний уступ, взят последний барьер,  
На вершине отбитой — один Шлойме-Бер.

Заблестали вокруг Шлойме-Бера штыки,  
Засвистали покрытые кровью клинки,  
Морды конские вмиг задышали в лицо,  
Вот, залязгав, стальное сомкнулось кольцо.  
И — в лицо кулачищем свирепый удар:  
«Ты еврей или нет, отвечай! Комиссар?»

Зубы выплюнув, грозно взглянул Шлойме-Бер  
И сказал: «Если хочешь ты знать, офицер,  
Я простой стеклодув и, хоть вырежь язык,  
Открываю без страха, что я большевик!  
Я стою за рабоче-крестьянскую власть,  
И одно на уме — победить или пасть!»

«Ну, а в бога ты веришь, коммуна, ответь?» —  
Полоснула его исступленная плеть,  
И трехгранным клеймом заклеил его штык.  
Из груди окровавленной вырвался крик:  
«Нет, не верю я! Лжет ваш разбойничий сброд,  
Вы дурманите басней о боге народ!»

Повалили его на сырую траву,  
Жилы с гоготом резали, как бечеву,  
Потрошили его, измываясь, враги,  
Лужи крови расплескивали сапоги.  
В землю вгрызся, на помощь товарищей звал,  
Но товарищи — все наповал, наповал. . .

А уже под грядами обугленных скал  
На подмогу башкирам Буденный скакал,  
Прорвались эскадроны сквозь пламя и дым,  
Сквозь заливы и реки в ликующий Крым,  
И процокал в ущельях галоп и карьер,  
Но — лицом к небесам — опочил Шлойме-Бер.

#### ГЛАВА 30

Лапти из бересты, изо льна онучи,  
А шаги колеблются чашами весов.  
Колокол колосьев колышется певуче,  
И дороги стелют свой беззвучный зов.

Здравствуйте, криницы, полные корыта,  
Кукуруза спелая, капусты пышный шелк. . .  
Хлеб да квас поставлены — кушайте досыта!  
Мир и хлеб для каждого, кто бы ни пришел!

Знал тропинку голод к стареньким домишкам.  
Ни души в местечке. Лишь кресты вдали.  
Здравствуйте, избушки! Что-то пусто слишком!  
Лапти да онучи. . . Куда же все ушли?

Налетает ветер с дальнего кочевья,  
Он стучится в ставни, словно глух и слеп.  
Трижды до земли склоняются деревья:  
«Добрый день, родимые! Мир гостям и хлеб!»

Красные околыши, ленты и кораллы. . .  
Ярко блещет рельсами чужедальний путь.  
С детворою, с торбами у темного вокзала  
Из местечка сходятся на поезда взглянуть.

«Цыть вы, дурьи головы! Хитрая затея!  
Это пар в машине, в беге — волшебство!»  
И стоят, задумавшись, седые грамотей,  
И блестят столетия на лысынах мертво.

Двигутся с фронтов. Блистают рельсы грозно,  
Шумно подошел к вокзалу броневик,  
Следом «продмаршрут», за ним «сыпнотифозный»  
У вокзала встретились на миг.

Отдыхают вместе трое у откоса,  
Выдыхают черного дыма облака,  
Но тревожны рельсы, бодрствуют колеса,  
Напряженно ждут сигнального звонка. . .

Вечер опускается тихо и устало.  
Лишь скрипит шлагбаум под натиском толпы;  
И летят, срываясь в жадный зев вокзала,  
Месяцем подрезанные, звездные снопы.

Дымные вокзалы, расчесанные рельсы,  
Паровозы рвутся к ветру, на простор.  
Каждый в буйных рейсах бурей разгорелся,  
Только броневик на степь глядит в упор.

В тихой полутьме блистают рельсы грозно,  
Подошел не зря к вокзалу броневик,  
Следом «продмаршрут», за ним «сыпнотифозный»  
У вокзала встретились на миг.

И стоят они все трое у откоса,  
Выдыхают черного дыма облака,  
Но тревожны рельсы, бодрствуют колеса,  
Напряженно ждут сигнального звонка.

. . .Радостен отлет для журавлей — к теплу же!  
. . .Радостен возврат в весенние поля.  
Вот он, дом родимый — теснота теплушек,  
Братство боевое, всельная земля!

(1929)

## 218. СОРОКАЛЕТНИЙ

### 〈ЧАСТЬ 1〉

#### 1

Привет тебе, сорокалетний! Шолом!  
К тебе мы стремимся, к тебе мы идем.

Над песней твоей, устремленной вперед,  
Пусть вспыхнет мой разум, наступит черед.

Я полон. Я полон свеченьем луча.  
Кувшин мне не отягощает плеча. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Сегодня и солнце, и хлеб, и вино,  
И море, и поле мне было дано,

И слов неизбежных железная нить —  
Всё было со мной, что должно было быть.

Всё! . . Но не увидел я муки твоей,  
В обильном застолье, среди шумных людей.

Рука твоя твердая, жаждущий взгляд  
Стол праздничный этот не благословят.





Разбил колыбель и пеленки достал,  
Кровать свою ветхую ими застлал. . .

К тебе с тем ребенком взойду я. Спустишь  
Со мною в долину бурлящую, вниз!

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

в

Там плачут, в долине, поют и кричат.  
Приди же, о сорокалетний мой брат!

Нет боли, нет тяжести в сердце моем:  
Ведь плачут — фальшиво, поют — не о том.

А то, что чернеет на алом краю, —  
Отец мой, изведавший злобу мою. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Взгляд дик, низок лоб, волосата рука.  
Вот лук, вот стрела в кулаке у стрелка.

Тебе этот яростный взгляд незнаком. . .  
Здесь искоса смотрят, поют — не о том.

Сидит мой отец посреди мостовой,  
Сидит и качает седой головой.

И светится память во впадинах глаз.  
Меня ли, тебя ли он вспомнил сейчас?

Он молится? Плачет? Слеза — не слеза. . .  
О смерти поют голубые глаза.

Так нужно: чтоб пел, чтоб от плача охрип,  
Чтоб в муках позора отец мой погиб.

Чтоб гордо я шел, завершая свой круг,  
К вершине блаженства — к преддверию мук.

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

4

В долине людей возбужденных не счесть,  
Там блещет, как чистое золото, жесьть.

Паяцы в толпе возбужденной снуют  
И жесьть золотыми зубами жуют.

Билетик на счастье! Верней не найдешь!  
Тебе здесь судьбу предрекают за грош.

И праздничны все, и восторженны все.  
И тянут валета с мечтой о тузе.

И карты, и кости, и песни, и пляс.  
И радостен день, и безудержен час.

И глухо гудит возбужденный народ,  
И чуда в долине полуденной ждет. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Уже растерялись, и смотрят назад,  
И песни, как старые тряпки, висят.

Линяют покрашенные, а народ  
Глядит молчаливо, не верит, но ждет.

Последний билетик развернут, прочтен,  
Но золота нет — только приторный звон. . .

Здесь всё — не твое. Тебя нет среди нас.  
К тебе я взойду. Еще день не угас!

А если не встречу и нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

Дорога открыта — вставай и иди.  
Как розов рассветный туман впереди!

День твердо шагает в сиянье таком,  
Но мухи его облепили кругом.

Ребенком и жизнью клянется одна,  
Что с флагом на свет появилась она,

Другие клянутся торжественно в том,  
Что вышли из чрева с тяжелым серпом.

И сажею мажут лицо, и галдят,  
И алчно из жалких отрепьев глядят.

И корки сухие из торб достают:  
«Где сон наш, покой и домашний уют?»

В нужде мы ползем по горам, по долам.  
Где радость награды, обещанной нам? . . .»

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Кто бревна, кто камни таскал на плечах,  
Нелегкое бремя несет и сейчас.

Но труд в нем — как соки в древесном стволе.  
Подобен кольцу его путь по земле. . .

К тебе я взойду из долины сейчас, —  
Пока этот день не зачах, не угас.

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

Дождь! Блещет долина в нагой красоте.  
На каждой былинке, на каждом кусте

Сверкают, как люстры, кристаллы росы,  
Звенящие, синие, дивной красы.

Ручьи раззвенелись до боли в виске —  
И тают в долине, и тонут в песке. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— День вышел в дорогу, как белый верблюд,  
С поклажею радости, с кладью минут.

Но рот его в небе разверст от тоски.  
Из солнца — из стога — лучей колоски

Губами верблюд достает — но воды  
Никто не дает за верблюжьи труды.

И падает день — как верблюд, утомлен.  
Под тяжестью радости падает он.

Ручьи недалече, и зелень, и тень —  
Но гибнет от жажды сияющий день.

Погонщик в песке по колено увяз, —  
И день истощенный смирился, угас. . .

К тебе поднимусь я с агонией дня.  
Пусть мука твоя обуздает меня!

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

7

Далёко ли, близко ль — не думать, не знать.  
Безгранна пути пропыленная гладь.

Засасывает коловертъ высоты.  
Дорога раздваивается — и ты.

И я. . . И приходит ко мне с темнотою  
Убитый мой дед, и ведет за собой.

Он звезды срывает с горячих ветвей, —  
И корень не знает о кроне своей. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Мы дальше к вершине вдвоем не пойдём:  
Ведь плачут — фальшиво, поют — не о том.

А ветер кричит на скрещеньях дорог:  
«С поклажею радости день изнемог!»

И парни приходят от каждой версты —  
Молчащие глотки, беззубые рты.

За сотнею — сотня, толпа за толпой,  
И жизни дрожанье приносят с собой.

Рассыпаться прахом, упасть на пути! —  
День смертью своею от смерти спасти. . .

К тебе поднимусь я, к тебе воззову.  
Пади на меня, как роса на траву!

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

8

Вершина — в заре, а долина во мгле:  
День, к людям спустившись, погиб на земле.

В пыли его кости, и нем он, и слеп. . .  
Стал хлеб — словно камень, а камень — как хлеб.

И цепи звенят, и сверкают мечи,  
И руки стучат в озверевшей ночи.

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Горящему — свет не в диковинку. Но  
Светло нам под солнцем, а солнцу — темно.

До края земли, до морских берегов  
Под солнцем, под звездами — грохот шагов.

И братья и сестры — вблизи и вдали —  
Дни грузят, как грузят в порту корабли.

И руки — как сверла. Посменно, подряд  
Сверлят они муку и радость сверлят.

И радость, и муку несут они в трюм,  
И кто-то — беспечен, а кто-то — угрюм.

Придвинута даль, или даль далека?  
Путь в гору петляет — людская река. . .

К тебе я взойду со середины пути, —  
Хочу тебе день на руках принести.

А если не встречу и нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

9

О дом мой! Тебя опознал я с трудом.  
Убит, искалечен, разрушен мой дом.

Прижавшись друг к другу, домишки торчат.  
Их окна чернеют, их ставни стучат.

И в саванах старцы босые сидят,  
И ждут, и хотят, и с надеждой глядят.

Чего они ждут, в погребальном холсте?  
— Ступайте! Собъесть с пути в темноте! . .

Кладбища вошли в городскую черту,  
И плиты вылизывают темноту.

Но губы растрескались. Жаждой гоним,  
К тебе поднимусь я со словом моим:

— Свершилось! Всё ныне дозволено. С «нет»  
Снят крепкозапястной рукою запрет.

Зубами стуча, громыхая вдали,  
Телега уходит за кромку земли.

Увозит она за крутой окоем  
Отставших, оставшихся в прошлом своем.

За ней, рассыпая объедки шагов,  
Плетутся двенадцать босых стариков.

Кончается путь. Начинается путь!  
К блаженству и скорби хочу я шагнуть!

Я встречу тебя на одной из вершин.  
А если не встречу — останусь один. . .

10

И день — это день, а ночь — это мрак.  
И поступь чеканна, и выкован шаг.

И ширится битва — прекрасна, страшна,  
И пламенем красным объята страна.

Вздываются молоты, варится сталь,  
Шаги бороздят раскаленную даль.

И песня безумствует, в дали маня,  
И солнце — из стали, а сталь — из огня. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Металл раскаленный, борясь до конца,  
Ярясь, отдается рукам кузнеца.

Огонь запален, и достаточно рук,  
Чтоб выковать цепь и чтоб выковать плуг.

Восторг превращений познав через боль,  
Материя хочет остаться собой.

Но в мудром стремленье месить вещество —  
И смысл мироздания, и радость его.

И сталь расцветает, и дышат сердца  
Под доброй, под мудрой рукой кузнеца. . .

Вершину закрыла дремучая тень.  
В долину спустился сверкающий день.

Путь к молоту солнца — вот путь из путей.  
Лишь там я пригублю из чаши твоей.

II

Достигли предела — и снова вперед.  
Останется, выживет тот, кто пройдет.

Без ноши и с ношею — лишь бы идти, —  
С ликующим сердцем в звенящей груди.

И песни, и смех, и гармонь, и зурна,  
И свет вместо хлеба и вместо вина. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Печаль твоя — нашего мира покров,  
Порог, не запятнанный прахом шагов.

Всему свое место — и делу конец.  
Пусть доброй земле будет предан мертвец.

И там, где минувшее гарью чадит, —  
Пульс прошлого бьется и сердце стучит.

Колотится сердце, и разум живет,  
Живущих под солнцем влечет и зовет.

Минувшее спряталось в каменный гроб  
И камень себе навалило на лоб.

«Да» сгнило его, «нет» иссохло давно.  
Дотронешься — камень швыряет оно. . .

Зажгусь о тебя я, зажгусь и сгорю:  
Семь долгих ночей окружают зарю.

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.



Привет тебе, сорокалетний! Шолом!  
К тебе мы стремимся, к тебе мы идем. . .

Солдат, получивший раненье в бою,  
Сжимает костыль свой — винговку свою.

Из глаз его — кровь, из глаз его — крик:  
— Жить! Сколько-нибудь! Вечность, день  
или миг!

И мир ему сладок, печален и мил.  
Он землю целует и небо — весь мир. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Конец ли, начало пути и труда —  
Но мне здесь ребенком не быть никогда.

Вот стайка детей, словно птицы в лесу,  
День подняли, держат его на весу.

День ластится, никнет к рукам молодым,  
Как колос, набитый зерном золотым.

Семь зорь здесь теснят шелудивую ночь  
И гонят ее, изможденную, прочь. . .

Я вижу рождение нового дня —  
Но даль зазывает и манит меня.

Я вижу вершину горы впереди.  
Остаться ли здесь? Или в гору идти?

Здесь, в царстве детей, запряженных в зарю,  
Я вижу тебя и с тобой говорю.

Колышется даль, простирается путь —  
Куда ни податься, куда ни взглянуть.

И всё так прозрачно-светло, и вдали  
Купается в золоте берег земли.

Но вот он растаял, пропал за кормой. . .  
Там эта страна, город радостный мой.

Что ж! В солнце и в ветре тонуть — так топить,  
И, в дали вгрызаясь, прокладывать путь. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Мы в море выводим свои корабли.  
Мы боремся с бурей вдали от земли.

Нам близь — не по чину. Глубины и высь  
Нужны нам. Плыви, рулевой, и стремись!

Мы не повернем к благодатной земле! . .  
Рука рулевого дрожит на руле.

В тревоге он смотрит на светлый компас.  
Он в даль не вонзает испуганных глаз.

И волны корабль опрокинуть грозят:  
Две мили вперед и четыре — назад. . .

Приду я к тебе от сияния дня.  
Пусть мука твоя обуздает меня!

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

#### 14

Откройте сердца, как кувшины с вином, —  
Леса полыхают кровавым огнем.

Из далей — из стали, из туч — из кремней  
Заря родилась миллиардом огней.

Огонь подползает и движется вспять.  
И лесу пылать, и земле полыхать.

Горит! . . Но прохладна тропа посреди.  
Заря молодая! Пожалуй! Приди!

Приди как желанный и радостный гость,  
И каждому — росного золота гроздь. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Сорвали мы день в нетерпенье святом —  
Незрелый гранат разлучили с кустом,

Впивались зубами в звенящую плоть, —  
Но жадность никак не могли побороть.

И так насыщались и пили, и тек  
По лицам за пазухи розовый сок.

На липких от сока ладонях — грязца,  
Оскомина в сердце: зубасты сердца.

Так где ж твоя боль? Тебя нет среди нас.  
К тебе я взойду — еще день не угас.

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

15

Бегут в суете, медяками звеня,  
С котомками хлеба, с котомками дня!

И дают свой день, и вконец он зачах, —  
С котомками счастья на тощих плечах.

Котомки полны, и течет через край.  
Разлейте. Раздайте! Эй ты, начинай!

Ребенок бежит, и звенит его крик:  
В долине ему не довесил мясник.

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Здесь новые гири отлили. Ну что ж!  
Платили червонцы, а стоило грош.

Но мало металла и камня. И вот  
Старинные гири пошли в оборот.

И годы прошли незаметно, как дни, —  
И стерлись, и вес потеряли они.

И люди в долине толпятся гурьбой:  
— Где честь и где совесть? Обман и разбой!

Чьи гири? Кто взвешивал? Лжи торжество!  
Кому здесь пожаловаться? На кого? . .

Так где ж твоя боль? Тебя нет среди нас.  
С ребенком к тебе подымусь я сейчас.

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь. .

16

Бушует базар, суетится толпа.  
С базара в долину выводит тропа.

Но где здесь базара черта и предел?  
Знак стерт, чтоб никто угадать не сумел. . .

Торгующихся на толкучке не счесть:  
— Дай знатность взаймы! Одолжи свою честь!

Кричат и ругаются с пеной у рта:  
— Звезда — за говядину! С неба звезда!

Вздыхают и охают, бьют по рукам:  
— Простреленный флаг за звезду тебе дам!

И спорят, и ловят слова на лету,  
И кровь закипает, и руки в поту. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Закон людоедский придумал торгош:  
«Обвесишь — обманешь, обманешь — продашь».

Сердца неимущих берет он в залог.  
Покой торгоша охраняет замок.

Ласкает достаток, как женщину, он.  
Не впрок ему смех, не идет к нему сон. . .

К тебе я пойду через силу, с трудом,  
Нагруженный, отягощенный стыдом.

Тебя я не встречу и кладь не сниму,  
И там, у вершины, позор свой приму.

17

За светом, за ветром пустившись вдогон,  
Несут мои братья последний закон.

Закон справедливости, счастья, труда —  
И блещет им светом слепящим звезда.

На трассах широт, на скрещеньях долгот  
Их поступь гремит, пробуждает, зовет. . .

Петля сплетена, приготовлен патрон  
Для братьев, несущих последний закон.

Их бьют, в них стреляют, их травят в пути —  
Но боль побуждает вставать и идти. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Далекое — в близком, но близь далека.  
Упорный войдет в нее наверняка.

Вольготно мечу, и привольно стреле.  
Рассеялись братья мои по земле.

К воротам приблизились — путь им закрыт.  
Но орден зари на груди их горит!

Ни хлеба, ни ночи, ни дня, ни труда.  
Слились воедино земля и вода. . .

К тебе из долины взойду я сейчас,  
Пока этот день не зачах, не угас.

А если не встречу и нет тебя — пусть!  
Тогда я обратно в долину вернусь.

18

А день — он проглочен сыпучим песком,  
И берег Прохлады ему незнаком.

Зеленые волны, играя, дразня,  
Касаются сердца плененного дня.

Вперед же! Мы день беззащитный спасем!  
Поможем ему, на плече понесем. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Болезненна жатва. Но из году в год  
Посеявший в землю и косит, и жнет.

Без зноя, без жажды — ни гроз, ни дождей.  
Рискнул — победил — и высок меж людей.

Без муки не вылечишь рану свою.  
А тот не боец, кто не ранен в бою.

С пращой ли, с винтовкой выходит боец,  
Тому, кто колеблется, — верный конец.

Без ломки, без жертв ничего не создать,  
И строит лишь тот, кто умеет ломать.

Без бури корабль не изведал волны.  
Но кончится буря — просветы видны. . .

С доверьем к тебе я подняться хочу.  
Печаль твоя, боль твоя мне по плечу.

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

Темнеет. Долина шумит, как прибой.  
Закончился день, и закончился бой.

Смеркается. Ночь подступает опять.  
Друг друга во тьме не найти, не узнать.

Колышется темень. Огни за рекой. . .  
Под крышей — один, под забором — другой.

Любовь в переулках — ступай и возьми.  
Кто гость, кто отец — разберись-ка, пойми!

Доступна любовь на исходе зари.  
Прохожий, не медли. Спеш и бери! . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— В прохладных колодцах долины — любовь.  
И жажда не мучит, и радостна кровь.

Но плюнули в светлый колодец, глумясь,  
В другой навалили смердящую грязь. . .

Для трупа — могила, для тела — кулак.  
Пришел ты и хочешь остаться? Пусть так!

Пьют там, где вода, и кто хочет — тот пьет.  
Но вянет любовь здесь и жажда гнетет.

Так где ж ты? К тебе поднимусь я сейчас,  
Пока заблудившийся луч не угас.

А если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

Глядят старики из своих тайников.  
Как торбы для хлеба, тела стариков.

Они выползают, на солнце лежат,  
Их руки трясутся, их губы дрожат.

От выжженных дней, от голодных ночей  
Проснулись желанья их, снов горячей.

Пусть тело засохло, зачахло давно —  
О силе мечтает всечасно оно.

Из золота — сети, из славы — силки  
Сплетают для юной любви старики.

Страницы мусоля — минувшие дни —  
Слюнявят любовь и желанья они. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Когда человек умереть обречен,  
Пусть просьбу последнюю выскажет он.

Упрямо биенье последних минут!  
Готова могила, могильщики ждут.

Но снова желанье, и снова глоток,  
А солнце уже обагрило восток. . .

Здесь путь умирает, а новый зовет  
К рассвету последней печали — вперед.

Пойду я к тебе, а не встречу — так пусть  
Останется мною проложенный путь.

21

На землю бескровная скука легла,  
Как темень на лес и как на поле мгла.

К рукам она липнет, к сердцам она льнет,  
Стреножит, желаний снижает полет.

Сосет, и вгрызается в кости винтом,  
И душу бинтует стерильным бинтом.

Полушка — на хлеб, а на прочее — грош,  
И теплая кровь водяниста, как ложь.



И глух караван одинаковых дней. . .  
Сюда бы табун одичавших коней!

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Здесь миром со скукой не сладить никак.  
Кто свой в переулках, тот в доме — чужак.

И, взяв топоры, устремился народ  
Свой корень рубить, перетесывать род.

Увечат колодцы, ломают дома,  
И кровь закипает и сходит с ума!

И молнии целятся в солнечный свет,  
И нет больше дома, и радости нет. . .

Расплавьте же серьги в кипящей крови:  
На царство помазанник — агнец любви!

А если сомненья изрезали лоб —  
Пусть девушки пляшут и любят взахлеб!

22

Как утро настанет, твердят здесь одно:  
— Земля — не земля, и зерно — не зерно!

Твердят, повторяют, как утро придет:  
— Как тянется робко, как долго растет! . .

Росток посадили, надеясь, любя, —  
А ждать не умеют заставить себя.

И пьют и жуют — но пусты животы:  
— Жить весело, но не хватает еды!

И смотрят на деревце ночью и днем:  
— Когда же? Скорей бы! Мы верим и ждем!

И глаз не смыкают, и сил больше нет. . .  
Расти тому дереву семьдесят лет.

Иссякло терпенье. Как верить? Что ждать? ..  
И день накренился, и смерклось опять.

А дерево брызнуло зелено ввысь.  
Его не объять, сколько ты ни трудись.

И ствол золотится, и листья блестят.  
В ветвях заблудился ликующий взгляд!

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Мы все семижилыны. И семьдесят раз  
Начнется и кончится каждый из нас.

Но тысячи раз недостаточно мне,  
Чтоб с деревом этим цвести наравне.

23

Мы братьями были — двенадцать мужчин.  
Ни за что ни про что был продан один.

Кто видел — тот знает... Но нет одного!  
Одиннадцать братьев осталось всего.

И умерли двое, и в землю сошли,  
А семеро мерят дороги земли.

И двое остались при доме своем,  
И ссора вошла в этот проклятый дом.

И кровь пролилась, и утешился брат:  
Был брат погребен, но ребенок зачат...

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— С кладбища спеша, расходясь по домам —  
Жизнь в семь раз желаннее кажется нам.

Редет печаль, остается вдали...  
В забвеньи впиваются зубы земли.

Уходит один, и приходит другой.  
Наполним же кубки дающей рукой!

И выпьем с блаженством, и выпьем с тоской! . . .  
Приходит один, и уходит другой.

Я гордо иду, начиная свой круг,  
К вершине блаженства — к преддверию мук.

И если ты выдуман, нет тебя — пусть  
Останется мною проложенный путь.

24

Приплыли, приехали, пеши пришли —  
Из всех уголков бесконечной земли.

Долина полна, и в застолье страны  
Все люди достойны, все люди равны.

И старый и малый в порыве одном —  
Вперед, цепь за цепью, звено за звеном.

В долину несметные толпы пришли —  
Из всех уголков беспредельной земли.

Тот знамя принес, этот — сердце-костер. . .  
Увидели черный безмолвный шатер.

В пути, средь дороги учитель усоп.  
Покрит кумачом обжигающим гроб.

Серебряный профиль, горящий кумач. . .  
По миру разносится горестный плач.

Приплыли, приехали, пеши пришли —  
Из всех уголков бесконечной земли.

Вождю не дано было первым войти  
В страну свою. Умер учитель в пути.

Увидел он издали вольный простор,  
И остановился, и руки простер.

В блаженстве и в радости пал на песок —  
И так, с поцелуем народа, усоп. . .

И скорбно и грозно в безмолвный шатер  
Тот — знамя принес, этот — сердце-костер.

25

Но вот лицедей с двоедушьем в очах,  
С угрозой во рту и с горбом на плечах.

Он шествует с верой в свою правоту.  
Желанья в глазах — как проклятья во рту.

С фронтов — оборванец, из шахт — инвалид.  
Их лавры — из перьев, и стыд им не в стыд.

Кричит и бушует в долине толпа.  
И вот уже ссоры, обиды, стрельба. . .

С трубою в ноздре, и с колодой в глазу —  
И знамя дрожит, предвещая грозу.

В чернилах, в клею с головы и до ног.  
Из ртов околесицы хлещет поток.

Сапожник вам нужен — сломался каблук, —  
А он пишет книги, сопя от потуг.

Вам надобен банщик — а взять его где?  
Он веником пишет трактат о воде.

Извозчик! Стоял он с коляскою тут.  
Скрипит по пергаменту избранный кнут.

Но ржанье с шуршаньем идет вперехлест:  
Кобыла в чернилах купает свой хвост.

Поэты хватают за горб горбуна:  
— Сонеты! Поэмы! Возьми же их! На!

Ешь хлеб наш! Пей славу! Что хочешь — то пой!  
Но только оставь нам в награду покой. . .

Черны, окровавлены времени швы.  
Там звери живут неприметные — вши.

Да, вошь не видна — но с ней столько хлопот!  
Всегда она дело по вкусу найдет.

Грызет втихомолку, бессильно-сильна.  
Пряма и последовательна она.

Ползет молчаливо, кусает тишком,  
И теплится в глазках вина угольком.

В тревоге с утра она ищет ночлег. . .  
Ничтожна пред временем вошь-человек.

Не знает он битвы, не знает труда.  
В седле его конь не качал никогда.

И в травах зеленых он не кочевал,  
Под небом, под звездами не ночевал.

И руки привычны плести канитель,  
И дряблого тела не знает шинель.

Вошь с телом его незнакома. Так что ж!  
По телу земли он ползет, словно вошь.

Он спал в синагоге. Пришиблен и тих,  
Не знал он страданий — лишь грезил о них. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Он жалок и хил, и цена ему — грош.  
Пусть лучше грызет настоящая вошь! . .

Почтенные люди! Господь их храни. . .  
В безоблачном небе витают они.

Рядком у весов они чинно стоят,  
Долину измерить и взвесить хотят

И тем укрепить своей власти оплот.  
Но жаждет в долине притихший народ...

На синих их лацканах блещут значки.  
На маленьких глазках — большие очки.

Вбит в уши мясистые розовый кляп,  
А лысины скрыты под башнями шляп.

У двери закона стоят на часах.  
За совесть закон они жрут — не за страх...

И гири фальшивы, и лжив весовщик.  
Обман без помех в его душу проник.

Все знают: он вор. Всем известно теперь:  
Пришел, так три раза стучи ему в дверь...

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Глазницы окон вознеслись высоко.  
До них дотянуться руке нелегко.

Но день разгорается — молод, силен,  
И ропот вгрызается в бельма окон.

И колья, и камни — не в двери стучать...  
Тут важно решиться, тут важно начать.

28

Заполнили карлики синюю даль,  
Мяжки, точно глина, бездушны, как сталь.

В животиках — пиво, башка — точно медь,  
И стулья плетут, чтобы выше сидеть.

Кому-то — друзья, а кому-то — родня,  
И шляются, греясь в сиянии дня.

Уж где-нибудь карлик да поговорит:  
Поможет советом, или пожурит.

Уж как-нибудь карлик подкатит, смотри:  
Не раньше заката, не позже зари.

Уж он преуспеет любой ценой:  
Где можно — умом, а где нужно — женой. . .

И кровью намокли в долине шаги —  
Людские шаги, отпечатки ноги. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Сейчас состязается в силе народ:  
Кто выше взойдет и кто раньше придет.

А карлики лестницу ташат с собой —  
Взобраться, вскарабкаться, выиграть бой.

В долине азарт, суета, кутерьма. . .  
Ступеньки нужней им, чем сила ума.

Чем лестница выше — тем зыбче на ней,  
Тем будет паденье на землю страшней.

29

Не видно церквей, и псалмов не поют —  
Но толпы монахов в долине снуют.

От каждого шага их гноем смердит.  
Закона фитиль в их кадилах чадит.

Они появляются из темноты —  
Глаза их косят, перекошены рты.

За каждый вопрос, за улыбку, за грусть —  
Главу из закона прочтут наизусть.

Их плечи покаты, их лица — как мел.  
Им злобными быть их устав повелел. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Пусть ночь отступила от белых ворот —  
Но красная темень курится, ползет.

Звезда — в рукаве, а за пазухой — ночь, —  
И шепчут монахи — молчать им невмочь.

Они обещают убить темноту —  
И так засыпают в холодном поту.

Любовью слепой свою веру любя,  
В экстазе они оскопляют себя.

Они вездесущи. Вошедши во вкус,  
Мстят людям за смех, а клопу — за укус.

Но день побеждает, но даль весела —  
И солнце сжигает монахов дотла.

80

Куда ни податься, куда ни пойти —  
Прохладный рассвет повстречаешь в пути.

Ребячьими песнями он пробужден, —  
Головка к головке, к бутону бутон.

А дети растут, и бунтует в них сок  
Далеких и близких путей и дорог...

Рассвет, как овцу, гонит серую тень.  
Выводит малыш необузданный день.

И радостен день, словно дружеский пир...  
В бесчисленный раз начинается мир.

И мирен в зеленой долине рассвет,  
И радость в народе, и горестей нет.

И день на своей шелковистой спине  
Несет гомонящих детей по стерне.

Несет, как снопы, изумляя поля, —  
И добрую песню поет им земля...



Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Миллионное чрево метало икру —  
Побеги пружинят теперь на ветру!

И каждый ребенок, и каждый росток  
Приветствует жизни звенящий исток.

И радостен день, словно дружеский пир...  
Выводит малыш необузданный мир.

81

Светящийся поезд могуч и высок.  
Так что ему камни, и снег, и песок?

Свистя и свирепствуя, катится он...  
Чернеет, гудит в ожиданье перрон.

С безумьем в умах, с барахлишком в суммах  
Людишки снуют и толкуются впотьмах.

И перед отходом, и перед звонком,  
Перед раздирающим душу свистком —

Людишки у карты пытаются пути:  
Куда им податься, где пристань найти?

В сомненье глядят из своих уголков,  
Не видят сигналов, не слышат звонков.

Сказали, спросили, шепнули в ответ, —  
А поезд рванулся, и поезда нет.

Людишки бегут, спотыкаясь, скользя, —  
Но поезд догнать — человеку нельзя.

Так выкиньте рухлядь — тюки нележки!  
Но тащат корзины, хватают мешки...

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Когда выступают в далекий поход,  
Мешки тяжелы, а тяжеле народ.

Что может быть проще: мешок есть мешок,  
А люди суть люди, а поезд — ушел. . .

82

Ключ мудрости плещет, прохладой дыша.  
В глубинах — опасность, поверхность — свежа.

Источник познания забил из земли,  
И люди узнали, и люди пришли.

Ключ мудрости вечной из камня забил! . .  
Пришли — а обратно вернуться нет сил.

И падают, в камень уткнувшись виском,  
И мудрость заглатывается песком. . .

Обломки костей гладит ласково мгла.  
Обломки остались, а мудрость ушла.

Шли с песней и смехом: источник забил!  
Пришли — а обратно вернуться нет сил. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— С путей проторенных стремятся к иным —  
Кто с мертвым обломком, кто — с сердцем  
жИВЫМ.

Один глаз — к земле, а другой — к небесам.  
И разуму стыдно, и больно глазам.

Под мышками хлеб — загодя припасен.  
Как руки возденешь — так выпадет он.

И страх разливается, души томя. . .  
И кто-то — с обломком, а кто-то — с двумя.

И кто-то увидел сквозь камешки слёз,  
И кто-то пустился, а кто-то — принес. . .

Заря истекает, как красный елей,  
На груди вершин и на бедра полей.

Паря, золотым опереньем горя,  
Заря пробуждает, тревожит заря.

Кузнечик, звеня, отпирает леса.  
Ликуя, линуют стрижи небеса.

Под тонким пергаментом синих небес  
Вино золотым наливается лес.

Под синюю небес — над землей, над водой —  
Вино молодое, елей золотой. . .

Коснуться рукой, и прижаться потом  
К сияющей плоти сверкающим ртом!

Коснуться, в восторге примяв зеленыя,  
Рукою — рассвета, и граблями — дня.

Я вышел в рассвет из себя самого —  
Увидеть зари молодой торжество.

Я вышел в долину — на волю, на свет, —  
Но все еще спят, никого еще нет. . .

Из солнечной дали, из светлых ворот  
Навстречу мне малый ребенок идет.

Из солнца, как из золотого яйца,  
Выходят другие, и нет им конца.

Идут по дороге — и нет им числа. . .  
И блещет долина — просторна, светла.

Рассвет над землей пробужденной простерт.  
День входит в долину, как в гавань, как в порт.

Блестят якоря над землей, над водой.  
День в гавань вошел, как корабль золотой.

И мачты буравят насквозь небеса,  
И радостью далей полны паруса.

Сияют надраенные якоря,  
И перекликаются с портом моря...

На громкий сигнал, на звенящий призыв  
Нахлынули толпы детей, как прилив,

Из дальних поселков, из всех городов, —  
И трубы поют и зовут: «Будь готов!»

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Я в толпах затерян, я спинами скрыт.  
В пожаре знамен мое сердце стучит.

Узнал я ребенка в веселой толпе,  
Но я не пойду с тем ребенком к тебе.

Я первенца века на борт посажу —  
И этим за всё себя вознагражу...

А мне не уплыть на большом корабле.  
Остаться мне здесь суждено — на земле.

С надеждой глядеть буду вдаль я — пока  
Стучит мое сердце и жаждет рука.

85

Здесь буря скакала на сильном коне.  
А может быть, это привиделось мне?..

Жесток поединок концов и начал!  
Деревья под громом легли наповал.

И буря, зверея, швыряла в замес  
Дома, и мосты, и посевы, и лес.

В долине стенанья, и плач, и печаль.  
Жесток поединок концов и начал!

Разбито лицо изможденной земли:  
Глаза ее — ямины — тьмой изошли. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Свиристует буря и бесится? Пусть!  
В сплошном разрушении — светлая грусть.

Чем яростней буря, чем буря сильнее —  
Тем больше пьянит она силой своей.

Когда она молнии бросит копье,  
Нас свет поражает — не лютость ее.

Нам буря внушает отвагу — не страх, —  
Неем в восторге мы, с камнем в руках.

Ушла. . . Над землей разлилась синева. . .  
Как здорово пахнет росой трава!

С травинкой в губах, озаренные днем,  
С любовью — сначала, еще раз начнем. . .

86

Дитя! К горизонту, к кайме голубой,  
Пришли мы сегодня проститься с тобой.

Изрыты глухими пещерами ран  
Костлявые, злые тела каторжан.

А есть и другие — они с баррикад,  
Свинцом осыпали их вместо наград.

Сгорела их юность в походных кострах.  
Притронешься — и распадутся во прах.

Их сплавляли битвы в коринфскую медь, —  
Не могут бойцы от боев отрезветь. . .

Бунтарская сила вчерашних ребят —  
Вот всё, чем достоин, вот всё, чем богат.

Зари безмятежной не знают они...  
А здесь дни — как зори, и ночи — как дни.

И старых пожарищ рассеялся дым...  
Так что же мы детям в дорогу дадим?

Глядите! Прекрасна заря без прикрас!  
К чему вам мечты провожающих вас?..

Меня лихорадит. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Наш хлеб зачерствел, он как камень в бою.  
Что ж дать им в дорогу? Винтовку свою?

Закончился путь, и петляет опять...  
Да будет им скорбь твоя вечно сиять!

87

Петляют, бегут одиноко ручьи.  
Никак не сольют они струи свои.

На каждом — кораблик, но, пенясь, вода  
Кораблики те не несет никуда.

Мечтают ручьи о глубокой реке.  
А море раскинулось невдалеке.

Громады железные в море видны.  
Их клотики — в тучах, в пучине винты.

Ручьи о камня изрезали грудь:  
«Скорей бы домчаться и в море нырнуть!»

Изранено сердце. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Я вывесил флаги на лодке моей —  
Приветствовать все пароходы морей.

Я поднял восторженно все паруса —  
Улавливать дальних ветров голоса,

Зажег я огней разноцветную гроздь...  
Но здесь мой корабль — незначительный гость.

Стоит он в сторонке, на месте одном,  
С поломанной мачтой, с проржавленным дном.

Мой бедный кораблик, уткнувшийся в ил,  
О море забыл и о ветре забыл.

В безветрии выцвел от времени флаг...  
И не утонуть, и не выплыть никак.

38

Отправились дети к заре золотой,  
И вечер им путь преградил темнотой.

И вот уже ночь зачернела вдали...  
И лагерь разбили, огонь развели.

Привал придорожный, жилище на час!..  
День выпит до капли, и ночь разлилась.

И солнце ныряет и гаснет вдали.  
И дети высокий костер разожгли.

Вознесся костер, как большой обелиск.  
Он сверху походит на солнечный диск.

Огонь освещает прогалины лиц,  
И ночь отступает и падает ниц.

Костер разыгравшийся искры роит  
И ночь золотыми ножами кроит.

В руках раскаленных трещат дерева,  
И, дымом опившись, танцуют леса.

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Костер темноту пожирает, хрустя.  
В лесу, среди детей, ведь и сам я — дитя!

Слепыми руками на голом огне  
Здесь радость куют и дают ее мне.

В ночи беспросветной я солнцем согрет...  
Дитя — это песня, а песня — рассвет.

39

Долина — как цирк. И глядят небеса,  
Как толпы в долине творят чудеса.

— Эй, ухнем! — И бога и черта чества,  
Огромные горы сдвигают шута.

И, взяв на себя полномочья творца,  
Рева, воскрешает толпа мертвеца.

Вот мертвый ребенок. — Воскресни, живи! —  
И солнце плотичкою плещет в крови.

В смущенье великом глядят небеса...  
Не верит толпа-чудодей в чудеса.

С доверьем глядит чужеземец — и вот  
Скиталец с улыбкой на гибель идет...

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— В долину спустился я в поисках дня.  
Пришел и сказал: «Воскресите меня!»

Но лишь о покое мечтает мертвец.  
Ему ни к чему барабаны сердец.

Толпа веселится, и песни поет,  
И в солнце, как в бубен блистающий, бьет...

Я бросил тогда мертвеца на пути, —  
В скитанья ушел, чтобы к чуду прийти.

Скиталец не знает сомнений — и вот,  
Уверовав насмерть, на гибель идет.



Стремятся в долину в беде и в нужде:  
— Такого еще не бывало нигде!

Здесь пристань надежды. Незрячим заря  
Впервые глаза открывает, горя.

И блещет манеж, как волшебный кристалл...  
Ты снова ребенком доверчивым стал!

Толпа умножается, крепнет, растет, —  
И в росте — награда, в движенье вперед.

Под куполом вздох прозвенел, как «алле!»:  
— Небесное — небу, земное — земле!

День тонет в слепительном свете своем...  
Кто с молотом вышел, кто с острым серпом.

Блестит позолотой небесная гладь...  
Я с заступом вышел — могилу копать.

И сердце в рубцах. Сквозь бураны, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— В великом стремленьи вперед, до конца —  
Забыли могиле предать мертвеца.

Кричат на дороге костей письма,  
И просятся в землю зубов семена.

Но люди проходят дорогой своей.  
Стирается клинопись старых костей!

Но красные буквы зовут и горят:  
«Пусть знаки ушедших живут, говорят!»

Сегодня без песен вернулись с полей.  
Тревожные взгляды свинца тяжелей.

Качали ребенка, ласкали жену —  
Но грусть в них бродила подобно вину.

Печально сердца обволакивал хмель...  
Потрогали просто и шлем и шинель.

Взглянули вокруг. Не в последний ли раз?..  
Быть может, тревога. Быть может, приказ... .

Да нет... успокойтесь... пройдет... просто так...  
Тайком на долину надвинулся враг...

Сегодня, коверкая лоно земли,  
Колючую проволоку волокли.

Но жаждет рожать ежегодно земля.  
Остаться полями желают поля...

И рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Раздеты, разуты, опухлы, бедны —  
Но пуле врага не покажем спины.

На плуге почиет рука — но не раз  
Она выручала в сражениях нас.

Патроны — в обоймы, клинки — из ножен!  
И дом — это крепость, а двор — бастион.

И дети играют трубой боевой...  
Дитя — это песня, ведущая в бой.

42

Сегодня остались в своих мастерских,  
И ветер предгрозя смирился и стих.

Но вот уже гром вдалеке проскакал...  
Над мирной землею — кровавый оскал.

Надвинулся враг, и бои предстоят...  
Тревожен и красен сегодня закат.

Горячее солнце висит в облаках.  
Так куйте же сталь в раскаленных цехах!

Работай же молотом, добрый кузнец! ..  
Для тела — броня, а для пули — свинец.

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Солдаты у наших дверей не стоят.  
День — брат наш, и мир неочерченный — брат.

Обильно накрыт наш некрашенный стол.  
Будь гостем, прохожий, раз с миром пришел!

Хлебами богатыми край наш цветет —  
Но колос из тела народа растет.

Наш край расцветает. Дерзай и стремись! ..  
Сестра наша — даль, и сестра наша — высь.

Пришел ты и хочешь остаться? Пусть так! ..  
Из тела народа и пуля, и злак.

У наших дверей не стоит часовой.  
Но око за око, и смерть за разбой!

### 〈ЧАСТЬ 2〉

#### 1

Разбиты хронометры. Стрелки их лгут.  
Нарушен порядок теченья минут!

Висят одичавшие календари:  
Где были апрели — теперь декабри.

Рассыпались дни, словно бисера нить.  
Субботу от будней нельзя отличить.

Всё спутано. Хаос. Недель обмолот.  
Где вторник? Где пятница? Кто разберет?

Но первооснова — тяжелой ценой! —  
Готова, созрела для формы иной.

Свобода огонь запалила в печи —  
В ней времени сплав, а не дней кирпичи. . .

Рассвет и закат появились вдали —  
На тропах вселенной, на тропах земли.

Идут — и поет и рожок и труба. . .  
И труд будет снова, и рост, и борьба.

Мы — род человеческий, тем и живем:  
Надеемся, трудимся, хлеб свой жуем.

И повода времени нам не сдержать.  
Так слава осмелившемуся дерзать!

Дерзнувшему слава! Он шел налегке —  
Пустая котомка да молот в руке.

В мир боли, заката, тоски — в этот миг  
Подкрался он, прыгнул, вцепился, достиг!

2

Да, есть в угасании грусть и тоска. . .  
Заката рука и слаба и тонка.

Вздывается грусти седое крыло. . .  
Вот вспомнилось что-то, и что-то ушло.

А сумерки цвета сырого песка,  
Да, есть в угасании грусть и тоска. . .

Никто не придет, не приложит руки  
К бездонной, безжалостной ране тоски.

Кто посохом в камень ударит витым,  
Чтоб ключ зазвенел хрусталем ледяным?

Никто! Но, угрюмый от скучных забот,  
Тот камень подденет ногой пешеход.

В ветвях задыхающихся никогда  
Не вьет перелетная птица гнезда.

Гниющая рана затянется? Ложь!  
Ей может помочь не лекарство, а нож.

И что разбазаривать россыпи дней?  
Не встанет мертвец из могилы своей.

Различны стремленья умов и сердец, —  
Но в битве коня не стреножит боец.

И хоть тебе больно от муки чужой —  
Пришпорь свою лошадь, мчись, всадник, и пой!

Ломать — так ломать, а рубить — так рубить,  
И сызнова строить, и снова любить.

8

Леса ли, моря, иль вершин крутизна —  
Но к цели ведет нас дорога одна.

И гоним мы перед собой окоем...  
Чем дальше зашли — тем сплоченней идем.

Налево — опасность, направо — тупик.  
Мы к цели далекой идем напрямик.

Мы день шли, мы год шли. Ни взгляда назад!  
Рассветы нас ждут, провожает закат.

Зовет пешеход двойника своего —  
И двое шагают взамен одного.

И двое слились — и на все времена  
Вселенная нами до края полна...

Но рот в лихорадке. Сквозь грозы, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— От нас за предел, от нас за порог  
Бегут по земле аорты дорог.

К созревшим сердцам и к душам детей  
Ведут провода — паутинки путей.

Не будет никто на земле обойден!  
И реют над толпами листья знамен.

И сотни, и тысячи. . . Если ты зряч —  
Открыто гляди и от радости плачь!

И что нам моря и вершин крутизна —  
Ведь к цели ведет нас дорога одна!

4

Что может быть радостней птичьих дорог!  
Но с птицами рядом норится хорек.

Мораль он освоил, законы он чтит.  
Когда бы долине — налаженный быт,

Навзрыд растекался б он над мертвяком  
И пел бы на свадьбах сухим голоском.

А так — он из лужи коптит небеса,  
И хвост — и защита его, и краса.

Незначаший возглас слышав едва,  
Он тупо твердит: «Золотые слова!»

Он тянет из блюдечка жиденский чай,  
Губами причмокивая: «Ай-яй-яй!»

В долине — веселья и силы поток.  
Так что здесь забыл одинокий хорек?

Ни тонкой стрелой, ни острым мечом  
Не может себя защитить нипочем.

Не в силах поднять он оружие людей —  
И вот защищается вонью своей.

В плевках и в позоре его голова,  
А он всё твердит: «Золотые слова!»

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Нас враг не собьет с проторенных дорог, —  
Так лучше уж враг, чем вонючий хорек!

5

В окошках хатенок горят огоньки.  
Задумчиво в окна глядят пареньки.

И кошкою время крадется во мгле...  
И книжки лежат на горбатом столе.

Над полом дощатым провис потолок...  
Весь мир обнимает сейчас паренек.

Черна и безмолвна полночная даль...  
Себя паренек закаляет, как сталь.

В таинственный мир проникает другой,  
К коленям земли прикасаясь рукой.

А третий, в чаду и в дыму каганца,  
Тревожит стихами людские сердца.

Снянье исходит из низких окон:  
Там мир до зеркального дна отражен...

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Из тесных хатенок великой страны  
Рвутся желанья — огромны, сильны.

Из чадных коптилок, звеня и светясь,  
Высокие звезды восходят для нас.

Несут эти звезды вперед пареньки,  
Закрыв их от стужи, укутав в платки.

Идут пареньки как на радостный пир —  
И светом тех звезд озаряется мир.

Идут, раздувая рубах паруса.  
Тела — как каштаны, как листья — глаза.

Рваные кепки в дыму городов —  
Широкая поступь двадцатых годов.

Они не в лесах, не в песках — на пути:  
Средь дальней дороги и дня посреди.

Скалистые парни! Шаг их широк,  
Мостят они сбитые спины дорог.

Сдерите же кожу с домов и судеб! ..  
В одной руке — молот, в другой руке — хлеб.

В котлах закоптелых кипят облака,  
И путь во вселенную чертит рука.

И радость, и горечь в жаровнях дорог,  
И чуть подгорает асфальта пирог.

Насытился вдосталь простор голубой  
Безудержной удалью, кровью, смолой. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Мы гоним дороги, как рыжих коней.  
Хватило б раздолья — лугов и полей!

Хватило бы света, весны и зимы! ..  
Гостей ожидаем бесчисленных мы.

Дорога в грядущее к звездам взвилась.  
— Идущие вслед, я приветствую вас!

Идет этот день с золотым решетом,  
И солнце дрожит в решетке золотом,

И сеется солнечный свет с высоты  
И вдруг зажигает в долине цветы.



А может быть, день только чудится мне?  
А может быть, день только вижу во сне?

Не ночи ль серебряное колдовство  
Навевало, наворожило его?

Ночную прохладой наполнилась грудь,  
Трепещет на море серебряный путь,

От края до края струится сквозь мрак...  
К тебе я приду и скажу тебе так:

— Разбиты преграды, свободны пути, —  
По водам, по воздуху можем идти.

Свое и чужое теперь ни к чему,  
Легко, как рубашку, печаль я сниму.

Пойду я серебряной этой тропой,  
Измученных тьмой поведу за собой.

Придите же, братья, я жду вас давно.  
Кто, чей и откуда — не всё ли равно!

Не всё ли равно мне — откуда и чей,  
Поверим сиянью счастливых лучей.

Для каждого щедро долина цветет,  
Пусть радостью будет ваш путь, ваш приход.

8

Блестящее небо, блестящий песок.  
Здесь день появился в назначенный срок.

И солнце в свой час запалило зенит...  
И горы гордятся, и море бурлит.

И горы как парни, а парни как медь:  
Три жизни в сердцах, а печали — на треть.

Лучи, осыпаясь, тела золотят,  
И солнце — для всех, и не действует яд.

Когда лихорадка уходит из жил —  
Блаженствуешь ты, словно прежде не жил.

Эй, встречающая! Ты мне мила и нужна.  
Отдайся! Остаешься на все времена!

От солнца гудящее тело пьяно.  
Преград и препятствий не знает оно.

Вот солнце, вот море, вот горы, вот я.  
Ведет меня в жизнь лихорадка моя.

Ведет меня светлой, душистой тропой. . .  
А солнце взойшло и столкнулось с тобой!

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
Ко всем обращаюсь я, скажу я им так:

— Вот горы — как парни, а парни как медь:  
Три жизни в сердцах, а печали — на треть.

Когда лихорадка уходит из жил —  
Блаженствуешь ты, словно прежде не жил.

0

Слетаются дети на праздник земной,  
И праздничный мир опоясан весной.

Слетаются! Стаи — как крылья знамен:  
С Востока и с Запада, с разных сторон.

Наполнены солнечной кровью сердца,  
И клич: «Мы готовы!» — как песня скворца.

Так что нам предел, частоколы границ?  
Слетаются стаи доверчивых птиц.

Так что им препятствия, что им запрет?  
Слетаются! Солнце целует их след!

С дрожаньем хлебов, с ароматом цветов  
Разносится клич по земле: «Будь готов!»

С горами и с морем, и с ночью и с днем  
Вспоил их, вскормил их отцов чернозем.

На них поглядишь — не узнать никогда,  
Что труд — их отец, а их мать — нужда. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— От губ лиловых, от желтых тел,  
От тех, кто черен, от тех, кто бел,

От их сердец и от их кулаков  
Уносится в мир: «Всегда готов!»

А нам, последним, наказ один:  
От ветра закрыть их стенами спин.

10

Задумчиво дали вечерней чело,  
И море трепещет, как птичье крыло.

И вечер расцвечивает тишину,  
И парус, скользя, обгоняет волну.

Он как колыбель. Отражаясь в воде,  
Раскачивается на лунном гвозде.

Лучи как шнуры. Первозданно-чиста,  
Ночным серебром колыбель залита.

Безмолвна в серебряном сне колыбель,  
И падают звезды в нее, как капель.

И море расстелено. В бездне воды  
Дробится, дрожит отраженье звезды.

Прокладывает тропинку луна:  
По морю идет, как по суше, она.

И будит, и манит, и в море зовет. . .  
Так кто ж не захочет, так кто ж не придет?

Так кто ж со звездой, в волшебной ночи,  
Свой путь не сольет? Отправляйся и мчи!

Так кто ж не помчится ловить оком  
По краю зари, со звездой вдвоем?

И кто ж не прижмется в восторге потом  
К луне серебристой сверкающим ртом! . .

Зачатья печать в волненье волны.  
Я снова дитя в колыбели луны.

II

О, буйство подъема во все времена!  
Раздув паруса, помчалась страна.

Так хлеб — из колосьев, так дым — из трубы,  
И мука напевна в сверканье борьбы.

И кто на заводах, у домен встает,  
Кто молотом праздничным солнце кует.

Кто в доке, кто драит с утра якоря.  
Рассвету на смену приходит заря. . .

Ткет чудо-страна полотна минут,  
И пилы с блеском и с болью поют,

И молот не сыт, и жаждет рука,  
И неуголима жажда станка.

Молот крушит вещества естество —  
Но спит, не проснулось еще вещество.

Оно еще дремлет в горячем дыму. . .  
Возгласы иглами колют тьму:

«Пусть дважды два будет восемь! Не прочь  
Мы ночь работать, и день, и ночь».

И, приближая синюю даль,  
Парень добьет, дошлифует деталь.

Светится дня золотая шерсть.  
И вот дважды два — и пять, и шесть!

И трубы — в рассвет, а рассвет — как орел.  
И дали искрятся: нашел, изобрел!

12

Проходит покой мимо наших ворот:  
Бурлит, состязается в росте народ.

Старается, сталью о колос звеня.  
Хватило бы дали, и ветра, и дня!

Луч в сердце — клинком. Так какой тут покой?  
Жнец в поле с утра, ученик — в мастерской.

Гроза над телами кормильцев-полей.  
Крестьянин не спит в деревеньке своей —

Чтоб стал каравай украшением земли,  
Чтоб колос один всемером волокли. . .

Спешат, соревнуются. Радостен труд!  
Путь юных сердец и прекрасен, и крут.

В горящих глазах — горизонта венец.  
У ребер машины мечтает юнец —

Чтоб семьдесят стало, где нынче — один,  
Чтоб стало семьсот разноцветных машин. . .

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Бесценны под солнцем минут семена.  
Грядущее сеет сегодня страна.

Вспоила весна невиданный плод.  
Сожмем же время! Улучшим род!

Страна устала. Страна в нужде.  
Поможем же ей, соревнуясь в труде!

Гноится Запад, зовет Восток.  
Кровь площадей течет в водосток.

И свитки пожаров небо сверлят,  
И в гуле огня — гром баррикад.

А в песне разбоя — сладость греха...  
Тела на весах, как в мясной — требуха.

Знамена из крови, костры из знамен.  
Кнутом опоясан разбойный закон.

Кровью сочатся жилища людей...  
Преступный топор всё жадней, всё лютей.

Где-то трубы, дымом давясь,  
Проклятья выкашливают и грязь.

Где-то в шурфе копатель упал:  
Дорог, как жизнь, драгоценный металл.

За горсть золотинок — плати головой...  
Пляшут значки на доске биржевой.

Цена за кровь, за глоток воды,  
За жизнь в цепях и за смерть от нужды.

Цена ребенка в утробе, цена  
Заботы, и мести, и вечного сна...

Мечтает замерзший в пути о костре.  
Народы идут к горящей заре.

Идут народы к манящей заре, —  
С ценою, выжженной на бедре.

Гноится Запад, зовет Восток.  
Кровь площадей течет в водосток.

И дождь кровав, и кровава метель,  
И загнанный ветер упал на панель.

И пляшут цифры, и числа поют...  
Дрожат провода и передают:

«Восстанье на Шпрее. На Сене — парад.  
Повешенных — десять. Литавры звенят...»

Высь окровавлена, как на войне.  
Гремит на какой-то крутой волне:

«Забастовка в Штатах. Лондон бурлит.  
Арестованных — сотни. Один убит...»

Кровавую высь пожары коптят.  
Радиоволны к биржам летят:

«Забастовка в Шанхае не удалась.  
Цены упали, кровь поднялась».

Держатель акций, прибодрись:  
Головы косят, как косят рис!

Земля одурманена, даль горяча:  
Из крови, из кожи — шелк, чесуча.

Но свитки пожаров небо сверлят,  
И в гуле огня — гром баррикад.

И падают люди, как на войне,  
В кровавой выси, на грозной волне.

15

Бессильно к стене пограничной приник  
Задушенный стон, окровавленный крик.

Они простираются лентами рук,  
От страха трепещущие и от мук.

Врезаются вглубь они, тянутся вдоль —  
И день поглощает их муку, их боль.

Колодцы отравлены, клевер зачах,  
И сохнут от горя хлеба на полях...

Вздымаются руки, и, ширя печаль,  
Они раздвигают, как занавес, даль:

Вот мясники. Под замком — их стада.  
Мясник уважаем везде и всегда.

Вот город — заводы, склады, тюрьма.  
Как лавки мясные, краснеют дома.

Тянут лямку и мать, и отец.  
За тень недовольства — кулак и свинец.

Вот день, вот ночь. Не шути со свинцом!  
За право чувствовать — в землю лицом.

Глаза исподлобья отвагой горят:  
Вот сыновей ненавидящий взгляд!

Когда б отдышаться, насытиться где б!..  
Вот дочери, проданные за хлеб.

А вот мясники. Вот их клуб, вот их храм...  
Сытость неведома их топорам.

16

У рикши глаза желты от тоски.  
Зрачки потускнели, поблекли белки.

Как перед молитвой, дрожит его рот.  
Темнеет... Неужто никто не придет?

С надеждой клиента он ждет своего.  
Ночь мягко садится в коляску его.

Повязка на бедрах, костей кутерьма...  
Им правит, как мулом, кромешная тьма.

Ему этой жизни костлявой не жаль.  
Бредет он по боли, впряжен он в печаль.

И бос он, и гол он, и голод сосет...  
От голода рикшу лишь гибель спасет.



Несчастливого к камню потащит палач.  
Как стон его жалок, как желт его плач!

За что ж это голову рубят ему?  
Не помнит, за что, не поймет, почему.

Как рикша забьется в тот сгусток минут,  
Когда его скрутят и к камню пригнут!

Как кровь его брызнет из горла, — а он  
Всё так же растерян и недоумен!

С надеждой он на палача поглядит.  
В корзину его голова полетит.

Минутку бы, десять, пятнадцать ему! . .  
Не помнит, за что, не поймет, почему.

17

Из сердца костра, где бушует гроза,  
Как луны застывшие, рвутся глаза.

В глазницах кричащих — по белой луне.  
И жарится тело на красном огне.

Казнимого и небеса не спасут:  
Над негром устроили здесь самосуд.

В дыму не поймешь: молодой ли, старик.  
В гудящем огне обуглился крик.

А зубы ножами сверкают во рту,  
И солнце слепят, и грызут пустоту.

Растрескалась кожа. Глаза как свинец.  
— Господи, боже! Скорей бы конец!

И кружит по площади черная мать.  
— О господи! Ты разучился карать!

Навстречу ей дым, распластавшись, плывет.  
Ей кажется, сын ее кличет, зовет. . .

Огромны глаза в последнем рывке.  
Бешенство боли бьется в белке.

Мечется негр, отдаваясь огню,  
Грызет, перекусывает головню.

Еще раз вытягивается — и вот  
Виснет, падает и не встает.

Глаза его вспыхнули ярко на миг...  
К ним тянется с трубкой какой-то шутник.

18

Чернеют тюрьмы, увеча простор, —  
Могилы для братьев моих и сестер.

За окнами — чудо, красивейший край.  
А реки — Шпрее, Днестр, Дунай!

А в каменных клетках, что ада темней,  
Друзья голодают по сорок дней.

По сорок дней, по сорок ночей...  
Глаза их — как пересохший ручей.

Пускай они в камере тесной умрут —  
Но забастовку не предадут!

В груди забастовки последний их стон...  
Как толсты решетки тюремных окон!

В скрюченном теле, застывшем навек,  
Сердце заканчивает свой бег.

Прячется взгляд, как зверек в нору,  
И жилы сохнут, как травы в жару.

А ночью, пройдя сквозь стены темниц,  
Умчат арестанты стаями птиц.

В веселом небе — зеленые дни...  
В клетки свои не вернуться они.

И жутко становится их врагам,  
И тянутся камни к рабочим рукам,

И улицы ждут, и дрожит Закон  
В пламени тел и в пожаре знамен.

19

Свищет над миром голода кнут:  
В Китае, в Индии дети мрут.

Голод их гонит, голод их бьет:  
— За рис холодный — горячий пот!

День проблуждали, ждут темноту, —  
Но пусто в кармане и пусто во рту.

Как медленно час для голодных ползет!  
— За рис холодный — горячий пот...

В жалких отрепьях, в голодной мгле  
Детские годы бредут по земле.

Обтянут кожей иероглиф костей.  
Старцы выглядывают из детей.

В поле голодных детей отдают.  
Здесь им и дом, и последний приют...

Отцы их в деревне желты, как песок:  
— Всю кровь до капли — за хлеба кусок!

За теплые ночи, за сытые дни  
Солдатский мундир надевают они.

Пуля найдет их, сожрет их меч.  
— Костью за хлеб и за родину лечь!

Калечат души и мучат тела,  
Чтоб смерть урожай небывалый сняла.

И жизнь по сходной цене идет:  
— За чашку риса — кровавый пот!

Священнодействуя под фонарем,  
Грабители делятся тайным добром.

Ограбленный связан, во рту его — кляп.  
Он к богу взывает, как преданный раб.

Себе он не пара, и дом — не его.  
Ему не оставил господь ничего.

Грабители делят добро меж собой.  
Уходит один, и приходит другой.

Уходит с поклажей, придя налегке —  
Кто с шуткой во рту, кто с камнем в руке.

Как трудно под солнцем уйти от греха!  
И этому — сало, тому — требуха...

И этому — целое, этому — часть.  
А этому — пушки, а этому — власть.

Еще один остров. Скорее вперед!  
И, с помощью бога, почет и доход.

А кто подведет, не захочет идти —  
Найдет свою смерть на середине пути.

За каждый протест, за каждый отпор  
На брата брат подымает топор.

И яростных лбов каменеет медь,  
И, скалясь, бродит меж братьями смерть...

Ограбленный связан, и дом — не его.  
Ему не оставил господь ничего.

От Шпрее до Вислы — дорога тоски,  
И дальше — в болота, в леса и в пески.

От Вислы до Темзы туманится взгляд:  
Там плачут дороги и люди скорбят.

В тоске и в тревоге, все вместе, всё те ж —  
Бредут по дороге, как черный кортеж.

И солнца не видно в небесных волнах —  
Там реет орел в золотых галунах.

Грабительский клюв, именной пистолет,  
Широкий размах золотых эполет.

И кирхи звенят, словно в день похорон.  
Дин-дон! Печальный, кандалный звон.

Цепей перезвон — перестук костей...  
Вышел охотиться бог на людей.

Их тащат, как дичь, и, в реве хулы,  
Аркан — на одном, на другом — кандалы.

Звон колокольный и топот ног...  
На бедных людишек охотится бог.

Насупился яростью черный кортеж, —  
Кулак к кулаку, все вместе, всё те ж.

Народ пробудился и голос обрел!  
Напуган витающий в небе орел...

От Шпрее до Вислы — дорога тоски,  
И дальше — в болота, в леса и в пески.

22

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Открыли мы дверь, перешли за порог.  
Нас манит Вселенная блеском дорог!

Где нет порога, где свет — под замком,  
Мы стекла вышибем кулаком!

Из ада мы вырвались, к высям ушли —  
Сквозь вопль тел и сквозь стон земли.

Мы шли, сцепив крюки наших рук,  
По пятидорожью звезд и мук.

Растя зарю на скрещеньях путей,  
Мы хлеб отбирали у наших детей!

А где не хватало хлеба для нас,  
Там наша кровь на землю лилась —

И мы насыщались. Лишь бы идти!  
Круты и прекрасны были пути.

Вынести, выдержать. Лишь бы вперед!  
Из ада вырвался целый народ.

И там, где сомнение касалось сердец, —  
Черствый хлеб превращался в свинец.

А там, где жажду сжимала ржа, —  
Искало кровь острие ножа. . .

Шагает по миру во весь свой рост  
Красное пятидорожье звезд.

23

— Виват, дрессировщик! Bravo! Ура!  
Вот зверь, вот толпа. Начинай же. Пора!

Артист! Вот перчатки, вот хлыст. Так скорей!  
Ах, как он играет со смертью своей. . .

Зверь уши прижал, и горит его взгляд.  
— Riskни, человек! Дрессировщик, виват!

От треска, от блеска на первых порах  
Теряется зверь о семи головах.

На выстрел ракеты, на посвист бича  
Чудовище пасть разевает, рыча.

И так застывает владыка зверей,  
Забыв в изумленье о силе своей.

Тогда человек — велика его власть! —  
Влезает по плечи в звериную пасть.

На миг! Зверь растерян. Скорее назад —  
Пока не опомнился... Bravo! Виват!

Ура смельчаку! Дрессировщик, виват!..  
В неистовстве люди кричат и свистят.

Зверь только силен, дрессировщик — хитер.  
Признание толпы — как гудящий костер.

Вот бич, вот решетка, вот узкая дверь...  
Опасным и злобным становится зверь.

Конец. Дрессировщик доволен собой.  
— Виват, победитель! Ты выиграл бой.

24

Ко всей земле лицо обратив,  
Страна моя шлет привет и призыв.

Призыв и привет! И зовет, и ждет  
С хлебом, и с силой, и с вихрем свобод.

Гавани голосом трубным зовут:  
— Желанному гостю — привет и приют!

Поле зовет, ветряком скрипя,  
И горы, снегами своими слепя.

Гости в восторге: божественный вид!..  
Но камень нередко за пазухой скрыт.

В профиль — хитрец, простак — анфас,  
Военный гость поздравляет нас.

Медали горят на груди, на плечах.  
Другой бы в подобной кольчуге зачах.

Лоб его низок, взгляд не остер,  
Но золотом блещет тулья, как костер.

И приторно светится золотом рот.  
И на костылях его голос идет.

Слов костлявых здесь не поймут.  
Но взгляд его требует: «Там или тут?»

Глазами ощупывает он суда  
И намекает: «Нет или да?»

Курносые парни смеются в ответ:  
«Да, вы любопытны! Не знаем мы, нет!»

25

Опасная bestия гонит вперед  
Гривастых коней словоблудных свобод.

И мчатся на толпы гривастой рекой. . .  
Но щерится смерть из свободы такой.

Бегут лжепророки, овечек смиренней,  
За чудо-хвостами гривастых коней.

И пишут ножами на конских боках:  
«Смиренье в миру, благодать в облаках».

На черных пророках — имперский хлам.  
Руки — в карманах, глаза к небесам.

«Во имя бога скачите вперед.  
Душите народ! Топчите народ!»

У черных знамен стоят палачи.  
От них не спасешься — кричи не кричи!

Когда в предместьях вскипает бой,  
Они утверждают свой черный покой. . .

По лужам крови, по трупам дней  
Скачут копыта гривастых коней.

Черных пророков белая рать  
Гривастых коней посылает скакать!



И вот уже роются в трупам дней  
Руки пророков, копыта коней.

Гривастых коней словоблудных свобод  
Опасная бестия гонит вперед.

26

Сидят, с упоением в глазах ледяных,  
И цедают законы из кружек пивных.

Закон о труде, о правленьи страной.  
Выходят законы из пены пивной.

И цедают, и пена сохнет в усах.  
И клетки шахмат пестрят на столах.

Вступили черные с белыми в спор.  
Партнеры, играя, ведут разговор:

«Готовится путч! — бормочет пророк. —  
Так черт с ним! Получат хороший урок».

— «Убил вашу пешку, — звенят ордена  
Партнера-военного. — Путч — не война!»

— «Да, но затронута наша честь. . .  
Солдаты у нас, слава богу, есть!»

— «Да я их из пушки шквальным огнем! —  
Глоток из кружки. — Иду конем».

— «Не знаю, путч ли. Но злобы — река,  
И быть забастовке наверняка».

Мечтает пророк: «Когда б не ладья,  
Не ферзь и не конь, — победа — моя!»

Военный со злостью трясет головой:  
«Я их расстреляю на мостовой!»

— «Попробую черными. — Пива глоток. —  
Кельнер, сосиски!» — взывает пророк.

С белым военным ведет разговор  
Черный пророк: «Господин партнер!

За ваше здоровье! Искренне рад!..»  
— «Вы, кажется... гм... социал-демократ?

Найдите нам фюрера. Полный вперед!»  
— «Пойти конем?» — «Решайте! Ваш ход».

— «Вам нужен фюрер?» — «Признаться, да!  
Нам нужен хлыст, а народу — узда».

— «Мой ход... Восстали рабочие шахт!  
Это весьма опасно... Вам шах!»

— «Шах? Наш пророк свершит чудеса».  
— «Шахтеры отдали нам голоса».

— «Эй, кельнер! Пива!.. Что взять вам, мой друг?  
Шахтеров не выпускайте из рук!»

— «Простите, я перепутал. Да-да!  
Я передумал. Ладьей — сюда».

На шахтах я -- свой. Бунт не страшен для нас...  
Но я короля защищаю сейчас!»

— «Ну, вот, насмешил! Приготовил снаряд!  
Запугаетесь, социал-демократ...»

— «Закончим потом. Я должен идти.  
Собрание рабочих хочу провести».

— «Нет, я иду. Коллега, вам мат!  
Конец, господин социал-демократ».

Сидят, с упоением в глазах ледяных,  
И цедят законы из кружек пивных.

Пивная кружка как желтый цилиндр.  
Кожа на лицах пробрита до дыр.

«Герр доктор, герр канцлер. . . Не всё ли  
равно!  
Свобода у нас процветает давно».

И руки с бокалами подняты так,  
Как будто сейчас голосует рейхстаг.

Отголосовав, не тратя минут,  
Обратно к подножью трона идут.

Колени сгибаются сами собой  
Пред царственной кровью, такой голубой.

Направо — полковник, налево — жандарм.  
«Что хочет герр доктор? Живо подам!»

Сюда входить посторонним нельзя.  
«Даю офицера, беру ферзя!»

— «Попробуйте выехать на конях.  
Кельнер, пива! . . Милейший, вам шах!»

— «Герр канцлер, порядок мы наведем.  
И если что — свинцовым дождем».

— «Позиция сложная. Близок мат».  
— «Простите, но в чем же я виноват? . . .»

Глаза разгорелись, глотки ревут. . .  
Здесь на куски конституцию рвут.

29

Пришелец! Оставила нас нужда.  
На наших телах пламенеют года.

На грубой коже на много лет  
Голод начала оставил свой след.

Утробе земной хотим мы помочь.  
Там ночь как ночь, и там день как ночь.

Глубинам свет недоступен дневной.  
Там сто смертей вокруг жизни одной.

Там, в лоне земном, в сердце сердец,  
Бурлит Начало, бушует Конец. . .

В концах и в началах, в путях по земле,  
В плаванье на большом корабле,

В тюремном мраке, где рты молчат,  
А руки кричат и глаза кричат,

В пытках — когда вспоминается ад,  
Где раны — как буквы, а буквы горят,

В радости слез и в горечи слез,  
В пламени горнов, в мельканье колес —

Во всем этом грозные силы растут:  
Встает, распрямляется скованный труд.

С каждой стрелой и с каждой петлей  
Рождается времени атом живой.

Куется секунда, горя как заря, —  
Секунда еще одного Октября.

30

День на дороге строен и наг,  
И море висит вдалеке, как гамак.

Когда начинает качаться волна,  
Танцует море до самого дна.

И волн голубые верблюды бредут,  
И всадников смелых у берега ждут.

Минуя горный заснеженный кряж,  
Спускаются толпы на солнечный пляж.

Поют и смеются, и в белый прибой  
С разбегу врываются целой гурьбой.

Двигается к Югу огромный Союз:  
— Мы сбросим в море усталости груз!

Но стражи страны на постах стоят.  
Пусть ночь не приходит семь дней подряд! . .

И горы лениво лежат на спине,  
Грудями — к солнцу, боком к волне.

И солнце пьянит, и пьянит вино.  
Сегодня дано нам, и завтра дано.

И гальку шлифуют на пляже тела,  
И воздух морской раскален добела.

И здесь, в этом крае земной красоты,  
Твой взгляд тяжелеет, хмелеешь ты,

Глядя, как горы лежат на спине,  
Грудями — к солнцу, боком к волне.

81

Прекрасны дороги в лазурной дали!  
Но к прочным причалам идут корабли.

Встречаются важно владыки морей, —  
И хлеб — за хлеб, и дым из ноздрей.

Идут дорогой своей голубой,  
Один — со свободой, со смертью — другой.

Пестр, переливчат мол-волнолюб  
От лодок и лайнеров, трапов и труб.

Уходит корабль волнистой тропой —  
С блистающим якорем, с красной трубой.

Уходит в рассвет, в неизвестность — вперед,  
И далям подмигивает, и ревет.

Пытлив пришельца богатого взор.  
Вопрос безобиден: «Это линкор?»

Какой красивый! Только один? . .»  
— Это вчерашний день, господин!

К чему нам броню на заводах ковать?  
Грядущего миру не миновать!

Наша крепость — не в толстой броне,  
А в людях рабочих в вашей стране.

Нас защищают не корабли,  
А люди простые всей земли.

Грядущего миру не миновать!  
К чему ж нам броню на заводах ковать?

82

Пришелец! Наш путь устремился живой  
Сквозь ваш закат к заре мировой.

Ни быстрый танк, ни глубокий дзот  
Не скроют выход, не скроют вход.

Наш путь широкий — асфальт и бетон.  
В тебя, пришелец, нацелился он.

Каждый закат, каждый восход —  
Гигантского колеса оборот.

Взрывает свист заводскую трубу,  
Множит угрозу, зовет на борьбу.

И пробивает, сшибаясь в упор,  
Бедра долин и ребра гор.

И не укроет от бури той  
Ни панцирь медный, ни шлем золотой...

Пришелец! Ты слышишь голос весны?  
На каждом заводе твоей страны

Толпятся в цехах у станков, у машин  
Сотни женщин, сотни мужчин,

И время замешивают они:  
Несут секунды, минуты, дни.

Смотри! Вот горы разгорелся, как даль.  
Время куют они, а не сталь!

И каждый — веря, и каждый — горя,  
Прихода ждет своего Октября.

33

Топчут тело нагое пути. . .  
Сколько еще осталось идти?

Стоят, устало роняя слова,  
Плечо к плечу, к голове голова.

Разбили лагерь, костер развели. . .  
Кто сам пришел, а кого принесли.

Карета кряхтит, зацепившись за пень, —  
Стоят и глядят на нее целый день.

Карета исправна. Скорее вперед! . .  
Но спит у костра безразличный народ.

Ввысь указывает палец огня, —  
А люди бредут, бездорожье кляня.

И вопль раздается, и голос зовет:  
— Сердцем и помыслом, люди, — вперед!

Жара и пыль, и путь впереди, —  
Но спорят, рубахи рвут на груди.

И песню гасят, и в сторону — флаг,  
И кровь проверяют и этак, и так.

У этого кровь под кожей кипит,  
А тот, как коптилка, небо коптит.

Для этого риск, для того — восторг. . .  
Ну, так расчистим дороги исток!

И снова в путь, и снова в поход.  
И солнце грохочет — в гору, вперед!

Девственен голос земли молодой:  
— Придите и клад распечатайте мой!

Блещет богатство, желанья дразня:  
— Я жду вас! Придите! Возьмите меня!

Жаждет земля, приглашает: — Я вам  
Золото, уголь, железо отдам!

Голос земли гремит, как приказ.  
Взывает к Уралу разверстый Кавказ,

Урал повернулся к Сибири лицом:  
— Придите за золотом и за свинцом!

Уголь, как хлеб, нужен стране.  
Земля приглашает: — Придите ко мне!

И шахты впиваются в губы пород,  
И дымом горло полощет завод.

И вот соревнуются, ширя простор,  
Большие долины с вершинами гор.

Вдоволь руды доменным ртам.  
Деревни мычат большим городам:

— Кто лучше накормит? Кто больше даст?  
Край ожил, как перевернутый пласт.

А голос земли продолжает греметь:  
— Придите! Вот нефть, вот уголь, вот медь!

И эхо звенит, зазывая, маня:  
— Я жду вас! Придите! Возьмите меня!

Чиста нагота моря и гор!  
Шеренги разлиновали простор.

Руки поют, и груди, и рты.  
Вздываются мышц голубые хребты.



Прыгают мышцы, как рыбы в ручье,  
И солнце у каждого на плече.

Каждый любому товарищ и друг.  
Синь они рубят кирками рук.

Понятное всем их шаги говорят,  
Сверкают их зубы, глаза горят.

Они проходят сквозь красные дни,  
И ветром и бурей пахнут они.

Солнцу они отдают приказ:  
— Сегодня останься на месте для нас!

Проходят, молоды и легки,  
И вслух считает земля их шаги.

В светлом стремленьи раздвинув даль,  
Ломают, звеня, горизонта хрусталь.

И слушают люди, собравшись в круг,  
Их крови круженье, их сердца стук...

И руки их чертят небесную гладь.  
И кажется, кто-то идет их встречать.

Кто-то идет! В прозрачной дали  
Встречают их радостно люди земли.

86

Колонна навстречу шеренге идет,  
И солнце течет по земле, словно мед.

Проходят колонны, и нет им конца,  
И солнце уже заливаает сердца.

Сливаются руки шеренг и колонн.  
Не надо плакатов, не надо знамен!

Над толпами — солнца блистающий флаг.  
Всё видно, всё слышно, всё ясно и так!

И не до размолвок, и не до обид:  
Никто не обижен, никто не забыт.

И день, как арбуз, пополам рассечен,  
И соком исходит оранжевым он.

И сок — как вино, а день — словно пир...  
И хочется людям взять на руки мир.

Взять бережно и рассмотреть без прикрас:  
Здесь рана зияет, там кровь запеклась,

Там ссадина рдеет, вот язва, вот шрам,  
Здесь вывих, а мясо гниющее — там...

Он грязен и бос. Кровь сочится из ног,  
И лоб его жалит терновый венок.

И рот обожжен, и в глазах его — страх...  
Так хочется мир подержать на руках!

Взять бережно и рассмотреть без прикрас:  
Здесь рана зияет, там кровь запеклась.

87

Он бос еще, мир наш, голоден, гол —  
И всё ж поднялся, распрямился, пошел!

Деревня и город в сверканье зари  
Сердце ему выносят: — Бери!

Бери нашу силу и кровь сердец.  
Колеса завязнут — найдется кузнец!..

Торопится день, торопится ночь:  
— Что можем мы сделать? Чем можем помочь?

Открылись горы, зовут: — Сюда!  
Прекрасна, как хлеб, наша руда!

От края до края — щедры, сильны —  
Лежат долины хлебной страны.

Горы к долинам сползают с высот —  
И сталь выплавляет большой завод.

Растут отряды мастеровых  
На шахтах, на фабриках, на буровых.

День вдвое длинней, чем неделю назад.  
Каждый приносит то, чем богат.

Сердце куют на тысячу лет!  
Море — у ног, в изголовье — рассвет.

Мир обновленный свободно вздохнет,  
И — с сердцем стальным — рванется вперед.

Пойдет он, стройный, солнцем согрет...  
Пока еще болен, изранен, раздет.

38

День наступает на мир, как прилив.  
Вдох его — ветер, а ветер — призыв:

— Стройному телу юной страны  
Ноги из стали булатной нужны!

Там, где вол плуг свой волок,  
Пусть бегают трактор, гремящ и высок.

И где пробежит он — пусть сутки подряд  
Крестьянина радуют копоть и чад...

И трубы басисто поют в вышине:  
— Пусть трудятся руки в рабочей стране!

Пусть соревнуются из года в год  
Колхоз — с колхозом, с заводом — завод.

Пусть поросль труб достигнет небес...  
Рабочие руки — как мачтовый лес.

От южных гор до северных льдин  
Готовы платформы вагонов и спин.

Трудятся споро — к руке рука...  
Вот только сырьё не хватает пока.

Солнце щекочет бока облакам...  
Заводов пока не хватает рукам.

Но тянутся руки, как мачтовый лес, —  
Поднять молодую страну до небес.

Так пусть соревнуются из года в год  
Колхоз с колхозом, с заводом — завод!

*1920—1930*

## 219. СПЕЛЫЕ НОЧИ

### 1

Кости звенят, пересохло во рту,  
И сердце колотится о пустоту.

— Дай крылья мне, ветер, в полет запусти!  
Поют в вышине голубые пути.

Поет голубая дорога, поет. . .  
— О, запусти меня, ветер, в полет!

А вечер так пахнет дождем и росой,  
Росой и землей, и смертью босой.

Смертью и жалобой полнится ночь.  
— Пусти меня, ветер, пусти меня прочь! . .

Жара расцветает. Одна за другой  
Молнии блещут над головой.

Свет ли? Иль темень? Тишь ли, иль гром?  
Бусинка крови на теле моем. . .

Секунды в минуты сплетаются, в дни,  
И каждый мой шаг отмеряют они.

Во всем моем теле костей перезвон.  
«Дин-дон!» Вот опять. Ты слышал: «Дин-дон!»

И звон, и плач улетают вдаль. . .  
— Так что же за боль? Так что ж за печаль?

Когда пахнут дали дождем и росой,  
Росой и землей, и смертью босой,

И смерть наполняет шуршанием ночь,  
Пусти меня, ветер! Пусти меня прочь!

2

Есть время такое, есть час такой —  
Я шорох могу уловить любой.

Пришел ли кто иль крадется вдали,  
Но к каждому руки простерты мои.

Пускаюсь, как зверь, напрягая слух:  
Откуда здесь овцы, откуда пастух?

— Кто здесь, пастух, нарушил покой? ..  
Есть время такое, есть час такой.

Всё вижу я, вижу издалека:  
Откуда ручей здесь, откуда река?

Зверя сюда привела вода:  
Ну что ему делать? Пойти куда?

Перед питьем, в прибрежных кустах  
Зверя сковал, исковеркал страх.

— Не хочешь ты, зверь, от реки уйти:  
Яма есть на твоём пути. . .

Солнечный путь золотой на реке! ..  
Я восхожу, я ищу вдалеке.

Я не покоя ищу, не питья.  
Ласкаю капкан, глажу сети я. . .

Птицы летят в свои гнезда, в лес,  
И на реке — серебристый плеск.

Солнечный диск рекою одет —  
Золото с оловом на воде.

За мною идет ветерок по пятам,  
Одежд твоих плеск никому не отдам!

Тело взывает к земле и к воде:  
Кто плеск этот смел не услышать и где?

Как влажен сегодня степной ковыль...  
Земля дорогая, любимая пыль!

Скажи мне, ответь, горизонта нить:  
Как долго нам радость с тобою делить?

В сумерках ветер сладок, как мед.  
Кому же сегодня до дум, до забот?

Навстречу мне — синий закатный дым...  
Как долго я буду таким молодым?

Крылья ветрянок поют в вышине —  
Как ветер сегодня ласков ко мне...

Жадные руки мои протяну.  
Закат опоясал, зажег вышину.

Шелестом, плеском, дыханьем огня  
Пышет одежда простая твоя.

Руки с моими руками сплети,  
Чтоб телу из тонких одежд не уйти!

Иду я с охапкой ветров тугих.  
Судьбу свою вижу на чреслах твоих...

Соки мои и крепость костей,  
Где же скрещенье моих путей?..

Две мертвые птицы на землю легли.  
Удар был удачен... Что лучше земли?

Здесь, в солнечной этой блаженной стране,  
Упасть так упасть! Так мерещится мне.

Две вольные птицы пустились в полет,  
Куда же им падать, куда их влечет?

Лететь так лететь! Как слепителен свет!  
Ширóки просторы, и края им нет.

Довольство и мир, довольство и мир,  
Земля зазывает нас будто на пир.

Но воля и солнце безмерно влекут,  
Ведь там одиночества верный приют. . .

Птиц этих на свете не жаль никому;  
Лишь мне захотелось уйти одному,

Но я позабыл и зачем, и куда.  
Иду, предо мною заката гряда.

Лететь так лететь, а упасть так упасть.  
Я землю забыл и небесную власть.

Вот солнце заходит, как пышный павлин.  
Где путь мой, где путь мой? Я в мире один.

Шагнул я, пойдем же, ты слышал, пойдем!  
Упал так упал. Не жалея ни о чем.

Лететь так лететь. Как слепителен свет!  
Ширóки просторы, и края им нет.

Б

В сиянии ночи бурлит моя кровь.  
Земля, обогрей меня! Высь, укрой!

В сиянии ночи всхожу в тишине. . .  
Но кровь моей родины дышит во мне.

В сиянии ночи, над шелестом трав,  
Лечу я, всю землю руками обняв.



— Дорога! Ты — песнь... Не расстаться  
с тобой...  
Где здесь земля, где простор голубой?

Вспыхнула ночь в оперенье златом...  
— Прильну к тебе грудью и жаждущим ртом!

Тобой я зажжен на середине пути,  
Роди меня! Снова потом поглоти!

Горит моя плоть, и летуч я, как дым.  
Один я в дороге, совсем один...

Светло от жары, брызжет светом она...  
— Где же ты? Где твоих рук белизна?

Тропа ли ночная, дневной ли путь...  
— Ты ли здесь? Может, другой кто-нибудь?

Ты — тайна жизни, само бытие,  
Весь хочу влиться я в тело твое...

o

И скалится вечером темень сама:  
— Сума с требухой! С мясом сума!

И вечер на улицу гонит меня:  
— Эй, люди! Вставайте, пленники дня!

Туда, где скрещенье концов и начал,  
Безмолвие гонит меня по ночам.

В ручьи переулков, в моря площадей  
Ночь гонит меня от уснувших людей.

Гонит, как нищего гонит всегда  
С рыжей сумою за хлебом нужда.

И скалится вечером темень сама:  
— С руками сума! С глазами сума!

Я весь переполнен печалью дорог,  
Как древний, вином переполненный рог.

На улицах пусто, и гомон утих...  
Лишь свет голубой на ресницах моих.

И скалится вечером темень сама:  
— Сума с требухой! С глазами сума!

7

— Возлюбленный! — тихо сказала она. —  
Прислушайся — темень тревогой полна.

Сегодня никак не могла — отчего? —  
Я запаха тела узнать твоего.

Мне чужды стоны, мне чудится вой!  
Мне душно, темно мне, как перед грозой.

Ты слышишь — вдали, ты слышишь — в ночи...  
Я долго ждала... Почему? Не молчи!

И ночь тишину за собою влечет.  
И боль изо рта ее тихо течет.

— Опять этот вой... Расслышал ли ты?  
Как будто зверь воет: «Мяса! Еды!»

Когда тигру мясо дадут — почему  
Он мясо целует, никнет к нему?

В глазах его — радость, в глазах его — боль,  
Он тянется вширь, он тянется вдоль.

И мяса не рвет сверкающий рот:  
Тигр слушает, смотрит, чего-то он ждет.

Но темная тяжесть придавит потом  
Тяжелую голову с жаждущим ртом.

И голод горяч, и глаза горячи...  
От воя вдали... От плача в ночи...

Спросила она: — Не могу — отчего —  
Я запаха тела узнать твоего?..

Печально бело нынче ложе мое,  
Тоскующе-холодно стен забытьё.

Кто нынче спокойным остаться бы смог?  
Проснувшись, дрожит в эту ночь потолок.

Всё ли я сделал? Да или нет?  
Считаю я строй холостых моих лет.

Я их, как рубашки, считаю опять,  
Которые надо в починку отдать.

Вот уже скоро... сейчас... — Обожди!  
Есть еще день, еще ночь впереди!

Очаг не сужден мне ни мой и ничей.  
О, спелость моих холостяцких ночей!

Созревшие ночи и сочные дни...  
Как груши с деревьев свисают они.

Кто радостно рвать их сегодня придет,  
Их соком, как хлебом, насытится тот.

Ну, так придет? Сок бродит в ночах...  
Когда бы имел я дом и очаг!

Не пять прошло и не десять лет, —  
А всё очага у бездомного нет!

Печально бело нынче ложе мое,  
Тоскующе-холодно стен забытьё.

Шагов твоих стежка ложится на снег.  
Бегу за тобой я — и легок мой бег.

Просыпала вьюга миллион лепестков...  
Я слышу напев торопливых шагов.

На стрелки ресниц снежинка легла...  
— Как этот напев создать ты смогла?

Долго не тает снежинка... И пусть!..  
В напрасный я, верно, отправился путь.

Шагов твоих стежка ложится на снег.  
Настигну тебя? Догоню или нет?

Тебя догоню я. Настигну... Скажи,  
Зачем поколение мое так спешит?

Торопится век мой в боях и в пути,  
Не смеет дыханья он перевести.

С рождения взяв небывалый разбег,  
Не знает покоя стремительный век... .

Не тают снежинки, белей лепестков...  
Влечет меня песнь торопливых шагов.

В бою никак, ни в какой из стран,  
Ты не касалась бинтом моих ран.

Ушли, отгремели эти бои...  
Но так же певучи колени твои... .

Шагов твоих стежка ложится на снег.  
Бегу за тобой я — и легок мой бег.

10

Я сердце свое наколол на крючок.  
О, спелых ночей моих приторный сок!

Чтоб птицы смелей прилетали в наш сад,  
Я зерен тугих им насыпать был рад.

— Клюйте же, птицы, из чашки простой!  
На пользу послужит вам хлеб золотой.

Чтоб птички птенцы, набирались сил,  
Я в блюдце росы серебристой налил.

Чтоб ты не исчезла в пучине дорог,  
Я сердце тебе выношу на порог.

К порогу приблизишься ты моему.  
Молча... Но я ведь и так всё пойму!

Неси свое сердце за мной по пятам!  
И я понесу... Никому не отдам...

Пойду за тобой и найду твой дом:  
— Вот оно, сердце! Что делать потом?

Олень где-то чашу во мгле пересек,  
Радость дорог на рогах он несет,

Радость дорог на ветвистых рогах,  
И вечера привкус на мягких губах.

Деревья, земля... Милый мир голубой!..  
Вечер... И я возвращаюсь домой.

11

Будит она меня, вдруг: — Оглянись!  
Путь твой так долоб был. Слышишь?  
Проснись!

Руками угасшими я отвечал.  
Я видел: и счастье, и гнев, и печаль...

— Ну, оглянись же! — велит мне она. —  
Что значат на лбу у тебя письмена?

Я отвечаю ей из пустоты:  
— Тебе показалось. Ошиблась ты.

Тихо и душно. И на весы  
Ночи прошедшей ложатся часы.

Снова будит: — Проснись, живей!  
Иней лежит на твоей голове.

Сонно я ей бормочу в ответ:  
— Это не иней, а жизни след.

— Дай твою руку, — шепчет, — ну, дай!  
Чего-то боишься ты... Смерти, да?

Я говорю, покачав головой:  
— Не знаю чего, сам не знаю чего.

Свалены годы и ночи в углу,  
Как рваное, в дырах белье на полу...

День на дворе. И солнце, и свет.  
А мой день ушел. Моего дня нет!

Нет моего дня. Нет! Не найти!  
Но мне всё равно по другому пути...

12

Вишни она принесла на заре.  
Молча. Без слов... Пустота на дворе.

Вишни. К постели. — Не раздави!  
Кровавое ложе, ложе в крови!

Где эта ветвь родилась, где росла?  
Босая и тихая их принесла.

По две и по три. И рядом листки.  
Вишни — как розовые соски.

Провод и крыша в открытом окне.  
Песня грачей прилетает ко мне.

— Вишен горящих не раздави!  
Кровавое ложе, ложе в крови!

Грачи улетают в зеленый рассвет.  
— Где мы теперь? — Но ответа нет.

День начинается. Птицы, в полет!  
Песня вернется, песня придет!

Синий свет ночи зачах, зачах!  
Горят, расцветают вишни в лучах.

По две и по три. И рядом — листок.  
День у твоих опускается ног!

Где же ты? Где? Отвечай, не таи!  
Еще мне любимей руки твои!..

Вишни она принесла на заре.  
Молча. Без слов. Пустота на дворе... .

*1929—1930*

## 220. ТАНЦОВЩИЦА ИЗ ГЕТТО

*Стансы*

1

Стремительно блистанье легких ног —  
Моя любовь танцует перед вами:  
Встречается с клинком стальной клинок  
И объясняются, сверкая лезвиями.

Бушуют складки платья и фаты,  
Подобно говорливому прибою.  
И буйный ветер, разбросав цветы,  
Зовет тебя и тянет за собою.

И вот — гора и бездна... Снег какой!  
И на скале отвесной — поединок...  
Не упади! — Молю тебя тоской  
Изгнанья, слез, скитальческих тропинок...

От плеч струится серебристый ток,  
Но что-то недосказано ногами...  
Встречается с клинком стальной клинок  
И объясняются, сверкая лезвиями.



Куда тебя зовет, куда ведет  
Холодный ветер и ночное горе?  
Метель метет, в полях метель метет.  
Калитки и ворота на запоре.

Ненастной ночью, дымной и седой,  
Слепому року ты себя вручила,  
И он не разлучается с тобой,  
И требует, чтоб ты его любила,

Чтоб ты ему плясала на заре  
И забывала нищету и голод. . .  
Кому не сводит ноги на костре?  
Кому не сводит ноги зимний холод?

Сама земля пылает, как костер,  
А небо дышит стужей ледяною. . .  
И ты танцуешь. . . И висит топор  
Над запрокинутою головою.

Твой грозный рок отныне всем родня  
И всем чужой. . . Не жалуйся. Ни слова!  
Танцуй ему, запястьями звеня;  
Веди его, как поводырь слепого.

Он вездесущий — он на всей земле;  
Не отставай — ему дала ты клятву.  
Он меч волочит в непроглядной мгле  
И отовсюду собирает жатву.

В любой стране его узнает ночь:  
Оброк с живых и мертвых собирая,  
Он всех готов принять и всем помочь:  
— Покойтесь в бозе — вот земля сырая!

Испей свою беду, как пьют вино;  
Танцуй ему в харчевнях и в острогах.  
И не стыдись — веди его. . . Темно  
И пусто на заплеванных дорогах.

Сравню я разве океан с рекой?  
И разве буре гавани по нраву?  
Из сердца шумно вырвался покой  
И улетел, как золотая пава.

Мне следовало паву привязать,  
Как старую козу, к ветле веревкой...  
Коза ушла... И горевала мать...  
И дом ушел, с чуланом и с кладовкой...

Была коза... Безрогая коза...  
Ей миндаля хотелось и изюма...  
Ушла коза за доли, за леса,  
Подальше от хлопот людских и шума...

Осталась сказка — больше ничего!  
А детства нет... В моих скитаньях долгих  
Ищу его и нахожу его,  
И вновь теряю на ночных проселках.

Сказанье о козе, что вдруг ушла,  
И о ветле, из коей вяжут метлы...  
А впрочем, где коза и где ветла?  
На пустырях не зеленеют ветлы.

Сказанье о несаженной ветле,  
Но выметнувшей вверх в цвету и в силе:  
Ее всегда срубали на земле,  
Срубали много раз, и не срубили.

Сказанье о железном топоре,  
Что занесен над гордой головою...  
Вот — хлеб и кров! Не стой же во дворе,  
Войди, моя любовь, в мой дом со мною.

Сказание о четырех углах,  
Которые под палкой не покину:  
Я сам стоял с отвесом на лесах  
И светом звезд поил сырую глину!

Был свет уже погашен. В темноте  
Светились только белые колени.  
Ты появилась в призрачной фате,  
И боль твоя рванулась на ступени.

И я подумал: «Так в ночных горах  
Кочует неприкаянная птица...»  
Тебя шаги пугают?.. Это — страх.  
Он заставляет сердце громче биться...

В начале ночи отворилась дверь,  
Гляжу — покой с котомкой у порога.  
«Прощай! — сказал. — Один живи теперь.  
Я уйду. Меня зовет дорога».

И я спросил, как будто сам не знал:  
«Что у тебя в котомке, за спиною?»  
Не глядя на меня, покой сказал:  
«Я сердце уношу твое с собою...»

Червонный жар волос, как суховея,  
Сжигает обнаженные колени,  
И ты еще нежней, еще стройней,  
На наготе ни облачка, ни тени.

Заткать себя в лучистый твой клубок?  
Но где потом найду его начало...  
Твой рот открытый сладок, но далек,  
Ищу его, ловлю, и — всё мне мало!

Я слышу грохот валунов и скал.  
В горах разбушевались камнепады.  
Поток сегодня до утра искал  
Дорогу к морю и крушил преграды.

Поток устал, но отдохнет потом.  
Его так долго море ожидало...  
Беда — никак с твоим не слажу ртом!  
Ищу его, ловлю, и — всё мне мало!

День наступил. Сиянье пролилось.  
 А месяц светит, тонкий, но заметный.  
 Наверно, это жар твоих волос  
 Мне лег на губы золотом рассветным.

День будет славный, но зачем он мне?  
 Мне разве без него не хватит света?  
 Блуждающие руки, как в огне,  
 Идут к тебе, не ведая запрета.

Доверчивость вокруг летящих птиц!  
 Они меня приветствуют, как сестры.  
 Зачем же в чистом небе без границ,  
 Как гнутый нож, сверкает месяц острый?

Он ждет. Он недалёко. У земли.  
 Кто у него сегодня на примете?  
 Ну что же, если хочешь — заколи!  
 Я всё равно счастливей всех на свете!

»

Кто вспомнит — сеял ли в такую рань,  
 Косил ли я? — Не вспомню, как нарочно.  
 А тени требуют: «Плати нам дань!  
 Мы будем появляться еженощно!»

Они, как дыма серые столбы,  
 Бредут и шарят жадными руками.  
 Они встают, как кони, на дыбы  
 И мнут меня тяжелыми боками.

Стяжатели — канючат над душой;  
 Ростовщики — берут с меня расписку.  
 За радость жить, за этот день большой  
 Я семикратно заплачу по иску.

Я заплачу, а ты, мой друг, не плачь!  
 Я не торгуюсь. Я на всё согласен.  
 Пусть — семикратно! Получай, палач!  
 Лишь был бы миг один высок и ясен.

Они и на тебя кладут оброк.  
 Расчет один — мы платим семикратно.  
 Утверждено! Я рассчитаюсь в срок.  
 Готов на всё и не пойду обратно.

Где в сердце грань меж смехом и слезой?  
 Мы выплатим! Была бы ты со мною!  
 Пойду босой с лопатой и косой,  
 Подставлю спину холоду и зною.

Не солонее черный хлеб от слез,  
 И молния не меркнет от зигзагов...  
 У ног твоих провалы и хаос,  
 Над головою — кипень черных флагов...

А вот — родник, дитя крутых вершин.  
 Он настоялся на росе и ветрах,  
 Но, вытекая из земных глубин,  
 Напоминает об опасных недрах...

## 11

Я с ветром говорю, взойдя на мол:  
 — Я ждал тебя, ты не напрасно прибыл.  
 Благодарю, куда бы ты ни шел!  
 Благодарю, откуда бы ты ни был!

Простерло солнце два своих крыла,  
 И молодость явилась на подмогу.  
 — Спасибо, ветер! Бросим все дела  
 И налегке отправимся в дорогу.

Надуй мой парус и лети, лети.  
 Я нынче миру сердце поверяю.  
 Пространства измеряются в пути,  
 А новым далям ни конца, ни краю.

Но не вели слезам катиться с гор!  
 Глаза утрите, клены и березы!  
 Моя любовь восходит на костер —  
 Она сама за всех роняет слезы.

Не пей, мой друг, до дна, не пей до дна:  
Вино темнит и будоражит чувства.  
Вот гроздь звезд в лиловой мгле окна  
Созрели и висят светло и густо.

Мы их сорвем и, перейдя черту,  
Услышим, как за нею, запрещенной,  
Твою божественную наготу  
Поет в стихах мой голос обнаженный.

Здесь всех миров начало и конец.  
Здесь меры нет — горим и не сгораем.  
Пусть льют в постель расплавленный свинец, —  
Мы ни на что ее не променяем!

Твои колени светятся. Твой рот —  
Порог открытый в беспредельность чуда!  
Нас снова юность за руки ведет.  
Куда же? — Никуда и ниоткуда.

Искать друг друга и встречать весну!  
Земля мала для нашего кочевья.  
Нас занесло в такую сторону,  
Где плачут птицы и поют деревья.

Искать друг друга в поле и в лесах.  
И быть вдвоем. И не терять друг друга.  
Так звездам суждено на небесах.  
И что с того, что разгулялась вьюга?

Снег почернеет. Прилетят грачи.  
Листва в нагие рощи возвратится.  
Находят море реки и ручьи.  
Далеких гнезд не забывают птицы.

Подстегивают память соловьи.  
Я помню, помню всё, что есть и было.  
На струны арфы — волосы твои —  
Душа не все слова переложила!

Волна, переливая серебро,  
 Нам тихо стелет ложе голубое.  
 Она упруга, как твое бедро,  
 Но разве я сравню ее с тобою?

Крутые горы на исходе дня  
 Зовут меня к заоблачному краю.  
 Они твое подобье и родня,  
 Но я тебя на них не променяю!

А ветер, навевая забытье,  
 Зовет меня и тянет за собою.  
 Он сладок, как дыхание твое,  
 Но разве я сравню его с тобою?

Я клинописи древней не читал  
 И не срывал запретный плод познания,  
 Но глаз твоих магический кристалл  
 Мне раскрывает тайны мироздания.

С самим собой в разладе и в борьбе,  
 Не сплю, томлюсь бессонницей постылой.  
 Я боль невольно причинил тебе, —  
 Наказан я, и ты меня не милуй!

Но я опять ищу тебя, ловлю.  
 На горных тропах шуму сосен внемлю.  
 Я всеми песнями не искуплю  
 Твоей слезы, уроненной на землю.

Светает. Стало холодом тянуть.  
 И ветерки натянуты, как струны.  
 Не знаю, как мне руки протянуть  
 К твоим рукам и взять их отсвет лунный.

Встречаюсь с ветерками на тропе,  
 Слежу за их игрой простой и милой.  
 Невольно горе причинив тебе,  
 Наказан я, и ты меня не милуй!

Стада с лугов спускаются домой.  
 День потускнел, и засыпают горы.  
 В пастушьей дудке слышу голос твой  
 И в рокоте волны — твои укоры.

Твой голос может жажду утолить,  
 Он как ручей, бегущий с гор в долины. . .  
 Я снова буду с ветром говорить,  
 Есть у меня для этого причины.

— Пожалуйста, — так просят только мать, —  
 Я утружу тебя тоской моею:  
 Хочу письмо с тобою отослать,  
 Оказии другой я не имею.

В нем, как в душе, о прожитом рассказ, —  
 Ей до утра, наверно, хватит чтенья.  
 Но есть пробелы и на этот раз.  
 Что делать, письма для меня — мученье.

Тяжелый колос выгнулся, устал  
 И острому серпу подставил шею. . .  
 Я сам не знаю, что я написал, —  
 Писать, как пишут все, я не умею.

Я так спешил — за скоропись прости,  
 Хотелось всё сказать без промедленья.  
 Читай сама — к соседям не ходи. . .  
 Что делать, письма для меня — мученье!

Но не спеши сложить листки — постой!  
 Перечитай — важна любая малость:  
 От черточки до точки с запятой —  
 Всё, как ножом, на сердце начерталось.

Прости меня, я, кажется, устал:  
 Как под ножом, строка склоняет шею. . .  
 Я сам не знаю, что я написал, —  
 Писать, как пишут все, я не умею. . .



Шум свадеб во дворах. Вино. Цветы.  
И плач торжеств. И кружева. И банты...  
Разбиты, правда, скрипки и альты,  
Зарезаны певцы и музыканты.

Но ты танцуй — пять, десять дней подряд!  
И муку спрячь! И боль впитай, как губка!  
И, совершая свадебный обряд,  
По горлу полосни себя, голубка!

Откинута печально голова,  
В глазах раскрытых — звезды и смятенье.  
Так, увязав смолистые дрова,  
Шли матери на жертвоприношенья.

Но ты танцуй и жги слезой зрачки,  
Пляши и мни трепещущие банты...  
Разбиты, правда, скрипки и смычки,  
Зарезаны певцы и музыканты!

Орлиный клекот слышался вдали.  
Громада громоздилась на громаду.  
Меня тропинки за руку вели  
К могучему Агуру-водопаду.

С вершины низвергается вода,  
Над пропастью вздымаются чертоги.  
Приди, моя бездомная, сюда,  
Седой Агур тебе омоет ноги.

Чья скрыта гибель здесь, чье торжество?  
Какие бури здесь служили требу?  
Вода и камень — больше ничего,  
И лестница из черной бездны к небу.

На языке усталых ног своих  
Поведай водопаду на рассвете,  
Как ты в оковах из низин сырых  
К вершинам рвешься два тысячелетья.

Рассказывай, любовь моя, пляши!  
 Перед тобою сонные громады.  
 Трава и камни — больше ни души;  
 Ни братьев, ни сестер — совсем одна ты.

Скитаются — ни кликнуть, ни позвать!  
 Кочует в море утлая лодчонка.  
 Ребенок потерял отца и мать,  
 Мать не найдет убитого ребенка.

За солнечные гимны — жгли уста;  
 За гимны небу — очи выжигали.  
 Мерцающая синяя звезда  
 Не слышит нашей боли и печали.

И горы спят, но ты их сна лиши,  
 Пускай их потрясут твои утраты!  
 Рассказывай, любовь моя, пляши.  
 Ни братьев, ни сестер — совсем одна ты.

Отдай им всё — нам незачем копить.  
 Исхода нет — отдайся им на милость.  
 За то, что ты осмелилась любить,  
 Ты до конца еще не расплатилась.

Привыкла с малых лет недоедать.  
 Долги росли, и множились заботы.  
 А ты хотела мыслить и мечтать,  
 И быть свободной, — так плати по счету!

Разграблено и золото, и медь;  
 За колыбелью — братская могила.  
 И ты должна сгореть, должна истлеть  
 За то, что ты людей и мир любила.

Сумей же стыд от тела отделить  
 И тело от костей — судьба свершилась!  
 За то, что ты осмелилась любить,  
 Ты до конца еще не расплатилась!

Когда-то здесь под грозный гул стихий  
 Над замершей толпой пророкотало  
 Торжественное слово — «Не убий!».  
 Теперь убийство заповедью стало.

Но не смолкает правды гневный гром,  
 И мысль не уступает тьме и страху.  
 Погиб не тот, кто пал под топором,  
 А тот, кто опустил топор на плаху!

Да будет всем известно наперед,  
 Что тьме и страху мысль не уступает.  
 Герой не тот, кто кандалы кует,  
 А тот, кто кандалы свои ломает!

Танцуй же у подножья грозных гор, —  
 Еще заря от дыма не ослепла.  
 Сгорит не тот, кто всходит на костер,  
 А тот, кто умножает груды пепла!

Идет, идет с секирой истукан.  
 Он свастику и ночь несет народам.  
 Он тащит мертвеца. Он смел и пьян.  
 Он штурмовик. Он из-за Рейна родом.

Он миллионам, множа плач и стон,  
 На спинах выжег желтые заплаты.  
 Он растоптал и право, и закон.  
 Он сеет смерть бесплатно и за плату.

Лоснятся губы. Пахнет кровью рот.  
 Но людоед взывает нагло к богу.  
 Еда ему, видать, невпроворот.  
 Он в страхе. Он почувствовал тревогу.

Заплата стала горла поперек.  
 Мычит. Хрипит. Промыть бы горло водкой.  
 Пожалуй, стоит дать ему глоток,  
 Чтоб вырвало заплату вместе с глоткой!

Станцуй ему, бездомная, в горах, —  
 Он проклят до десятого колена.  
 Нет больше толку в буквах и в словах, —  
 Их смоеет крови розовая пена.

Заря проснулась в гневе и в огне,  
 Вершины расстаются с облаками. . .  
 Мы благодарность на его спине  
 Напишем беспощадными штыками.

Гора камнями вызвалась помочь.  
 Разверзлось море. Поднялись дубравы.  
 Могилы, будоража злую ночь,  
 Встают от Роттердама до Варшавы.

Ни летопись и ни рассказ живой  
 Не воссоздаст их муки и тревоги.  
 Об этом в вихре пляски огневой  
 Кричат твои скитальческие ноги!

Выстукивай свой звонкий мадригал,  
 Греми, моя подруга, каблуками.  
 Палач твой пол-Европы заплевал  
 Отравленными желтыми плевками.

Танцуй — благодари его — не стой!  
 Он беден — ты всегда слыла богатой  
 И заплатила ранней сединой  
 За то, что ты отмечена заплатой.

Но что еще он требует с тебя?  
 Хлеб из котомки? Ладно, кинь котомку!  
 Сожрал и лег, зевая и сопя,  
 И пояс распускает, как постромку.

В расчете мы. Auf wiedersehen! Пока!  
 Заткнули глотку, словно горло жбану.  
 Но шарит, шарит жадная рука. . .  
 Так что же снова нужно истукану?

Он сердце просит? Мозг... Ну что ж, как гад,  
 Он высосет их и забьется в страхе...  
 Змея на свет выносит только яд,  
 Всё остальное пребывает в прахе.

Могильная трава — ее предел,  
 Ее удел — царить в могильной яме.  
 Она там отдыхает между дел  
 И кормится с могильными червями,

И меряется с ними в толщине  
 И в жадности, тупой и бесноватой...  
 Змея свернулась на трухлявом пне,  
 Она твоей любитесь заплатой.

Носи ее и не сойди с ума!  
 Заплата нам, быть может, пригодится,  
 Когда, к змее ворвавшись в закрома,  
 Ты с ней, как на корриде, будешь биться!

Мужайся! Да не будет тяжела  
 Тебе твоя постылая заплата.  
 Иди спокойно, как прама́терь шла  
 Оттуда, где любовь была распята.

Тебя узнают, ветлы у дорог,  
 Тебе напомнит каждая дорога  
 Борцов, что шли на запад и восток,  
 Не ожидая милости от бога.

Безжалостен палач — на старый счет  
 Ссылается с ужимкой обезьяньей.  
 Он требует расплаты за почет,  
 За желтую заплату, за вниманье.

Он никогда не сеял и не жал,  
 Он только брал чужое без возврата...  
 Шагай же, как прапрадед твой шагал  
 Оттуда, где любовь была распята.

Вспорхнет ли, затрепещет ли твой бант?  
 Так много горя, что куда уж больше!  
 Вот Брест-Литовск, как древний фолиант,  
 Раскрылся перед беженцами Польши.

Идут пешком. Детишки — на руках.  
 Бородки — кверху. И маршрут — по звездам.  
 Изгнание — узлом на поясах.  
 Пергаментные лбы — в крутых бороздах.

У гаснувших огарков — рты согреть.  
 Уселюсь, словно в трауре, на камень.  
 И некому бездомных пожалеть.  
 И звезды как мечи за облаками.

Над старым Бугом вьюга дует в рог,  
 И снег слепит глаза, сырой и липкий...  
 На семисвечники разбитых синагог  
 Они тоску развесили, как скрипки.

В который раз ведет тебя нужда  
 К чужим домам?.. Чужие крохи черствы...  
 Я не спрошу, откуда и куда.  
 Вот — хлеб и кров. Забудь нужду и версты.

С тобой танцует вековая жуть,  
 Боль вековая над тобой нависла...  
 Вперед, вперед! Еще не кончен путь.  
 Струись, исполосованная Висла!

Ступни босые резал Иордан,  
 На Рейне измывались над тобою,  
 И все-таки светили сквозь туман  
 Рубины звезд над русскою рекою.

Пусть дом мой будет для тебя гнездом  
 На дереве зеленом, — это древо  
 Еще не подрубили топором...  
 Пляши, моя любовь и королева!

Я соберу посев твоих шагов  
 На всех дорогах долгого изгнания:  
 За двадцать пять скитальческих веков  
 Мой тайный клад, мой дар и достоянье.

Я на спину взвалил снопы. Я — рад  
 И весело иду на голос трубный  
 Туда, где бубны жалобно бубнят,  
 Где бьют в набат загубленные бубны!

Залягу под ракиновым кустом,  
 Упыюсь твоей любовью и слезами.  
 Я птичьим песням научусь потом,  
 Я убаюкаю тебя стихами.

Они да ты — мой трудный дар, мой клад!  
 Они да ты, да голос ветра зыбкий  
 В краю, где дроги жалобно скрипят,  
 Где зыбки тихо плачут, словно скрипки.

Без крова, без дороги, без жилья,  
 Без языка, опоры, утешенья  
 Идешь, тоску свою не утоля,  
 И под ноги кидаются каменя.

Пожар твоих волос — горят леса! —  
 Ложится красным пламенем на плечи.  
 Бывало, мать, прикрыв рукой глаза,  
 Таким огнем благословляла свечи.

Оплачь, сестра, свой пламенный костер,  
 Оплачь свою последнюю разлуку.  
 Станцуй вершинам вековой позор,  
 Станцуй долинам вековую муку!

Над головой твоей — топор и крест.  
 Леса молчат. И замер птичий гомон.  
 Меч занесен — враги стоят окрест.  
 Меч занесен — но скоро будет сломан!

Не хватит сердца одного, мой друг,  
 Чтоб выплакать в стихах твои печали.  
 Я слышал, как стонал и плакал Буг,  
 Когда тебя насильники пытали.

«Веселую!» — приказывал палач  
 Ночному ветру. . . И терзались ноги,  
 И под бичами вьюги мчалось вскачь  
 Безумье белых хлопьев и тревоги. . .

Усталый поезд покидал перрон  
 С заплаканными мертвыми глазами.  
 А злая ночь за ним неслась вдогон,  
 Пугая волчьим воем и лесами.

Как возместить тебе, моя краса,  
 Любовью и стихами муки жажды?  
 Врагов накроют пеплом небеса,  
 Запляшет танец смерти дом их каждый!

Пора! Свои скитанья усыпи,  
 Пусть спят спокойно возле ветел голых.  
 Ты всё раздавала в поле и в степи,  
 Всё раздарила в городах и в селах.

Простись с бедой и не печалься впредь!  
 И не стыдись босых ступней, подруга!  
 Теперь и листьям стыдно зеленеть,  
 И белизны своей стыдится вьюга.

Я слышу легкий шаг твой — ты идешь,  
 Моя любовь, мой друг, моя невеста.  
 Ты хочешь ветер взять ко мне? Ну что ж,  
 Просторно в сердце — в сердце хватит места.

Но будь тверда к скитаниям своим, —  
 Они кричат, как брошенные дети. . .  
 Не слушай их. . . Ты не вернешься к ним!  
 Рассвет. . . Прощаться легче на рассвете.



Кого еще ты хочешь взять с собой?  
 Еще что принести ко мне желала б?  
 Возьми с собою горы и прибор. . .  
 Я жду тебя. . . Душа болит от жалоб!

Уснула моря голубая гладь,  
 Заря уснула, ясно догорая.  
 И ветру удалось туман убрать,  
 Чтоб я тебя увидел, дорогая.

Я слышу рокот мерный и густой.  
 Я сплю, но разбудить меня нетрудно.  
 Волна зовет меня на мол пустой:  
 «Вставай скорей. Проходит мимо судно!»

Бегу. Не поспекает тень за мной.  
 Открытый мол недалеко от дома.  
 Но судно проплывает стороной,  
 Касаясь парусами окоема.

Прошло и скрылось судно. Тишина.  
 Я так спешил и — опоздал, конечно.  
 Негромко с галькой говорит волна,  
 И слушать их могу я бесконечно.

Быть может, там, где звездный полукруг,  
 Ты бросишь якорь — море там глубоко.  
 Пора! Нам надо встретиться, мой друг,  
 Мне трудно без тебя и одиноко.

Чутье такое есть у легких птиц:  
 Летят друг к другу над водой и в поле,  
 Свободные, не ведают границ  
 И, вольные, встречаются на воле.

Но, думается, и они грустят,  
 Когда в лесу берется за работу  
 Веснушчатый и рыжий листопад,  
 Когда они готовятся к отлету.

Погашен свет. За окнами гроза.  
И в темноте твои белеют руки.  
Я целомудренно закрыл глаза.  
Я не желаю этой сладкой муки.

Мне кажется — я на гору иду,  
Глаза закрыты, но светло на диво.  
Я взял с тобой такую высоту,  
Что никогда не утрашусь обрыва.

Напоминает мне мой каждый шаг,  
Что мы навеки отданы друг другу.  
Пусть между нами горы, камни, мрак —  
Тропа, как друг, мне протянула руку.

Не оступлюсь. Не ринусь с высоты.  
Напрасно бездна мне готовит место...  
Скажи мне, перед кем сегодня ты  
Танцуешь, ненаглядная невеста?

Магнолия, дав волю лепесткам,  
Заворожила цветом все пороги,  
Связала по рукам и по ногам  
И заняла тропинки и дороги.

Недаром, перепутав тень и свет,  
Шагают ливни вдоль шоссе размытых:  
Кругом засады — троп открытых нет;  
Везде ограды — нет дорог открытых.

А дома что-то давит на меня,  
С постели гонит, не дает покоя.  
Погреться бы немного у огня,  
Но нет, как нáзло, спичек под рукою.

И шумный ливень бродит по дворам,  
И голос твой чуть слышен в отдаленье...  
Магнолия, дав волю лепесткам,  
Заворожила цветом всё селенье.

Мне утешенья больше не нужны!  
 Ты платье подвенечное надела  
 И спрятала, как острый меч в ножны,  
 В атлас шуршащий трепетное тело.

Сегодня удивится сам Казбек  
 И не поймет за много лет впервые,  
 Кружит ли у его подножья снег,  
 Цветы ли опадают полевые?

А ты на гору даже не глядишь,  
 Исчерпанная мукой и любовью.  
 И новый мир, в котором ты не спишь,  
 Дары тебе приносит к изголовью.

И я не сплю на берегу морском.  
 Я камешками развлекаю горе  
 И жду письма, и прочитаю в нем:  
 «Прости, я не приду. . .» Уснуло море.

Ты — золотая пава. Грусть и тень  
 Отныне задевать тебя не вправе.  
 Шафраном пахнет долгожданный день,  
 Заря зашла в волос твоих оправе.

Я к заговорам древним прибегу;  
 В силок, как птице, положу приманку;  
 Настигну на лету и на бегу,  
 Но от скитаний отучу беглянку.

Не в клетку заключу, как повелось, —  
 Совью гнездо из звуков, зацелую.  
 В густой червонный лес твоих волос  
 Я сам попал, как в клетку золотую.

Заговорили на ветвях птенцы.  
 Заря взошла и подожгла дубраву.  
 Я жду. Летите птицы, как гонцы,  
 И приведите золотую паву.

Спокойно море, и прозрачны дни.  
Блуждает белый парус на просторе.  
Не ты ли это? На берег взгляни  
И поверни сюда — спокойно море.

Оставит парус ветер озорной  
И, расставаясь, скажет: — До свиданья!  
Пусти здесь корни. Расцветай весной.  
Забудь свое изгнание и скитанье!

Здесь человеку предана земля,  
Здесь всех целит голубизна сквозная,  
Здесь дружбу предлагают тополя,  
Здесь каждая песчинка — мать родная.

Ночное море отдает вином.  
Я предаюсь моим мечтам и думам...  
Нас ждет здесь, друг мой, детство с миндалем  
И с самым сладким на земле изюмом...

1940

## 221. КАВКАЗ

### 1

Дорога вверх, дорога вниз,  
Храп задремавших горных кряжей,  
Белеет каменный карниз,  
Окутан облачною пряжей.

Храп горных кряжей, черных рек  
И пропастей морозный воздух,  
Орлов заоблачный ночлег  
В мансардах зорь, в угрюмых гнездах.

### 2

Прохожий, ты прервал свой путь,  
Ты званый гость, в мансарду вхожий:  
К ручью припасть и пыль смахнуть, —  
Чего еще тебе, прохожий?

Взлететь к орлиному гнезду  
Сумеет только ветер вольный.  
Здесь друга я себе найду,  
Не по душе мне путь окольный!

Туманам спутанным грозят  
 Вершин гранитные оскалы, —  
 Откинув головы назад,  
 Ждут зова дремлющие скалы.

Над ними молния-змея,  
 Они к громам полночным глухи,  
 На их вершинах, знаю я,  
 Пасутся дьяволы и духи.

Видать, пасутся. Если ж нет,  
 То этих духов, тьму проказ их  
 Я выведу на божий свет  
 Из забытых бабьих сказок.

Я эту нечисть призову  
 На пир магических полотен,  
 Я не усядусь на траву,  
 А проскользну, как тень бесплотен.

Здесь ребра каменной гряды,  
 Там камень вьется турьим рогом,  
 А там — журчание воды,  
 Ручьи шныряют по отрогам.

Здесь мир, объятый синевой,  
 Камень корчатся в лазури;  
 Кавказ, порог приветен твой  
 И для затишья и для бури!

Нет, то не шорох ветерка,  
 Не волн глухое заклинанье:  
 Всё ясно — горная река  
 К нам донесла свое дыханье,

Сверкнула, исчезая с глаз.  
Мерцают водные каскады,  
Доносят нам ее рассказ  
Лишь брызги, полные прохлады.

7

А солнца огненный топор  
Сечет морозные каменья.  
Ему не в силах дать отпор,  
Седые тают укрепления.

Пусть так! Журчанью нет конца!  
Ревет река, со льдами споря,  
И отблеск моего лица  
Несет к вратам ночного моря.

8

Мерцают камешки на дне,  
Блистают чешуей зеленой,  
Волна покорствует волне,  
Чуть слышен шепоток влюбленный.

Летят ручьи вниз головой,  
В них клочья туч мелькают смутно,  
Непостоянный облик свой  
Ручьи меняют поминутно.

9

Клокочет яростный ручей,  
За ним другой в кремнистом ложе,  
Над ними празднество лучей,  
Они спешат на свадьбу тоже.

Коросте льдистой вопреки,  
Пробиться к солнцу каждый хочет,  
Несутся наперегонки,  
Вода в проталинах грохочет.

В скалу горбатую впились, —  
 Дрожит скала — спина верблюжья,  
 И вот уже взмывают ввысь  
 Веселых радуг полукружья.

В изьяны каменной гряды  
 Вода вонзается седая,  
 И под напором той воды  
 Скрипят осколки, оседая.

И вешней залиты водой  
 Гранитной лестницы ступени,  
 Как будто вспять поток седой  
 Потек в снегу, в холодной пене.

Как будто снова в облака  
 Потек, бессонницей колышим,  
 Но к морю катится река,  
 И мы ее дыханье слышим.

Здесь, где летят раздумья прочь,  
 Где листья пальм от ветра сини,  
 Я летнюю припомнил ночь  
 В местечке мертвом на Волыни.

Лягушек слышен разговор,  
 Луны мерцает повилика,  
 С пуховиками спать во двор  
 Идут — от мала до велика.

О чем ты, ветер, шелестишь?  
 О чем шуршит смешная речка?  
 Заплачет где-нибудь малыш,  
 И всполошится всё местечко!



Спят, как дорожная трава,  
Как белых коз волынских стадо,  
И вновь проснулась, вновь жива  
Река — и снова трель каскада.

14

Ручьи бубнят, бубнят вдали.  
Я здесь. Мне стало душно сразу:  
Усопшие моей земли  
Приснились мне в горах Кавказа,

Чтоб справил тризну я сперва  
По ним. Чтоб не забыл в дороге.  
Снег наверху. Внизу трава.  
И камни на лесном пороге.

15

Нежданное гуденье пчел.  
Лужайка. Пасека и соты.  
Старик мечты мои прочел,  
Седой, как горные высоты.

Столетний, с белой головой,  
На зоркого орла похожий. . .  
«Воды отведать ключевой  
Не пожелает ли прохожий?»

16

Исходит миром добрый взор,  
И за старания в награду  
Пчела несет с янтарных гор  
Ему сладчайшую отраду.

И сладость сделалась травой,  
И солнце плещется в лазури.  
Кавказ, порог приветен твой  
И для затишья и для бури!

Живителен напиток гор,  
Их мощь в потоках вод студеных.  
В безбрежный тянутся простор  
Деревья в париках зеленых.

И кажется, что старый дед  
Не только этих пчел хозяин,  
Что покорился мощи лет  
Весь кряж — от центра до окраин!

Он с плеч моих снимает вмиг  
Воспоминаний тяжких бремя,  
И вновь мне возвращает их  
И освежает в то же время!

Поклон отвесив седине,  
Звучанью голоса внимаю, —  
Чужой язык приятен мне,  
Хоть смысла слов не понимаю.

Гора любая — отчий дом,  
Сосна любая станет кровом,  
И в каждом волосе седом  
Рассказ о времени суровом.

Здоровьем славится старик,  
Лучей он не страшится жгучих,  
Сражаться с солнцем он привык  
И с паводком на горных кручах.

Он сонмы всех природных сил  
Стал приручать неумоимо:  
Взмахнул — и дождь проколесил,  
Свинцовый гром проехал мимо!

Ласкает уши старика  
Потоков сумрачный молебен,  
И сок любого корешка  
Издревле для него целебен.

21

И старец руку поднял ввысь,  
Земная тяжесть в каждой жиле...  
«Сюда враги не добрались,  
Мы их от спеси отучили!»

Здесь лед синей любого льда  
Над миром вешним и зеленым, —  
И недруг не дошел сюда,  
Каменья он дробит под склоном.

22

Расколот солнцем черный грот,  
Закраины металла ржавы,  
Уже коррозия грызет  
Пробитый шлем чужой державы.

Вползает ящерка в него,  
Змея застыла у обрыва.  
В том шлеме зрело торжество  
Густого мюнхенского пива.

23

Давно утих вороний грай,  
Смерть бутафории помпезной!  
В пещере старой умирай,  
Ты, шлем стальной, и крест железный!

Ты шел сюда, угрюмый шлем,  
Чтоб стать царем в пределе горнем, —  
Теперь ты в гроте пуст и нем  
И оплетен крапивным корнем!

Шлем скажет пляске вихревой,  
 Как с горных троп, с карнизов голых  
 Низвергся в пропасть головой  
 Поток орудий и двуколок.

Покрылся шлем могильным мхом,  
 Лежит небытия на страже,  
 К нему не долетает гром  
 Реки, летящей с горных кряжей!

И трижды праздник в сердце гор,  
 В ущельях, в облаках лебяжьих,  
 Затем, что смолк с недавних пор  
 Зловещий топот полчищ вражьих.

Я сердцем благодарен всем  
 Друзьям в сраженье и в работе  
 За то, что этот вражий шлем  
 Ржавеет в отдаленном гроте.

Наш гимн военных трудных дней  
 Летел к предгорьям неустанно  
 От подмосковных рубежей  
 И от Мамаева кургана.

И вторят годы и века  
 Той песне, что промчалась пулей, —  
 Ей вторят губы старика,  
 И каждый дом, и каждый улей!

А разве не было людской  
 Жужжащей пасекой местечко,  
 Где до реки подать рукой,  
 Где по ночам скрипит крылечко?

Не там ли свет луны порой  
Мерцал в слепом стекле оконном,  
Когда уснул пчелиный рой  
По человеческим законам?

28

Там, на Волыни, отчий кров  
Сорвали вихри лихолетья,  
И наземь пали слезы вдов,  
И стали сиротами дети.

Что ж, слезы горькие утри!  
Ночами сердце не согрето:  
Ночей тех было трижды три  
На зябкость одного рассвета!

29

Подолия была в крови,  
Была Волынь в золе и в пепле,  
Но вызрели хлеба твои,  
Страна, леса твои окрепли!

Тысячелетний скорбный путь  
По Бессарабии и Польше,  
Но солнце, отмечая муть,  
Взошло — и не погаснет больше!

30

И в память грозных, горьких лет  
Волынь, забрызганная кровью,  
Свой обезглавленный рассвет  
Свечою ставит к изголовью!

А здесь, под ношей снеговой,  
Вершины гор цветут в лазури.  
Кавказ, порог приветен твой  
И для затишья и для бури!

Кавказ, хочу к тебе прильнуть,  
 Пусть ты во льдах оцепененья!  
 Меня ведут под Млечный Путь  
 Твои кремнистые ступени.

Но, если даже и дойду  
 До опечаленной вершины,  
 Своей беды не разведу,  
 Не разгоню своей кручины.

Здесь, у подножья снежных гор,  
 Я, скорбный, плечи не расправлю:  
 Надену траурный убор  
 И по ушедшим тризну справлю.

Сквозь тысячу кровавых лет  
 Пройду — сквозь тьму местечек стертых,  
 Пока не озарит рассвет  
 Меня, восставшего из мертвых.

Но и тогда, в заветный час,  
 Твои гремящие каскады,  
 Твои снега, седой Кавказ,  
 Мне в сердце не прольют отрады!

И как бы ни блистал твой снег  
 Багрянцем в час рассвета ранний,  
 Забыть я не смогу вовек  
 Тысячелетья тех страданий.

1948

## 222. ВОЙНА

(Главы из поэмы)

### У МОГИЛЫ

#### 1

Тревога стихла к третьим петухам.  
Столетний дуб, как щепку, в мох свалило,  
Дорогу трактор смерти пропахал.  
Но кто над придорожную могилу,  
Как мрачное надгробие, склонен,  
Недвижно нем? И вопиет во взоре  
Печаль старинных траурных письмен,  
Что высекает на надгробьях горе.  
Со скрипачкой под мышкою дитя  
К нему прижалось, как его обломок.  
Тут погребают мать его, хотя  
Не время — хоронить среди потемок:  
«Покойнику — не в честь», — гласит обряд.  
Но, памятнику скорбному подобный,  
Застыл согбенный человек, чей взгляд  
Красноречивей надписи надгробной.

#### 2

Их торопили звезды в путь: «Пойдем!» —  
Они стояли. Что могло вперед их  
Увлечь, когда покойница в свой дом  
Звала их, обещая вечный отдых?

Пусть вновь идет в разбойный свой набег  
Немецкий самолет со смертной ношей, —  
Стоит уста сомкнувший человек,  
Печалью весь, как мхом густым, обросший.  
Но в воздухе, как быстрая звезда,  
Мелькнула пташка, словно издалече  
Спеша утешить горе человечье.  
Кружа над скорбно сникшей головой,  
В погоне за букашкой в рань такую,  
Она встречает день свой трудовой,  
Свой птичий день, чирикавая, ликуя.

3

Прощались на кладбищах с тенью тень,  
Поодиночке звезды догорели. . .  
Струили птицы, славя новый день,  
Как жемчуг переливчатые трели.  
Но сея смерть и всё круша вокруг,  
И на дары природа не скупится, —  
И человек заветной мыслью вдруг  
Решил с крылатой гостьей поделиться:  
«Как ни остер топор, ему вовек  
Не ощутить ни роста, ни расцвета,  
Но топором отрубленный побег  
Познает непреложно радость эту. . .»  
Он хлеба крошил — и, как стрела,  
К нему метнулась птичка с писком тонким.  
Она клюет. . . Два сереньких крыла —  
Как рукава потрепанной кофтенки.

4

Сверкнуло солнце: сбросить скорлупу  
Мутно-прозрачной темени пора ведь?  
А человек стоит, — на скорбном лбу  
Всё та же мысль, но хочется добавить:  
«Когда сшибает вихрь плоды с дерев,  
Они уходят в землю. Сроки выждав,  
Они там воскресают, чтоб, созрев,  
Ветвиться и плодиться вновь семижды. . .»  
Пускай в глазах горит слезой печаль



И тучи скорби на бровях нависли,  
Но мысли человека рвутся вдаль,  
А высказать хоть птичке нужно мысли:  
«Иль ниже человеческий удел  
Удела дерева? Кто ставил грани  
Его бессмертью? . . .» Ветерок летел,  
Неся бальзам кровоточащей ране.

5

Жужжала, за взятком летя, пчела,  
И с ношей муравей петлял по грядкам.  
День начал жизнь, сон отряхнув с чела,  
От века установленным порядком.  
Алел восток в звучании фанфар,  
Весь облачен в пурпурную порфиру,  
С пожаром рядом пламенел пожар,  
Как свечи в вечном изголовье мира. . .  
Утраты боль хлестнула вновь, как бич,  
Но замер крик в несчастном человеке.  
Покойнице он подложил кирпич  
Под голову и черепки на веки.  
И камень придорожный он принес,  
И, поклонясь могиле, вдруг с улыбкой  
О птичке вспомнил. И пошел без слез —  
В далекий путь. А с ним дитя со скрипкой. . .

**МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК**

1

В извечной толчее Казанского вокзала  
Овадис ждал — когда ж бессоннице конец?  
«Скорей бы солнцем тьму ночную пронизало!» —  
Так думал он и пол топтал, как бегунец.  
И вот, по милости ноябрьского рассвета,  
Ему открылся путь вдоль каменных громад,  
Еще в своих правах упорствовало лето,  
От вянущей листвы струился аромат;  
Сквозь пощаженную жестоким солнцепеком,

Сквозь жухлую листву, как реи корабля,  
Как башни крейсера, повернутого боком,  
Навстречу выплывал соборный град Кремля.  
Приезжий хмурился под солнцем запоздалым,  
И стойкость зелени, преодолевшей тлен,  
Ему напомнила низвергшийся обвалом  
Гул первых дней войны и первый вой сирен.

2

Да! Было что-то в нем от детского подарка,  
В осеннем этом дне, печальном и немом...  
Глазам приезжего в ограде Зоопарка  
Случайно ли предстал зеркальный водоем?  
И он замедлил шаг, увидев за решеткой  
Плывущих царственно, как в сказке, лебедей;  
Он подивился им и статности их четкой,  
Их белоснежности на фоне черных дней.  
Какими странными казались эти птицы,  
Невозмутимые среди таких тревог, —  
На грозном панцире ощеренной столицы  
Белел ромашкою пуховый островок...  
Не сочетали ль в них невидимые мрежи  
И пеннистость зыбей, и леденистость гор?  
Но в клювах белых птиц, как в каплях крови  
свежей,  
Безмолвный чудился прохожему укор.

3

Подобной осени столица не знавала...  
Свет скупое сеялся у неба из горстей,  
А хмурая Москва с тем небом воевала  
Вокруг медлительных и грустных лебедей.  
Пока зенитные гремели батареи,  
Им приумолкшие внимали кликуны,  
Лироподобные вытягивая шеи  
К паренью хищников, к воскрылию войны.  
Порхали тут и там зловещие зарницы,  
Молчали лебеди и чуяли беду,  
И вглядывались в тень подоблачной станицы,  
В безветренную рябь на стынушем пруду;

Полуныряя вглубь, казалось, там искали  
Ответа на вопрос о небе над Москвой  
И горло надвое водою рассекали,  
И плыл их легкий пух, безглавый, но живой.

4

Что в диких джунглях он, что он, как прежде, дома,  
Быть может, зверь в тот миг во сне воображал  
И грезил взрывами тропического грома,  
И лапы дергались, и, спящий, он бежал. . .  
Дворы и площади аукались с опаской,  
Хотя на раны их фанерный пластырь лег.  
Сегодня Зоопарк был поражен фугаской,  
Был прерван мирный сон гнездовый и берлог.  
С эмблемами над ней, тряслась входная арка;  
Взобравшись на нее, скульптурные козлы  
У подожденного застыли Зоопарка:  
Что им до падали, до лома и золы!  
Ваятель их слепил не из костей и плоти,  
А гипсовым глазам прозрачность не дана,  
И хобот не для них трубил, как на охоте, —  
Они не видели предсмертных мук слона.

5

Огонь бесчинствовал над зимней медвежатней,  
Отграбленных жильцов в загон перевели. . .  
Пожарище в лесу вам было бы приятней:  
Там есть куда шмыгнуть, а тут вы на мели.  
Искал сородичей лохматый погорелец, —  
Не досчитаться всех, сиротствовать ему.  
У птичьей мелочи, у щебетных безделиц,  
Клетушки и у тех коробились в дыму.  
Метались пленники в шатающейся раме,  
Деля неистовство со страхом пополам;  
Во мраке шарили свистящими ноздрями;  
Им грохот чудился, как змеи, по углам.  
И людям не забыть находчивой слонихи:  
Набрав из луж воды в дубленый хобот свой,  
Бедняжка ринулась в сплошной неразберихе  
Пожарным помогать на вахте огневой.

1

Садовский город свой едва узнал,  
 Когда впервые вышел на прогулку.  
 Всё вроде то же: улицы, вокзал,  
 Дома, и тупички, и переулки.  
 Но стала четче каждая черта,  
 И облик в целом стал трезвей и строже:  
 Орнамент труб, деревьев нагота  
 На скверах, по обочинам дорожек.  
 Утихла городская кутерьма,  
 Толпа спокойна, как старик с собакой...  
 Казалось, что московские дома  
 Вздремнули на часок перед атакой.  
 Казалось, у бульвара столько дел!  
 Казалось, каждый камень ждет чего-то...  
 Морозило. Мело. Ледок хрустел.  
 С рассвета солнце вышло на работу.

2

С вокзала в город раненых везли.  
 Машины шли торжественно и строго, —  
 Не шли, а плыли посреди земли...  
 И люди уступали им дорогу.  
 И провожал машины каждый взгляд:  
 Хотелось людям быть с бойцами рядом,  
 Взять на себя тоску и боль солдат  
 И ободрить их голосом и взглядом...  
 В тулупах теплых, снегом опушен,  
 Папахи на глаза надвинув низко,  
 Копытами процокал эскадрон  
 На стройных жеребцах кавалерийских.  
 Метался ветер, знамя шевеля.  
 К луке передней тяжело склоненный,  
 Комэск Петров, как Муромец Илья,  
 Скакал враскачку в голове колонны.

Из двери пар на улицу валил  
 И под ногами по снегу елозил.  
 Снег аккуратно очередь белил,  
 Морозил щеки и носы морозил.  
 Давали свеклу здесь и хлеб пекли.  
 И ждал народ. . . Но вспыхивали взгляды,  
 Когда в больших грузовиках везли  
 На фронт артиллерийские снаряды.  
 Здесь, на земле Москвы, точили их.  
 Их порохом девчата начиняли  
 На фабриках, в цехах и в мастерских,  
 И, смену сдав, сначала начинали.  
 А дворники готовили песок —  
 Пожар тушить, — забот у всех немало:  
 Не думали прилечь ни на часок —  
 Москва перед атакой не дремала.

Молчали люди. Пели кирпичи.  
 Рычали камни. Звякали колеса. . .  
 Садовский думал: «Ну и москвичи!  
 В пудовых шубах, в валенках курносых. . .»  
 Он влился в них. Он с ними заодно.  
 Он связан с ними честью, кровью, родом.  
 Так испокон веков заведено:  
 Москву обороняют всем народом.  
 Он счастлив тем, что он сейчас в Москве,  
 Что с ним друзья, что он за них в ответе,  
 Что гладит снег его по голове,  
 Что нет роднее города на свете.  
 Он шел легко в морозной дымке дня,  
 Над ним петляли провода, как ребус. . .  
 К Воздвиженке трамвай катил, звеня,  
 И мчался к Химкам, дребезжа, троллейбус.

Нескучный сад звенит ветвями. Он  
 Весь в кружевах серебряной чеканки.  
 Пусть немцы слышат этот сладкий звон,  
 В окопах замерзая, жарясь в танках.  
 Пусть слышат голос ив и тополей,  
 И гор российских, и морей, и топей,  
 И на просторах ледяных полей  
 Пусть мрут, оборотясь лицом к Европе.  
 Пусть слышат вьюги похоронный вой —  
 Но также и живую песню птицы.  
 Пусть видят, как в снежинке голубой  
 Искрится луч, играет и дробится. . .  
 Вперив в бинокли близорукий взгляд,  
 Они глядели алчно на столицу.  
 Они в Москве хотели дать парад —  
 В Берлин не суждено им воротиться.

Они глядели хищно в даль времен,  
 Насилье в мире утверждая веско.  
 Они забыли, как Наполеон  
 Закончил путь под стенами Смоленска.  
 Они считали месяцы и дни,  
 На тыщу лет вперед душа свободу.  
 Но четверть века не учли они,  
 Минувшую с семнадцатого года.  
 Они зубрили карты, как урок,  
 Нарацивали орденские планки.  
 Вот только не предвидел их пророк,  
 Что люди все-таки сильнее, чем танки.  
 Они, бесспорно, знали толк в войне.  
 Они кичились доблестью и силой. . .  
 Они ошиблись лишь в одном: в цене,  
 Назначенной за красную Россию.

Забрел Садовский на исходе дня  
 В сад Александровский. Был вечер тих  
 и ласков. . .

В саду, галдя, играла ребятня,  
 Со снежных гор катаясь на салазках.  
 Они вошли в такой веселый раж,  
 А нынче детский смех звучал так редко! . .  
 Стена Кремля стояла, словно страж,  
 Деревья выслав, как бойцов, в разведку.  
 Садовский, чуть подвинув старика,  
 Слегка покачивавшего коляску,  
 Сел на скамью. Тревожила рука  
 Под заскорузлой марлевой повязкой.  
 «Товарищ! Вы, наверно, фронтовик?»  
 — «Да, с фронта я. А кто же вы, папаша?»  
 — «А я? — губами пожевал старик. —  
 Я охраняю будущее наше!»

Он покачал в раздумье головой,  
 Потом поправил одеяльце ловко.  
 «Его отец летает над Москвой,  
 А это вам не заряжать винтовку!  
 Герой! А знали б вы, что за семья. . .  
 И этот мальчик — гордость и надежда.  
 А вы?» Садовский улыбнулся: «Я?  
 Я б полетел — да крылья вот не держат. . .»  
 Звенел в саду веселый смех детей  
 И рвался за чугунную ограду,  
 И разговор случайный двух людей  
 Сплетался с белой пряжей снегопада.  
 Звучал негромко голос старика:  
 «Я молодость свою провел в походах,  
 Но шли над Русью низко облака,  
 И мы мечтать не смели о полетах.

Кто смог пробить туман — тому «ура!».  
 Теперь толкает к солнцу чувство долга. —  
 Он взялся за коляску. — Мне пора:  
 Ребенок на морозе слишком долго».

Поднялся он: «Сейчас лучиста даль.  
 Вперед, на Запад нас ведет дорога.  
 Фашисты смерть предвидели едва ль  
 Здесь, под Москвой, у самого порога».

На город вечер не спеша прилег.  
 Был снежный сад сродни хрустальной чаше. . .  
 «Конец войны пока еще далек.  
 Они не успокоятся, папаша!»  
 Зима всю сверкала без прикрас.  
 Садовский встал: «Фашистов надломили!  
 Москва прошла, как по стеклу алмаз,  
 По бронебойной гитлеровской силе.

Им не спастись. Фашистов ждет разгром.  
 Им не уйти от кары и возмездья. . .»  
 Светились ветви мягким серебром,  
 И вспыхивали в небесах созвездья.  
 Звенела тонко ветра тетива,  
 Зенитки били в отдаленье где-то. . .  
 Иначе не могло и быть, Москва!  
 Ты — режущий алмаз страны Советов. . .  
 Садовский всё глядел на старика  
 С его скрипучей детской коляской. . .  
 Он вспомнил, как к деревне от леска  
 Он полз с отрядом по трясине вязкой.  
 Бои и окруженье вспомнил он,  
 Раненье, лазарет, своих домашних. . .  
 Он на скамью присел. Протяжный звон,  
 Как благовест, поплыл с Кремлевской башни.



Был этот звук Садовскому знаком.  
 Ему казалось, что могучим звоном  
 Кремль говорит понятным языком  
 С людьми простыми, с миром обожженным.  
 Гудел большой набат, как в старину,  
 Когда в него в час буйных бедствий били.  
 Летели звуки, звали на войну  
 И мужество в людских сердцах будили.  
 Звонарское святое ремесло  
 Не стало строчкой древнего преданья.  
 Из медных зевов колокольных шло  
 В морозный воздух теплое дыханье.  
 О небо башня оперлась плечом.  
 Гудел набат, гремел словами гимна:  
 «Кто в Русь придет с отточенным мечом,  
 Тот от меча российского погибнет».

Горел на циферблате золотой  
 Старинный меч — то стрелка часовая  
 Круг обходила тропкою крутой,  
 Минуты по дороге отбивая.  
 Сквозь синий сумрак мягкий снег валил,  
 Белил трибун кремлевских многострочье. . .  
 Тот, кто костер свободы запалил,  
 Поддерживает пламя днем и ночью.  
 Летел над миром колокольный зов,  
 Круша преграды и препоны руша,  
 Врываясь в уши тыщей голосов  
 И без задержки проникая в души.  
 В серебряную тонкую трубу  
 Трубил во всех краях глашатай-ветер. . .  
 России новой трудную судьбу  
 Кремль возвещал торжественно планете.

## 1

Садовский был колхозным агрономом.  
Пред ним страна цвела, как щедрый стол.  
Его отец еще гонял паромы,  
Дед в детстве школу барщины прошел.  
Садовский видел, как взнуздали люди  
Могучий Днепр, — и, в силе и красе,  
Река турбины солнечные крутит  
Огромной белкой в чудо-колесе.  
Народ взял кирки, топоры и пилы, —  
И счастье было полным и земным.  
Днепру объятья Родина открыла,  
И вся страна работала над ним.  
Ткала, валила лес, пилила доски,  
Варила сталь — вершила тыщу дел! . .  
На берег часто приходил Садовский  
И на плотину радостно глядел.

## 2

Заря, как мать, шагам его внимала,  
Когда он утром в поле выходил.  
Земля в сорочке кружевной дремала,  
Ее он, как любимую, будил.  
Простор бескрайний солнцем запорошен,  
А солнце в небе — золотым кустом. . .  
Как царь, в алмазной шапке Запорожья,  
Днепр возлежал на ложе золотом.  
Садовский шел по теплым спинам пашен,  
Касалась благодать его души. . .  
Как радостно глядеть на землю нашу!  
Как сладостно осмысливать в тиши  
Величье вечного произрастанья!  
Ведь в мире ничего прекрасней нет. . .  
И думал он, вдыхая запах рани:  
«Вот он пришел — страны моей рассвет!»

И вдруг — война! Поток кровавый мчится,  
 И — орудийный гром, и — свист свинца.  
 Проломлены, как черепа, границы.  
 Солдаты гибнут, стоя до конца.  
 С утра крестьянин на полях хлопочет,  
 С утра рабочий занят у станка. . .  
 А санитарный поезд пребыл к ночи, —  
 В окно скребется траура рука.  
 И вот пылает Брест, как плоть живая,  
 И древний Минск разрушен и горит,  
 И беженцев к дорогам прижимает  
 Пикирующий черный «мессершмитт».  
 Зияют ямин темные глазницы.  
 Зовет страна детей своих. Пора! . .  
 Вот только забеги домой — проститься —  
 И уходи, Садовский, со двора. . .

Какой денек чудесный! Много лет  
 Такого лета не было — и вот вам! . .  
 Достал он из кармана партбилет —  
 Простую книжицу в обложке плотной.  
 Фамилия и имя. Жизни всей  
 Важнейшие и радостные вехи. . .  
 «Ну вот, мой друг, Садовский Алексей, —  
 Он улыбнулся, — надевай доспехи.  
 Двенадцатого года. . . русский. . . так. . .  
 Взысканий нет. . . так. . . командир запаса. . .»  
 Прочсть хотел он, как разжать кулак —  
 Впитать в себя всё сразу: буквы, фразы.  
 Прочел до корки, спрятал партбилет  
 И вслух сказал отчетливо и веско:  
 «Так вот, Садовский, дай-ка мне ответ:  
 Чем партбилет советский — не повестка?»

Садовский шел домой. Какой денек  
 Сегодня выдался! Чудесный самый. . .  
 На солнышке играл его сынок,  
 У дома строил он песочный замо́к.  
 К ребенку тихо подошел отец,  
 Взглянул — и сердце заболело сладко.  
 «Сюда нельзя! — прикрыл песок птенец. —  
 Не видишь, папа? Это стройплощадка!»  
 — «Прости, сынок! Давай, пичуга, строй!  
 Смотри-ка, что за крепость! Вот уж сила! —  
 И обнял сына ласково. — Герой!  
 Из школы мать еще не приходила?»  
 И всё на сына пристально глядел. . .  
 Но сколько может миг счастливый длиться?  
 «Ты уезжаешь?» — «Еду. Много дел. . .»  
 — «Нет, ты скажи — куда?» — «С врагами  
 биться!»

Садовский к школе быстро зашагал,  
 На полпути учительницу встретил.  
 Она спешила, словно на вокзал.  
 Как ласковый щенок, играл с ней ветер.  
 «Пришла повестка, Алексей? Зовут?»  
 Она глядела на него влюбленно.  
 Он улыбнулся ей: «Напрасный труд!  
 Мне приглашенья не нужны, Васена».

Звенели косы косарей вдали.  
 Деревья что-то сонно лепетали. . .  
 Они домой торжественно пошли.  
 Ведь завтра им увидеться едва ли.  
 Дома и люди провожали их.  
 Жена и муж — точь-в-точь как фото

в рамке. . .

Вот сын! Воспоминанья всех троих  
 Отныне здесь — в его песочном замо́ке.

Васена быстро собирала в путь  
 Солдата своего. Трудна дорога!  
 Присели на минутку отдохнуть.  
 Не отдохнувши, поднялись с порога.  
 Она молчала, и казалось ей,  
 Что муж ее уже в далеком марше,  
 Что загорел в походах Алексей,  
 Осунулся, суровой стал и старше.  
 С солдата не спускала глаз она.  
 Глаза жены тоскующей бездонны...  
 «Пора, Васена! Провожай, жена!»  
 И он поцеловал глаза Васены.  
 Губами стер слезу ее. «Пошли!  
 Беде, Васена, не помочь слезами...»  
 Над домом пролетали журавли,  
 И оба проводили птиц глазами.

Остановились на минутку: дед  
 С деревьями в саду возился где-то.  
 Работать отправлялся он чуть свет...  
 Но вот идет — слышна походка деда.  
 «Уходишь, Алексей? Ступай! Дай бог...  
 Ты нам, как говорится нынче, смена».  
 И старый свой солдатский котелок  
 Он Алексею передал степенно:  
 «Бери!...» Его седая голова  
 Была вишневой кипени белее.  
 ...И с той поры те добрые слова  
 Звенели тихо в сердце Алексея.  
 И вот теперь, среди сырых долин,  
 Страдал он от бессилья и от муки:  
 Их деды, как-никак, вошли в Берлин,  
 А нынче в «клещи» угодили внуки.

## 1

Дон перешел Садовский поздней ночью,  
 Набросив тьму, как траурный наряд.  
 Орудья с треском рвали небо в клочья —  
 Бесился бой вдали семь дней подряд.  
 Коней на зыбких лодках успокоив,  
 Ослабив седла, погрузив обоз,  
 Поплыли в темноте, прикрыв рукою  
 Опасные сигналы папирос.  
 Издалека приветствовала Волга  
 Своих солдат и, разогнав туман,  
 Вгрызалась в берега — подобно волку,  
 Вцепившемуся яростно в капкан.  
 И рвался хрип из воспаленной пасти,  
 И гнев вскипал, как смерч, в речной душе...  
 Пришел Садовский со своею частью  
 И стал на Сталинградском рубеже.

## 2

Большие стаи вздыбленных орудий  
 И черных танков злые табуны,  
 Стада машин и люди, люди, люди  
 Терзают плоть тугой речной волны.  
 Шипит пожар, ползет от дома к дому,  
 Подносит спичку розовой рукой.  
 И, гром грозы своим пугая громом,  
 Мчат «мессершмитты» низко над рекой.  
 Оружием растоптанной Европы —  
 Всех десяти порабощенных стран —  
 Размахивает злобно низколобий  
 Фашистский синеглазый истукан.  
 Огромно вражье войско — триста тысяч!  
 Они пришли сюда из дальних мест,  
 Чтоб на камнях твердыни волжской высечь  
 Фашистский знак — паучий черный крест.

Германия свою пивную славу  
 Швырнула на весы войны — и вот,  
 Величием бредя, во хмелю кровавом  
 Она ведет бухгалтерский подсчет.  
 Под жирною чертою преступлений  
 Она подводит радостный итог:  
 Гарь пепелищ, народы на коленях,  
 И стран позор, и горьких слез поток.  
 Столицы, превращенные в руины,  
 Пожаров упоительнейший чад. . .  
 Под рык орудий, как под плач сурдины,  
 Фашисты окружали Сталинград.  
 Сплет им по-немецки «матка Волга»:  
 Переучиться предстоит реке! . .  
 Сто метров до нее — а там недолго  
 Весь мир зажать в фашистском кулаке.

Не видела Германия, блистая  
 Мишурным золотом побед, как к ней  
 Шла смерть, архив кладбищенский листая  
 И выбирая место победней.  
 Вела гроссбук и смерть. Пестрят страницы  
 Крестами, утонувшими во мгле.  
 Вот Франция подстреленною птицей  
 Бьет крыльями по выжженной земле.  
 Вот Польша, от страданий каменя,  
 Растит свой гнев, как мясо, на костях. . .  
 А виселицы высятся, чернея,  
 Как цифры римские, на площадях.  
 А камни, словно люди, стонут глухо,  
 А люди, как снопы, в боях горят. . .  
 Под строчкою последнего гроссбуха  
 Поставит смерть печатью: «Сталинград».

Германия! Она плоды сбивала  
 С куста Европы пушечным огнем.  
 Росли ее пилоты у штурвала,  
 Пехота выростала с каждым днем.  
 Беспечно на нее глядели страны:  
 «Какая там война! Весь мир устал! . . .»  
 На Рейне заводного истукана  
 Ковал себе из стали капитал.  
 Заряжен истукан свинцом и ядом  
 И поро́хом и золотом. И он  
 Тюрьму возводит, а с тюрьмою рядом  
 Под хор похвал возводит стадион.  
 Но вот и нож преподнесен вампиру,  
 Веревка зверю хищному дана —  
 Чтоб затянуть петлю на шее мира,  
 Посеять смерть и кровь испить до дна.

Сработан он из стали и из кожи.  
 Дан ум ему тупой и острый меч.  
 Сожрать дитя смеясь, шутя он может,  
 И целым странам головы отсечь.  
 Он приказал, кумир! Шинели шили,  
 Детей рожали — для могильных рвов. . .  
 Из Штатов корабли к нему спешили  
 И с северных Британских островов.  
 Шли корабли, с волной борясь упрямо,  
 Приветственно ревя в морской дали.  
 Шли с грузом меди, хрома и вольфрама,  
 И молибден, и каучук везли. . .  
 И вот шагнул вперед он, и еще раз,  
 И алчно облизнулся истукан,  
 И побежал, и, набирая скорость,  
 Из кобуры он выдернул наган.

— Так жри! Уничтожай! Взрывавай! Насилуй!  
 За жизнью, топоча, пустьись вдогон! . . .  
 Еще он слаб. И, не хлебнув Россию,  
 Чехословакию глотает он.



Вот проглотил, и снова зубы точит,  
Поглядывая жадно на Восток.  
И выпустить из пасти он не хочет  
Ту руку, что дала ему кусок.  
Еще глоток — и снова не хватило.  
Он требует: «Весь мир к столу подать! . . .»  
Как спорить с ним? Где взять такую силу,  
Чтоб бешеного зверя обуздать?  
Творенье, респектабельное с виду,  
Превозмогает замысел творца.  
Дыша зловонно, жаждет крови идол  
Из золота, из стали, из свинца.

8

Но кто б могилу истукану вырыл?  
Но кто б остановил всемирный мор? . .  
И вот, сплотясь, все коммунары мира  
Ему выносят смертный приговор.  
С ним сладить нелегко. Теперь силен он.  
Попробуй — разогни колени, встань! . .  
Плывя вперед по рекам слез соленых,  
Он собирает каторжную дань.  
Готовит людям он удел холопий. . .  
Но призрак спать убийцам не дает —  
Тот, что упрямо бродит по Европе,  
Тот, что с лица земли его сотрет,  
Тот, что его приспешников повесит,  
Тот, что на свалку выбросит его. . .  
Шагает истукан. Он бодр. Он весел.  
Он сыт. Он не боится никого.

СТАЛЛИНГРАД

1

Был подготовлен к поединку город,  
Когда его Овадис увидал.  
Весь в языках огня, разбит, распорот,  
Тянулся город в выжженную даль. . .

Бурлит, клокочет зарева громада,  
В глаза огонь за километры бьет. . .  
Стоит Овадис против Сталинграда.  
«Так где ж, — он думает, — здесь был завод?  
Как будто здесь он и воздвигнут не был.  
Но город где же? Может, там, во мгле?  
Иль это он, прижат горящим небом,  
Расползся по пылающей земле?»  
На заводских дворах снаряды рвались.  
Ракита здесь — ему сам черт не брат. . .  
Как инженер пришел сюда Овадис,  
Представился Раките как солдат.

2

Тянулся дым во вздыбленные степи,  
Домов дымился выщербленный ряд.  
Лучи прожекторов вертелись в небе,  
Сжигая в дым небесный циферблат. . .  
Глядел Овадис на глухие звезды,  
Проглоченные черной глубиной.  
Вещали звезды сквозь упругий воздух,  
Что благодущье выжжено войной. . .  
Нет, то не будят заводских рабочих —  
Сирены воем душу леденят.  
Сгорела тишь, разорванная в клочья,  
Над городом разверз утробу ад.  
Две тысячи фашистских самолетов  
Под крыльями несут стальную смерть,  
Чтоб город изошел кровавым потом,  
Чтоб втопан был навек в земную твердь.

3

Растекся стон. И сразу рядом, около,  
Взъерошились и сжались провода,  
Лизнул слепой огонь слепые стекла,  
Чтобы узнать, ползти ему куда.  
И вдруг прозрел. Не бьется в стены лбом он.  
Здесь каждый уголок ему знаком. . .  
. . . И наклонился дом к другому дому,  
И, вздрогнув, на колени рухнул дом.

Вот бьется в муках улица нагая —  
По ней, змеясь, шипя, огонь течет;  
А с неба на нее летит другая,  
А третья сбоку, а за ней еще. . .  
Вздыхнули степи с болью и укором,  
Набухло небо сталью и огнем.  
Свою красу взметнул горящий город,  
Всю красоту, таящуюся в нем.

4

Здесь каждый взрыв звучит, как приказанье,  
Как заповедь, гремит свинцовый шквал.  
Пусть в крепости здесь обратятся зданья,  
И полем боя станет пусть квартал.  
Перекликаются предместья хрипло,  
И камни рвутся ввысь из-под руин.  
Здесь камню быть твердыней грозной выпало,  
Здесь цитаделью станет дом один.  
Приказ: пусть время прекратит движенье!  
Приказ: пройти везде, где не прошли!  
За пядь земли пускай кипит сраженье,  
Пусть льется кровь за горсть родной земли.  
Вода бурлит в водопроводных трубах,  
От жара содрогается стена.  
На улицах черно от вражьих трупов,  
И степь от песьей крови их черна.

5

Земля, как лист осиновый, дрожала,  
И взрывы, как холстину, рвали мрак.  
Упившийся до одури пожаром,  
Как в зеркало, смотрелся в пламя враг.  
Скрестив стальные крылья, словно кости,  
Прикрывшись дымно-серебристой мглой,  
Как будто в пьяной пляске на погосте  
Стервятники кружили над землей. . .  
Но вдруг, внезапно, город встал из пепла,  
Стряхнув с себя, как куртку, черный дым,  
И словно на работу шел сквозь пекло  
По улицам, безмолвным и пустым.

В глазах бойцов — огонь неугасимый,  
И Волга в их вливается сердца! . .  
И камень здесь исполнен грозной силы,  
И груды щебня бьются до конца.

6

Грозилась трупы черными руками,  
Плечистых туч дымилась пелена.  
И вопрошал безмолвно каждый камень,  
И спрашивала волжская волна:  
«О, почему в бою великом этом  
Мы миру кровь одни лишь отдаем?»  
Шептали скалы в серых пятнах света,  
И ветер выл в неистовстве своем:  
«О, почему же над Берлином небо  
Не сжег огонь и взрывы не смели?  
Над нами небо от разрывов слепо,  
И с гарью стон исходит из земли. . .  
Когда же фронт второй приступит к делу?  
Чего им ждать? Какой им нужен миг?  
Иль ждут они, чтоб дух расстался с телом,  
Чтоб треснул серп и молот чтоб поник?»

7

И вот сплелись, как пальцы, батальоны.  
Перевернулось небо кверху дном,  
Земли хрипело выжженное лоно,  
И вся земля ходила ходуном.  
А между берегов, набухших ревом,  
За низкие, больные облака,  
Красива, неприступна и сурова,  
Скользила Волга — русская река.  
Дома свинцу упрямо не давались.  
Метался дым, свернувшийся кольцом. . .  
Решенье должен был принять Овадис,  
Решенье, укрепленное свинцом.  
Прочувствовать решенье каждым нервом,  
Чтоб вспыхнул, чтоб зажегся каждый нерв. . .  
«Пускай боец тут станет инженером,  
Простым солдатом будет инженер».

1

В Погосте, ввечеру, в базарный день  
 Повешен председатель сельсовета...  
 Труп на ветру качается, и тень  
 Уходит вдаль бродить по белу свету.  
 Висит казненный. Сумрак. Тишина.  
 Поля в снегах покойны и красивы...  
 Глядит с печалью на него страна,  
 А он глядит в глаза своей России.  
 Он видит, как, в сырой туман рядясь,  
 Ушли в леса ребята — к партизанам.  
 Он знает лучший путь! И вот сейчас  
 Сойдет и поведет их в чащу сам он.  
 Как ночь придет — так поведет их он!  
 Вот только час засечь в деревне нечем...  
 Но будит день расстрелянного стон,  
 Повешенного хрип тревожит вечер.

2

Погружена избушка в темноту.  
 Сегодня никого не ждет Маланья.  
 И всё ж старухе спать невмоготу:  
 Вдруг бродит свой вокруг избы в тумане?  
 В высоком небе падает звезда...  
 Она при свете звезд признала б друга,  
 И обняла б, и привела сюда.  
 Ведь на дворе вот-вот ударит вьюга!  
 Не спят ее друзья. В лесной глуши  
 Тот пули льет, а тот оружие точит.  
 Не спит Россия-мать. В ночной тиши  
 Она врагу позор и смерть пророчит.  
 Не спит Маланья. Ни одна слеза  
 Не вытечет из выцветшего глаза...  
 Она сама послала их в леса.  
 С тех пор она не плакала ни разу.

Она благословила их на бой,  
 Она сказала им, по-бабьи плача:  
 «Лес будет вам и полем, и избой,  
 А ночь глухая вас от пули спрячет».  
 И, выйдя проводить их за порог,  
 Всё плакала, всё повторяла вслед им:  
 «Сынки мои! Побереги вас бог!  
 Пусть он вас бережет зимой и летом!..»  
 Когда погаснет над селом закат  
 И тьма ночная овладеет небом,  
 Маланья отправляется в отряд —  
 С махрой душистой, с новостями, с хлебом.  
 Избушка в темноту погружена.  
 Старуха никого не ждет из леса...  
 Но хрустнула со стоном тишина,  
 И немцы ворвались в избу, как бесы.

— «Что есть, старуха, — всё давай на стол!»  
 — «Корову, бабка, выводи из хлева!»  
 — «Майн готт! Как будет «женщина-осел»?»  
 — «Достань яиц, и молока, и хлеба!»  
 — «Живей! Мы остаемся ночевать!»  
 — «Эй! Не забудь про самогон и сало!»  
 — «Стели — ха-ха! — пуховую кровать!..»  
 Она на печку немцам указала,  
 Потом снаружи двери заперла  
 И ставни затворила — по привычке!  
 Солому керосином облила,  
 Нашупала рукой дрожащей спички...  
 Рванулось пламя золотым столбом,  
 Картечью искр ночное небо раня.  
 Сквозь спящий лес, в рассвете голубом,  
 Шла к партизанам старая Маланья.

Лежит дорога — выжжена, больна, —  
 Как шрам на коже от удара плети...  
 Колхозники в иные времена  
 Ее будили песней на рассвете.

Теперь над ней свинца разбойный свист,  
Следами танков скована дорога...  
Рассвет. Стоит на насыпи фашист.  
В его глазах — и трусость, и тревога.  
Глядит — бредет старуха сквозь лесок,  
И ветки хруст в тиши морозной слышит...  
Пролаял автомат — и вот песок,  
Как красным шелком, красной кровью вышит.  
Узор припорошил колючий снег.  
Лежит дорога — серая, больная...  
К развилке комендант села фон Шпек  
Послал кавалеристов волчью стаю.

6

Стоят домишки вдоль дороги в ряд.  
Мороз раскис. Сырая глина вязка...  
Вел по селу карательный отряд  
Маланью в окровавленной повязке.  
Село родное!.. Вот Маланьин двор.  
Дымится груда бревен в черной яме.  
Еще не успокоился костер —  
Танцуют языки над головнями...  
Допрашивал старуху сам фон Шпек.  
Она хрипела, заливаясь кровью:  
«Мы вас, проклятых, всех зароем в снег!  
Креста вам не поставим в изголовье...»  
Старуху к виселице привели.  
Повесили... Раздался выстрел где-то.  
И рядом с нею, глядя из петли,  
Качался председатель сельсовета.

7

Скрипели почерневшие столбы.  
Под виселицей лестница лежала.  
Молчали люди, и лицо толпы  
И боль, и гнев, и ужас выражало.  
А староста стоял один, как стог, —  
К нему ни враг, ни друг не прикоснется,  
И от его начищенных сапог  
С брезгливостью отскакивало солнце.

Он, староста, еще свое возьмет!  
Он угодить сумеет иноземцам!  
Он в кулаке зажмет мужицкий сброд  
И партизанами уплатит подать немцам...  
Закат горел и меркнул в сосняке,  
И солнце остывало в смутных далях...  
Фон Шпек в своем красивом дневнике  
Весь этот случай описал в деталях.

8

«Маланья!» — скорбный плач душил людей.  
«Маланья!» — доносился вой метели...  
Вернули выгон старосте, а ей  
Петлю на шею палачи надели.  
В края чужие мужа занесло,  
Угнали дочь в немецкую неволю...  
Стонало глухо, зубы сжав, село,  
Маланьину оплакивая долю.  
Она висела, цепко сжав рукой  
Свою клюку, и шевелились ноги, —  
Как будто в лес шагала — по другой,  
Неведомой, таинственной дороге.  
Ветра слетелись к ней со всех концов.  
Вели ее, ей придавали силы...  
Она шагала с хлебом для бойцов  
По голубой, заснеженной России.

ПЧЕЛА В САНБАТЕ

1

Пчела, захлестнутая дымом, смолкла.  
Столп пламени стоял над ульем высоко.  
С налипшей к бархату пыльцой и свежей смолкой,  
Золототканое пчелиное брюшко  
От зноя корчилось. Навстречу первым росам  
Протяжно ухали орудьями леса.  
Прошла повозка с раненым матросом.  
Пчела забилась в обод колеса.  
Ее кормилица — в полях сторела греча...



Обрубками ветвей деревьям не взмахнуть...  
В случайном колесе — бездомности навстречу —  
Теперь вращаться ей, чтоб хоть куда-нибудь  
Снести сокровище, что было взято  
С последнего цветка в последний раз.  
Крупницу меда — весь ее запас.  
Повозка, скрипнув, встала у санбата.

2

Вставал рассвет, осенне-желт и тих.  
К земле плотнее листья припадали.  
Неясный шелест стлался от одних,  
Шел от других невнятный стон печали.  
Охваченная сладостью тепла,  
Передвигаясь по оконной раме,  
Пчела спустилась на квадрат стекла...  
С прикрытыми усталостью глазами  
Лежал, откинув голову, матрос,  
Укачиваем волнами эфира,  
И в одурманенный наркозом мозг  
Врывались отзвуки невидимого мира.  
Далекая была еще пальба слышна,  
Но болеутоляющею гостьей  
Всё шире, всё властней втекала тишина  
В отягощенные свинцовым грузом кости.

3

Не зная ни о чем, что делалось вокруг,  
Он плыл в безволии сквозь сизые туманы,  
Меж тем как пульс его отсчитывал хирург,  
Следя за подготовкой рваной раны.  
Врач шурил прорези чуть красноватых век,  
И, в рану всматриваясь взглядом неотступным,  
Он прозревал: пред ним не только человек —  
Слиянье клеток, — нет, вся совокупность,  
Взаимосвязь частиц ему ясна была.  
Изорванная ткань пред ним... Но разве  
Отторгнешь эту ткань от солнца, от тепла,  
От жизни всей во всем многообразье —

От синевы небес, от зелени полей,  
От бурь, стучащих о борта и днища,  
От кровью плачущих, бездомных матерей,  
Поникших ветлами на стылом пепелище.

4

Матрос рванулся вдруг, забился на столе,  
Хотел рукой взмахнуть, но в ней иссякла сила.  
Его куда-то властно уносило  
Сквозь белую метель, по чуждой сизой мгле  
Течение бурное. Волна его качала,  
Водоворот его таинственный вертел,  
В котором каждый круг являл ему предел  
И каждый тот предел таил в себе начало.  
Противодействуя, он всё свое упорство  
Звал на подмогу, весь свой прежний пыл.  
Он, как со штормами, вступал в единоборство  
С наркозом тягостным. Но снова плыл и плыл...  
Над ним ветра зловещие гудели,  
Его пучины поглощала пасть.  
Он вздыбливался, чтобы не упасть,  
Но каждый мускул был раздроблен в теле,

5

И он, окаменев от головы до ног,  
Огромн, полунаг, лежал недвижно, прямо, —  
Татуированный, сраженный навзничь бог —  
С зияньем на руке, той самой,  
Что гнев, и ненависть, и жаркий град  
Насыщенного гибелью металла  
Без промаха в противника метала,  
Как на блистательнейшей из олимпиад.  
А сон подстерегал. Сон вел осаду. Мерно  
Смыкал и суживал круги со всех сторон.  
Уж неся храп, сбивавшийся на стон,  
Но каждому касанью каждым нервом  
Больной противился, как будто всю свою  
Строптивость он вложил в свой каждый атом,  
Хотя сознание потерял еще в бою  
С последней брошенной его рукой гранатой.

И вдруг, затрепетав, заплакала пчела.  
 Был горек плач ее, был глух и звонок разом.  
 Казалось, кто-то вел по холодку стекла  
 Сверлящим, прожигающим алмазом.  
 Насыщенный просторами дорог,  
 В окно порой врывается ветер свежий.  
 Еще боровшийся, он вздрагивал всё реже,  
 Татуированный, сраженный навзничь бог.  
 А солнце, золотом стекая с высоты,  
 Тянуло щупальца к пчелиной спинке...  
 Как руки скорбные, два лоскута слюды  
 Вздымались, трепеща, и никли, как слезинки.  
 То плакал улей, выжженный дотла,  
 То плакал мед, не выложенный в соты...  
 Тревожным хоботком ища кругом чего-то,  
 Пчела, пригретая, всё медленней ползла.

Резвились зайчики на потолке, на шторах.  
 Инструментарий бронзовел в луче...  
 Матрос лежал с повязкой на плече,  
 И от халатов стлался белый шорох...  
 Великолепием в снега одетых елей  
 Дышало от столпившихся сестер.  
 Эфир свершил свое: отяжелели  
 Все члены спящего. Сон одолел и стер  
 Сознание времени и ощущение боли.  
 Порой лишь чудилось раскатное «ура»  
 Да с ним вперегонки неслоь куда-то поле.  
 Как древо мудрое познания добра,  
 Спокойствием и властью опоясан  
 И равен воину решимостью своей,  
 Клонился над больным хирург. Сейчас он  
 Расторгнет сам на миг взаимосвязь частей

И прикоснется, как впервой, как внове,  
 Покровы обнажив за слоем слой,  
 К материи — к ядру всей сущности живой,  
 Первопричине и первооснове...

В нее он скальпель свой целительный вонзят,  
Чтоб ей из смерти встать в гармонии единой...  
И тут, сквозь дальний гром пальбы, совсем вблизи,  
Услышал тонкий он, алмазный плач пчелиный.  
Тем плачем плакал, приклонясь к меже,  
Еще до колошенья сбитый колос.  
То липа плакала о том, что ей уже  
Не цвести в медвяности. То был природы голос.  
Он шел как бы из недр самой земли,  
В нем слезы матери звенели и вдовницы  
О том, что черные над ней простерлись птицы  
И солнце от нее заволкли.

9

И тихий тот был затаенно-страстен  
Пчелиной песней исходивший плач.  
Дурманил всех эфир, и только врач  
Был ворожке наркоза неподвластен.  
Зияла рана формой креста,  
Сочилась дышащей, живой, горячей кровью.  
Казалось, это скорбь — наперекор безмолвью —  
Окровавленные разверзла вдруг уста  
И крикнуть силится, но тем лишь муку множит:  
Ее стенанию излиться не дано...  
Так сердце, сколь ни колотись оно,  
Из плена ребер вырваться не может.  
Хирург брал штурмом крепость. Погрузил  
С решимостью бойца орудие целенья  
В глубины скрытые и сквозь переплетенья  
Тончайших волокон и тесно слитых жил.

10

Вот ткань расторгнута... Вот оголились кости,  
Вот, первородною сверкая наготой,  
Друг с другом сведены и льнут одна к другой...  
Он выпрямляется. Победы близкой свет  
Горит в его лице. Он водвориться  
Велит гармонии... Вдруг половица  
Под ним шатнулась, ей в ответ  
Обломок крыши тарахтит железом,

Стена колеблется... Но, выхаркнув свой гром  
И вышину крылом разбойным взрезав,  
Стервятник мчится прочь. И вот уже в пролом,  
Как изумленное, глядит, синяя, небо  
Сквозь обагрённые зарею облака.  
Закала верная, не дрогнула рука.  
Труд возвращенья к жизни прерван не был.

11

Края осколка жгли, давили и кололи,  
От крови хлынувшей халат его набух.  
Но, к боли собственной как будто глух,  
Лишь к раненому он не допускает боли,  
Всю мудрость знания, весь опыт свой вложив  
В труд благороднейший. Тот труд привел  
к награде:

Дыханью смерти врач не уступил ни пяди:  
Защитник родины — он будет жив.  
Извлечены предательские пули,  
Кость с костью сведена — сольется с тканью

ткань...

Отважный сын страны, герой, кому вернули  
Святое право мстить, — для мести той восстань!  
Свою поправший смерть, гранату за гранатой  
Мечи без промаха в дракона тьмы и зла!..  
Скользило солнце по стене санбата,  
Металась по стеклу жужжащая пчела.

С ВЫЖЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ

1

Готов к прыжку, лежал в рассветном серебре  
Настороженный Дон у выжженной станицы.  
Тройной броней укрыт, враг выполз на заре,  
Чтоб кровью окропить созревшую пшеницу.  
Но танки русские наперерез летят,  
Глашатаи побед, как трубы, вносят жерла.  
И больше нет границ, и больше нет преград.  
Шипами гусениц изранена, простерлась

Родная ширь. Окутаны огнем,  
Машины в бой несут разящий гнев народа.  
И мчится на сближение с врагом  
Ракиты пятый сын. Правофланговый. Федор.  
Он, как у домны, закипающей ключом,  
Смотрел сквозь щель туда, где рушилось полмира,  
И зов отца звучал и разливался в нем —  
Ракиты властный зов, Ракиты-командира.

2

Сквозь смотровую щель глядел он, притаясь.  
Всё корчилось в огне. Но не отвел он взгляда,  
Хоть вся земля пред ним видением неслась  
Горящего в ночи, бушующего ада.  
В горниле адском плавилась земля,  
Железным крошечком она, гремя, швырялась,  
Метала молнии, круша и пепеля  
Всё то, что исстари под солнцем создавалось.  
Он видел смерть. Она была кругом.  
Она и впереди и за спиною,  
Она, как тяжкий град, стучалась в танк свинцом,  
Отскакивала прочь и рассыпалась, воя.  
И дуло пушки ввысь рывком направил он,  
Чтоб вихревой простор вдохнуть хоть на минуту.  
Но воздух плотно сжат, но воздух раскален,  
Нет воздуха — лишь пламень лютый.

3

По выжженной земле идет он напролом.  
Он вдавликает в прах серо-зеленых гадин,  
Враги раскиданы, распластаны кругом.  
Он слово дал отцу, что будет беспощаден  
И не расстанется с штурвалом до конца,  
Враг не уйдет живым с простора дорогого, —  
И вот он выполнил святой обет бойца,  
Сдержал он с честью воинское слово.  
Вдруг — молния! Бойца ли пламень голубой  
Пронзил? Иль из него взметнулось пламя?  
Где, где оно? Схватить его рукой?  
Иль впитаться в огненный поток глазами?

Нет, не свинцовый град, нет, не волна  
Стучащего в броню смертельного металла, —  
Нет, молния! Летит и кружится она.  
Вдруг, на рога подняв, она его умчала.

4

Ввысь взмыла вместе с ним в горящий небосвод,  
Низверглась вместе с ним в провалы черной бездны  
И увлекла его в слепящий хоровод  
Костров обугленных и высей звездных.  
И плоти раздираемой раздался крик,  
Весь мир взорвавший: «Братцы!»  
Не танк ли возопил? Иль вопль в земле возник  
И опалил бойца? Едва успев раздаться,  
Не он ли гасит свет, не он ли гасит твердь?  
Он клонит голову бойца всё ниже, ниже...  
Боец ослеп. Его хлестнула смерть,  
Глаза водителю язык палящий выжег.  
И пала тьма. Танк тьмою окружен,  
Тьмой непроглядною, как целый мир, огромной.  
«Где я? .. Откуда ночь?» — на миг забылся он.  
Еще мгновение — и сразу всё он вспомнил.

5

«Что это? .. Я ослеп? ..» — соседу он сказал,  
Во тьме ища его дрожащими губами.  
Нащупал рану он. «Глаза, мои глаза! ..  
Глазницы липкие оставило мне пламя».  
Он знает степь, свой край он видит и слепой,  
Он видит и врага: вот, вот он! Спозаранку  
Он рассыпается по ниве золотой,  
По светлой ниве черным стадом танков.  
И вновь товарищу: «Сдаваться не хочу,  
Еще поспорю я с крошечным мраком!  
Налево нам — ударь по левому плечу,  
Удар по правому — «направо» будет знаком».  
Опасность съела боль. Опасность стережет,  
Таится, прячется, — но в нем напор не сломан.  
Как бы зажмурившись, он ринулся вперед,  
Он топчет всё вокруг, и давит всё кругом он.

Не видит встречных он, не видит он пути,  
 Вслепую танк ведет он по равнине,  
 Пытаясь ширь, незримую отныне,  
 В воображенье воспроизвести.  
 Еще он близок, свет, не до конца потух —  
 Перед глазами горят круги, их много...  
 Он опаленным ртом схватил бы каждый круг,  
 Он мог бы их и пальцами потрогать...  
 Толчок в плечо. Еще. Он с танком слит.  
 Правей, левей... Сворачивая круто,  
 Водитель бой ведет вслепую. Он спешит,  
 Боясь оставить руль на сотую минуты.  
 И руку, чудится, ему отец кладет  
 На чуткое плечо. Незрячими глазами  
 Увидел он: отец с ним танк ведет...  
 Вдруг танк заскрежетал и, оглушенный, замер.

«Что нас толкнуло так? — во тьму  
 Он прокричал. — Куда вести? Скорее!»  
 Боец ответил, наклонясь к нему:  
 «Мы врезались во вражью батарею».  
 — «Где мы теперь? — сквозь боя гулкий шквал  
 Кричит он опаленным ртом. — Что с нами?»  
 В ответ сам ад ему прогрохотал  
 С железным скрежетом, закутавшимся в пламя.  
 «А сколько мы еще...» — он попытался вновь  
 Узнать хоть что-нибудь, беспомощный, незрячий...  
 Но воздух кончился, из горла хлещет кровь  
 Струей обильною, горячей,  
 И, смертью сорванный, не дозвучал вопрос.  
 Но он не выпустил руля, и, с танком слитый  
 И мертвый, он врагам лихую гибель нес,  
 И, мертвый, бил их пятый сын Ракиты.



1

Приказу краток срок. Приказу путь далек.  
 Связист промчится, кровью весь залитый.  
 И вдруг — звонок.  
 «У телефона командир Ракита».  
 И в сердце бой вошел. Он сердце полонил  
 И лавой разлился по жилам опаленным:  
 Не танки ль русские, врагу прорвавшись в тыл,  
 Вломились в черный стан немецкой обороны?  
 Он на посту командном наблюдал  
 За битвой двух колонн, за схваткою могучей:  
 В единоборство шел на вал тяжелый вал.  
 И вот заполнил бой его сознание жгучей  
 Высокой радостью, вскипевшею ключом.  
 И выкрикнуть хотел он в купол синий:  
 «Ну, молодцы! Дерутся горячо!» —  
 И вспомнил с гордостью о пятом сыне.

2

И каждым вздохом вдаль тянулся он,  
 Туда тянулся, злой тоской ужален,  
 Где Сталинград в огне, испепелен,  
 Дымился, громоздясь уступами развалин.  
 Он, озирая даль с командной высоты,  
 Подумал с гордостью печальной, приглушенной:  
 «Русь, из твоих руин глядишь не только ты —  
 Весь мир глядит из пепла затаенно».  
 Он, трубку сжав, хотел так прокричать в нее,  
 Чтоб громом разнеслось над необъятным красн:  
 «Сыны мои! Сшибайте воронье,  
 Давите хищников! Ломите черепа им!»

8

Сыны Раките ближе и родней,  
 Когда они как воины предстали,  
 Чем в дни, когда отец в них видел лишь детей  
 И дети лишь отца в нем знали.

«Сильней, чем отчий дом, приворожил их бой,  
Сквозь слезы матери опасности вели их. —  
И — с жгучей гордостью и тайною тоской: —  
Эх, разметало их громами гроз великих!»  
И чудилось ему: они собрались тут —  
В неповторимости своей прекрасен каждый —  
И, загорелые, беседу с ним ведут,  
Как за столом семейным не однажды.  
Когда меньшому время подошло  
Сесть в танк и двинуться, наполнив землю гулом,  
Глазами, что могли б разрезать и стекло,  
Ему, отцу, из люка подмигнул он:

4

«Ну, бригадир, прощай! За норму постоим,  
Как и всегда. Пока глаза мне служат. . .»  
Словечко «бригадир» прошло огнем живым  
От горла к сердцу, точно чарка в стужу.  
Теперь он ждал вестей, ловил малейший знак.  
Вздымалась даль пред ним, как в огневице.  
Как бурные валы, чрез холм и чрез овраг  
Катились танки грозной вереницей,  
Взлетала искореженная сталь,  
Слетали каски прочь, как сбитые вороны,  
Дол вздыбился в огне, и колебалась даль  
Под низкой тучей, кровью отягченной.  
Приказу краток срок. Приказу путь далек.  
Связист промчится, кровью весь залитый.  
И вновь звонок.  
«У телефона командир Ракита».

5

Весть, точно молнию, заслал в землянку ад.  
Отчетливо от слова и до слова,  
Грозя бедой, доносит аппарат:  
«Остановился танк правофланговый».  
— «Так, дальше? — выдавил Ракита в трубку хрип,  
Как у оракула, судьбу пытая. — Ну же!  
Что с экипажем?» — «Экипаж погиб».  
Оледенил, сковал Ракиту ужас.

«Так, дальше что?» — в звенящей тишине  
Он властно вопрошал у трубки снова —  
И вдруг затих... «Что это?.. Снится ль мне?..  
Ведь Федор танк ведет правофланговый!»  
Бедра обрушилась бушующей грозой,  
Молниеносной, дикой. Оглушенный,  
Он встал рывком, он сделал шаг-другой...  
Он ищет выхода... Спускается по склону.

6

Взрывался горизонт — за валом черный вал,  
Катилась в небе смерть огнистыми кругами,  
И без оглядки вдаль Ракита зашагал.  
Вот он исчез в дыму, вот рядом взмыло пламя.  
Пред взрывами, гремящими вокруг,  
Не отступает он, свист пуль ему невнятен:  
Лишь сердца своего он слышит частый стук,  
Дыханье тяжкое не в силах обуздать он.  
Он затаенный слышал гнев земли,  
Каменьями исхлестанной жестоко...  
Скупые слезы по щекам текли,  
Отец, потупившись, шагал навстречу року.  
Он судорожно боль сглотнул.  
На взоры пелена тумана пала.  
Четверка воинов почетный караул  
У танка мертвого держала.

7

Отец сыновний прах не вверит никому —  
Сам обрядит и сам в последний путь проводит.  
Солдаты молча подошли к нему.  
И вдруг почудилось — сыны к нему подходят.  
И прозвучал глухой тоскою стон,  
Пригнула плечи тяжкая утрата.  
Сынов воочию хотел бы видеть он —  
Чтоб отдали свой долг последний брату,  
С ним попрощались бы у верного руля,  
Закрыли бы глаза ему на поле брани...  
Тоской и горестью исходит вся земля,  
И каменная тишь сердца глубоко ранит.

Он всё смотрел на танк, безмерно дорогой —  
Дороже ничего не знал он сроду, —  
И медленно открылся люк. . . Живой  
Лишь час назад в нем улыбался Федор.

8

Он, мертвый, у руля. Он сросся с ним. Слепой,  
Он всё глядит вперед, на зарево пожарищ.  
Он будто ждет, всё ждет, когда рукой  
К его плечу притронется товарищ  
И знак подаст — левее иль правей.  
И мертвый, кажется, свой танк ведет он смело. . .  
Знакомое отцу сплетенье якорей —  
Татуировка на руке синела.  
Ракита в танк вошел. Сын — вот он, перед ним.  
Глазницы черные в широкий мир открыты.  
Кровь запеклась у рта. Немой тоской томим,  
Смотрел на сына бригадир Ракита.  
И шепот сдавленный раздался вдруг,  
Нависшее молчание нарушив,  
Ракита бережно коснулся мертвых рук:  
«Проснись, мой сын. . . с тобой отец твой. . .  
слушай! . . .»

9

Склонив колени, на лице родном  
Всю силу взора он сосредоточил,  
Смотрел, прислушивался, ждал — потом  
Поцеловал обугленные очи.  
Ни вдоха, ни слезы. Суровый исполин,  
На раны Федора он смотрит долгим взглядом.  
«Подвинься, сын!  
Нам в бой! Отныне будем биться рядом. —  
И к сыну мертвому подсел отец. —  
Из нас двоих никто с штурвалом не простится,  
Покуда не придет разбойникам конец,  
Пока в развалины их дом не превратится!»  
Залп! — четырех бойцов напутственный салют.  
Курс — к западу: там пламя полыхнуло.  
Рванулся танк. . . пошел. . . Отец и сын ведут  
Его вперед среди огня и гула.

1

В раздумии фон Паулюс: «Сталинград...  
 Ошибочную сделал фюрер ставку.  
 Для стали коэффициент был верно взят,  
 Но храбрость русская в него внесла поправку».  
 Мираж ли, бред? Простор глаза слепит,  
 Иль даль сама от бешенства ослепла?  
 Красноармеец в пятый раз убит  
 И в пятый раз встает из пепла.  
 Иль дух таинственный сюда завлек  
 И водит, встав то впереди, то рядом?  
 Сломившись, дерево, гляди, пошло без ног,  
 Кирпич сорвался и летит снарядом.  
 Всё борется, как будто бы вошли  
 В единый строй с людьми стихии.  
 И зыком огненным гремит из-под земли:  
 «Мы вас раздавим! Мы — Россия!»

2

Их шестеро осталось. Вшестером  
 Траншею держат, мучимые жаждой,  
 И знают: «Ни на шаг не отойдем!»  
 «Стою, куда жив!» — решил здесь каждый.  
 В один конец траншеи впаян Дрозд.  
 Ростовцев, раненый, прирос к другому.  
 А Левин мечется: то этому подаст  
 Гранату в руки, то тому, как дома,  
 В портновской мастерской разверстывал  
 приклад, —  
 И шутит всё: «Ну, певчие, нажмите!  
 На голоса, как требует обряд,  
 За упокой по обер-гадам — битте!»  
 Ростовцев истомлен — и жар, и боль в груди,  
 И жажда мучает, и треплет огневица,  
 А Левин утешает: «Погоди,  
 Я ночью сам пойду к Царице.»

Колени преклоню и медленно, как стих,  
 Реке я так скажу примерно:  
 — Царица! Шестеро осталось нас — твоих  
 Защитников, родных и верных.  
 Ростовцев, раненый, дерется, чтоб фашист  
 Твою струю не осквернил, Царица.  
 Дозволь, родная, в шлем набрать воды —  
он чист;

К тебе дозволь мне грудью приложиться.  
 Ты слушай, как казах Мамедов говорит:  
 Орлиный клекот, не понять ни слова, —  
 Но каждое без промаха разит:  
 «Был пес и нет — ставь на мишень другого!»  
 Наш командир, он командир и есть,  
 Да Дрозд с Полтавщины, — надежны, видишь,  
фланги.

Я здесь, Царица, чтоб воды принести, —  
 Дай для товарищей наполнить фляги!»

## 4

Не досказал он: гром и лязг. «Смотри,  
 Танк выполз и на нас, проклятый!»  
 Летит бутылка, две бутылки, три,  
 Взметнулась за гранатою граната.  
 «Гляди, Царица, танк стоит. Зажглось!  
 Второй, гляди, Царица, вспыхнул следом!  
 То Дрозд фашистам выпивку поднес,  
 То выворотил им нутро Мамедов!»  
 Так Левин, сам бросая, говорил,  
 И боли не заметил он как будто,  
 Укола и толчка не ощутил,  
 Когда земля вдруг накренилась круто.  
 Он говорил: «Царица, погляди:  
 Вспять поползли! Не повезло в игре им!  
 Костер с костром столкнулся — бьет наш  
командир.  
 Бок о бок бьет с бойцом, с портным-евресем!»

Вот кинулся Мамедов на бруствер,  
 Вот на ползущий танк залез он — хваткий,  
 Как беркут тот, с которым он в родстве!  
 «Царица, даль забила в лихорадке.  
 Всех сон свалил — но что за сон:  
 Друг другу раны мы спешим перевязать,  
 Зубовным скрежетом и боль и кровь унять,  
 А ночью мы придем к тебе напиться,  
 Придем наполнить фляги. Жди, Царица!»  
 Бой к ночи кончился. Но смутный гул  
 Донесся вдруг — то шел резерв волной  
 горячей.

«Ну, — Левин объявил, — держите караул,  
 А я к реке, хоть на карачках!»  
 Все вымазаны, все как липкий ком земли,  
 Осыпавшейся со стены траншеи.  
 Но в лица им, как мать, вдали  
 Река дышала, свежим ветром вея.

И шестеро держали высоту,  
 Не зная сами в этот час последний,  
 Уж не земля ль они — в крови, в дыму,  
 в поту —  
 На Сталинградском рубеже переднем?  
 И каждый щупал сам себя: «Я ль это тут  
 Сквозь сорок дней прошел?» Дрозд понял  
 первый,  
 Что через Волгу впрямь плывут,  
 Их издали приветствуя, резервы —  
 Приветствуя той страстной немотой  
 Ночного марша, тишиною скованного...  
 Пополз к Царице Левин за водой  
 И не дополз: прибил его к земле осколок.

Дышала тишина, разлукою грозя;  
 Дышала радостною встречей.  
 На волю выносили новые друзья  
 Тех шестерых, сдружившихся навечно.

За ними, точно тень у ног,  
Шли сорок суток огненным порядком.  
На губы Левину как будто пепел лег,  
И он глотал тот пепел в лихорадке.  
Всех сон свалил — но что за сон:  
Спать и не чувствовать толчков неожиданных!  
А Левин не заснул. Сквозь байку щупал он,  
Цела ль нога — и есть, и нет! Как странно!  
К нему сестра склонялась, и сестру  
Он успокаивал, он говорил: «Сестрица,  
Я, знаете, портной. Я не умру:  
Портной и без ноги для фронта пригодится».

### СТАЛИНГРАДСКАЯ БУРЯ

#### 1

Вперед, за шагом шаг, за милей миля,  
Сквозь катастрофы, пламя и снега  
Две армии советские спешили,  
Соединившись, в клещи взять врага.  
Донская степь и Сальские просторы  
Вулканами гремят, издалека  
Текут полки, как лава под напором,  
Как огненная бурная река.  
Близ Волги с лязгом челюсти сомкнулись.  
В мешке из пламенеющих штыков  
Своею черной кровью захлебнулись  
Все двадцать две дивизии врагов.  
Лежат снега в цветенье красноватом,  
Победный вихрь у армии в ушах, —  
Судом неотвратимым и расплатой  
В Берлине отдается каждый шаг.

#### 2

Гремит от гор до моря канонада —  
За жизнь, за вдохновенье, за мечту, —  
И каждая пылинка Сталинграда  
Частицей бури рвется в высоту  
Сквозь девяносто дней, седых от дыма,  
Сквозь девяносто огненных ночей...



У Волги чуда не было — незримо  
Примчалась буря с воинством смерчей,  
Посеянная старшим поколеньем  
В грохочущий разрывами рассвет,  
Она пришла для нового сраженья. . .  
За двадцать пять советских славных лет  
Россия богатырская впитала  
В себя высокий дух большевика,  
Поправ невзгоды, гибель и усталость,  
Неся освобожденье на штыках.

3

Могуча правда гордого народа,  
Которому оковы нипочем,  
Который факел вскинул к небосводу  
И ратным опоясался мечом.  
Народы-братья встали на сраженье,  
Они слились — надежен сплав, как сталь,  
Озарена сияньем вдохновенья  
Эпох грядущих солнечная даль.  
И всё это бессонными ночами  
Рассчитано в Кремле до мелочей, —  
Чтоб стиснуть вражью голову клещами,  
Чтоб не было спасенья из клещей!  
И Волга перед жадными глазами,  
Как зеркало, легла, лелея месть, —  
Чтобы двойной добыча показалась,  
Чтоб пес фашизма обожрался здесь!

4

Нелегок путь, но близок час веселья,  
Победы час — он яростен и прост,  
И армии, как паводок весенний,  
Стекались под шуршанье дальних звезд.  
Шли командиры, черные от дыма,  
Глаза усталые, обугленные рты. . .  
Садовский на пригорке снегом вымыл  
Лицо и руки — не было воды.  
Тревожный ветер торопил в дорогу,

Считая преждевременным покой, —  
Вперед, вперед... Но было жаль немного  
Расстаться с Волгой — русскою рекой.  
Она текла не по равнине плоской,  
А по сердцам, и, верно, потому  
Была спокойна... Не слышал Садовский,  
Когда Гурарий подошел к нему.

5

Сомкнулись плотно глыбы льда рябые  
В отметилах ранений пулевых,  
Они стоят, они как часовые —  
И лишь весенний ветер сменит их.  
А Волга задремала, — так и надо,  
Ценить покой привыкнешь за войну...  
Торчат во льду баржи неровным рядом,  
Носами вниз и смотрят в глубину;  
Ушанка чья-то в проруби кружится,  
Пустой подсумок крепко вмерз в паром...  
Далече отодвинулась граница,  
Далек, не слышен орудийный гром,  
А тишина на холоде крепчает,  
Молчит вода под пленкой голубой,  
И каждая руина обещает  
Поведать миру сталинградский бой!

6

«Величье Волги взглядом измеряешь? —  
Спросил Гурарий. — В мире равной нет».  
Хрустящим снегом руки растирая,  
Сказал Садовский медленно в ответ:  
«Величие России не в просторах,  
Не в Сталинграде, — нашею рукой  
Здесь, возле Волги, взят фашизм за горло,  
Но корни ведь в народе, дорогой».  
А снег благословения седые  
Ронял на пепел, словно звездный свет...  
«Хочу себе представить путь России  
За двадцать пять походных наших лет.

Здесь время испытало путь, которым  
Прошла Россия, здесь утверждена  
Навеки наша правда, и позором  
На недругов обрушилась она.

7

Она еще почти эмбриональна,  
Ей надо развиваться и расти,  
Она не всё постигла, глядя вдаль, но  
Постигнет всё, на то она в пути.  
И мы преподнесем ее, Гурарий,  
Не на подносе в пляске бубенцов,  
Не в золоте, о нет — в шинели старой,  
С изрубленным буранами лицом.  
Отсюда, от развалин Сталинграда,  
Упрямые и юные всегда,  
Мы пронесем ее сквозь канонады,  
Метели, степи, сёла, города!  
Умывшись снегом, с красными руками,  
Пройдя полсвета маршем вихревым,  
Придем никем не прошены, и сами  
От сердца правду миру отдадим.

8

Не босоногой нищенкой с сумою,  
Не богомолкой явится она,  
Шум леса принесет она с собою  
И пенье птиц. Она окружена  
Туманом грез девичьих, но из бездны  
Лазурной к нам орлицею она  
Опустится сквозь лязг боев железный,  
Дыханьем баррикад опалена.  
Ее броня ковалась на Урале  
Народами, идущими на бой,  
Ее глаза острее ратной стали,  
Кремлевская звезда над головой.  
Она — дитя пылающих столетий,  
Зачинщик битвы хижин и дворцов,  
Под палками прошла сквозь строй столетий,  
Подняв над миром гордое лицо.

Она, возникнув в яростном размахе,  
 Ломая темноту ночей пустых,  
 Прошла сквозь тело Разина на плахе  
 И декабристов гордые мечты.  
 Но море не мелеет, если волны  
 На скалы мечет яростный прибой, —  
 Познала правда мир, страданий полный,  
 И Ленин воплотил ее собой.  
 Взглянуть вокруг попробуй без протеста —  
 Одни руины высятся окрест,  
 Здесь каждый камень — буква манифеста, —  
 Написан нашей кровью манифест.  
 Но мы живем — мы снегом руки моем,  
 Мы в письмах ищем теплые слова...  
 Я, знаешь, получил вчера какое —  
 Березку Воробей нарисовал».

Но сердце слышит дальние раскаты,  
 Но полон взгляд заснеженных дорог, —  
 Стоять над пеплом некогда солдату —  
 От Волги новый яростный бросок.  
 Фашистам путь отсюда, с пепелища,  
 Намечен прямо в пропасть, под уклон:  
 Ростов, освободясь, оружия ищет;  
 Оковы разрывает тихий Дон.  
 Несется, рамки времени ломая,  
 Как белый шквал, как буря, как пурга,  
 Победными громами громыхая,  
 Железный сталинградский ураган.  
 А снег лежит в цветенье красноватом,  
 А вихрь поет у армии в ушах, —  
 Судом неотвратимым и расплатой  
 В Берлине отдается каждый шаг.

1

Плоты отвалили, покинув причалы,  
 Под огненным градом рванулись понтоны.  
 Стремнина днепровская их целовала  
 И к правобережью несла исступленно, —  
 Несла, бормоча в темноте одичалой:  
 «Преграды разбиты, и смяты заслоны!»  
 Два года томилась в неволе волна,  
 И вот дождалась этой ночи она!  
 С откосов стволы низвергались обвалом  
 И сами в паромы рвались уложиться,  
 Чтоб скрытая сумрачной мглой вереница  
 К бессмертью дорогу сквозь смерть пробивала...  
 Поплыли бойцы вдохновенные, вздыбля  
 Сращенные с тьмою днепровские зыби,  
 И свет, излученный из тысяч сердец,  
 Ту ночь озарял из конца и в конец.

2

Как звезды в полуночной пасмурной дали,  
 Солдаты таились во мраке суровом  
 И Днепр лишь морганием век привечали,  
 Чтоб вылазки смелой не выдать ни словом.  
 Натужно под грузом скрипели паромы,  
 То кверху, то книзу волною влекомы,  
 И с берега на берег огненный вал  
 В ту ночь рубежи свои передвигал.  
 «Шинели долой!» Только ветер на теле...  
 Приказ — и оседлана зыбь ледяная...  
 Окутаны войлоком, весла немели,  
 Крыла невесомей волну рассекая.  
 В туманном просторе, от края до края,  
 Ни шумов, ни шорохов слышимых еле,  
 Ни стука приклада, ни звона штыка  
 Той ночью глухой не слыхала река.

Тянули шнуры к переправам связисты,  
 Саперы в воде ледяной по колена  
 Мостили пути для пехоты плечистой,  
 Когда закрутились, завихрились пеной  
 Угрюмые зыби, качнуло понтоны,  
 И с гулом распался паром нагруженный, —  
 Но тотчас пустились на помощь к нему  
 Десятки челнов сквозь кромешную тьму.  
 Искривленной фермой, застывшей в дозоре,  
 Подорванный мост замаячил сурово.  
 Боец выплывает, с течением споря,  
 Волною выносит навстречу другого, —  
 Кто к берегу правит, хрипя от усилий,  
 Кого ледяные валы поглотили,  
 Кто мраком зажат средь пучин буревых,  
 И смерть он в объятиях душил своих.

Волнами захлестнутый, тьмой ослепленный,  
 Боролся с погибелью Дрозд что есть силы,  
 И вдруг перед ним зачернелась колонна;  
 Подплыв, он вцепился в нее, как в перила,  
 Садовскому бросил: «Готово! За нами  
 Уже половина Днепра!» Над волнами  
 Мгновенье спустя закачался другой.  
 «Не берег ли, братцы?» — махнул он рукой.  
 Плоты отвалили, покинув причалы,  
 Под огненным градом рванулись понтоны.  
 Стремнина Днепра их на волнах качала  
 И к правобережью несла исступленно, —  
 Несла, бормоча в темноте одичалой:  
 «Преграды разбиты, и смяты заслоны!»  
 Два года томилась в неволе волна,  
 И вот дождалась этой ночи она!

Стираются времени строгие грани —  
 Над берегом утро иль полночь глухая.  
 Селенья гудят, просыпаясь в тумане,  
 И степь пробуждается, тьму колыхая.  
 Выходит рыбак из потайного лога  
 И волоком тащит свой челн на подмогу, —  
 Величьем, и болью, и бурей стальной  
 Та грозная полночь легла над страной.  
 Ракета с ракетой скрещаются круто,  
 И Днепр свирепеет от гула и грома,  
 И снова, тасуясь, мелькают минуты,  
 Бочонки и доски, плоты и паромы. . .  
 Когда-нибудь людям кобзарь вдохновенный  
 Расскажет, как полночью той незабвенной  
 По хлябям разверстым, сквозь грохот и рез,  
 К бессмертью плыла вереница плотов.

Она по воде, клокотавшей, как лава,  
 Рвалась к берегам и несла вызволение.  
 «Давно позади голубая Полтава!» —  
 Гремело во мгле — непроглядной, осенней.  
 Вот Лавра маячит; вот, ночь протаранив,  
 Горою Шевченко означился Канев;  
 Выходит кобзарь из могилы встречать  
 Народных бойцов легендарную рать.  
 «Как звать партизанов могучее племя,  
 Что в яростный ветер и пламя оделось?  
 Как звать рыбаков, что в неведомой теме  
 Челны сберегли на священное дело?»  
 Восстав из могилы, оваянной славой,  
 Кобзарь их скликает на холм величавый,  
 Чтоб песней, звенящей, как трубная медь,  
 О битве великой в веках прогреметь.

Шли дети толпою к днепровским затонам,  
 Солдатской суровою лаской согреты,  
 Несли, пожимаясь под ветром студеным,  
 Охапки соломы, мешки очерета —  
 Погуще, помягче орудьям настилы.  
 Рассвет прорезался сквозь сумрак застылый,  
 Семижды прекрасный, с грозой в очах, —  
 Он шел на парамах, он шел на плотях.  
 Не трубные ль глотки взгремели сурово?  
 И цепи ломаются, рвутся оковы, —  
 Вот яростью с черного неба дохнуло,  
 Вот взвихрился Днепр от свирепого гула,  
 Вот раненый бьется с крутой быстринию,  
 Плывет он, ружье приподняв над волною, —  
 Последний рубеж одолеть, перемочь, —  
 До берега он доплывет в эту ночь!

Кто первый из первых той полночью бурной  
 Взнуздal ледяное днепровское стремя,  
 Кто первый из первых увидел воочью  
 Полоску земли в полыхающей темноте?  
 Как молот зовется, что ладил паромы,  
 Мосты воздвигал, пробиваясь сквозь громы  
 И пламя сражений, чей бурный разбег,  
 Как эту полуночь, запомнят навек?  
 Как звать ту отвагу, ту мудрость и силу,  
 Что ярость из тысяч сердец излучили,  
 Блеснув чудесами от края до края,  
 Заставы круша и преграды ломая?  
 Ей имя — народ, и свобода ей имя,  
 Ей имя — свобода отчизны любимой.  
 Вовеки сиять им в победной заре,  
 Как будет сиять этот бой на Днепре!



## 1

Последний залп. Последней пули свист.  
Берлин уснул. Мундир его распорот...  
Покинув обвалившийся карниз,  
Шагает ночь. И ей подвластен город.

Что здесь живого, среди кирпичных груд?  
Глядят слепые окна на дорогу.  
И крысы ошалелые бегут,  
Бегут от нераспознанных порогов.

Дымится дом. Вот-вот начнет пылать.  
Он душным дымом давится и дышит.  
И плечи стен не в силах удержать  
Громаду изувеченную крыши.

Мертво щербатых площадей лицо.  
И город пуст. Пуст, как пустая полка.  
Во всем Берлине лишь питомцы «Цо»  
Удивлены случившимся — и только.

## 2

Они ноздрями втягивают жуть —  
И каменеют. Стынет дрожь на коже.  
Так перед бурей: вволю не вдохнуть.  
И после бури так бывает тоже...

Природа не дала сюда вступить  
Имперскому величью: здесь граница.  
Здесь, в «Цо», не хочет червь по-волчьи выть  
И волк червем не хочет обратиться.

Здесь, в «Цо», шакал — на весь свой век шакал,  
А ласточки теплу и солнцу рады,  
Как будто здесь фашизм и не шагал...  
Здесь всё не так, как рядом, за оградой!

Сверхчеловек — и зверь. И кто же прав?  
Сверхчеловек — и зверь. Кому ж виднее? . . .  
От города отгородил жираф  
«Цо» мирный, опустив шлагбаум шею.

8

Рассвет весенний потонул в пожаре.  
Теплей не стало с наступленьем дня.  
С дозора возвращался в часть Гурарий.  
Кругом светло. От солнца ль? От огня?

Дым царствовал, угрюмый, плотный, горький.  
Он город утопил в тяжелой мгле.  
Берлин хрипел, как после крепкой порки,  
Раскинув руки улиц по земле.

И только деревцо на тротуаре  
Готовилось зазеленеть листвою. . .  
Но что это? Прислушался Гурарий.  
Как будто плач. А может, ветра вой?

Нет, это плач. Прерывистый и тонкий.  
Нет, это плач. Это не свист свинца. . .  
И вдруг Гурарий увидал ребенка —  
На битом кирпиче, у деревца.

4

Уже не плачет. Страх сошел с лица.  
Он не один в неистовстве пожара. . .  
А в яме, в двух шагах от деревца —  
Там женщина убитая лежала.

Рассвет прилег на сонную панель,  
Облокотился о куски гранита. . .  
И синий номер, как печать, синел  
На запрокинутой руке убитой.

Кто эта женщина? . . Но незачем гадать.  
Из пальцев смерть не выпускает горло.

И; падая на мостовую, мать  
К ребенку руку мертвую простерла.

Одна беда из миллионов бед!  
Слеза горька иль горек запах гари? . . .  
Он сын ей, этот мальчик, или нет —  
Его возьмет с собой боец Гурарий.

5

День побеждал. Холодный мрак исчез.  
Берлин лежал, как туша, освежеван.  
С рассветом, как с ружьем наперевес,  
Гурарий шел по городу чужому.

Он на руках ребенка нес. И пел.  
И стреляными гильзами звенел он. . . .  
Благословен родительский удел!  
А сердце в битвах не окаменело.

В воскресший день он путь свой продолжал,  
Он в жизнь шагал, в рассвет шагал крылатый.  
Смеясь, ребенок что-то щебетал.  
А может, «папа» он сказал солдату?

Шагал солдат. А деревцо вдали  
Кипело зеленью разбухших почек.  
И вот уж к солнцу листья поползли,  
И вот разжал ладонь один листочек.

6

Границы нет меж стужей и теплом,  
Как нет ее меж радостью и мукой.  
Гурарий вспомнил свой сожженный дом,  
Где гнев его горел тысячурукий.

Он помнит всё — и кто забыть бы смог?  
Та ночь у рва стучится в мозг упрямо.  
Он помнит сына тонкий голосок:  
«Зачем песок в глаза мне сыплют, мама?»

Он помнит всё. Но он идет вперед —  
Не оживут расстрелянные дети. . .  
С ребенком на руках солдат идет.  
С чужим? Нет, с самым дорогим на свете.

Живая радость крепче всех скорбей.  
И жизнь покоя жизненного жаждет.  
Шагал солдат. Надеждою своей  
Ему хотелось поделиться с каждым.

7

Надежду трудно словом передать.  
Но разве разум рассечен границей? . .  
Земле такого больше не видать,  
Векам такое больше не приснится.

Размеренно звучат шаги солдат,  
Звучат как гимн большой и мудрой силы.  
Пусть дети всей земли спокойно спят,  
Пусть будут сны их розовы и сини.

Пусть мир идет навстречу торжеству,  
Пусть по весне землей владеет зелень,  
Пусть человек увидит наяву  
Всё то, о чем он лишь мечтал доселе.

Не ратный труд необходим рукам —  
Но труд во имя мира и покоя. . .  
Да не приснится жуть войны векам,  
Да не вспомянет шар земной такое!

*1941—1948*



# **ПРИМЕЧАНИЯ**



Литературное наследие Переца Маркиша насчитывает около ста тысяч стихотворных строк, свыше ста печатных листов художественной прозы, десять пьес, литературно-критические монографии, эссе и публицистические статьи.

На еврейском языке опубликовано около сорока книг Маркиша.

В переводах на русский язык изданы следующие произведения. Поэзия: Рубеж. Избранные стихи, М., 1933; Братья, Поэма, М., 1935; Голос гражданина. Стихи, М., 1938; Мать партизана. Поэма, М., 1938; Поступь народа. Стихи, М., 1941; Черноморские баллады, М., 1942; Стихотворения и поэмы, М., 1945; Избранное. Стихотворения и поэмы, М., 1957; Избранные произведения в двух томах, М., 1960. Проза и драматургия: Из века в век. Роман, ч. 1, М.—Л., 1930; Земля. Пьеса, М., 1931; Возвращение Нейтана Беккера. Повесть, М., 1934; Семья Овадис. Пьеса, М., 1938; Пир. Пьеса, М., 1941.

Рукописный раздел архива писателя невелик — рукописи в основном погибли. Среди сохранившихся материалов наибольшую ценность представляют тетрадь с неопубликованными юношескими стихами, автограф незаконченной поэмы «Сорокалетний», машинописный экземпляр незавершенной поэмы «Наследие» и два машинописных сборника на еврейском и русском языках, подготовленных к изданию самим автором в 1948 г., незадолго до его трагической гибели. В сборниках имеется значительное количество неопубликованных стихотворений, часть из которых вошла в данное издание.

Настоящий сборник стихотворений и поэм Переца Маркиша является наиболее полным из всех ранее издававшихся на русском языке. Впервые публикуются полностью поэмы «Чатырдаг» (№ 214), «Шалость» (№ 215), «Братья» (№ 217), «Спелые ночи» (№ 219) и многие стихотворения. Составитель, однако, оставил за пределами сборника широко известные эпические произведения «Заря над Днепром» и «Смерть кулака». Часть произведений публикуется в новых переводах, в основу которых положены тексты еврейского издания: П. Маркиш, Собрание сочинений в шести томах, т. 1, М., 1933. Поэма «Сорокалетний» (№ 218) переведена по автографу, стихотворение «Кусок мыла» (№ 163) — по авторизованной машинописи, сохранившейся в архиве поэта. В издание включены тексты, ранее печатавшиеся в сборниках «Рубеж» (№№ 97, 98, 101, 107, 108, 114, 115, 216), «Голос гражданина» (№№ 40, 45, 77, 127), «Стихотворения и поэмы», 1945 (№№ 11, 41, 110, 146, 155, 156). Остальные тексты



печатаются по изданиям: Избранное. Стихотворения и поэмы, М., 1957; Избранные произведения в двух томах, М., 1960. Некоторые ранние переводы заново отредактированы с целью максимального приближения к оригиналу.

Книга состоит из двух разделов: «Стихотворения» и «Поэмы». Наибольшую сложность представляет вопрос о жанровой классификации крупных произведений, большинство из которых лишены специфических особенностей эпического жанра и рассматриваются некоторыми исследователями как циклы лирико-философских стихотворений. При составлении настоящего сборника учтены прижизненные издания и указания самого автора, на основании которых в разделе «Поэмы» помещены все крупные лирико-эпические произведения, рассматривавшиеся Маркишем как единое целое. В разделе «Стихотворения» печатается отрывок незаконченной поэмы «Мудрость моей страны», публиковавшийся автором в переводе на русский язык как отдельное стихотворение.

Внутри каждого из разделов сборника произведения расположены в хронологическом порядке. Датировка пересмотрена и уточнена по прижизненным публикациям, архивным материалам и другим источникам. В тех случаях, когда точная дата неизвестна, указывается (в угловых скобках) дата первой публикации или время, не позднее которого, согласно тем или иным источникам, написано данное произведение. Предположительные даты сопровождаются вопросительным знаком.

#### СТИХОТВОРЕНИЯ

3. *Бергельсон Давид* Рафаилович (1884—1952) — еврейский советский писатель, прозаик и драматург.

49. *Мрак Вавилонии на дне моих зрачков* — имеется в виду библейская легенда о пленении иудеев вавилонским царем Навуходоносором. *Судный день* — здесь: день Страшного суда.

55. *Резник Лиле* (1890—1944) — еврейский советский писатель, поэт и драматург.

56. *Рек Вавилонских горше и страшней*. Восходит к библейской цитате: «На реках Вавилонских мы сидели и плакали, вспоминая о Сионе», из псалма 136 (ст. 1), повествующего о вавилонском пленении иудеев царем Навуходоносором в VI в. до н. э.

57. *Мандрагоровый корень* в древности использовался как амулет.

62—66. *Зеро* (zéro, франц.) — нуль, пулевое очко, на которое, по правилам игры в рулетку, падает самый крупный выигрыш. *И смерть... по площади Согласия течет*. Могила Неизвестного солдата в Париже находится на площади Звезды (Place de l'Etoile), поблизости от площади Согласия (Place de la Concorde). «*О Каин, Каин, где твой старший брат?*» — перефразированная цитата из Библии, где бог спрашивает Каина, первого братоубийцу на земле: «Каин, где брат твой Авель?» (Кн. Бытия, гл. IV, ст. 9).

67. *Шарлеруа* — город в Бельгии, близ которого шли ожесточенные бои во время первой мировой войны.

69. *Кантара* — городок у Суэцкого канала, в древности был важным пунктом на караванных путях.

81—85. «*Марш-фюнебр*» (*marche-funèbre*, франц.) — похоронный марш. *Фрейлехс* (евр.) — свадебный танец.

87. *Эбби* — сокращенное английское название Вестминстерского аббатства.

89—92. *Но смотрит взор Нерона на Рим пылающий*. По преданию, виновником пожара, уничтожившего значительную часть Рима в 64 г. н. э., был император Нерон, решивший сжечь старый город, чтобы расчистить место для нового — пышного и великолепного. *Котурны* — в древнегреческом театре особый вид обуви с высокими деревянными подставками для увеличения роста актера.

95. *И двенадцать сынов — как двенадцать библейских колен*. По Библии, еврейский народ разделялся на двенадцать племен (колен), каждое из которых вело свое происхождение от одного из сыновей патриарха Иакова (Израиля). *Ханаан* — древнее название Палестины. *Талмуд* (древнеевр.) — букв.: «учение», памятник древней еврейской письменности, содержащий религиозные и юридические нормы иудаизма. Талмуд разделяется на Мишну (букв.: «заучивание»), созданную до конца II века н. э., и Гемару (букв.: «завершение»), более поздние комментарии к Мишне.

101. *Стена коммунаров* — стена на парижском кладбище Пер-Лашез, возле которой похоронены расстрелянные в 1871 г. защитники Коммуны.

102. *Талес* (талит, древнеевр.) — молитвенное покрывало, которое накидывают поверх одежды.

105. *Леттер* (*letter*, англ.) — письмо. *Плиз* (*please*, англ.) — пожалуйста. *Рум* (*room*, англ.) — комната. *Бест* (*best*, англ.) — лучший.

107. Перевод, сделанный в 1930-х годах Э. Багрицким, значительно переработан для данного издания В. Левиком, в связи с этим стихотворение подписано фамилиями двух переводчиков.

110. *Лазбникова* Эстер Ефимовна — жена Переца Маркиша. Ей посвящены также стихотворения №№ 171, 174—177, 179, 180, 205, 206, 207.

113. *Фракиец* — Спартак (I в. до н. э.), уроженец Фракии, вождь крупнейшего восстания рабов (74—71 гг. до н. э.), нанесшего удар рабовладельческому строю Римского государства. Укрепившись на горе Везувий, восставшие долгое время успешно отражали нападение регулярных римских войск. *Капитолий* — Капитолийский холм, один

из семи холмов, на которых был основан Рим. Капитолий был символом мощи Рима, здесь находилась главная святыня государства — храм Юпитера. *Манипул* — воинское соединение в римской армии. *Под крыльями орлов*. Изображение орла было знаменем легиона — основного воинского подразделения в римской армии. *В твоём отечестве — затмение*. Территория древней Фракии входит в состав современной Греции, Болгарии и Югославии, в которых в 1930-х годах установилась фашистская диктатура. *Рубаха черная* — намек на униформу итальянских фашистов. *Номады* — кочевые племена. *Нет, не умножатся могилы Пер-Лашеза*. На парижском кладбище Пер-Лашез были расстреляны в 1871 г. последние защитники Парижской коммуны.

114. *Иерусалим* — главный город древней Палестины, где, по евангельскому преданию, был распят Христос. *Иродовы дни*. По евангельскому преданию, иудейский царь Ирод, узнав о рождении в Вифлееме будущего владыки мира Иисуса Христа и боясь лишиться власти, приказал умертвить всех младенцев мужского пола в этом городе. *День Варфоломея* — массовая резня гугенотов (протестантов), организованная католиками в Париже в ночь на 24 августа 1572 г., накануне дня св. Варфоломея. Варфоломеевская ночь стала символом жестокого подавления свободомыслия.

115. *Схоластика* — философский метод, составлявший основу средневекового христианского богословия. Здесь имеется в виду средневековая еврейская ученость, заключающаяся в многочисленных комментариях к Талмуду (см. примеч. 95), богословских, философских и нравоучительных трактатах и т. п. *Каббала* (древнеевр.) — букв.: «предание», мистическое философское учение, получившее особенно широкое распространение в средние века.

120. *Нарушил я обет и память предков предал*. Имеется в виду изгнание евреев из Испании в 1493 г. Покидая страну, они давали обет никогда не возвращаться в Испанию. *Не хочешь быть женою труса ты* и т. д. — перефразированная цитата из статьи Долорес Ибаррури «Мы победим!» («Правда», 1936, 25 сентября).

122. *Месхи* — особая этническая группа, участвовавшая в формировании грузинской народности. *Автандил, Таризл* — герои поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

125. *Валенсия* в 1936 г. была центром фашистского мятежа, героически подавленного республиканцами. *Зарево твоих ноябрьских дней*. В ноябре 1936 г. республиканские отряды вместе с первыми интернациональными бригадами отразили наступление на Мадрид четырех колонн фашистской армии. *Альмерия* — город в Испании, 31 мая 1937 г. подвергся жестокому обстрелу германских военных кораблей.

126. *Вергилий* (70—19 до н. э.) — римский поэт. Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт эпохи Возрождения, автор «Божественной комедии», в которой действующим лицом является Верги-

лий, сопровождающий Данте по кругам ада. *Цвет рубахи чернее, чем дым* — см. примеч. 113.

127. *Майдан* (укр.) — площадь. *Уструг* (струг) — старинное речное судно. *Вон туда, на камень, средь спутанных трав* и т. д. Имеется в виду предание о встречах Екатерины II и кн. Г. А. Потемкина в Киеве.

129. *Хо лахмо* (ха лахма, арамейск.) — «вот хлеб», слова из гимна пасхальной трапезы, посвященной в иудейской религии памяти освобождения евреев из египетского рабства: «Вот хлеб нищеты, который отцы наши ели в Египте». *Тора* — пергаментный свиток с текстом священного писания, хранящийся в синагоге. *Малхамовес* (малах ха мавет, древнеевр.) — ангел смерти.

130. *Зажжешь ты субботний светильник*. По еврейскому религиозному обряду, в канун субботы хозяйка дома зажигает свечи в особом праздничном подсвечнике и благословляет их. *Авраам* — легендарный библейский патриарх, родоначальник еврейского народа. *Вифлеем* — город, где, по евангельскому преданию, в загоне для скота родился Иисус Христос. Его рождение ознаменовалось появлением на небе яркой звезды. *Нельзя ли в плетеной корзинке* и т. д. По Библии, во время пребывания евреев в египетском плену фараон приказал убивать всех новорожденных еврейских мальчиков. Мать Моисея спасла своего сына, положив его в корзину и оставив в тростниках.

132. Публиковалось под загл.: «Клятва на могиле замученного красноармейца». Под загл. «Клятва» было включено в сборник, подготовленный автором в 1948 г.

133—141. *Колядки* — праздничные новогодние песни, распространенные у славянских народов.

146. *Майн шац* (Mein Schatz, нем.) — мое сокровище.

153. *Доватор* Л. М. (1903—1941) — генерал-майор, командир казачьего корпуса, прославился рейдом по тылам фашистских войск в августе — сентябре 1941 г.

157. *Плывет император под выюгою злой*. Имеется в виду отступление Наполеона от Москвы в 1812 г. «*Нах Москау*» (nach Moskau, нем.) — на Москву. *Площадь Конкорд* (Place de la Concorde, франц.) — площадь Согласия в Париже. *Ерши* — заграждения из колючей проволоки.

171. *Аksamит* — плотная шелковая ткань в виде бархата или парчи.

181. *Галилея* — северная часть Палестины, где, согласно Евангелию, провел детство Иисус Христос. *Ясли, и хлев, и ослица* — см. примеч. № 130. *Не плотник ли старый скорее?* По Евангелию, мужем богоматери был плотник Иосиф.

211. *Как скорбная Рахиль* и т. д. Восходит к библейской цитате: «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» (Кн. пророка Иеремии, гл. XXXI, ст. 15—17). Рахиль — по Библии, супруга патриарха Иакова, одного из родоначальников еврейского народа.

## ПОЭМЫ

213. *Мажары* (маджары, тюркск.) — вид телеги, распространенный на Украине. *Крámарь* — торговец в мелочной лавке. *Майдан* (укр.) — площадь. *Маклер* — посредник при торговых сделках. *Лансердак* — долгополый кафтан, традиционная одежда евреев в бывших западных губерниях Российской империи. *Балагула* (евр.) — извозчик. *Гицель* — живодер. *Судный день* — см. примеч. 49. *Гемара* — см. примеч. 95. *Агада* (древнеевр.) — букв.: «предание», здесь: пасхальный обряд. *Маца* — пресная лепешка, готовится по еврейской религии для пасхальной трапезы. *И в субботу... отпускает людям воду*. Иудейская религия, объявляя субботу днем покоя, строго запрещает в этот день какой бы то ни было труд. «*Китель белый*» — полицейский.

214. *Скрижаль* — см. примеч. 216. *Екатерина* — название одной из вершин Чатырдага. *Кимвал* — древний ударный музыкальный инструмент. *Курбан-байрам* (татарск.) — мусульманский праздник в память принесения в жертву Авраамом своего сына Исаиила (по Библии — Исаака), считается также днем поминовения усопших.

215. *Весна*. *Макитра* (укр.) — глиняный горшок. *Лето*. *Аксамит* — см. примеч. 171.

216. 1. *Могэндоед* (маген Давид, древнеевр.) — букв.: «щит Давида», шестиконечная звезда, национальная еврейская эмблема с древнейших времен. 2. *Ты помнишь пастухов тобой избранных племя?* По Библии, бог избрал евреев среди всех племен и народов земли, «чтобы они были его народом, а он — их богом». 3. *Голгофа* — холм в Иерусалиме, где, по евангельскому преданию, был распят Иисус Христос. *Шифскарта* (евр.) — билет на пароход. Речь идет о массовой эмиграции европейских евреев за океан в поисках спасения от нужды и преследований. *Вавилонские реки* — см. примеч. 56. *Арфами Давидова псалма*. Традиция приписывает царю Давиду (конец XI века до н. э.) авторство Псалтыри — сборника псалмов, стихотворений различного содержания, главным образом религиозно-философского. 4. *Отгромыхавшая синайская гроза*. Согласно Библии, бог, окруженный грозой и бурей, вручил евреям на горе Синай законы, записанные в виде десяти заповедей на каменных скрижалях (плитах). *Фунт мяса — правый суд*. В трагедии Шекспира «Венецианский купец» еврей Шейлок требует от несправного и неплатежеспособного должника фунт его мяса. 5. *Кордова мудрая*. В VIII—XIII вв. Кордова была одним из главных центров арабской цивилизации на Пиренейском полуострове. Мусульманские власти Кордовы относились к иноверцам с большой терпимостью, кото-

рой настал конец после Реконквисты — обратного завоевания испанцами и португальцами территории полуострова. *Агасфер* — апокрифический персонаж, еврей-скиталец, якобы осужденный богом на вечное странствование. 6. *Дом богоматери* — собор Парижской богоматери (Notre Dame de Paris, франц.). «*Сплendid*» (Splendide, франц.) — букв.: «блестательный», распространенное в Европе название отелей высшего класса. 8. *Бродил ягненком странный фантазер*. Имеется в виду Иисус Христос, который, согласно Евангелию, провел детские годы в *Галилее* (северная часть Палестины), в городе Назарете.

217. Глава 1. *Раина* (укр.) — пирамидальный тополь. *Гонтовы загонь*. Иван Гонта — один из руководителей крестьянского восстания на Украине в 1768 г. Образ Гонты сохранился во многих произведениях украинского фольклора. *Атаманцы* — участники белогвардейских и бандитских отрядов во время гражданской войны. *Канчук* — нагайка. *Шуйца, десница* (старослав.) — левая и правая рука. Глава 2. *Гута* (укр.) — фабрика, завод. *Почаев* — местечко на Волыни. «*Аки царь Давид возрадовал десницейей*». По Библии, царь Давид в юности искусно играл на музыкальных инструментах, разгоняя тоску царя Саула. Глава 3. «*Почил*» *самодержавный «в бозе»*. Имеется в виду текст официальной заупокойной молитвы по умершим членам царской фамилии. *Дзыга* (укр.) — волчок. Глава 4. «*Саламандра*» — крупнейшее в дореволюционной России страховое общество. Глава 5. *Лемберг* — австрийское название Львова. Глава 6. *Почаевская богоматерь* — знаменитая «чудотворная» икона, хранившаяся в почаевской Успенской лавре. Глава 7. *Крёмарь* — см. примеч. 213. «*Голосуй за № 5!*» Имеется в виду список № 5, по которому большевики баллотировались в Учредительное собрание. Глава 9. *Иегова* — одно из имен бога в еврейской религии. Глава 10. *Обрезание* — обряд, совершаемый над новорожденными согласно еврейской религии. *Проше* (польск.) — пожалуйста. Глава 11. «*Три ангела пришли*» и т. д. По библейскому преданию, бог послал сына патриарху Аврааму и его жене Сарре уже в глубокой старости. Вестниками этой милости были три ангела, явившиеся в шатер к Аврааму и разделившие с ним трапезу. *Ханука* — еврейский религиозный праздник. *Хедер* — начальная религиозная школа у евреев. *Понинка* — поселок близ местечка Полонное (ныне город Хмельницкой обл. Украинской ССР), родины Маркиша. *Вот над Иосифом ее слезы блистанье* и т. д. По библейскому преданию, сыновья патриарха Иакова (Израиля) возненавидели своего брата Иосифа за то, что он был любимцем отца, увели его из дому и бросили в глубокий ров, а затем продали купцам, увезшим его в Египет. «*Во гневе бог ему предстал. . .*» и т. д. Имеется в виду библейская легенда о пророческом сне фараона, предвещавшем Египту голод и бедствия. «*И в земли новые отправились они, лишь воцарился голод в Ханаане. . .*» По библейской легенде, на всей земле семь лет длился неурожай и люди голодали всюду, кроме Египта, куда и переселился из Ханаана (Палестины) род патриарха Иакова (Израиля). *Праматери* — по Библии, супруги патриархов, родоначальников еврейского народа: Сарра — супруга Авраама, Ревекка — Исаака, сестры Лия и Рахиль — Иакова (Израиля). Глава 12. «*И послала ангелов божи: десница*» — см. выше. «*Плеском полных ведер встре-*

тили меня!» По народному поверью, встреча с женщиной, несущей пустые ведра, приносит несчастье, полные — удачу. Глава 13. *Павиак* — тюрьма в старой Варшаве. *Бельведер* — дворец в Варшаве, был резиденцией правительства панской Польши. *Мокотув* — район Варшавы. *Ченстоховский храм* — храм монастыря в Ченстохове (Польша), где хранилась «чудотворная» икона богородицы, почитаемая православными и католиками. *Ато-эход* (ата эхад, древнеевр.) — «ты один», слова молитвы, обращенные к богу. *Талмуд* — см. примеч. 95. *Бундовка* — член Бунда, еврейской социал-демократической партии. *Кресы* (польск.) — пограничные области. Глава 14. *Ист-Сайд* — район Лондона, заселенный преимущественно беднотой. *Талес* — см. примеч. 102. Глава 15. *Макуха* — жмыхи. *Балта*, *Знаменка*, *Бобринская* — станции Юго-Западной железной дороги. *Назорейство* — в древнееврейской религии обет посвящения себя богу; здесь: священный сан. *Велика и обильна страна, но порядка в ней исстари нет* — цитата из «Повести временных лет», рассказывающей о призвании варягов на Русь: «Вся земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, идите княжить и владеть нами». *Шепетовка*, *Славута*, *Луцк* — станции Юго-Западной железной дороги. Глава 16. *Матка боска* (польск.) — мать божия. *Сморгонь* — местечко в Польше (в бывш. Виленской губернии). *Збруч* — река на Волыни. *Смочи*, *Дикая*, *Воловья*, *Прага*, *Пшеязд*, *Новолипки* — районы и улицы Варшавы. Глава 17. *Случ* — река в бывшей Минской губернии, приток Припяти. Глава 18. *Рештованье* — строительные леса. Глава 19. *Муранов*, *Налевки* — районы Варшавы. *Славута* — местечко на Волыни. *Пинские болота* — низкие болотистые берега реки Пины, протекающей через Волынь. *Езус* (польск.) — Иисус. Глава 21. *Брекватер* — волнолом. *Шепталá* — сушеные персики и абрикосы. «*Гамбринус*» — знаменитый ресторан в старой Одессе. Глава 23. *Жолнер* (польск.) — солдат. *Шамес* (евр.) — синагогальный служака. Глава 26. *О пощаде братьев умолял Иосиф* и т. д. — см. выше. Глава 27. «*Прах ты есть, и в прах отыдеши*» — цитата из Библии (кн. Бытия, гл. 3, ст. 19). Глава 28. «*Як умру... похороните*» — цитата из стихотворения Т. Г. Шевченко «Как умру, похороните...». *Певень* — петух.

218. *Шолом* (евр.) — здравствуй. *Мы братьями были* и т. д. Имеется в виду библейская легенда об Иосифе (см. примеч. 217).

220. *Золотая пана* — излюбленный образ еврейского фольклора. «*Не убий!*» — одна из десяти библейских заповедей. *Желтая заплата* — шестиугольная звезда желтого цвета, которую обязаны были носить на одежде евреи в странах, оккупированных гитлеровской Германией. *Auf wiedersehen* (нем.) — до свидания.

221. *Подолля* — Подольская возвышенность, занимающая часть Волыни.

222. Первая прогулка. Строфа 4. *Воздвиженка* — старое название улицы Калинина в Москве. *Химки* — в то время пригород Москвы. Строфа 5. *Нескучный* — название одного из старин-

ных московских садов. Строфа 7. *Сад Александровский* — старинный сад у Кремлевской стены в Москве. У Волги. Строфа 8. *Но призрак спать убийцам не дает* и т. д. Имеется в виду текст «Манифеста Коммунистической партии»: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Партизаны в лесу. Строфа 4. *Майн готт!* (Mein Gott, нем.) — боже мой! К реке Царице. Строфа 2. *Битте* (bitte, нем.) — пожалуйста. Отец. Строфа 1. «*Цо*» («Zoo», нем.) — зоопарк в Берлине.



## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- «А ты? Ничья? Ни с теми? Ни с другими? ..» (Эйфелева башня, 1)  
85
- «Ай да кони, что за кони! ..» 41
- Баллада о воинстве Доватора («На конских гривах снег. Клинок блистает сталь. . .») 177
- Баллада о двадцати восьми («Над сумрачным Волоколамским шоссе. . .») 191
- Баллада о двух братьях («Росли, как колосья, два брата родных. . .») 135
- Баллада о парикмахере («Его к сырому рву фашисты привели. . .») 208
- Баллада о пленнице («В неволю, в кабалу ее ариец продал. . .») 205
- Баллада о пяти («За тополем скользит по скатам тополь. . .») 179
- Барельеф Ленина («Нужны большие ветви эти. . .») 231
- «Бегут они стремглав, расплескивая воду. . .» (У реки) 245
- «Без них и эту ель никто б не замечал. . .» (Красные камни) 230
- Белые козы («Я только до ворот. . .») 69
- Берлин («Как мерзлый картофель, торчит сквозь истлевшие тряпки. . .») 71
- «Благослови меня на бездорожья. . .» 87
- «Благословил деревья синий вечер. . .» 48
- Блуждаю, как в лесу («Уже не в первый раз заката полосу. . .») 244
- «Бог дал тебе детей и руки золотые. . .» 72
- Гой на Днепре (Война. «Плоты отвалили, покинув причалы. . .») 666
- Братья («Коль пойдут расспросы, коль зачнутся речи. . .») 334
- «Бросайте меня от сиянья к сиянью! ..» 74
- «Булыжник говорит с поэтом пришлым. . .» (Парижские улицы, 2) 95
- «Буря мне внушала тайно: „В высях ждет тебя твой дом. . .“» 53
- «Был подготовлен к поединку город. . .» (Война. Сталинград) 638
- «Быть может, ты сейчас уже идешь домой. . .» (В сумерки у моря)  
220
- «В вагоне, на полу, весь в предрассветной сини. . .» 102
- «В глубины осени глядит рогатый скот. . .» (Лужайка) 73

- «В извечной толчее Казанского вокзала...» (Война. Московский зоопарк) 622
- «В неволю, в кабалу ее арнец продал...» (Баллада о пленнице) 205
- «В Погосте, ввечеру, в базарный день...» (Война. Партизаны в лесу) 642
- В пути («Идут рабочие, несут большие пилы...») 104
- «В раздумии фон Паулюс: „Сталинград...“» (Война. К реке Царице) 658
- «В светильниках дрожит огонь. Венки и блеск регалий...» (Неизвестный солдат, 1) 80
- В сумерки у моря («Быть может, ты сейчас уже идешь домой...») 220
- В танке (Война. «Приказу краток срок. Приказу путь далек...») 654
- В третий раз («Прочь, дурень-ветерок! Не спрашивай — куда!...») 218
- «Вагоны, лязгая, ползли неторопливо...» 166
- «Валенсия — твоя сестра, Мадрид!...» 144
- «Вернулся я к тебе из дальней стороны...» (Испания) 137
- Весна (Шалость) 294
- Вестминстерское аббатство («Степенный твой покой зовет к вечерней тебе...») 98
- Встер, побудь со мною («Семь лет тому назад пролег здесь мой рубеж...») 226
- Вечером у моря («Как трудно под вечер из моря выходить...») 225
- «Взгляни, как поутру украшен голый сад...» (Роса) 241
- «Вздых капеллы лесной вдруг на ветке повис...» (Фигаро) 232
- «Взмахни своим плащом, тореадор, и в бой...» (Тореадор) 139
- Виноград («Тянет плечи виноград...») 59
- «Властитель дум — бессмертье ты познал...» (Пушкину) 143
- Во сне я видел мать («Светает за окном... Доехать бы скорее!...») 174
- Война 620
- Волынь («Разлеглись поля в просторах...») 251
- Воплощение («И камню, может статься, нелегко...») 124
- «Вот я — песчинка среди пустых песков...» (Москва) 117
- «Вперед, за шагом шаг, за милей милья...» (Война. Сталинградская буря) 661
- «Все драгоценности долой: браслеты с рук...» (Сердца моего теперь мне мало) 167
- Вставай, заря! («На низком встал пороге я...») 64
- «Встал над могилой брата дуб огромный...» (Неизвестный солдат, 3) 81
- Выбор («Достоинство пчелы — не жало и не яд...») 213
- «Выйди утром в поле, брат мой...» 46
- «Вышел я нынче в зарю и в росу...» 44
- Голодный поход («Как шапки, на улицы крыши надеты...») 90
- «Горб на твоей душе, горб на спине...» 79
- Горная мадонна («Женщина утром с ребенком в горах...») 227
- Горы вечером (1—3) 228
- Гостеприимная птица («Ни листопад, ни холода...») 236
- Гость («Просит ветер меня: „Дай мне на ночь приют!...“») 67

- «Готов к прыжку, лежал в рассветном серебре. . .» (Война. С выжженными глазами) 650
- «Гроза и ветер пляшут на плечах. . .» 62
- «Да, есть еще страна бурливого покоя. . .» 78
- «Дайте мне напиться, камни древней славы! . . .» 75
- Дальневосточное (1—3) 133
- Девушка с косами («Она прошла вперед — сразила наповал. . .») 234
- Девушки смеются в переулках ближних. . .» (Последний снег) 44
- Дерево («Его сбереги. . .») 213
- Днепр («Не допел средь базарных майданов кобзарь. . .») 147
- Доброй недели, мать! («Кричали они: „От костра зажжешь ты субботний светильник! . . .“») 155
- «Дон перешел Садовский поздней ночью. . .» (Война. У Волги) 635
- «Дорога вверх, дорога вниз. . .» (Кавказ) 610
- «Дороги всех широт меня к тебе вели. . .» (Чатырдаг) 275
- «Дороги на ноги надеты, словно лыжи. . .» 89
- «Достоинство пчелы — не жало и не яд. . .» (Выбор) 213
- «Древней надгробных плит обугленные лица. . .» 132
- Дядя Тевье («Мой дядя Тевье! Вновь ко мне выходит он. . .») 113
- «Его к сырому рву фашисты привели. . .» (Баллада о парикмахере) 208
- «Его сбереги. . .» (Дерево) 213
- «Еще не выцвела багряная канва. . .» 247
- «Жалок трон попугая, обтянутый в бархат линялый. . .» 77
- «Женщина утром с ребенком в горах. . .» (Горная мадонна) 227
- Женщине («Нынче солнце в зените — как прорубь над омутом золота. . .») 112
- «За днями дни, как корабли, свой путь. . .» 101
- «За субботним столом, словно царь, восседает хозяин. . .» (На постоялом дворе) 102
- «За счастьем призрачным бродя во мгле безбрежной. . .» (Твой взгляд) 243
- «За тополем скользит по скатам тополь. . .» (Баллада о пяти) 179
- Забота («Лишь только луч цветка коснется, щекоча. . .») 230
- «Забудь, пират, что есть спасенье позади. . .» 174
- «Законы точные дерзаний и свершений. . .» (Мудрость моей страны) 120
- «Закрой глаза — и вот препятствий нет. . .» (Под дождем, 3) 224
- «Залетный вихрь по иглам бьет. . .» (Зима идет) 246
- «Здесь в голову мороз кидается, как брага. . .» (Дальневосточное, 3) 134
- «Здесь душно небу от земного быта! . . .» (Парижские улицы, 4) 96
- «Земля вздыхает. В купола и трубы. . .» (Парижские улицы, 1) 94
- Зима (Шалость) 315
- Зима идет («Залетный вихрь по иглам бьет. . .») 246
- Зимняя баллада («Ночами бродит по селениям тревога. . .») 188
- «Знамена, рейте. Вот она, расплата. . .» (Неизвестный солдат, 2) 81
- «И даже не кивнув, а просто так — на слух. . .» (Капелла) 217
- «И день и ночь в раздумье оснеженном. . .» (Дальневосточное, 1) 133

- «И камню, может статься, нелегко...» (Воплощение) 124  
«И молод день, и прям...» 47  
«...И ночью ветреной...» 76  
«И те, чья жизнь — остывший прах и пепел...» 126  
«Идут рабочие, несут большие пилы...» (В пути) 104  
Испания («Вернулся я к тебе из дальней стороны...») 137  
«Истерзанный вокзал, как решето, дыряв...» (У дороги) 210
- «К колючим головам остриженных полей...» 66  
К Москве («Столбы мелькают, мчатся под откос...») 167  
К простым грузчикам (1—2) 86  
К реке Царице (Война. «В раздумии фон Паулюс: „Сталинград...“») 658  
«К тебе несется сердце — ночью, сквозь метелицу...» (Осень 1941, 5) 163  
«К трясине облако нисходит золотое...» (Дальневосточное, 2) 134  
Кавказ («Дорога вверх, дорога вниз...») 610  
«Как вдовьи выплаканные глаза...» 78  
«Как вырубленный лес, застыл пустой базар...» 53  
«Как жар в Везувии, душевный страх растет...» (Помпея, 1) 99  
«Как мерзлый картофель, торчит сквозь истлевшие тряпки...» (Берлин) 71  
«Как мог я толковать с вокзальной стеной...» (Нежданный путь) 239  
«Как налит сладостью и соками гранат...» (Комсомолу) 123  
«Как паруса, истаяли желанья...» (На закате) 75  
«Как перья филина — туманов пелена...» (Лондон) 97  
«Как по команде, в ряд построены вагоны...» 79  
«Как статуя застыв, угрюм и одиноч...» (На пляже) 221  
«Как только я встаю...» 50  
«Как трудно под вечер из моря выходить...» (Вечером у моря) 225  
«Как шапки, на улицы крыши надеты...» (Голодный поход) 90  
«Какой сегодня день! Какой огромный!...» 70  
Кантара («Поколений ушедших труха в сизой плесени спит...») 84  
Капелла («И даже не кивнув, а просто так — на слух...») 217  
«Кварталы проститутками набиты...» (Неизвестный солдат, 5) 82  
Клятва («Ты боль свою, как славу, гордо нес...») 159  
«Кобылий череп, каски жечь на нем...» (Натюрморт) 187  
«Когда всему молчать приходит срок...» (Соло) 216  
«Когда сумерек видишь игру...» (Патруль над Москвой) 171  
«Кого, тоскуя, крылья мельниц ждут?...» 88  
«Коль пойдут расспросы, коль зачнутся речи...» (Братья) 334  
Комсомолу («Как налит сладостью и соками гранат...») 123  
«Корова траву прошлогоднюю ела...» 235  
«Кости звенят, пересохло во рту...» (Спелые ночи) 578  
Красные камни («Без них и эту ель никто б не замечал...») 230  
«Кричали они: „От костра зажжешь ты субботний светильник!...“» (Доброй недели, мать!) 155  
Кусок мыла («Не в этом ли сгустке — плоть сына ее?...») 210

«Ладоней мисочки уже полны до края...» 52  
Ленин («Придет одно и сменится другим») 142

- Ленинград («Развернутой старинною гравюрой») 170  
 «Лес мне другом хорошим стал. . .» 61  
 Лето (Шалость) 302  
 Летучая мышь («Уже не ночь, еще не день. . .») 231  
 «Лишь только луч цветка коснется, щекоча. . .» (Забота) 230  
 Лондон («Как перья филина — туманов пелена. . .») 97  
 Лужайка («В глубины осени глядит рогатый скот. . .») 73  
 «Лунной грустью. . .» (Окунь счастья золотой) 51  
 «Луч солнца пробует свой блеск на облаках. . .» (Полмира в тени)  
 229
- «Мандат на мир, в боях заверенный мандат. . .» (Мое поколение) 105  
 Мать-столица («Пусть заметет нам снег дорогу вспять! . .») 166  
 «Миги наплывают мглой. . .» (Парижские улицы, 5) 96  
 «Мне кажется — не протекли века. . .» (Под дождем) 223  
 «Мне кажется, что я в пылающем лесу. . .» 75  
 Могила Неизвестного солдата («Ты крепко спишь, солдат. И ромб  
 огней танцует. . .») 83  
 Мое поколение («Мандат на мир, в боях заверенный мандат. . .») 105  
 «Мой дядя Тевье! Вновь ко мне выходит он. . .» (Дядя Тевье) 113  
 Море на рассвете («У гор покоя просит море. . .») 222  
 Морьякам («Раскинулось море широко. . .») 175  
 Москва («Вот я — песчинка средь пустых песков. . .») 117  
 «Москва! Твои сыны-богатыри. . .» (Осень 1941, 1) 161  
 «Москва, я видел твой расцвет. . .» (Осень 1941, 6) 164  
 Московский зоопарк (Война. «В извечной толчее Казанского вок-  
 зала. . .») 622
- Мудрость моей страны («Законы точные дерзаний и свершений. . .») 120
- Муза («Раньше, позже ли было всё это? . .») 241
- «На дне глубоких ям — мешков солдатских кучи. . .» (Помпея, 4) 100  
 На закате («Как паруса, истаяли желанья. . .») 75  
 «На заре я был разбужен. . .» 45  
 «На конских гривах снег. Клинков блистает сталь. . .» (Баллада  
 о воинстве Доватора) 177  
 «На низком встал пороге я. . .» (Вставай, заря!) 64  
 «На пергаменте лазури, испещренной блеском молний. . .» (Шота  
 Руставели) 140  
 На перроне («Обрамлено твоё лицо окном вагона. . .») 226  
 «На песчаных белых высях. . .» 43  
 На пляже («Как статуя застыв, угрюм и одинок. . .») 221  
 На постоялом дворе («За субботним столом, словно царь, восседает  
 хозяин. . .») 102  
 На рассвете («Рассвет. Предутренняя тишь. . .») 246  
 «На что он нужен был, тот хриплый контрабас? . .» (Хо лахмо!) 154  
 «Набат с моей высокой гулкой башни. . .» (Прелюдия) 67  
 «Над сумрачным Волоколамским шоссе. . .» (Баллада о двадцати  
 восьми) 191  
 Наливай полней! («Поднимались мы по круче. . .») 248  
 «Нас берега не ждут нигде. . .» (Под дождем, 1) 223

- Натюрморт («Кобылий череп, каски жечь на нем. . .») 187  
«Не в этом ли сгустке — плоть сына ее? . . .» (Кусок мыла) 210  
«Не гладиатором в тавернах Афродиты. . .» (Продолжение) 128  
«Не допел средь базарных майданов кобзарь. . .» (Днепр) 147  
«Нетрудно веточке согнуться, наклониться. . .» (Соединение) 233  
Нежданный путь («Как мог я толковать с вокзальной стеной. . .») 239  
Неизвестный солдат (1—5) 80  
«Немало летних дней промчалось здесь моих. . .» (Эхо) 242  
Нетерпение («Подобно капелькам, что ветер сдул с ветвей. . .») 173  
«Ни встать ни сесть — такая теснота! . . .» (Последняя дорога) 158  
«Ни крыши, ни стола. Кровать моя жестка мне. . .» (Последний) 327  
«Ни листопад, ни холода. . .» (Гостеприимная птица) 236  
«Ночами бродит по селениям тревога. . .» (Зимняя баллада) 188  
«Ночь надвигается. Просторы синевы. . .» 132  
«Нужны большие ветви эти. . .» (Барельеф Ленина) 231  
«Нынче солнце в зените — как прорубь над омутом золота. . .» (Женщине) 112  
«О, кто вам рты залил клокочущею лавой. . .» 50  
«О небо! . . .» 127  
«О руки, терпеливейшие руки. . .» (Неизвестный солдат, 4) 82  
Обезглавленный соотечественник Вергилия («Снова полночь, и в темной могиле. . .») 145  
«Обрамлено твоё лицо окном вагона. . .» (На перроне) 226  
Одесса («Сентябрь заплетает твой локоп. . .») 203  
«Одет в защитный цвет бульваров строгий ряд. . .» (Осень 1941, 3) 162  
Октябрьские стихи («Путь — в гору! Ввысь! Прянее переходы! . . .») 116  
Окунь счастья золотой («Лунной грустью. . .») 51  
«Он свой нагрудный крест с кладбища приволок. . .» (Фашист на допросе) 168  
«Она прошла вперед — сразила наповал. . .» (Девушка с косами) 234  
«Они простерли вдаль теней рисунок четкий. . .» (Горы вечером, 1) 228  
«Они стоят во весь свой рост. . .» (Горы вечером, 3) 229  
Осень («Там листья не шуршат в таинственной тревоге. . .») 239  
Осень (Шалость) 311  
Осень 1941 (1—9) 161  
Осколки («Чуть я незрячести переборол тиски. . .») 209  
«От моря Черного до Вислы, по равнинам. . .» 73  
Отец (Война. «Последний залп. Последней пули свист. . .») 670  
Парижские улицы (1—5) 94  
Партизаны в лесу (Война. «В Погосте, ввечеру, в базарный день. . .») 642  
Патруль над Москвой («Когда сумерек видишь игру. . .») 171  
Первая прогулка (Война. «Садовский город свой едва узнал. . .») 625  
«Передайте ваш день облакам, как привет с кораблей потонувших. . .» 89  
Песня («Полночью старинною. . .») 108  
«Плоты отвалили, покинув причалы. . .» (Война. Бой на Днестре) 668

- «Плывет верблюда контур вырезной...» (Осень 1941, 8) 165  
 «По неведомым просторам...» (Последняя встреча) 54  
 «По телу голому земли...» 39  
 «По часам растекаются медные зовы тоски...» (Предвестье грозы) 101  
 Под дождем (1—4) 223  
 «Под коркой грязевой пока еще горит...» (Старая рейсовая машина) 219  
 «Поднимались мы по круче...» (Наливай полней!) 248  
 «Подобно капелькам, что ветер сдул с ветвей...» (Нетерпение) 173  
 «Поколений ушедших труха в сизой плесени спит...» (Кантара) 84  
 Полмира в тени («Луч солнца пробует свой блеск на облаках...») 229  
 «Полночью старинною...» (Песня) 108  
 Помпея (1—4) 99  
 «Помпея ждет потех, но тишина тяжка...» (Помпея, 2) 99  
 Последние встречи («Шесть долгих лет прошло, а может быть, и пять...») 110  
 Последний («Ни крыши, ни стола. Кровать моя жестка мне...») 327  
 «Последний залп. Последней пули свист...» (Война. Отец) 670  
 «Последний скрип телег, последний вздох коней...» (К простым грузчикам, 2) 87  
 Последний снег («Девушки смеются в переулках ближних...») 44  
 Последняя встреча («По неведомым просторам...») 54  
 Последняя дорога («Ни встать ни сесть — такая теснота!..») 158  
 «Поэты, трубадуры! Все за рядом ряд...» (Осень 1941, 9) 165  
 Предвестье грозы («По часам растекаются медные зовы тоски...») 101  
 Предвечерье («Простерты ветви, словно руки, к тучам...») 54  
 «Прекрасны грузчики с затылками из меди...» (К простым грузчикам, 1) 86  
 Прелюдия («Набат с моей высокой гулкой башни...») 67  
 «Привет тебе, сорокалетний! Шолом!..» (Сорокалетний) 508  
 «Придет одно и сменится другим...» (Ленин) 142  
 «Приказу краток срок. Приказу путь далек...» (Война. В танке) 654  
 «Припала к белизне льняного полотна...» (Роза) 233  
 «Прислушайся к ветра угрюмому вою...» (Шум крадется с гор) 235  
 «Приткнулась к берегу понурая хатенка...» 52  
 «Приходит час ночной ко мне...» 40  
 Прогулка («Прогулку по Страстной случайно вспомнил я...») 238  
 «Прогулку по Страстной случайно вспомнил я...» (Прогулка) 238  
 «— Продай мне, девушка, сирень упругую!..» (Сирень) 64  
 Продолжение («Не гладиатором в тавернах Афродиты...») 128  
 «Проносится краса лесов и сёл прибрежных...» (Путники) 71  
 «Просит ветер меня: „Дай мне на ночь приют!..“» (Гость) 67  
 «Простерты ветви, словно руки, к тучам...» (Предвечерье) 54  
 «Прочь, дурень-ветерок! Не спрашивай — куда!..» (В третий раз!) 218  
 «Пусть ветер и любовь, пусть ночь и дождь косой...» (Под дождем, 4) 224  
 «Пусть заметет нам снег дорогу вспять!..» (Мать-столица) 166

- «Пусть о потопах нам, чтоб радовался глаз. . .» (Горы вечером, 2) 228  
 Путники («Проносится краса лесов и сёл прибрежных. . .») 71  
 «Путь — в гору! Ввысь! Прямее переходы! . .» (Октябрьские стихи)  
 116  
 Пушкину («Властитель дум — бессмертье ты познал! . .») 143  
 Пчела в санбате (Война. «Пчела, захлестнутая дымом, смолкла. . .»)  
 645  
 «Пчела, захлестнутая дымом, смолкла. . .» (Война. Пчела в санбате)  
 645  
 «Пьяна ли Смерть еще, и снится ль ей, проклятой. . .» (Помпея, 3)  
 100  
 «Радио — в мир, радиовесть! . .» 70  
 «Радость птицы — свобода, радость крыльев — полет. . .» 84  
 Радуга («Шел дождь. И дождь ей не мешал. Она одним концом. . .»)  
 243  
 «Развернутой старинною гравюрой. . .» (Ленинград) 170  
 «Разлеглись поля в просторах. . .» (Волынь) 251  
 «Раньше, позже ли было всё это? . .» (Муза) 241  
 «Раскинулось море широко. . .» (Морякам) 175  
 «Рассвет. Предутренняя тишь. . .» (На рассвете) 246  
 «Расту я в поле. . .» 59  
 Рим («С кем фехтуют рапиры твоих серебристых фонтанов. . .») 98  
 Роза («Припала к белизне льняного полотна. . .») 233  
 Роса («Взгляни, как поутру украшен голый сад. . .») 241  
 «Росли, как колосья, два брата родных. . .» (Баллада о двух братьях)  
 135  
 С выжженными глазами (Война. «Готов к прыжку, лежал в рас-  
 светном серебре. . .») 650  
 С добрым утром! («Черны глаза ее, а зубы так белы. . .») 216  
 «С кем фехтуют рапиры твоих серебристых фонтанов. . .» (Рим) 98  
 «Садовский был колхозным агрономом. . .» (Война. Так было. . .) 631  
 «Садовский город свой едва узнал. . .» (Война. Первая прогулка) 625  
 Самозабвение («Так как же не любить, отдав себя всего. . .») 240  
 «Светает за окном. . . Доехать бы скорее! . .» (Во сне я видел мать)  
 174  
 «Сегодня ночью. . .» 91  
 «Семь лет тому назад пролег здесь мой рубеж. . .» (Ветер, побудь со  
 мною) 226  
 «Сентябрь заплетает твой локон. . .» (Одесса) 203  
 Сердца моего теперь мне мало («Все драгоценности долой: браслеты  
 с рук. . .») 167  
 «Сзное и легкое пламя алкоголя. . .» 104  
 Сирень (« — Продай мне, девушка, сирень упругую! . .») 64  
 «Слезливый зябкий дождь на катафалк косится. . .» 85  
 «Снег, первый снег. . .» (Осень 1941, 4) 163  
 «Снова полночь, и в темной могиле. . .» (Обезглавленный соотече-  
 ственник Вергилия) 145  
 «Совопляйтесь, туши паровозов. . .» (Парижские улицы, 3) 95  
 Соединение («Нетрудно веточке согнуться, наклониться. . .») 233  
 «Солдат, как жито, как колосья, косят. . .» 72  
 Соло («Когда всему молчать приходит срок. . .») 216



- Сорокалетний («Привет тебе, сорокалетний! Шолом!..») 508  
 Спелые ночи («Кости звенят, пересохло во рту...») 578  
 Сталинград (Война. «Был подготовлен к поединку город...») 638  
 Сталинградская буря (Война. «Вперед, за шагом шаг, за милей мн-  
 ля...») 661  
 Старая рейсовая машина («Под коркой грязевой пока еще горит...») 219  
 Старость («Ступай домой, старик! Звонят колокола...») 103  
 «Степенный твой покой зовет к вечерней тебе...» (Вестминстерское аббатство) 98  
 «Столбы мелькают, мчатся под откос...» (К Москве) 167  
 «Стою, молчу...» 63  
 «Стремительно блистанье легких ног...» (Танцовщица из гетто) 589  
 «Строим призрачным деревья высятся по берегам...» 74  
 «Ступай домой, старик! Звонят колокола...» (Старость) 103  
 Так было... (Война. «Садовский был колхозным агрономом...») 631  
 «Так как же не любить, отдав себя всего...» (Самозабвение) 240  
 «Ты никогда еще так не была свежа...» 43  
 «Там листья не шуршат в таинственной тревоге...» (Осень) 239  
 Танцовщица из гетто («Стремительно блистанье легких ног...») 589  
 Твой взгляд («За счастьем призрачным бродя во мгле безбрежной...») 243  
 «Твой взор меня смиряет и гнетет...» (Твоя слеза) 244  
 «Твоя печаль, как властный зов!..» (Осень 1941, 2) 162  
 Твоя слеза («Твой взор меня смиряет и гнетет...») 244  
 «Теплушки тянутся, разжевывая рельсы...» (Осень 1941, 7) 164  
 Тореадор («Взмахни своим плащом, тореадор, и в бой...») 139  
 «Тревога стихла к третьим петухам...» (Война. У могилы) 620  
 «Ты боль свою, как славу, гордо нес...» (Клятва) 159  
 «Ты влюблен в меня, ветер дорог...» 42  
 «Ты крепко спишь, солдат. И ромб огней танцует...» (Могила Неизвестного солдата) 83  
 «Тянет плечи виноград...» (Виноград) 59  
 У Волги (Война. «Дон перешел Садовский поздней ночью...») 635  
 «У гор покоя просит море...» (Море на рассвете) 222  
 У дороги («Истерзанный вокзал, как решето, дыряв...») 210  
 У могилы (Война. «Тревога стихла к третьим петухам...») 620  
 У реки («Бегут они стремглав, расплескивая воду...») 245  
 «Уже не в первый раз заката полоса...» (Блуждаю, как в лесу) 244  
 «Уже не ночь, еще не день...» (Летучая мышь) 231  
 «Утром пробуждаются сонные поля...» 48  
 Фашист на допросе («Он свой нагрудный крест с кладбища приволок...») 168  
 Фигаро («Вздых капеллы лесной вдруг на ветке повис...») 232  
 «Хлыст солнца полоснул меня...» 66  
 Хо лахмо! («На что он нужен был, тот хриплый контрабас?..») 154  
 Чатырдаг («Дороги всех широт меня к тебе вели...») 275  
 «Черны глаза ее, а зубы так белы...» (С добрым утром!) 216

Черные костры (« — Что ж, развлекай народ. . .») 151  
«Четырегорбые, в отрешках, маниаки! . .» 103  
«Что делать сердцу в изъязвленном доме. . .» 76  
« — Что ж, развлекай народ. . .» (Черные костры) 151  
«Чуть я незрячести переборол тиски. . .» (Осколки) 209  
«Чу. . . поют! Всё ближе, ближе. . .» 63

Шалость (Весна, Лето, Осень, Зима) 294

«Шел дождь. И дождь ей не мешал. Она одним концом. . .» (Радуга)  
243

«Шесть долгих лет прошло, а может быть, и пять. . .» (Последние  
встречи) 110

Шота Руставели («На пергаменте лазури, испещренной блеском  
молний. . .») 140

Шум крадется с гор («Прислушайся к ветра угрюмому вою. . .») 235

Эйфелева башня (1—2) 85

Эхо («Немало летних дней промчалось здесь монх. . .») 242

«Я в голове твоей застрял угрюмой мыслью. . .» (Эйфелева башня, 2)  
86

«Я не знаю, где я. . .» 49

«Я не петляю, не кружу. . .» 65

«Я раздаю себя, ликуя. . .» 58

«Я сам — земля! . .» 39

«Я только до ворот. . .» (Белые козы) 69

«Я только стебелек, затерянный в полях. . .» 42

«Я — человек! . .» 58

## СОДЕРЖАНИЕ

Перец Маркиш. Вступительная статья С. С. Наровчатова . . . 5

### СТИХОТВОРЕНИЯ

1. «По телу голому земли...» Перевод Д. Маркиша . . . . . 39
2. «Я сам — земля!..» Перевод Л. Руст . . . . . 39
3. «Приходит час ночной ко мне...» Перевод А. Ахматовой . 40
4. «Ай да кони, что за кони!..» Перевод Л. Озерова . . . . . 41
5. «Я только стебелек, затерянный в полях...» Перевод Л. Руст 42
6. «Ты влюблен в меня, ветер дорог...» Перевод С. Левмана . 42
7. «Ты никогда еще так не была свежа...» Перевод А. Ахматовой . . . . . 43
8. «На песчаных белых высях...» Перевод Л. Руст . . . . . 43
9. Последний снег. Перевод А. Голембы . . . . . 44
10. «Вышел я нынче в зарю и в росу...» Перевод С. Левмана . 44
11. «На заре я был разбужен...» Перевод С. Левмана . . . . . 45
12. «Выйди утром в поле, брат мой...» Перевод Д. Маркиша . 46
13. «И молод день, и прям...» Перевод Д. Маркиша . . . . . 47
14. «Утром пробуждаются сонные поля...» Перевод Д. Маркиша . . . . . 48
15. «Благословил деревья синий вечер...» Перевод Д. Маркиша 48
16. «Я не знаю, где я...» Перевод Д. Маркиша . . . . . 49
17. «Как только я встаю...» Перевод Д. Маркиша . . . . . 50
18. «О, кто вам рты залил клокочущей лавой...» Перевод Д. Бродского . . . . . 50
19. Окунь счастья золотой. Перевод Л. Руст . . . . . 51
20. «Ладоней мисочки уже полны до края...» Перевод Л. Озерова . . . . . 52
21. «Приткнулась к берегу понурая хатенка...» Перевод Д. Маркиша . . . . . 52

22. «Как вырубленный лес, застыл пустой базар...»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	53
23. «Буря мне внушала тайно: «В высях ждет тебя твой дом...»	<i>Перевод А. Корчагина</i>	53
24. Предвечерье.	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	54
25. Последняя встреча (Фрагменты).	<i>Перевод С. Надинского</i>	54
26. «Я раздаю себя, ликуя...»	<i>Перевод Р. Сефа</i>	58
27. «Я — человек!..»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	58
28. «Расту я в поле...»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	59
29. Виноград.	<i>Перевод С. Наровчатова</i>	59
30. «Лес мне другом хорошим стал...»	<i>Перевод Л. Озерова</i>	61
31. «Гроза и ветер пляшут на плечах...»	<i>Перевод Р. Сефа</i>	62
32. «Стою, молчу...»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	63
33. «Чу... поют! Всё ближе, ближе...»	<i>Перевод Ю. Хазанова</i>	63
34. Вставай, заря!	<i>Перевод Л. Руст</i>	64
35. Сирень.	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	64
36. «Я не петляю, не кружу...»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	65
37. «К колючим головам остриженных полей...»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	66
38. «Хлыст солнца полоснул меня...»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	66
39. Гость.	<i>Перевод М. Тарловского</i>	67
40. Прелюдия.	<i>Перевод Л. Пеньковского</i>	67
41. Белые козы.	<i>Перевод Л. Руст</i>	69
42. «Какой сегодня день! Какой огромный!..»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	70
43. «Радио — в мир, радиовесть!..»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	70
44. Путники.	<i>Перевод П. Антокольского</i>	71
45. Берлин.	<i>Перевод О. Колычева</i>	71
46. «Бог дал тебе детей и руки золотые...»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	72
47. «Солдат, как жито, как колосья, косят...»	<i>Перевод Р. Сефа</i>	72
48. Лужайка.	<i>Перевод М. Тарловского</i>	73
49. «От моря Черного до Вислы, по равнинам...»	<i>Перевод Д. Бродского</i>	73
50. «Строим призрачным деревья высятся по берегам...»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	74
51. «Бросайте меня от сиянья к сиянью!..»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	74
52. На закате.	<i>Перевод Н. Вольпин</i>	75
53. «Дайте мне напиться, камни древней славы!..»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	75
54. «Мне кажется, что я в пылающем лесу...»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	75
55. «...И ночью ветреной...»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	76
56. «Что делать сердцу в изъязвленном доме...»	<i>Перевод Д. Маркиша</i>	76
57. «Жалок трон попугая, обтянутый в бархат лнялый...»	<i>Перевод О. Колычева</i>	77
58. «Да, есть еще страна бурливого покоя...»	<i>Перевод Р. Сефа</i>	78
59. «Как вдовьи заплаканные глаза...»	<i>Перевод Р. Морана</i>	78
60. «Как по команде, в ряд построены вагоны...»	<i>Перевод Р. Морана</i>	79
61. «Горб на твоей душе, горб на спине...»	<i>Перевод Н. Банникова</i>	79

62—66. Неизвестный солдат. <i>Перевод Р. Сефа</i>	
1. «В светильниках дрожит огонь. Венки и блеск регалий...»	80
2. «Знамена, рейте. Вот она, расплата...»	81
3. «Встал над могилой брата дуб огромный...»	81
4. «О руки, терпеливейшие руки...»	82
5. «Кварталы проститутками набиты...»	82
67. Могила Неизвестного солдата. <i>Перевод П. Антокольского</i>	83
68. «Радость птицы — свобода, радость крыльев — полет...» <i>Перевод Р. Сефа</i>	84
69. Кантара. <i>Перевод Д. Маркиша</i>	84
70. «Слезливый зябкий дождь на катафалк косится...» <i>Перевод А. Корчагина</i>	85
71—72. Эй фелева башня. <i>Перевод А. Эппеля</i>	
1. «А ты? Ничья? Ни с теми? Ни с другими?..»	85
2. «Я в голове твоей застрял угрюмой мыслью...»	86
73—74. К простым грузчикам	
1. «Прекрасны грузчики с затылками из меди...» <i>Перевод О. Колычева</i>	86
2. «Последний скрип телег, последний вздох коней...» <i>Перевод Д. Бродского</i>	87
75. «Благослови меня на бездорожья...» <i>Перевод Р. Сефа</i>	87
76. «Кого, тоскуя, крылья мельниц ждут?..» <i>Перевод А. Корчагина</i>	88
77. «Передайте ваш день облакам, как привет с кораблей потонувших...» <i>Перевод Л. Пеньковского</i>	89
78. «Дороги на ноги надеты, словно лыжи...» <i>Перевод А. Голембы</i>	89
79. Голодный поход. <i>Перевод А. Корчагина</i>	90
80. «Сегодня ночью...» <i>Перевод Д. Маркиша</i>	91
81—85. Парижские улицы. <i>Перевод А. Голембы (1—4) и Д. Бродского (5)</i>	
1. «Земля вздыхает. В купола и трубы...»	94
2. «Булыжник говорит с поэтом пришлым...»	95
3. «Совокупляйтесь, туши паровозов...»	95
4. «Здесь душно небу от земного быта!..»	96
5. «Миги наплывают мглой...»	96
86. Лондон. <i>Перевод А. Голембы</i>	97
87. Вестминстерское аббатство. <i>Перевод Д. Бродского</i>	98
88. Рим. <i>Перевод Д. Бродского</i>	98
89—92. Помпея. <i>Перевод Д. Бродского</i>	
1. «Как жар в Везувии, душевный страх растет...»	99
2. «Помпея ждет потех, но тишина тяжка...»	99
3. «Пьяна ли Смерть еще, и снится ль ей, проклятой...»	100
4. «На дне глубоких ям — мешков солдатских кучи...»	100
93. Предвестье грозы. <i>Перевод Д. Бродского</i>	101
94. «За днями дни, как корабли, свой путь...» <i>Перевод Д. Маркиша</i>	101
95. На постоялом дворе. <i>Перевод Р. Сефа</i>	102
96. «В вагоне, на полу, весь в предрассветной сини...» <i>Перевод Д. Маркиша</i>	102
97. Старость. <i>Перевод О. Колычева</i>	103

98. «Четырегорбые, в отрепьях, маниаки!..» Перевод Д. Бродского	103
99. В пути. Перевод П. Антокольского	104
100. «Сизое и легкое пламя алкоголя...» Перевод О. Колычева	104
101. Мое поколение. Перевод О. Колычева	105
102. Песня. Перевод О. Колычева	108
103. Последние встречи. Зарисовки из жизни. Перевод Д. Маркиша	110
104. Женщине. Перевод А. Голембы	112
105. Дядя Тевье. Перевод В. Левика и С. Надинского	113
106. Октябрьские стихи. Перевод О. Колычева	116
107. Москва. Перевод Э. Багрицкого и В. Левика	117
108. Мудрость моей страны (Отрывок). Перевод Д. Бродского	120
109. Комсомолу. Перевод Л. Руст	123
110. Воплощение. Перевод Л. Руст	124
111. «И те, чья жизнь — остывший прах и пепел...» Перевод Д. Бродского	126
112. «О небо!..» Перевод Д. Бродского	127
113. Продолжение. Перевод Д. Бродского	128
114. «Ночь надвигается. Просторы синевы...» Перевод Д. Бродского	132
115. «Древней надгробных плит обугленные лица!..» Перевод Д. Бродского	132
116—118. Дальневосточное. Перевод Д. Бродского	
1. «И день и ночь в раздумье оснеженном...»	133
2. «К трясине облако нисходит золотое...»	134
3. «Здесь в голову мороз кидается, как брага...»	134
119. Баллада о двух братьях. Перевод Д. Маркиша	135
120. Испания. Перевод А. Ревича	137
121. Тореадор. Перевод Д. Маркиша	139
122. Шота Руставели. Перевод С. Левмана	140
123. Ленин. Перевод С. Надинского	142
124. Пушкину. Перевод автора	143
125. «Валенсия — твоя сестра, Мадрид!..» Перевод А. Ревича	144
126. Обезглавленный соотечественник Вергилия. Перевод А. Ревича	145
127. Днепр. Перевод Д. Бродского	147
128. Черные костры. Перевод А. Ревича	151
129. Хо лахмо! Перевод В. Левика и Д. Маркиша	154
130. Доброй недели, мать! Перевод В. Потаповой	155
131. Последняя дорога. Перевод А. Кленова	158
132. Клятва. Перевод Л. Руст	159
133—141. Осень 1941. Перевод Н. Вольпин (1—6, 9), Л. Руст (7—8)	
1. «Москва! Твои сыны-богатыри...»	161
2. «Твоя печаль как властный зов!..»	162
3. «Одет в защитный цвет бульваров строгий ряд...»	162
4. «Снег, первый снег...»	163
5. «К тебе несется сердце — ночью, сквозь метелицу...»	163
6. «Москва, я видел твой расцвет...»	164
7. «Теплушки тянутся, разжевывая рельсы...»	164

8.	«Плывет верблюда контур вырезной...»	165
9.	«Поэты, трубадуры! Все за рядом ряд...»	165
142.	Мать-столица. <i>Перевод Р. Морана</i>	166
143.	«Вагоны, лязгая, ползли неторопливо...» <i>Перевод М. Тар- ловского</i>	166
144.	К Москве. <i>Перевод Г. Левина</i>	167
145.	Сердца моего теперь мне мало. <i>Перевод Р. Морана</i>	167
146.	Фашист на допросе. <i>Перевод В. Левика</i>	168
147.	Ленинград. <i>Перевод А. Ревича</i>	170
148.	Патруль над Москвой. <i>Перевод Г. Левина</i>	171
149.	Нетерпение. <i>Перевод Р. Морана</i>	173
150.	Во сне я видел мать. <i>Перевод А. Ревича</i>	174
151.	«Забудь, пират, что есть спасенье позади...» <i>Перевод Д. Бродского</i>	174
152.	Морякам. <i>Перевод Д. Бродского</i>	175
153.	Баллада о воинстве Доватора. <i>Перевод Л. Озерова</i>	177
154.	Баллада о пяти. <i>Перевод С. Левмана</i>	179
155.	Натюрморт. <i>Перевод Л. Руст</i>	187
156.	Зимняя баллада. <i>Перевод П. Антокольского</i>	188
157.	Баллада о двадцати восьми. <i>Перевод Р. Морана (1—3) и Д. Бродского (4—7)</i>	191
158.	Одесса. <i>Перевод Д. Маркиша</i>	203
159.	Баллада о пленнице. <i>Перевод М. Петровых</i>	205
160.	Баллада о парикмахере. <i>Перевод А. Ревича</i>	208
161.	Осколки. <i>Перевод Л. Руст</i>	209
162.	У дороги. <i>Перевод М. Тарловского</i>	210
163.	Кусок мыла. <i>Перевод М. Тарловского</i>	210
164.	Выбор. <i>Перевод Л. Озерова</i>	213
165.	Дерево. <i>Перевод А. Голембы</i>	213
166.	С добрым утром! <i>Перевод Л. Озерова</i>	216
167.	Соло. <i>Перевод Л. Озерова</i>	216
168.	Капелла. <i>Перевод А. Голембы</i>	217
169.	В третий раз. <i>Перевод А. Ахматовой</i>	218
170.	Старая рейсовая машина. <i>Перевод А. Голембы</i>	219
171.	В сумерки у моря. <i>Перевод А. Голембы</i>	220
172.	На пляже. <i>Перевод В. Тушиновой</i>	221
173.	Море на рассвете. <i>Перевод В. Тушиновой</i>	222
174—177.	Под дождем. <i>Перевод В. Тушиновой (1, 2) и А. Ре- вича (3, 4)</i>	
1.	«Нас берега не ждут нигде...»	223
2.	«Мне кажется — не протекли века...»	223
3.	«Закрой глаза — и вот препятствий нет...»	224
4.	«Пусть ветер и любовь, пусть ночь и дождь косой...»	224
178.	Вечером у моря. <i>Перевод А. Голембы</i>	225
179.	На перроне. <i>Перевод Д. Маркиша</i>	226
180.	Ветер, побудь со мною. <i>Перевод А. Голембы</i>	226
181.	Горная мадонна. <i>Перевод С. Наровчатова</i>	227
182—184.	Горы вечером. <i>Перевод С. Липкина</i>	
1.	«Они простерли вдаль теней рисунок четкий...»	228
2.	«Пусть о потопе нам, чтоб радовался глаз...»	228
3.	«Они стоят во весь свой рост...»	229

185.	Полмира в тени. <i>Перевод Д. Маркиша</i> . . . . .	229
186.	Красные камни. <i>Перевод Р. Морана</i> . . . . .	230
187.	Забота. <i>Перевод А. Ахматовой</i> . . . . .	230
188.	Барельеф Ленина. <i>Перевод М. Петровых</i> . . . . .	231
189.	Летучая мышь. <i>Перевод Л. Озерова</i> . . . . .	231
190.	Фигаро. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	232
191.	Соединение. <i>Перевод Л. Озерова</i> . . . . .	233
192.	Роза. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	233
193.	Девушка с косами. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	234
194.	Шум крадется с гор. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	235
195.	«Корова траву прошлогоднюю ела. . .» <i>Перевод А. Голембы</i>	235
196.	Гостеприимная птица. <i>Перевод А. Ревича</i> . . . . .	236
197.	Прогулка. <i>Перевод М. Петровых</i> . . . . .	238
198.	Осень. <i>Перевод А. Ахматовой</i> . . . . .	239
199.	Нежданный путь. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	239
200.	Самозабвение. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	240
201.	Муза. <i>Перевод Э. Левонтина</i> . . . . .	241
202.	Роса. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	241
203.	Эхо. <i>Перевод И. Воробьевой</i> . . . . .	242
204.	Радуга. <i>Перевод Д. Самойлова</i> . . . . .	243
205.	Твой взгляд. <i>Перевод А. Ахматовой</i> . . . . .	243
206.	Блуждаю, как в лесу. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	244
207.	Твоя слеза. <i>Перевод А. Ахматовой</i> . . . . .	244
208.	У реки. <i>Перевод С. Наровчатова</i> . . . . .	245
209.	На рассвете. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	246
210.	Зима идет. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	246
211.	«Еще не выцвела багряная канва. . .» <i>Перевод А. Голембы</i>	247
212.	Наливай полней! <i>Перевод А. Ревича</i> . . . . .	248

## ПОЭМЫ

213.	Волынь. <i>Перевод Д. Бродского</i> . . . . .	251
214.	Чатырдаг. <i>Перевод А. Ревича</i> . . . . .	275
215.	Шалость	
	Весна. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	294
	Лето. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	302
	Осень. <i>Перевод А. Голембы</i> (1—3, 5—10) и <i>Д. Маркиша</i> (4) . . . . .	311
	Зима. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	315
216.	Последний. <i>Перевод П. Антокольского</i> . . . . .	327
217.	Братья. <i>Перевод Д. Бродского</i> (гл. 1—6, 15, 20, 22—24, 29), <i>М. Петровых</i> (гл. 7—8, 11, 12, 27, 30), <i>А. Тарковского</i> , <i>Н. Ушакова</i> и <i>А. Штейнберга</i> (гл. 9), <i>А. Тарковского</i> и <i>А. Штейнберга</i> (гл. 10, 17, 21), <i>А. Шпирта</i> (гл. 13), <i>В. Бугаевского</i> (гл. 14, 16, 18, 19, 25), <i>Р. Морана</i> (гл. 26), <i>С. Липкина</i> (гл. 28) . . . . .	334
218.	Сорокалетний. <i>Перевод Д. Маркиша</i> . . . . .	508
219.	Спелые ночи. <i>Перевод Д. Маркиша</i> (1—3, 5—12) и <i>А. Ахматовой</i> (4) . . . . .	578
220.	Танцовщица из гетто. <i>Стансы. Перевод А. Кленова</i> . . . . .	589
221.	Кавказ. <i>Перевод А. Голембы</i> . . . . .	610



222. Война. (Главы из поэмы)	
У могилы. Перевод Л. Пеньковского . . . . .	620
Московский зоопарк. Перевод М. Тарловского . . . . .	622
Первая прогулка. Перевод Д. Маркиша . . . . .	625
Так было. . . Перевод Д. Маркиша . . . . .	631
У Волги. Перевод Д. Маркиша . . . . .	635
Сталинград. Перевод Д. Маркиша . . . . .	638
Партизаны в лесу. Перевод Д. Маркиша . . . . .	642
Пчела в санбате. Перевод Л. Руст . . . . .	645
С выжженными глазами. Перевод Б. Лейтина . . . . .	650
В танке. Перевод Б. Лейтина . . . . .	654
К реке Царнице. Перевод Н. Вольпин . . . . .	658
Сталинградская буря. Перевод А. Сендыка . . . . .	661
Бой на Днестре. Перевод Д. Бродского . . . . .	666
Отец. Перевод Д. Маркиша . . . . .	670
Примечания . . . . .	675
Алфавитный указатель произведений . . . . .	686

*Маркиш Перец*

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1969.  
704 стр. Тем. план вып. 1968, № 375

Редактор *Д. М. Климова*

Художник *И. С. Серов*

Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*

Техн. редактор *В. Г. Комм*

Корректор *Ф. Н. Аврунина*

Сдано в набор 28/XI 1969 г. Подписано  
в печать 11/XII 1969 г. М 14791. Бумага  
84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>, № 1. Печ. л. 22+1 вкл. (37,06).  
Уч.-изд. л. 31,25. Тираж 25 000 экз. Зак.  
№ 1687. Цена 3 р. 20 к.

Издательство «Советский писатель»,  
Ленинградское отделение, Ленинград,  
Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 Главпо-  
лиграфпрома Комитета по печати при  
Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3.

